

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1972

8



1972

Н[О]В[Ы]И М[И]Р

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Год издания XLVIII

№ 8

Август, 1972 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ПЕТРУСЬ БРОВКА — Как молнии, наши дни, стихи. Перевел с белорусского Валентин Корчагин	3
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Разбитая жизнь или Волшебный рог Оберона. Окончание	8
ЛЕВ ОЗЕРОВ — Оружейная баллада, стихотворение	203

ПУБЛИЦИСТИКА

Н. МАТЧАНОВ — Ташкентский хашар	205
---------------------------------	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. И. КРЫЛОВ — Огненный бастион. Окончание.	217
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. МЯСНИКОВ — Критика и современность	249
---------------------------------------	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	265
Виктор Гончаров. Грани алмаза.— Миколас Слудцкис. Проблемы и автор.	
<i>Политика и наука</i>	271
Л. Метелица. Боевое оружие интернационализма.— Л. Леонтьев. Проблемы экономической реформы.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ С С С Р»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ — Г. Петрова. — Александр Чак. Кленовый лист. Рассказы. ♦ Н. Яновский. — Леонид Иванов. Уроки. ♦ В. Савченко. — Владимир Гусев. Горизонты свободы. Повесть о Симоне Боливаре. ♦ Е. Луцкая. — Мариус Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи. ♦ Р. Помирчий. — П. Н. Берков. История советского библиофильства (1917—1967).	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	285
«НОВЫЙ МИР» В 1973 ГОДУ	287

ПЕТРУСЬ БРОВКА

★

КАК МОЛНИИ, НАШИ ДНИ

С белорусского

Как молнии, наши дни:
Глядишь, просверкал уж год...
О, время! Не отстрани —
Возьми меня в свой поход!

Пошли меня в степь, в тайгу,
Мне тропы торить под стать!..
Чего уже не смогу —
Так это на Марс слетать.

О, время... Сквозь грозы мчась,
Бесследно ты не прошло:
Под грузом твоим подчас
Рукам и впрямь тяжело —

Зато покрепче брони
Стал дух мой от ста невзгод...
О, время! Не отстрани —
Возьми меня в свой поход!

* * *

Порой
Обиды груз холодный
И сушит сердце и гнетет...
Но мчусь я, как поток подледный,—
Сковать до дна не может лед!

Все в том же переплеске чистом
Моя река
Под коркой льда
Мир видит теплым и лучистым
И знает: лед — не навсегда.

Кора исчезнет ледяная,
И весел будет волн разгон —
Навстречу хлынут, опьяняя,
И вешний дух
И птичий звон...

ПЕРВЫЕ СТИХИ

Работать вроде стал без брака.
Изжил огрехи
И грехи...
Чего ж так памятны, однако,
Мне первые мои стихи?

Ведь им
До совершенства было
Еще куда как далеко.
Но в вихре творческого пыла
Слова рождались так легко!

В шеренги спешно их построив,
Я к построенью не был строг:
Простецких рифм,
Размерных сбоев
Заметить не хотел, не мог.

И вот — газетка окружная.
А в ней...
Так, значит, я — поэт?!
Она сияла, заслоняя
Страницы всех других газет.

Казалось:
Ввысь возносит слава!..
Познав уж после суть труда,
Я книгами своими, право,
Так не гордился никогда.

Я те стихи твержу нередко,
Хоть стерлась вся их новизна...
Они — как первая разведка.
В них — юность.
В них — моя весна.

И РУЧЕЕК И ВОДОПАД

Один —
 поклонник тихой песни,
Другой
 громам певучим рад...
А мне, признаться, интересны
И ручеек
 и водопад.

Жизнь многоцветна,
 жизнь богата.
Ее запросам счета нет!
Ручью
 пусть вторит нежность чья-то,
А водопаду —
 целый свет.

ЕСЛИ Б СНОВА...

Когда нетающие зимы
Столпятся к вечеру вокруг —
Наивны, неосуществимы,
Желанья вспыхивают вдруг.

И память, озарясь их вспышкой,
Стучит, колотит — в грудь, в висок:
Эх, кабы снова стать мальчишкой —
Хоть на денек, хоть на часок!

Играя, погоняться всласть бы
За деревянным колесом;
С ватагой в озеро упасть бы,
Спугнуть его рассветный сон;

Залезть к гнезду, увидеть чудо:
Птенцов — без пуха, без пера;
Картошину, всем блюдам блюдо,
Взять из пастушьего костра;

Иль — по реке на льдине хрупкой...
Иль — за охапкой васильков...
Иль — на коня да вскачь охлюпкой,
Чтоб тучей пыль из-под подков...

Ах, если б, если б — детство снова
В неповторимой той красе,
С восторгом шествия босого
По ранней золотой росе!

Да нет... Давно уж мы не дети.
Лишь брезжут отсветы вдали...
Но и воспоминанья эти
Живую радость принесли.

ПОГОВОРИМ-КА ПО ДУШАМ

Что разны мы,
Ты знаешь сам.
Но ведь дорога-то — одна!..
Поговорим-ка по душам,
Просветим-ка себя
До дна.

Для друга
Я почту за честь
И сердце распахнуть и дом.
В твоём же сердце
Ставни есть —
Их не раскрыть, хоть бейся лбом.

Ты в щелку
Выглянешь на миг —
И снова двери на засов.
Высот желанных
Ты достиг:
Людских не слышишь голосов.

Ты рад,
 Что прочны ставни, дверь,
 Что в сердце тихо и темно...
 Но это ж — смерть твоя, поверь!
 Сними засов!
 Открой окно!

ДРУЗЬЯМ КРИТИКАМ

Как ни суди, как ни ряди,
 Мы время штурмом брать должны.
 И если критик — впереди,
 Ему, бесспорно, нет цены.

Плечо к плечу! Все — пополам!
 Куда ж в поход нам без него?
 Кто отточить поможет нам
 Оружье наше — мастерство?

Он, поддержав тебя в бою,
 К твоим ошибкам будет строг,
 Но с первой книжки в жизнь твою
 Войдет как самый добрый бог.

Еще не раз за промах твой
 Ты богом этим будешь бит!
 Но он — товарищ боевой,
 И тут уж — никаких обид.

...А как с другим божком нам быть,
 Что врос в литературный тыл,
 Что учит море переплыть,
 Хоть сам ручья не переплыл,

Что мечет громы, нам веля
 Поглубже изучать село,
 Хоть видел села и поля
 Лишь из вагона, сквозь стекло?

Порою до небес вознесть
 Такой вот критик тоже рад —
 Но лишь того, кто весь как есть
 Скомпоновался из цитат.

Что легче, то и вознеся,
 Что не по силам — обругав,
 Он с маху судит всех и вся
 И мнит, что в тех сужденьях прав.

И ценность твоего труда
 В два счета определена:
 По полкам раз и навсегда
 Размещены все имена!

Подобный критик всем знаком,
 Да много ль проку от него?..
 Однако хватит о таком!
 Он — одинок. Вас — большинство.

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

★

РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ

ИЛИ

ВОЛШЕБНЫЙ РОГ ОБЕРОНА*

Бутылка.

...оказалось, что, замерзая при температуре ниже нуля и превращаясь в твердое тело — лед, вода расширяется. Я даже где-то прочел, что если герметически закупоренный сосуд, до самых краев наполненный водой, заморозить, то вода в момент своего превращения в лед разорвет сосуд, из какого бы крепкого металла он ни был сделан. То есть, собственно, разорвет сосуд уже не вода, а сделавшийся там лед. Но это не важно. Важно, что сосуд разорвет...

Так у меня родилась идея сделать стреляющую бутылку. Дело простое: берется бутылка, наливается до самых краев водой, крепко забивается хорошей пробкой, выставляется на мороз — и через некоторое время она выстрелит пробкой, как из пистолета, а если пробка окажется слишком неподатливой, то сама бутылка со страшным грохотом разорвется, как граната.

Тоже не плохо!

Я достал бутылку из-под хлебного кваса, наполнил ее до самого верха водой, заткнул пробкой и для верности еще хорошенько пристукнул пробку малахитовым пресс-папье с папиного стола.

На дворе был мороз, но еще не достаточно сильный для исполнения моего замысла. Однако я рассчитывал, что к ночи температура понизится. Закат пылал, предвещая трескучий мороз. Вечерняя вьюга намела сугроб перед флигельком, где жила старушка Языкова, внучка известного поэта, друга Пушкина.

Когда стемнело, я прокрался во двор и установил свою бутылку, как орудие, нацелив его в окошко старушки Языковой, где по ледяным узорам изнутри дробились разноцветные огоньки лампадок перед домашним иконостасом. Я рассчитывал — пробка вылетит и попадет прямо в окно старушки Языковой.

Лично я ничего не имел прогив старушки Языковой. Я даже ее любил. Она частенько зазывала меня к себе и угощала халвой и очень вкусным вареньем. Однажды она, узнав, что я сочиняю стихи, подарила мне как будущему поэту на память об ее дедушке Языкове ма-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

ленькую серебряную кофейную ложечку с выгравированной буквой «Я».

Но меня так увлекло желание произвести выстрел из бутылки, что я даже не подумал о том, что могу разбить старушкино окно и до смерти напугать старушку, которая так мирно и одиноко жила — во всем черном, как монашка — среди своих гарднеровских и поповских чашек, портретов, дагерротипов, икон и лампадок.

«...Языков, кто тебе внушил твое посланье удалое? Как ты ша-лишь, и как ты мил»...

Ночью мне снились взрывы бомб, и я видел в своих сновидениях, как пробка с треском и звоном разбивает окно старушки Языковой. Среди ночи я проснулся и подошел босиком по холодному полу к окну, чтобы удостовериться, усилился ли мороз. Замерзшее окно искрилось от ярких январских звезд, и я успокоился: мороз на дворе стоял трескучий.

Утром, закутанный в желтый верблюжий башлык, который щеко-тал ворсом мои губы, по дороге в гимназию я с замиранием сердца подошел к сугробу с бутылкой, направленной в оконце старушки Языковой. Бутылка лежала на своем месте. Из ее горлышка высовывался ледяной стержень замерзшей воды, а пробка валялась рядом в снегу. Ни выстрела, ни взрыва, по-видимому, не произошло. Превращаясь в лед, вода просто бесшумно выдавила пробку, а сама бутылка, набитая льдом, слегка треснула по диагонали.

Вот и все...

С души у меня свалился камень, и я впервые пожалел одинокую добрую старушку. А она, бедненькая, наверное, даже и не подозревала, какая беда готовилась ей ночью, и спокойно, грустно, одиноко пила свой утренний кофе с пенками из поповской ультрамариновой, местами золоченной чашки, расписанной яркими цветами, из которой, быть может, некогда кушал ее знаменитый дедушка.

Футбол.

Забыл имя и фамилию этого великовозрастного гимназиста седьмого класса — кажется, это был старший брат Юрки,— но хорошо помню его наружность: долговязый, узкогрудый, с воспаленными глазами, всегда смотрящими куда-то мимо, вкось, и его слюнявый рот, нагло и в то же время блудливо улыбающийся. Он ходил большей частью без пояса, что строго запрещалось. Когда его спрашивали, где его пояс, он дурашливым голосом отвечал, что забыл его вчера вечером в... Он спокойно произносил это уличное, солдатское слово, от которого мы все заливались до корней волос густым румянцем стыда.

Все внушало в нем страх и отвращение, в особенности фиолетовые прыщи на шее и небольшая серо-розовая сыпь по лбу.

Однажды этот старший гимназист остановил меня на большой перемене в коридоре, по которому я осторожно нес из буфета стакан чая, накрытый плюшкой. Как бы равнодушно глядя мимо меня в окно, он сказал:

— Пссс, хочешь записаться в футбольную команду?

— А что? — спросил я.

— В нашей гимназии,— сказал он,— решено организовать футбольную команду! Имеешь понятие, что такое футбол?

Я ответил, что имею, хотя представление мое было весьма смутно: футбол появился лет двадцать или тридцать назад в Англии и только сейчас начинал входить у нас в моду. Я знал о нем лишь то, что бьют ногами по большому кожаному мячу и существуют особые футбольные команды, как, например, в нашем городе команда ОБАК, то есть Одесского Британского атлетического клуба, составленная из англичан, проживающих в нашем городе. До меня доходили слухи, что там есть какие-то знаменитые игроки Джекобс и Бейт. В особенности прославился Бейт изобретенным им ударом пяткой по мячу через голову, так что этот удар получил название «бейт».

«Он дал знаменитого бейта!»

Некоторые мои товарищи даже побывали на футбольном поле англичан, где-то за Малым Фонтаном, и собственными глазами видели, как быстро бегают Джекобс и как громадный, тяжелый Бейт «дает мяча сзади через голову».

Микроб футбола уже носился в воздухе, и я почувствовал страстное желание сделаться футболистом и давать через голову «бейта». Заметив мое волнение, семиклассник сказал:

— Внесешь полтинник, и я тебя включу в команду.

— У меня нет, — сказал я.

— Принесешь завтра. Я подожду. Скажи родителям, что футбол укрепляет здоровье. На такое дело они дадут.

Семиклассник оказался прав. Папа, который любил поговорку «в здоровом теле здоровый дух» и даже иногда произносил ее по латыни, выдал мне полтинник, выразив при этом лишь опасение, чтобы спорт не слишком отвлек меня от гимназических занятий. Я побожился, что на занятия футбол не отразится, и на другой день вручил полновесный, серебряный полтинник с выпуклым профилем государя императора семикласснику, который деловито сунул его во внутренний боковой карман, где уже позвякивали другие полтинники, собранные в младших классах. При этом семиклассник вынул лист бумаги и к длинному ряду фамилий приписал мою, заметив, что деньги пойдут на покупку кожаного мяча.

— Теперь жди, — сказал он, — скоро я приобрету мяч и тогда вызову всех вас на тренировку.

Я ждал вызова на тренировку довольно долго, но все-таки дождался.

— Придешь сегодня ровно в пять часов на Михайловскую площадь, рядом с циклодромом, против Третьей гимназии. И не забудь захватить с собой футбольный костюм.

Я не имел понятия, что из себя представляет футбольный костюм, но у меня не хватило духу в этом сознаться.

— Тетечка! — закричал я, едва переступив порог квартиры. — Умоляю! Я сегодня иду на футбольную тренировку, и мне обязательно нужен футбольный костюм. Тетечка!

Так как ни я, ни тем более тетя понятия не имели, что такое футбольный костюм, то тетя, обладавшая большим вкусом и практической сметкой, быстро придумала, как меня одеть для элегантной английской игры с таким расчетом, чтобы это было красиво, практично и имело спортивный вид.

Ботинки и брюки остаются прежние, решили мы с тетей, а вместо нижней сорочки и куртки надевается полосатая матросская фуфайка — тельняшка, — имевшаяся в моем гардеробе. Подтяжки были отменены как не имевшие спортивного вида, а вместо них тетя приспособила свой старый широкий пояс из черной резиновой ленты с декадентской двустворчатой пряжкой, который носили

дамы при кофточке и гладкой длинной суконной юбке. Этот пояс, соответственным образом ушитый, должен был поддерживать мои брюки.

Осмотрев себя в зеркало, я нашел, что имею весьма спортивный вид: сразу заметно, что я футболист.

В таком виде я и появился на площадке между Третьей гимназией и циклодромом, откуда слышалась пальба и треск тренирующихся мотоциклистов.

Игра в футбол уже началась. Во всяком случае, тучи пыли, пронизанные послеобеденным солнцем, висели в несколько слоев над площадью и слепили глаза, так что я никак не мог сообразить, что это делается и в чем заключается игра.

Мимо меня туда и назад бегали, лупя ногами большой кожаный мяч, старшеклассники в цветных особых рубашках — как я потом узнал — футболках, коротких штанах, еле закрывающих колени, и в вязаных чулках над особыми футбольными башмаками с твердыми круглыми носками и подошвами на шипах. По-видимому, это и был настоящий футбольный костюм.

Некоторые младшеклассники бегали за мячом в своей обычной гимназической форме, и их черные суконные брюки были до колен покрыты пылью.

Один лишь я стоял посреди поля, чихая от пыли и жмурясь на склоняющееся осеннее солнце, от которого в глазах плавали синие тени.

С трудом я нашел среди этой кутерьмы своего семиклассника и спросил, что же мне делать.

Он косо посмотрел на мой странный костюм и пустил в сторону длинную струю плевка.

— Ты что, шансонетка? — спросил он с похабной улыбочкой.

Затем он сказал, что пока я буду крайним хавбеком, а потом посмотрим, и чтобы я в следующий раз приходил в футбольной форме, а то меня не допустят до игры.

Я хотел расспросить его, в чем заключается игра, что такое хавбек и куда надо бить мяч, но он уже отбежал от меня вихляющей рысью, со старой фуражкой на затылке, со свистком в слюнявом рту: оказывается, как я впоследствии узнал, он был рефери, то есть, как теперь говорят, судья и часто свистел в свой металлический разнотонный свисток, то и дело останавливая игру и делая футболистам непонятные мне замечания.

Иногда возле меня катился мяч, и тогда все вокруг кричали хором:

— Бей! Чего ж ты не бьешь! Мазила!

Но так как я решительно не понимал, куда надо бить, и чувствовал себя как бы связанным в своем несуразном костюме, то все мое двухчасовое пребывание на пустыре в клубах жаркой пыли превратилось в подлинную пытку.

Несколько раз, впрочем, мне удалось ударить по твердому, как камень, мячу, но мяч под общий смех отлетал куда-то в сторону, и носок моего богинка лопнул по шву. Раза два на меня налетали футболисты и сбивали с ног, так что я весь вывалился в пыли и мои черные штаны казались от пыли бархатными, а полосатая тельняшка пропотела под мышками и даже на спине.

На другой день, получив от папы решительный отказ купить мне футбольный костюм, с настоящими футбольными «бутсами» и настоящими футбольными чулками, поверх которых иногда привязывались еще специальные щитки — шингардты, — что все вместе

стоило бешеных денег — рублей восемь! — я поймал на большой перемене семиклассника и попросил его вычеркнуть меня из списка футбольной команды и вернуть мой полтинник.

Из списка семиклассник меня тут же вычеркнул, послунив анилиновый карандаш, оставивший на его губах лиловые пятна, а полтинник, косо глядя мимо меня куда-то вдаль воспаленными узкими глазами, обещал вернуть на днях.

Сказав это, он удалился своей развинченной походкой, без пояса, который он опять где-то вчера забыл. Нечего и говорить, что своего полтинника я так никогда и не получил, а от первой моей игры в футбол на всю жизнь сохранилось впечатление густых, многослойных клубов сентябрьской пыли, сквозь которые горело над крышами Французского бульвара жаркое, лучистое, нестерпимо оранжевое солнце.

Мы тогда еще не знали, что в футбол надо играть на зеленом лугу; даже английские футболисты из клуба ОБАК играли где-то в районе Малого Фонтана на пыльной площадке, лишенной растительности. В нашем городе вообще плохо росла трава и уже в конце весны выгорала.

Больше всего в этой игре мне понравилось, как надувают толстый кожаный мяч. Его надували велосипедной помпой, и упругие звуки надувания волновали меня. А потом надутый мяч, который крепко пах хорошей английской кожей, зашнуровывали тонким ремешком, как ботинок, и он особенно звенел от удара ногой.

А в общем, футболиста из меня не вышло.

Соперник.

Все было хорошо, но как только на улице появлялся Стасик Сологуб, все делалось плохо. Девочки переставали обращать на нас внимание, игра в перебежку между стволами акаций сама собой прекращалась и центром внимания делался Стасик. Он обычно выезжал из своего переулка на новеньком велосипеде марки «Дукс», ценой в сто десять рублей, и сперва несколько раз проезжал перед нами, снисходительно улыбаясь девочкам, которые млели при виде его молодеватой посадки, его диагональных брюк со штрипками, работы хорошего портного, его твердого белоснежного воротничка с отогнутыми уголками и форменной фуражки с лакированным ремешком, который он для большего фасона натягивал на свой красивый подбородок. Он был старше нас всех, уже настоящий молодой человек, восьмиклассник с довольно заметными бачками, с едва-едва прорастающими усиками, которые так шли к его смугловато-оливковому лицу и синим глазам доброго красавца.

Как только он слезал со своего звенящего велосипеда и небрежно прислонял его к стволу дерева, все мы, мальчики, как бы переставали существовать в глазах девочек. Девочки так и льнули к Стасику. А он как ни в чем не бывало вынимал из серебряного портсигара папироску, вставлял в алый ротик, зажигал и пускал голубые кольца дыма из ноздрей своего римского носа, под бровями, сросшимися на переносице, как у одного из героев «Кво вадис» Сенкевича, некоего красавца Виниция.

Явный успех Стасика у наших девочек причинял мне страдания, так как в это время я был тайно влюблен в кудрявую итальянку Джульетту с черно-виноградными глазами, жившую рядом с нами в доме Фесенко.

Джульетта не была лучше всех наших девочек, но она была итальянка, дочь агента пароходного общества «Ллойд Триestino», да еще

к тому же носила божественное имя Джульетта, так что не влюбиться в нее с первого взгляда было выше моих сил. Она была года на два старше меня и относилась ко мне хотя и чуть-чуть свысока, но вполне дружески, примерно так, как к своему младшему брату Петрику. Однако в моих глазах это почему-то представлялось чуть ли не влюбленностью.

Во всяком случае, на вопрос гимназических товарищей, почему я такой кислый, я имел обыкновение загадочно отвечать с подавленным вздохом:

— Ах, не будем об этом говорить... Ее зовут Джульетта — и больше ни звука!..

При появлении Стасика Джулька переставала меня замечать и время от времени, глядя на Стасика, то вспыхивала, как роза, то белела, как лилия.

Надо отдать Стасику справедливость: он очень мало интересовался девочками, в том числе и Джулькой. Больше всего его занимала его собственная внешность, ремешок на породистом подбородке, подрастающие усики, напоминающие пока черные реснички, а главным образом езда на велосипеде, на котором он без усталости объезжал все четыре улицы Отрады, такие тихие и такие тенистые. К нам, мальчикам, он относился довольно хорошо и даже изредка позволял прокатиться на своем «Дуксе» с педальным тормозом.

И все же, видя, как «моя Джульетта» нежно смотрит на Стасика, я бесился от ревности. Мою душонку охватывала жажда самого ужасного мщения. Мои чувства разделял мальчик-гимназист по кличке Здрайка — не помню его фамилии. Это именно Здрайке пришла в голову мысль, как отомстить Стасику и сбить с него фасон.

Прежде всего для этого, как всегда, требовались деньги. Мы сложились со Здрайкой и приобрели в мелочной лавочке Коротынского предметы, необходимые для выполнения нашего адского плана. Были куплены: коробка шикарных папирос «Зефир» фабрики «Лаферм» и за три копейки шутихи. Мы высыпали из одной папиросы табак и вместо него насыпали в гильзу порох из шутихи, а сверху, чтобы не было ничего заметно, заделали гильзу табаком.

На другой день, сгорая от нетерпения и страха, мы дождались, когда наконец на своем «Дуксе» приехал Стасик, а потом Здрайка протянул ему голубую коробочку «Зефира» и неестественно правдоподобным голосом сказал:

— Угощайся.

— Мерси,— ответил прекрасно воспитанный и вежливый Стасик.

Тогда я ловко вынул из коробочки набитую порохом папиросу — на вид такую невинную — и подал ее Стасику.

Стасик еще раз сказал «мерси» — на этот раз уже мне,— сунул папироску в рот, сел на велосипед, закурил от спички, которую ему предупредительно сунул Здрайка, и, в третий раз сказав «мерси», оттолкнулся от акации, заработал педалями и, ловко выпуская из ноздрей длинные ленты дыма, помчался по улице; как раз в тот момент, когда он поворачивал с Отрадной на Морскую, из его папиросы с треском вырвался язык разноцветного, преимущественно зеленого, пламени и посыпался золотой дождь.

Мы со Здрайкой похолодели. Мы были уверены, что Стасик сию минуту свалится с велосипеда, уткнувшись в мостовую обгоревшим лицом. Мы уже пожалели о своей выдумке, поняли всю ее мерзость. Позднее раскаяние охватило нас. Мы готовы были броситься к нашему врагу на помощь. Но чем мы могли ему помочь?

К нашему удивлению, Стасик не только не свалился с велосипеда, но, выплюнув дымящийся мундштук папиросы, продолжал как ни в чем не бывало крутить ногами, затем скрылся из глаз и вскоре подъехал к нам с другой стороны, щегольски сложив на груди свои аристократические руки в белоснежных манжетах с серебряными запонками.

Бежать? Эта мысль одновременно пришла и мне и Здрайке. Но так же одновременно мы поняли, что этим постыдным бегством мы бы навсегда потеряли уважение девочек. Мы решили драться со Стасиком до последнего дыхания.

Однако Стасик, по-видимому, и не думал о мести. Доехав до ближайшей акации, он притормозил велосипед и, не слезая с седла, облокотился о серый, потрескавшийся вдоль ствол дерева, увешанного душистыми гроздьями белых цветов. Он милостиво нам улыбнулся и полез в карман за платком, чтобы вытереть коготь, покрывавшую его римский нос. Других изъянов от нашего взрыва он не получил.

...Его небольшой полупрозрачный батистовый носовой платочек имел на уголке вышитую гладью маленькую графскую корону...

Жалко было пачкать такой платок!

Тогда к Стасику подбежала «моя» Джульетта с красной ленточкой в черных кудрявых волосах и, покраснев как маков цвет, поклонилась своей кружевной платочек и, приподнявшись на носках, вытерла римский нос Стасика.

— Мерси,— сказал Стасик, закуривая папиросу из своего серебряного портсигара с золотыми монограммами, а затем в виде благодарности посадил итальяночку на раму своего «Дукса» и сделал с ней по Отраде два или даже три круга.

У меня — да не только у меня одного, но и у нас у всех, мальчиков и девочек,— сложилось такое впечатление, что во время этой поездки при бледном свете большой зеркальной луны, уже успевшей подняться из моря, Стасик и Джулька целовались.

Роковое клеймо.

Приближалось столетие со дня Отечественной войны 1812 года и победы России над дванадцатью языками. «Языками» назывались народы, а «дванадцать» значило, что их было двадцать, а не двенадцать, как думали люди, не знавшие церковнославянского языка.

Сто лет назад русские войска победили великого Наполеона, занявшего было первопрестольную Москву, и лютой зимой изгнали из пределов нашего отечества дванадцать языков — союзников Наполеона, — а сам Наполеон, позорно бросив остатки своей разгромленной, голодной, замерзающей армии, на легких саночках укатил по Смоленскому шоссе обратно в Париж.

В нашем городе готовились патриотические вечера, спектакли, концерты, лекции, военный парад на Куликовом поле.

Нечто подобное было уже три года назад, когда праздновалась победа над шведами под Полтавой и на Куликовом поле был установлен громадный бюст Петра Великого в треуголке, сделанный из дерева. Мимо него под звуки преображенского марша прошла стрелковая «железная бригада» и модлинский полк, а затем, расходясь по казармам, солдаты пели молодецкую песню: «Дело было под Полтавой, дело славное, друзья, мы дрались там со шведом под знаменами Петра».

Звуки этой песни, где также говорилось, что «наш великий император — память вечная ему! — сам командовал войсками, сам и пушки заряжал», грозно и четко, с присвистом разносились по городу, вселяя гордость за нашу непобедимую отчизну.

Не помню, был ли у нас тогда в гимназии какой-нибудь торжественный вечер, посвященный этому событию. Вероятнее всего — нет, так как празднование происходило летом, когда гимназия была распущена на каникулы.

Теперь же, зимой, предстояло торжественное литературно-художественное утро, посвященное победе над Наполеоном; директор произнесет вступительную речь, учитель истории прочтет реферат о великом всемирно-историческом значении событий 1812 года, хор гимназистов исполнит национальный гимн, а также известную патриотическую песню: «Раздайтесь, напевы победы. Пусть русское сердце вздрогнет. Припомним, как билися деда в великий Двенадцатый год».

Больше всего меня волновало, что предполагаются выступления наиболее одаренных гимназистов-декламаторов, которые прочтут подходящие к случаю стихотворения. Я был очень высокого мнения о своих артистических способностях, в особенности после того, как в подвале дома Женьки Дубастого, где мы устроили театр, я с гневными жестами и завываниями прочитал единственный хорошо мне известный монолог Чацкого из «Горе от ума», причем дойдя до конца и злобно выкрикнув знаменитую фразу: «Карету мне, карету!» — затопал ногами и ринулся за сцену, зацепившись за веревку от занавеса, так что занавес сорвался с проволоки, накрыл меня и я потом из него еле выпутался и целую неделю говорил шепотом, так как надорвал себе голосовые связки.

Теперь я ни минуты не сомневался, что меня включат в программу патриотического утра, и уже заранее предвкушал свой триумф. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что в списке будущих декламаторов моя фамилия отсутствует. Раз десять перечел я короткий список, напечатанный на пишущей машинке в гимназической канцелярии и прикрепленный кнопками к дверям учительской. Каждый раз отсутствие моей фамилии казалось мне обманом зрения, и я снова и снова перечитывал список.

...увы, моей фамилии не было!..

Я разыскал в коридоре нашего классного наставника, латиниста, поляка Сигизмунда Цезаревича, которому была дана странная, ни на что не похожая, глупейшая кличка Сизик, и дрожащим, подхалимским голосом пожаловался, что меня пропустили в списке выступающих.

Сизик благосклонно выслушал мои жалобы и, погладив белой рукой с тонким обручальным кольцом каштановый ежик волос на голове и острую мушкетерскую бородку, произнес какую-то нравоучительную латинскую поговорку, имевшую тот смысл, что, мол, всяк сверчок знай свой шесток, прибавив уже по-русски, но с польским акцентом, что при моих тихих успехах и громком поведении вряд ли я могу рассчитывать на честь участвовать в патриотическом утра.

Я чуть не заплакал от обиды, но, шаркнув ногами и отвесив Сизику положенный по гимназическим правилам поклон, поплелся в уборную и заперся там в кабине, вытирая кулаком слезы, уже катившиеся по моим щекам. Затем меня охватила жажда деятельности. Я стал придумывать, как бы помочь горю. В конце концов мне

пришла идея сочинить патриотическое стихотворение, и уж тогда наверное мне разрешат выступить на утре.

Дома я принялся за дело, и к вечеру стихотворение было готово. Оно начиналось так:

...«когда на русскую границу шестисоттысячную рать Наполеон великий двинул и цепью грозною раскинул, не стал уж русский отступать»...

Затем я срифмовал все то немногое, что знал о войне Двенадцатого года, упомянул Кутузова, Багратиона, партизан Дениса Давыдова и Сеславина, деликатно умолчал о захваченной неприятелем Москве — хотя этого, собственно, и не требовалось — и закончил свою оду весьма мажорно и назидательно:

«...Война недолго продолжалась. В России скоро не осталось ни одного врага, и вот — вздохнул свободнее народ. Настали святки. Все ликуют. Несется колокольный звон. Победу русский торжествует. Погиб, погиб Наполеон... Пока в России дух народный огнем пылающим горит, ее никто не победит!»

Это был замечательный афористический конец, и я понимал, что педагогический совет не рискнет отвергнуть столь патриотическое творение.

Постаравшись переписать стихотворение как можно красивее и без орфографических ошибок, я отправился к Сизику, который, прочитав мою рукопись, подозрительно спросил, сам ли я сочинил это стихотворение и не скатал ли я его из какого-нибудь журнала или календаря. Я поклялся, что сочинил сам, и зарделся от авторской гордости!

— Прекрасно, — сказал Сизик, многозначительно наморщив свой лоб мыслителя. — Поздравляю. У тебя есть настоящее патриотическое чувство. Это похвально. Я доложу об этом на педагогическом совете. Ступай и надейся. *Dixi*, — закончил он этим латинским словом.

Короче говоря, меня включили в список, а в программе даже было написано: «Прочтет стихотворение «1812 год» собственного сочинения».

Литературно-художественное утро, где я читал свое произведение, почти совсем выветрилось из памяти. Помню холодный актовый зал с высокими закругленными окнами, за которыми все время летели облака мелкого, сухого снега и с улицы доносился музыкальный шорох крупных бубенцов на хомутах извозчичьих лошадей, бесшумно волочивших за собой по рыхлому снегу легкие санки.

Помню два громадных, во весь рост портрета масляными красками русских императоров, одного — в то время царствовавшего Николая II в горностаевой мантии, со скипетром и державой в руках и короной на бархатной подушечке, на золоченом столике, и другого — Александра I благословенного, победителя Наполеона, в черной треуголке с белым плюмажем и длинными тонкими ногами в высоких, выше колен, ботфортах, с подзорной трубкой в руке, на батальном фоне, под сенью военно-полевого, романтического дуба.

Помню строгие лица директора, инспектора, архиерея, законоучителя в парадной шелковой рясе с отогнутыми рукавами и какого-то генерала в первом ряду с анненской лентой через плечо, все — с узкими программками в руках, а за ними всех прочих зрителей, рассаженных в строгом порядке, но слившихся для меня в одно многоликое целое.

Перед моим выступлением только что закончилась длинная скучная речь учителя истории, который, сидя за особым столиком, жуя

губами, читал ее по изящно переплетенной тетрадке, то и дело откашливаясь, вытирая вспотевший лоб свежевыглаженным носовым платком.

Я чувствовал вокруг себя леденящее молчание полусонных слушателей.

На мне был парадный мундир, подаренный мне старушкой Языковой на память об ее недавно умершем от чахотки единственном, нежно любимом внуке, и я чувствовал себя в этом великоватом и длинноватом мундире покойного мальчика не совсем ловко, хотя в глубине души и представлял себя Пушкиным-лицеистом на экзамене Царскосельского лицея, именно таким, каким он был изображен на знаменитой картине Репина.

С пылким выражением и небольшими заминками, быстро и отчетливо, делая иногда энергичные жесты руками, ледяными от волнения, я отбарабанил свое стихотворение, ничего вокруг не видя, кроме своего отражения в медово-зеркальном паркете актового зала, а дойдя до знаменитых строчек, на которые возлагал все свои надежды — «пока в России дух народный огнем пылающим горит, ее никто не победит!», — я выбросил вперед руку со сжатым кулаком и топнул ногой с такой силой, что директор, сидящий передо мной со своей седой львиной гривой, вдруг проснулся и шарахнулся в сторону, как будто бы я его хотел ударить по уху.

Я рассчитывал на бурные аплодисменты, но они оказались совсем жиденькие, а если говорить правду, никто не аплодировал, кроме моего закадычного друга Бори, который хлопал, не жалея ладоней, желая возбудить овацию, но у него из этого ничего не вышло, и я удалился на свое место с вспотевшей шеей, красный как бурак, понимая, что провалился.

К чувству провала понемногу стал примешиваться стыд, что я осмелился выступить публично со своими жалкими, ремесленными стишками, в то время как перед публикой выходили другие участники патриотического утра, серьезные гимназисты, читавшие «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром...» Лермонтова, «Неман» Тютчева, «Волк на псарне» Крылова и, наконец, чудное стихотворение Майкова: «Ветер гонит от востока с воем снежные метели... дикой песнью злая вьюга заливаается в пустыне...»

Ах, каким ничтожным я себя чувствовал в недоброе-лательно-холодном белом актовом зале, освещенном голубоватым светом зимнего утра, в особенности когда товарищи, сидящие рядом со мной на поскрипывающих венских стульях, покровительственно шептали мне, желая утешить:

— Главное, не дрейфь! В другой раз выйдет лучше.

Но самое главное, что во мне как-то совсем незаметно рассеялась вся военно-патриотическая бутафория царской России, до сих пор владевшая моим незрелым воображением, и в душе рождалось уже настоящее представление о войне.

Дома я долго стоял перед окном и смотрел на мелкий снег, который со вчерашнего дня продолжала нести вьюга откуда-то из просторов нашего необъятного отечества, с востока, из-за Урала, из Сибири, с Байкала...

...«Ветер гонит от востока с воем снежные метели,— повторял я все время про себя, безостановочно, монотонно,— дикой песнью злая вьюга заливаается в пустыне...»

Тучи мелкого снега все время неслись и неслись в утомительно белом небе... Я упивался тоской этой дивной стихотворной музыки.

И еще в моей душе звучали чудные, страшные в своей пророческой силе тютчевские строки: «...несметно было их число — и в этом бесконечном строе едва ль десятое чело клеймо минуло роковое»...

Я смотрел, все смотрел, смотрел до синевы в глазах с четвертого этажа нового кооперативного дома, куда мы недавно переехали, на непрерывно стригущий снег и чувствовал ужас от чего-то незаметно надвигающегося на нашу землю, на всех нас, на папу, тетю, Женю, меня, и я молил бога, в которого тогда еще так наивно, по-детски верил, чтобы мое «чело клеймо минуло роковое».

И он услышал меня.

Лотерея-аллегри.

Папа с раздражением говорил, что все эти лотереи-аллегри — одно сплошное жульничество, жалкая игра в филантропию, глупейшие затеи богатых дам, которые бесятся с жиру, а когда ему доказывали, что это делается в пользу вдов и сирот, кипятился и называл это пародией на благотворительность и что для того, чтобы сделать доброе дело и помочь своим ближним, вовсе не надо нанимать шикарное помещение Биржи, вывешивать национальные флаги и устраивать там настоящий балаган, рассчитанный на самые низменные инстинкты невежественной черни: надежду выиграть за двугривенный вещь, которая стоит сто рублей. Папа был убежденный толстовец, хотя вегетарианства тоже не признавал.

Чем больше он кипятился, не жалея красок, чтобы описать омерзительное, безнравственное зрелище лотереи-аллегри, тем больше мне хотелось туда попасть — авось я выиграю за двугривенный сто рублей! — и я так горячо умолял папочку повести меня в Биржу на лотерею-аллегри, что папа наконец согласился.

Я подозревал, что в глубине души папе самому хотелось побывать на лотереи-аллегри, попробовать счастья и, может быть, выиграть за двадцать копеек какую-нибудь дорогую вещь: рояль или корову. Но, разумеется, он это тщательно скрывал, и при упоминании о лотереи-аллегри у него на лице появлялась брезгливая улыбка.

Здание городской Биржи считалось одним из достопримечательностей города и стояло в ряду других достопримечательностей: памятника дюку де Ришелье, пушки с английского фрегата «Тигр», установленной против городской думы, городского театра, знаменитой лестницы, ведущей с Николаевского бульвара в порт, и фуникулера рядом с этой лестницей.

Биржа являлась довольно бездарным подражанием венецианскому Дворцу дождей — с витыми колонками посреди гигантских окон, с цветными витражами, желтыми кирпичными стенами, гранитным фундаментом и мраморной лестницей которая прямо с улицы вела в колоссальные двухэтажные мраморные сени.

Обледеневшие тротуары возле Биржи были посыпаны желтым песком, на выбеленных флажтоках развевались на морском морозном ветру яркие трехцветные флаги, внизу у мраморных столбиков лестницы мерзли городовые в белых перчатках из чертовой кожи и многочисленные извозчики. В ожидании седоков они ходили вокруг своих заиндеветших косматых лошадок и согревались, хлопая себя рукавицами по плечам, по бокам и даже накрест, доставая до спины. На углу горели дрова уличного костра, возле которого грелись извозчики, городовые и сыщики в партикулярном платье.

Мы с папой поднялись по белой зашарканной мраморной лестнице и очутились в двухсветном зале, казавшемся при блеске буднего зимнего дня скучным, как большой вокзал. Пол был на четверть аршина засыпан опилками, скрадывавшими звуки шагов; люди почему-то разговаривали шепотом, как в церкви. Вообще, все это совсем не походило на праздничный, бальный зал, как я себе представлял. По углам стояли киоски, где продавались лотерейные билеты, а рядом с ними возвышались выставки выигрышей, расставленных на красных, кумачовых полках, идущих широкими лестницами от пола до самого лепного потолка, так что, например, расставленные на самой верхней полке самовары, гармоники и балалайки, казались совсем маленькими, игрушечными.

Снимать верхнюю одежду здесь не полагалось, и посетители толпились возле выставки выигрышей в зимних пальто и глубоких калошах, сняв лишь шапки из уважения к благотворительной цели этого предприятия.

Мы с папой долго стояли, рассматривая выигрыши, как бы решая, какую бы вещь подороже нам выиграть. Хорошо было бы, например, выиграть большие стоячие часы с боем и медным маятником, который ходил в своем стеклянном ящике, как полная луна, или нарядную лампу на высокой мраморной колонке, с кружевным абажуром, похожим на дамский нарядный чепчик,—превосходную лампу, которая так украсит нашу скромную квартиру. Я высказал папе мысль насчет выигрыша лампы на зеленой, как морская вода, «айвазовской» мраморной колонке, но папа отверг мое предложение, фыркнув в ответ нечто презрительное насчет моего мещанского вкуса. Со своей стороны, папа высказал мнение, что недурно было бы выиграть дубовый книжный шкаф, стоявший в стороне на особом помосте. Тут же мы заметили целый столовый гарнитур из светло-зеленого, крашеного дерева с декадентским, довольно уродливым буфетом и чрезмерно высокими и даже на вид неудобными стульями, при виде которых папа, будучи убежденным классиком, реалистом в искусстве, презрительно хмыкнул; я же про себя подумал, что не худо было бы выиграть также эту декадентскую зеленую мебель и заменить ею наш скучный буфет рыночной работы и венские потертые стулья с плетеными сиденьями, кое-где уже дырявыми.

Чего здесь только не было, на этой лотерее-аллегри! Ковры, кузнецовские столовые сервизы, хрустальные графины, шелковые драпри, ящики с ножами, вилками и ложками белого металла Фраже, музыкальные инструменты, в том числе также на отдельном помосте кабинетный рояль розового дерева — верх роскоши, которую только я мог вообразить. Не говорю уже о картинах, написанных масляными красками, в золоченых рамах, о серебряных подносах и кустарных вологодских вышивках и кружевах.

Общее внимание привлекала не очень красивая и даже не очень большая, а так себе, средняя, китайская ваза с драконами — августейший дар вдовствующей императрицы Марии Федоровны. С благоговением и тайной надеждой выиграть августейший дар проходили посетители мимо фарфоровой вазы, которую охранял городской в парадной форме, время от времени монотонно повторяя:

— Господа, прошу вас, держитесь осторожно, это вам не что-нибудь!

Было еще множество разных дорогих вещей. Огромная говорящая кукла Нелли со всем приданым в нарядной коробке, несколько велосипедов, садовые разноцветные зонтики, плетеная дачная мебель,— всего не запомнишь! И все это говорило моему воображению

о существовании какой-то богатой, шикарной жизни, по сравнению с которой наша жизнь казалась совсем бедной, почти нищенской.

Разыгрывалась также корова, но ее в зале не было: только крупная печатная надпись гласила, что под номером таким-то разыгрывается корова Зорька симментальской породы и кто ее выиграет, если захочет, может получить вместо нее сто рублей наличными деньгами.

— Недурно было бы выиграть также и корову, — проговорил папа с улыбкой, — но, разумеется, не брать ее, а получить сто рублей.

Заметив мой взгляд, папа перевел все это в шутку, прибавив, что все это одно сплошное надувательство.

Однако наступало время приступить к самой игре. Папа еще дома твердо заявил, что выигрышных билетов покупать ни в коем случае не будем, а только посмотрим и уйдем домой. Но тут оказалась одна загвоздка. Входные билеты, которые папа приобрел в кассе по рублю с человека, давали право на каждого человека получить бесплатно пять билетов лотереи-аллегри. Не упустить же такой возможности!

Мы с папой подошли к шестигранному стеклянному ящику, где пересыпались свернутые в трубки билеты, и дама-патронесса в боа из птичьих перьев на морщинистой шее покрутила шестигранник, и мы с папой через особое окошечко в этом шестиграннике вытащили каждый по пять трубочек. Мы отошли в сторону и затаив дыхание, чтобы «не спугнуть счастья», стали разворачивать билетики, снимая с них тугие аптекарские резиночки.

Я развернул первый билет и увидел на нем большую круглую печать благотворительного общества.

— Папочка! — закричал я в восторге на всю лотерею-аллегри. — Смотри! У меня печать! Я выиграл!

Папа надел пенсне, посмотрел на мой билетик с круглой лиловой печатью и коротко сказал:

— Аллегри.

— А что такое аллегри? — спросил я, чуя недоброе.

— Аллегри значит, что билет не выиграл. Пустой. Можешь его выбросить.

Мне было жалко выбрасывать билет с такой внушительной печатью, но все же я его выбросил на пол, покрытый опилками, где уже валялось множество таких же билетиков-аллегри. Но, конечно, резиночку от билета спрятал в карман: пригодится.

Мы стали с папой спешно разворачивать наши билетики. Все они оказались аллегри, и только на последнем развернутом мною рядом с круглой лиловой печатью было чисто напечатано черной краской какое-то длинное, шестизначное число.

Я почувствовал, что сердце у меня сжалось от радости и надежды, как будто бы я вытаскиваю из моря попавшего на крючок бычка.

— Молодец, вот теперь ты действительно выиграл, — сказал папа, и мы быстро пошли получать выигрыш.

Франтоватый молодой человек с усиками взял мой билетик, порылся в каких-то списках и торжественно объявил:

— Номер шесть, шесть, шесть, шесть, шесть, семьдесят два — хрустальный стакан баккара для минеральной воды.

С этими словами он полез под прилавок и вручил мне небольшой сверточек с наклеенным на нем большим номером 666872.

— Поздравляю вас с выигрышем, — сказал молодой человек.

Я спешно развернул, разрывая от нетерпения, хрустящую обер-

точную бумагу и увидел небольшой плоский, граненный по краям стеклянный стаканчик из числа тех, какие употребляются на курортах для питья минеральной воды.

Сначала я почувствовал такое разочарование, что готов был заплакать: так много надежд — и такой жалкий результат. Впрочем, нет, стаканчик-то ведь был не простой, а хрустальный, баккара.

— Папочка, что такое баккара? — спросил я.

— Это особым образом приготовленное стекло с небольшой примесью серебра, — ответил папа.

Папины слова привели меня в восторг: хрусталь, баккара, примесь серебра! Не у каждого мальчика есть такой драгоценный стаканчик. Небось он дорогой: рублей сто стоит в магазине!

— А вообще-то Баккара — это город во Франции, где изготавливают стеклянные предметы вроде этого стаканчика, — сказал папа.

— Ура! — закричал я в восторге оттого, что мой стаканчик имеет такое шикарное происхождение.

...Итак, наша программа была выполнена, и пришло время отправляться домой. Но как покинуть зал, наполненный столь драгоценными выигрышами!..

— Папочка, папа, — умоляюще сказал я, дергая папу за рукав драпового пальто, — давай еще купим хоть по одному билету!

Я был уверен, что папа проявит непреклонность, но он, несколько помявшись и подергав шеей, сказал, что так и быть, кутить так уж кутить, купим еще на рубль пяток билетов, авось нам повезет.

На папином лице играл румянец, и я готов был поклясться, что в глубине души папа такой же азартный человек, как и я, только скрывает.

Пять билетиков, все как один, оказались аллегри, и мы их бросили на опилки.

Свет померк в моих глазах.

— Эх, была не была! — вдруг воскликнул папа. — Рискнем еще один разок — и баста.

Папа заплатил рубль, и я вытащил из стеклянного шестигранника пять бумажных трубочек. Один из билетиков оказался с номером 003224.

— Выигрыш номер ноль, ноль, три, двести двадцать четыре, — провозгласил молодой человек и заглянул в списки: — Десять фунтов пиленого сахара завода Бродского. — И выложил на прилавок довольно большой синий пакет.

В первый миг этот выигрыш показался нам с папой грандиозным. Десять фунтов сахара. Четверть пуда. Целое состояние! Да еще плюс стакан баккара с примесью серебра, ценою по крайней мере в пять рублей: Я попытался уговорить папу купить еще пять билетов, чтобы выиграть что-нибудь действительно очень дорогое: корову, столовый гарнитур, китайскую вазу — августейший подарок вдовствующей императрицы.

Но на этот раз папа наотрез отказался.

— Мы, брат, и так проигрались в пух и в прах, — сказал он, и мы вышли на улицу, где уже заметно вечерело.

...Мороз, как говорится, крепчал...

Костры на углах были охвачены густым дымом, сквозь который еле виднелись раскаленные докрасна полосатые трескучие дрова. Папа имел вид проигравшегося картежника, которому уже море по колено. На вопрос одного из извозчиков, не желает ли господин про-

катиться на резвой, папа бесшабашно согласился, даже не слишком торгуясь, за сорок копеек, хотя обычно конец на извозчике стоил самое большее тридцать; мы уселись в тесные саночки, усталые в ногах пахучим зимним сеном, положили туда пакет пиленого сахара фабрики Бродского, извозчик, обернувшись с облучка, застегнул нас жиденькой, траченной молью суконной полостью, скупой обшитой узкой полоской медвежьего меха, и мы поехали по середине до ледяного блеска накатанной снежной улицы, ныряя с горки на горку, причем извозчик, от которого сладковато пахло на морозе водочкой, то и дело поворачивал к нам с облучка свое бородатое лицо с красным носом дед-мороза и приговаривал:

— С горки на горку, барин дает на водку...

Папа отмалчивался на эти намеки, подсчитывая в уме убытки: четыре рубля билеты да сорок копеек извозчик — итого четыре сорока, а выигрыши стоили всего-навсего, по папиным подсчетам, один рубль шестьдесят копеек: рубль двадцать — десять фунтов пиленого сахара да сорок копеек стаканчик баккара.

— Откуда ты знаешь, что баккара стоит всего сорок копеек? — спросил я папу. — В нем же, наверное, одного серебра на три рубля, не меньше?

— На доньшке стакана этикетка с ценой: сорок копеек, — с грустью ответил папа.

...а над невысокими домами, в бледно-розовом морозном небе, среди столбов голубого, синего и лилового дыма, поднимающихся из труб, перед нами уже начинала светиться полная луна, холодная и яркая, как серебряный полтинник.

Примечание.

Я наврал, описывая, как в самый решающий момент гонки, перед самым финишем, Уточкин прервал гонку и покинул трек для того, чтобы наказать пересыпского мальчишку, крикнувшему сверху:

— Рыжий!

На самом деле это произошло уже после финиша, когда Уточкин пришел первым и делал круг почета. Так что судьям не надо было назначать дополнительное время.

Я поддался искушению драматизировать свой рассказ и отклонился от истины. Все же остальное более или менее соответствует истине. Приношу читателям свои извинения.

Шестигранный брикет.

Каждый год поздней осенью папа отправлялся на станцию Одесса-Товарная закупать на всю зиму дрова. Это было, конечно, тогда, когда мы еще жили в доме с печами.

Как я ни просился, папа никогда не брал меня с собой. Он говорил, что я еще слишком мал, а по дороге на станцию Одесса-Товарная «очень сильное движение», что представляет для маленького мальчика большую опасность.

Поездка за дровами казалась мне далеким путешествием в неизвестную, почти таинственную, сказочную страну, носящую название Станция Одесса-Товарная: с одной стороны, это несомненно была Одесса, хорошо знакомый мне город, в котором я родился и жил на Базарной улице, но, с другой стороны, это была также и Станция, то есть нечто связанное с железнодорожным сообщением, с паровозами, вагонами, стрелками, мигающими семафорами, носильщиками и

обер-кондукторами, у которых на кожаном поясе висели два кожаных футляра, откуда высовывались деревянные грушевидные рукоятки сигнальных флажков — красного и зеленого, — а так как станция называлась Товарной, то к этому примешивалось представление о множестве каких-то самых разнообразных товаров в виде мешков, ящичков, рогожных тюков, окантованных железными полосами.

Населяли эту страну не похожие на нас люди, которые, между прочим, торговали дровами.

Откуда эти дрова берутся, где они хранятся, как их покупают, взвешивают, грузят, как их, наконец, доставляют на наш двор к дровяному сараю? Все эти вопросы тревожили меня, вызывая такое любопытство, что я, обливаясь слезами, умолял:

— Ну папочка! Ну что тебе стоит! Ну пожалуйста! Ну я тебя очень прошу, возьми меня с собой за дровами на станцию Одесса-Товарная. Даю слово, что я буду себя хорошо вести и слушаться.

Но отец упрямо повторял все одну и ту же фразу о «сильном движении», так что я, в конце концов, стал представлять себе длинную мощеную улицу, по которой вскачь несутся ломовики, обгоняя друг друга, сшибая с ног пешеходов и разбивая вдребезги легковых извозчиков, везущих на станцию Одесса-Товарная покупателей дров.

...Все это было ужасно!..

Но вот однажды, когда я немного подрос, — уже после смерти мамы — однажды папа взял меня с собой за дровами.

Мы долго ехали на извозчике по окраинам города, мимо совсем маленьких одноэтажных домиков, выбеленных мелом, как деревенские хаты-мазанки, по широким, нескончаемо длинным, плохо вымощенным улицам, покрытым холодной ноябрьской пылью и кое-где сеном, упавшим с проезжавших здесь возов. В кузницах, мимо которых мы проезжали, в открытых дверях, как в черных пещерах, горел оранжевый огонь, светилось малиновым цветом раскаленное железо, слышался звон молота по наковальне и визгливое ржание лошадей, которых подковывали кузнецы в брезентовых фартуках.

Во всем этом не было ничего особенно интересного, а сильного движения я и вовсе не заметил.

Приближаясь к Одессе-Товарной, я увидел все чаще и чаще падающие склады овса и сена, а потом я увидел склад с длинной живописной вывеской, целой картиной, где были разными красками написаны зимний лес, симметричные ели с черными стволами, покрытые белым снегом, а в лесу по дороге во весь дух мчится тройка борзых лошадей, запряженная в треугольные розвальни, нагруженные какими-то странными угольно-бурыми шестигранниками, из которых один выпал из несущихся дровней и отчетливо чернел на взбитом бело-голубом снегу дороги.

На облучке нарисованных дровней сидел ящик в красном кушаке, изо всей мочи стегавший свою тройку, а на фоне густого, как синька ясного неба, среди елей было написано печатными, газетными буквами:

«Торговля углем и брикетами».

...ага, значит, эти бурые шестигранники есть не что иное как брикеты. Но что такое брикеты? На мой вопрос папа объяснил, что брикеты — это топливо; они прессуются из угольной и торфяной пыли, а затем продаются в виде шестигранников. Не знаю почему, но мое воображение сильно затронул зимний пейзаж с черным брикетом, лежащим на белом снегу.

Покупка дров не представила особенного интереса, и всю обратную дорогу, которую мы совершили все на том же извозчике, но только очень нудно и медленно, сопровождая возы с купленными дубовыми дровами, я все время думал о брикетах, которые так красиво прессуют из каменноугольной и торфяной пыли в виде шестигранников. Для меня существование такого рода топлива было ново. Самое же главное заключалось в том, что я уже когда-то слышал слово «брикет», но где, когда, при каких обстоятельствах — никак не мог припомнить. Несомненно, я уже когда-то испытал чувство, похожее на удивление, при виде этого красивого странного предмета — черного шестигранника. Его цвет и форма уже когда-то запечатлелись в моем восприимчивом детском мозгу. Я это наверное знал.

...но где, когда, при каких обстоятельствах?..

Когда возы с дровами въехали во двор, и дрова со звонким, сухим стуком посыпались возле сарая, и в очень холодном, почти зимнем воздухе запахло их ядреным кисловатым запахом, и они запрыгали друг по другу, покрытые красивыми серебристыми лишаями, как бы предсказывающими близкую зиму и полет легких снежинок из темных декабрьских туч, меня осенило.

Брикеты были связаны каким-то образом с покойным папиным братом Мишей, дядей Мишей, человеком странной судьбы; он окончил физико-математический факультет Новороссийского университета по математическому отделению с золотой медалью, защитив диссертацию — вычисление орбиты кометы не помню какого-то года, — но при университете не остался, а по непонятным соображениям пошел на военную службу в артиллерийскую бригаду, расквартированную в городе Николаеве. Кажется, у него была идея нести в темную, затхлую военную среду свет знания и пробудить в захолустном офицерстве чувства добрые, чуть ли даже не какие-то революционные идеи.

Может, это были очень далекие отзвуки декабристского движения на юге России, в так называемой тогда Новороссии. Впрочем, не уверен.

Все это кончилось тем, что дядя Миша, желая спасти падшее создание, что было вполне в духе того времени, женился на малолетней николаевской девице, вышел из военной службы, заболел неизлечимой душевной болезнью, бросил жену и в одном скюртуке, с узелком в руке появился в нашем доме, когда мне было всего года три и еще была жива мама.

Прекрасно помню, как дядю Мишу положили в городскую больницу и мы с мамой и папой ходили его навещать в громадную, унылую, многолюдную палату, где он лежал под серым больничным одеялом, от которого пахло карболкой, и я видел, как вошел неряшливый служитель в солдатских сапогах и поставил перед дядей Мишей на табурет жестяную тарелку, на которой лежали две плоские рисовые котлеты, политые черносливовым соусом, и как дядя Миша испачкал себе бороду этим соусом и вдруг заплакал, а потом стал целовать мамины руки и просить прощения за то, что причиняет столько беспокойства.

Убедив из больницы в одном больничном халате и бязевом исподнем белье, неожиданно он явился к нам и, рыдая, попросился жить с нами. Ему устроили постель в гостиной, между фикусом и пианино, в том пространстве, где обычно на рождество ставили елку, и он — худой, как скелет, пергаментно-желтый, с поредевшими усами, — тяжело дыша, смотрел на маму достоевскими глазами, полными

муки и благодарности, и снова целовал ей руку, пачкая ее яичным желтком, а мама, еле сдерживая слезы, приветливо ему улыбалась своими слегка раскосыми глазами, говоря, что скоро он выздоровеет, все будет прекрасно, и под звуки ее нежного голоса он вдруг засыпал или впадал в беспамятство и начинал храпеть на всю квартиру, и этот сухой, утробный храп приводил меня в ужас, и я прятался за маму, изо всех сил держась ручонками за ее юбку.

Иногда дяде Мише делалось лучше, лежа в постели, он читал или заводил со мной игру, состоящую в том, что я должен был пробежать близко мимо него, а он должен был меня поймать, тогда он пытался приподняться и протягивал ко мне костлявые руки; иногда ему удавалось меня поймать, и он начинал меня щекотать, и я готов был умереть от этой холодной щекотки умирающего сумасшедшего, от взгляда его неестественно расширенных зрачков глубоко запавших, уже наполовину мертвых глаз, от его веселого, громкого хохота, ледящего мне душу.

Я вырывался из его цепких рук, и убегал в столовую, и прятался за бабушкиной ширмой.

Иногда у дяди Миши начинался припадок буйного помешательства, и папа с трудом привязывал его полотенцем к кровати.

Пришлось взять сиделку. На ее руках однажды ночью дядя Миша с предсмертным хрипом и скончался, и я увидел его только утром, умытого, причесанного, в крахмальной сорочке и в черном сюртуке, с костлявыми бесцветными руками, сжимавшими высоко на груди образок, с хрящеватым носом и вытукло закрытыми глазами, и лицо было прекрасно, как у великомученика.

Помню дядю Мишу в гробу, полную гостиную друзей, знакомых и родственников, лиловые бархатные камилавки и сизые траурные ризы духовенства, панихиду, облака ладана, хор семинарских певчих, и потом все это рассеялось, улетучилось, гостиная стала прежней пустынной гостиной с фикусом, пианино, бархатными креслами, но уже без дяди Миши, без его кровати, без гроба, который я видел тогда впервые в жизни.

Через некоторое время приехала из Николаева жена дяди Миши — «эта женщина», — но в комнаты она не вошла, смиренно сидела на кухне, заплаканная, в деревенском платке на голове, и, морща губы, пила чай из блюдечка, держа его на трех пальцах руки с киевским печатным колечком. Жена дяди Миши пробыла у нас часа два, благодарила маму за уход за дядей Мишей и оставила нам гостинец: жирную ощипанную курицу, которую привезла с собой в корзинке, покрытой «хусткой» — полотенцем. Больше я ее никогда не видел, и мне было странно, что она приходится мне тетей, но эта женщина с добрым крестьянским лицом почему-то произвела на меня еще более тягостное впечатление, чем смерть дяди Миши, не вызвавшая у меня ни страха, ни ужаса, так как я еще был очень мал и не понимал значения смерти.

От дяди Миши у нас в квартире осталась связка его литографированной диссертации «Вычисление орбиты кометы такого-то года», где было много непонятных для меня чертежей, углов и кривых линий с маленькими изображениями хвостатой звезды в ее различных фазах. Диссертация эта пропала после смерти мамы во время наших неоднократных переездов с квартиры на квартиру.

Остался после дяди Миши также черный прессованный шестигранник, который он принес в своем узелке на память о батарее, в которой служил младшим офицером.

...Как выяснилось потом, это был шестигранник прессованного черного артиллерийского пороха — брикет,— который употреблялся в армии до тех пор, пока не был изобретен бездымный порох, похожий на желтые сухие макароны...

Но я этого тогда не понимал, а запомнил лишь название — «брикет». Это слово теперь вдруг всплыло в моей памяти, когда я увидел вывеску с тройкой и дровнями, нагруженными шестигранными брикетами. Для меня это было топливо.

Брикет дяди Миши хранился вместе с прочими ненужными вещами в папином комодѐ, о котором я еще расскажу подробно — как он был на вид и что в нем хранилось.

Если, конечно, не забуду.

Так вот оно что! Оказывается, у нас в доме есть превосходный брикет, топливо, которым почему-то никто не пользуется. Надо было употребить его в дело. Я был охвачен нетерпением поскорее вернуться домой со двора и посмотреть, как будет гореть брикет дяди Миши в кухонной плите.

Остальное ясно само собой.

Вытащив черный шестигранник из папиного комода, который папа забыл запереть на ключ, я вбежал в кухню, и не успела кухарка и глазом моргнуть, как я отодвинул кастрюлю с борщом и бросил брикет в конфорку.

Порох взорвался не слишком сильно, но все же весь обед погиб и сноп разноцветного дымного огня полыхнул из плиты почти до потолка. Ни я, ни кухарка, по счастливой случайности, не пострадали.

Стоит ли описывать ту страшную взбучку, которую я получил от папы и от тети... Я клялся, что ничего плохого не хотел сделать, я пытался объяснить, что был введен в заблуждение сходством двух понятий — шестигранный брикет артиллерийского пороха и шестигранный брикет прессованного угля, увиденного мною на красивой вывеске топливного склада по дороге на станцию Одесса-Товарная. Увы, никто мне не верил, и моя репутация невозможного мальчишки, который «когда-нибудь погубит нас всех», укоренилась за мной еще прочнее.

Впоследствии, когда я уже вырос, я пытался объяснить историю с брикетом дяди Миши папе и тете. Но и тогда они мне не поверили. Они считали, что я это сделал нарочно. А теперь, когда ни папы, ни тети давно уже нет на свете, мне не перед кем оправдываться.

Да и кто мне поверит?

Маленькая диссертация о квартирантах.

Об одном квартиранте я уже рассказал, о путешественнике Яковлеве. Но были и другие квартиранты. В то время была широко распространена среди небогатых семейств сдача в своей квартире внаем отдельных комнат. Это называлось «держатъ от себя жильцов». Если о какой-нибудь семье говорили «они держат жильцов», то это звучало всегда несколько пренебрежительно. Для того чтобы сводить концы с концами, мы тоже нередко были принуждены сдавать жильцам комнату или даже две. Таким образом, рядом с постоянным, устойчивым бытом нашей семьи почти всегда протекала чья-то жизнь: то это был какой-нибудь студент, то путешественник, то молодой холостяк — кандидат на судебные должности, то молодожены, еще не успевшие обзавестись собственной квартирой

Иметь хорошего жильца было большим подспорьем в нашем скромном бюджете. Один раз у нас даже жил на всем готовом мой товарищ по гимназии Боря Д., у которого недавно умерла мать, а отец учительствовал в пригородном селе.

...Я уже упоминал в этой книге о Боре Д. Это с ним мы ходили на Бадера — Уточкина — Макдональда...

Наши жильцы представляли из себя пестрое сборище разнохарактерных типов, и большинство из них я уже забыл. Остались в памяти лишь несколько.

После смерти бабушки — папиной мамы — освободилась комната, и, произведя известное внутреннее переселение, мы умудрились освободить две хороших смежных комнаты, которые наняли новобрачные: молодой, только что окончивший Военно-медицинскую академию врач из местного военного госпиталя со своей молоденькой, хорошенькой, пухленькой женой-блондинкой, которая в отсутствие мужа сидела дома и решительно не знала, что ей делать.

Когда кто-нибудь из нас — Женя или я — поднимал шум возле их комнаты, тетя говорила, понизив голос и, по своему обыкновению, юмористически морща губы:

— Мальчики, не шумите. Вы беспокоите жильцов. У них медовый месяц.

Это был действительно классический пример медового месяца. Больше мне уже ничего подобного в жизни не встречалось. Все у наших молодоженов было новенькое, с иголочки, нарядное, и сами они были как бы тоже только что сделанные хорошим мастером из лучшего материала: она — бело-розовая, с ямочками на щеках и на ручках, с волосами, уложенными в красивую прическу, во всем нарядном, с бантиками, прошивочками, кружевцами, в ажурных чулках и башмачках на французских каблуках.

Пока он был на службе, она скучала и ждала его, сидя на балконе в воздушном пеньюаре с рюшами и воланами, ела из коробки шоколадные конфеты от Абрикосова и читала книжку, раздирая ее страницы черепаховой рогулькой, вынутой из прически. Ротик ее был как вишенка, глаза голубые, на фарфоровой щечке возле глаза небольшая мушка, вырезанная маникюрными ножничками из черного пластыря.

Он являлся из госпиталя тоже весь с иголочки: новенькая летняя шинель, новенькая фуражка с лиловым бархатным околышем, новенькая шашка на серебряном ремешке через плечо, пропущенном под новенький серебряный погон, блестящие штиблеты с длинными носами и маленькими шпорами. Он был белобрысый, такой белобрысый, какими бывают белорусские деревенские ребята. Его белобрысые усики были закручены на концах в тоненький шнурочек.

Едва он появлялся, как она бросалась в переднюю, обнимая его за шею обнажившейся из-под кружевного рукава рукой с ямочкой на локте и толстым обручальным кольцом на безымянном пальчике с наманикюренным ноготком.

И потом они все время ворковали у себя, обедали, и после обеда он кормил ее шоколадными конфетами, вынимая их из коробки жестяными щипчиками, и, по-видимому, они целовались, а вечером она наряжалась в модное платье со шлейфом, надевала новенькую шляпу всю в перьях, ротонду, и они отправлялись на извозчике в оперетку и возвращались, когда мы с Женькой уже спали, и, по-видимому, еще некоторое время ворковали и он кормил ее шоколадными конфетами.

Они брали у нас обеда и, кажется, были недовольны нашими котлетами, голубцами, борщом и клюквенным киселем с молоком. Вероятно, им казалась эта еда слишком простой, ничтожной, недостойной восторгов их медового месяца, их непомерного счастья под громадным двуспальным шелковым одеялом, недостойной их пуховых подушек и маленькой, трогательно-крошечной кружевной подушечки, так называемой «думки», их ночных халатов и вышитых ночных туфель без задников, обшитых лебяжьим пухом.

Думаю, их постоянно раздражала наша постоянная ребячья возня, стуки, крики, хохот, посвистывание паровой игрушечной машины.

Они платили за свои две комнаты рублей тридцать, что почти окупало всю нашу квартиру. Как-то тетя сказала, что молодые живут не по средствам: каждый день шоколадные конфеты, оперетка, иллюзионы — все это стоило недешево, а жалованье молодого военного врача пустяковое.

В конце концов через год наши молодые съехали от нас и поселились в другом доме, уже в одной комнате, подешевле.

...а лет через пять-шесть, уже во время первой мировой войны, я как-то встретил бывшего молодого на Французском бульваре у белой стены юнкерского училища, переименованного к тому времени в военное. Он куда-то озабоченно шел вдоль этой хорошо знакомой мне каменной стены, за которой по-прежнему слышались винтовочные и пулеметные учебные выстрелы в подземном тире. Он был все в той же некогда щегольской офицерской шинели серебристого сукна, которое уже порядочно пообносилось и пожелтело, фуражка, некогда такая новенькая и нарядная, теперь сплюснулась, как блин, и бархатный ее околыш вылинял, усики были те же, но потеряли свой шелковистый блеск и скорее напоминали белизну пеньки, хотя и были, видимо, по привычке завинчены на концах. На лице его легло несколько почти незаметных морщинок, и оно было скучным, пыльного цвета, как-то мелочно-озабоченным. И мне стало ужасно жалко его погасшего счастья, которое когда-то ему и ей казалось вечным, неиссякаемым.

Я поздоровался с ним, он равнодушно приложил руку к тусклому козырьку, а левой рукой придержал плоскую тулью фуражки, и на этой пожелтевшей руке блеснуло толстое, все такое же блестящее, но как-то блеснувшее ни к селу ни к городу обручальное кольцо.

...А мимо нас по Французскому бульвару шла рота юнкеров ускоренного выпуска, с заломленными бескозырками; печатая шаг по шоссе, они лихо, с присвистом пели: «У моей соседки синие глаза. У моей сосе-едки си-ни-е глаза. С голубы-ым отливом, точно бирюза. Не хочу я, ма-ама, штатского любить, а хочу я, ма-ама, за военным быть»...

— Левой, левой, левой, левой...

Еще запомнились другого рода жильцы: две средних лет неприятные дамы в поношенных черных шляпках с вуалетками, в старых ботинках и обе — в пенсне. Одна в пенсне с черным ободком, другая в пенсне стальном. У нас отдавалась за пятнадцать рублей одна комната, и они эту комнату не торгуясь и не осматривая, как-то без всякого интереса наняли и тут же поставили на подоконник два своих саквояжа из числа тех, с какими тогда ходили акушерки.

Дня два дамы сидели у себя в комнате, почти не показываясь, варили себе чай на медицинской спиртовке, ели чайную колбасу с францолями.

На третий день к папе пришел дворник и попросил, чтобы новые жилички предъявили свои виды на жительство для прописки. Папа застегнул сюртук на все пуговицы, что делал всегда, если был смущен, и постучал в дверь жиличек.

Ему долго не отпирали, и в комнате слышалась какая-то поспешная возня. Наконец щелкнул ключ и дверь отворилась. Перед папой стояла одна из жиличек, та, которая носила пенсне в черной оправе. Она была в батистовой кофточке, подпоясанной широким ремненным поясом, и в длинной потертой суконной юбке, обшитой по подолу так называемой лентой-щеточкой, из-под которой выглядывали поношенные ботинки со скошенными каблуками. Жгуче-черные волосы на ее голове были гладко причесаны, отчего голова казалась слишком маленькой, а на затылке был тяжелый узел. Черный шнурок пенсне, по-мужски заложженный за большое ухо, делал ее еще более сердитой и неприятной.

— Что вам угодно? — холодно спросила она.

Папа, смущаясь, попросил у жиличек паспорта, необходимые для прописки в участке. Это была обычная формальность, но жиличка почему-то вспыхнула и, вынув изо рта дымящуюся папироску, посмотрела на папу обозленно-ироническим взглядом, который можно было истолковать примерно следующим образом: «Вы требуете для полиции паспорт, а еще считаете себя интеллигентным человеком, гражданином так называемого конституционного государства».

Но вместо этих слов она сухо заявила, что сейчас при них нет документов, удостоверяющих личность, но на днях они их представят.

Другая жиличка в это время лежала на кровати, укрывшись старым шотландским пледом, и, отвернувшись к стене, читала какую-то брошюру в декадентской обложке с социал-демократическим названием.

Папа извинился, и жиличка довольно громко закрыла за ним дверь, дважды щелкнув ключом. На другой день обе жилички куда-то ушли со своими чемоданчиками. Ночью вдруг раздался звонок и в дверях передней появились дворник, городской и околоточный надзиратель. Они прошли мимо папы, стоявшего в одном белье, накинув на плечи летнее пальто, и быстро, сноровисто открыли дверь в комнату жиличек, оказавшуюся незапертой.

Комната была пуста.

На столе лежала толстая оберточная бумага из-под чайной колбасы, несколько кусков сахара; герметическая заслонка печки была отвинчена, и в глубине виднелся ворох сожженных бумаг, и пепел их кое-где шевелился на полу, выдутый из печи ветром. Постели были аккуратно застланы.

Околоточный опытным взглядом окинул комнату и с досадой сказал:

— Опоздали! Птички улетели. А вас, господин,— строго обратился он к папе,— я бы попросил впредь не манкировать инструкциями о прописке всех прибывающих в вашу квартиру лиц. Честь имею.

С этими словами околоточный удалился, а следом за ним и другие представители власти, и я слышал, как кто-то из них на лестнице довольно громко сказал:

— Прохлопали.

Утром, когда прибирали комнату скрывшихся жиличек, я увидел на подоконнике забытую ими медицинскую спиртовку, на которой

они, видимо, варили себе чай, а на полу нашел маленький, складенький патрон от браунинга, закатившийся под кровать.

...Было еще много у нас разных жильцов, да всех не упомнишь...

Обморок.

Я вышел из нашей комнаты под самой крышей, со скошенным потолком и двумя окнами, из которых открывался вид на поля, фруктовые деревья, огород и разнообразные хозяйственные постройки этой немецкой экономии в Бессарабии, на высоком берегу Черного моря, где мы обычно с папой и маленьким Женечкой проводили лето, и по довольно крутой деревянной лестнице радостно сбежал вниз, всей душой чувствуя прелесть чересчур сильного ослепительного зноя июльского утра — не раннего, но и не позднего, а где-то между семью и девятью часами, когда солнце еще не над головой, но уже обжигает, и бьет сквозь листву шелковиц прямо в глаза, и зажигает все вокруг белым ослепительным светом, в особенности дорожки, посыпанные мелкими зеленоватыми лиманными ракушками, превратившимися уже почти в песок, серебристо-перламутровый, как сухая рыба чешуя.

Не знаю, для чего я вышел из нашей комнаты, где было еще довольно прохладно. У меня не было никакой определенной цели, но, спустившись вниз, я почему-то деловито обошел вокруг дома, постоял возле цистерны, крикнул в ее открытое устье и услышал в ответ эхо своего голоса, усиленного и как бы умноженного сухой пустотой цистерны, покрытой под землей цементом. Давно уже не было дождя и цистерна была пустая. Меня обрадовал звук моего голоса, вернувшегося из подземного путешествия.

Потом я пробежался по аллее под созревающими абрикосами, уже довольно крупными, но все еще зелеными, твердыми и на ощупь суконными. При этом я испытывал радость от прикосновения моих босых ног, их заглубивших подошв, к уже сильно нагретому песку из толченых лиманных ракушек.

А в это время, показываясь то там, то здесь из-за шелковиц, из-за сиреневых кустов, давно уже отцветших, из-за серебристого лоха — дикой маслины, — над краем уже раскаленного обрыва, поросшего серебристой сухой, как всё в это странное утро, полынью, горела серебряная полоса моря, яркого до рези в глазах.

Я уже подходил с другой стороны к дому и уже взялся за нагретые перила деревянной лестницы, как вдруг мне показалось, что яркий солнечный свет, ослепив меня, стал со страшной быстротой убывать, превращаясь из серебряного в кроваво-красный, а потом в ярко-черный, звон хлынул в мои уши, и, как мне потом рассказал папа, я с широко раскрытыми глазами, которые уже ничего не видели, с бледным лицом, в бессознательном состоянии как-то автоматически поднялся по ступеням крутой лестницы до самого верха, и тут папа взял меня на руки и внес в нашу прохладную комнату, но ничего этого я уже не сознавал — не з н а л, а только вдруг темнота стала отступать от меня, уступая место сиянию дня, и все, как бы навсегда утраченное, стало возвращаться ко мне.

...беленая комната с окнами в мир, на подоконниках крабы для коллекции — телесно-розовые, с багровыми, словно надутыми клешнями, высушенные на солнце и даже на вид легкие, почти невесомые, — и морские коньки в банке с формалином, деревянный ящичек с акварельными красками рядом со стаканом бурой вольт. где я мыл

кисточки, и лист александрийской бумаги, где так похоже были мною нарисованы акварелью огурцы и редиска; и ночная бабочка «мертвая голова», заснувшая в углу потолка, и зеленые решетчатые, совсем итальянские жалюзи, и весь этот прекрасный мир, полный красок и звуков, и осторожная рука отца с вросшим в кожу обручальным кольцом, прикладывающая к моему лбу мокрое полотенце, и маленький испуганный Женька, и мой собственный голос, говоривший:

— А что? Разве со мной что-то случилось? Ничего, не беспокойтесь. Наверное, это был только обморок.

Я чувствовал себя прекрасно, весело и, полежав минут пять с компрессом на лбу, как ни в чем не бывало побежал купаться в море, и больше в течение многих лет со мной ничего подобного не случилось, но в моей жизни уже произошло что-то очень важное — я это чувствовал, — что-то непоправимо изменилось:

...моя душа ненадолго рассталась с моим телом и побывала где-то, откуда чаще всего не бывает возврата...

Деревянный солдатик.

Это было неизмеримо давно; трудно себе вообразить, когда это было!

Я шел с мамой за руку по той части нашей улицы, которая была мне уже известна, — небольшой отрезок городского пространства, начиная от дома, где мы жили, до ближайшего угла, а дальше как бы в тумане начинался уже другой, еще не вполне познанный мир, отделенный пространством, которое не могло осилить мое воображение; там были места, известные мне только по названиям; Александровский парк, циклодром, Ланжерон, море, Французский бульвар — то пугающее место, где, издавая тонкие свистки, с механическим стуком и дрожью ходила паровая машина, так называемая трамбовка, укатывающая своей огромной тяжестью засыпанное щебенкой шоссе Французского бульвара.

Однажды я увидел эту зеленую паровую трамбовку, окутанную паром, с машинистом, который под полотняным тентом сидел сзади. Дым валил из паровой трубы трамбовки, и какая-то медная треугольная штучка, состоящая из двух шариков, быстро крутилась над зеленой тушей котла.

...потом я узнал, что эти штучки, кажется, называются эксцентрики... А может быть, как-то иначе...

Машина эта вызывала во мне ужас, так как от нее во все стороны шарахались собаки, а извозчики лошади с визгливым ржанием вставали на дыбы, и здания содрогались от ее злобного, торопливого стука.

Часть улицы от наших глубоких, как туннель, полукруглых ворот до угла представлялась мне очень большой, широкой, и мои маленькие зоркие глазки видели ее во всех подробностях, особенно тех, которые, в соответствии с моим маленьким ростом трехлетнего ребенка, находились внизу: хорошо пригнанные друг к другу круглые булыжники мостовой, гранитные бруски обочины, чугунные канализационные решетки для стока дождевой воды и застрявшие в них какие-то тряпки, тротуар, сложенный из трех рядов синеватых плиток лавы, по которым было так удобно и твердо ступать моим новым туфелькам с перемычками и помпонами, нижние части древесных стволов, обложенных вокруг чугунными составными решетками, и

кое-где прикованные к этим решеткам на цепочках ванночки с водой для собак, чтобы они не бесились от жажды.

Мама водила меня гулять на улицу, и во время этих прогулок мы неизменно встречали нищего уродца с крошечными, совсем детскими ножками, но туловищем взрослого человека, с какой-то как бы выструганной деревянной головой и нестигающейся красной деревянной шеей; он всегда поджидал прохожих, протягивая им деревянную чашку. Он стоял недалеко от хорошо знакомого мне почтового ящика, ярко-желтого, с изображением на нем белого письма с пятью сургучными печатями и двух скрещенных почтовых рожков.

Почтовый ящик казался мне громадным и всегда вызывал вопрос: каким образом опущенные в него письма попадают в другие города?

Я представлял, что от почтового ящика устроена в стенах домов труба прямоугольного сечения и по этому железному коридору каким-то образом движутся письма и доходят по назначению.

Я всегда останавливался возле почтового ящика и, задрав голову, любовался им, в то время как мама, в шляпе с орлиным пером, в темной вуали, вынимала из своего муарового мешочка письмо и, приподняв рукой в лайковой перчатке особую крышку, опускала в таинственную щель узкий конверт с большой синей маркой: письмо своей маме, а моей бабушке, в город Екатеринослав.

Затем мама вынимала из портмоне копейку и клала ее в деревянную чашку карлика-уродца, и я с сочувствием и душевной болью видел его кроваво-красные вывернутые веки и маленький провалившийся нос с раздутыми ноздрями.

Однажды недалеко от почтового ящика я увидел у стены дома на камнях плоский, как бы сделанный из полированного палисандрового дерева орех конского каштана и тут же подобрал его и положил в карманчик своего матросского пальтишка как величайшую драгоценность. Я впервые в жизни видел орех конского каштана.

По-видимому, это место возле почтового ящика обладало волшебным свойством находок, так как вскоре я увидел на том же месте довольно крупного, почти нового деревянного солдата, какими-то подробностями своего деревянного лица и стесанного затылка напоминавшего карлика-уродца.

Я был поражен этой разноцветной игрушкой, лежащей на камнях: у нее не было хозяина, она была сама по себе, она никому не принадлежала, хотя я уже понимал, что вещь не может быть ничьей; наверное, она кому-нибудь принадлежала и у нее был хозяин, какой-нибудь незнакомый мне мальчик, но он потерял ее и теперь игрушка была ничья.

Я осмотрелся по сторонам. На улице никого не было. Неодолимая сила влекла меня к этой ничьей вещи. Я вопросительно посмотрел снизу вверх на маму и подергал ее за юбку.

— Можно? — спросил я.

Она снисходительно и нежно улыбнулась под своей густой вуалью.

— Бери, если тебе так хочется. Но ведь у него сломалось ружье.

Действительно. В первый момент я не заметил, что ружье, которое солдат держал на плече, сломано. Кроме того, деревянный кружок, на котором стояли плотно сомкнутые солдатские ноги, был со щербинкой. Значит, солдатику просто кто-то выбросил как сломанную вещь и он без своего хозяина стал ничьим. Но и таким он продолжал мне нравиться. Я протянул руку и взял солдата. Чудо совершилось. Он опять перестал быть ничьим. Он приобрел хозяина. Я стал его владельцем, он теперь был мой. Я был его хозяином. Я положил его в карманчик рядом с орехом конского каштана и почувст-

вовал себя богачом: я был обладателем двух прекрасных вещей — каштана, созданного Природой, и солдатика, сделанного Человеком.

Предвкусая, как я приду домой и буду играть с солдатиком, я весело, звонко топал по лавовым плиткам рядом с мамой и размышлял над впервые открывшейся мне истиной, что все вещи кому-нибудь принадлежат.

Тут же меня поразило другое соображение, что ведь есть вещи, которые как будто никому не принадлежат. Они как бы — ничьи.

— Мама,— спросил я,— а чьи воробьи?

— Воробьи божии,— подумав, ответила мама с улыбкой.

— А чей я?

— А ты — мой.

«Верно»,— подумал я. Я — мамин. И папин. И, может быть, бабушкин и дедушкин. Это было ясно.

— А чей солдатик? — спросил я.

— Теперь он твой,— ответила мама.

— А чей он был раньше?

— Не знаю.

— А чей я был раньше?

Мама, как мне показалось, с удивлением посмотрела на меня сквозь густую черную вуаль, делавшую ее лицо чужим.

— Раньше тебя совсем не было,— сказала она.

— И тогда я был ничей?

— Когда тогда?

— Когда меня совсем не было?

Мама подумала и грустно, как мне показалось, ответила:

— Да, тогда тебя совсем не было.

— И я был ничей?

— Наверное, тогда ты был ничей.— ответила мама.— Божий.

...теперь я думаю, что тогда мама сама не могла поверить, что меня когда-то вообще не было...

С этого дня я понял, что, кроме вещей, у которых есть хозяин, есть вещи без хозяина, ничьи. Или, по крайней мере, когда-то бывшие ничьи. Эта мысль так сильно поразила меня в то невероятно отдаленное время, что я до сих пор не понимаю: чей же я?

Чей же я солдатик?

И вот мне приснился вещий сон:

Ящик.

Посреди комнаты, в которой я спал, я увидел на полу большой четырехугольный ящик, сделанный из крепкого толстого дерева, выкрашенный коричневой краской под дуб или, быть может, оклеенный коричневыми бумажными обоями под дуб, как иногда оклеивали потайные двери, ведущие из одной комнаты в другую.

Присутствие этого большого ящика в комнате, где я спал вместе с папой и мамой, ничуть меня не удивляло, но оставляло на душе странный осадок беспокойства, тем более тягостного, что, несмотря на толщину досок и непроницаемость этого коричневого — под дуб — ящика, я видел все, что в нем делалось и кто там был.

В нем сидели в неудобных позах моя мама и моя двоюродная сестра Леля, по моему понятию, почти взрослая девушка, которой уже недавно исполнилось одиннадцать лет; она почти никогда к нам не приходила в гости, потому что у нее был костный туберкулез но-

ги и большей частью она лежала в постели — добрая, кроткая, худенькая, с прозрачным, немного хрящеватым и острым носиком, неприбранными белокурыми волосами, вся какая-то парафиновая, как принцесса.

Однажды я был у них в гостях и видел, как она перебиралась со своей постели в кресло и как она при этом прыгала на здоровой ноге, в то время как больная нога, согнутая в колене, бессильно висела, выглядывая из-под длинной ночной рубашки.

Теперь она сидела вместе с моей мамой в ящике, где им обоим было трудно расположиться, так как ящик хотя и был большой — какой-то «железнодорожный», — но все же недостаточно просторный для двоих.

Они обе сидели в нем скрючившись: им не хватало воздуха; а я ничем не мог помочь их явным мучениям.

Мама и Леля все время делали попытки выбраться из ящика в комнату, освещенную красным желатиновым ночником. Сверху ящика была крышка, которую они обе пытались поднять руками, но крышка не поддавалась, потому что она была на очень тугой круглой дверной пружине и прихлопывала маму и Лелю, как только они открывали ее руками или головой.

Отчасти это давало мне представление о каком-то капкане или мышеловке с плотно захлопнувшейся дверцей.

Мама и Леля продолжали возиться в ящике, причем мешали друг другу. Мне было ясно, что одновременно им не удастся вылезти из ящика, а надо было вылезать по очереди. А они этого не понимали или не хотели. Они сделали отчаянное усилие, крышка ящика приоткрылась — и моя мама, вдруг разогнувшись во весь рост, в белой ночной кофте, простоволосая, наконец подняла головой крышку и вылезла из ящика в комнату, где я спал вместе с папой и мамой, сделала глубокий вздох облегчения и улыбнулась, вся какая-то просветленная, со странно округлившимся животом под нижней юбкой с тесемками сзади. Леля полезла из ящика вслед за мамой и уже было вылезла совсем, уже готова была так же, как и мама, просветленно улыбнуться, но не успела — и крышка придавила ее скрюченную ногу, и Леля испустила стон нестерпимой боли, даже не стон, а продолжительный, леденящий душу вой. Все же ей удалось, обдирая ногу, выкарабкаться из тесного ящика на волю, и она, слабо улыbnувшись, обняла мою маму.

...Так они обе стояли, глубоко и радостно дыша, но в то же время Лелин вой продолжался как бы сам по себе...

Тут я проснулся и увидел знакомые обои над комодом, где горел хорошо мне знакомый керосиновый ночничок с красным маленьким желатиновым абажурчиком в форме перевернутого ведерка. Но ставни на окнах, вероятно, забыли с вечера закрыть, и теперь за окнами светилась невероятно яркая лунная ночь и вся Базарная улица за окном была зеленой, с очень черными тенями голых деревьев и телеграфных столбов. Длинная железная оцинкованная крыша фабрики напротив была посеребрена лунным светом, и откуда-то оттуда, с улицы, слышался леденящий вой. Выла собака.

Ящика посредине комнаты уже не было, а возле меня стояла только что проснувшаяся моя мама — уже настоящая, а не приснившаяся, которая крестила меня, и успокаивала, и запирала ставни, закладывая их железными задвижками.

Вой собаки еще некоторое время продолжался, но потом постепенно стих.

Я уснул и снова увидел свою маму, но уже не в ночной кофте, не простоволосую, и милую, и теплую, а даму в шляпе с густой черной вуалью, в пенсне, строгом черном костюме — узкие рукава с буфами на плечах, — в одной руке она держала нечто вроде черного флага, который — я уже знал это — по-французски называется ле драпó, а в другой руке дождевой, тоже черный, полуприкрытый зонтик, называвшийся по-французски ле или ля параплюи, и она опиралась на этот полукрытый параплюи со спицами как на палку и шла по железной зеленой крыше магазина Пурица на Ришельевской улице, среди мрачных облаков, каждым своим шагом производя железный грохот, похожий на звук опускаемых магазинных железных рифленых штор; она шла, на каждом шагу проваливаясь по колено сквозь крышу, и снова все шла и шла по крыше, высоко держа в поднятой руке черный ле драпо и как бы преодолевая какую-то тяготеющую над ней мрачную силу города с зеленой чутунной решеткой костела и магазинами золотых вещей и безделушек; она шла все быстрее, быстрее, быстрее, проваливаясь по колено сквозь железную крышу, и быстрота ее движения постепенно превращалась в стремительно быстрое окончание моего сна, в самом конце которого уже виднелся просвет: проглянуло солнце, — и я услышал шорох орехов конского каштана, которыми был наполнен ящик ночного столика. Каштанов было так много, что я их уже набирал в деревянный совок, как в бакалейном магазине, и рылся в них руками, перекатывая их и восхищаясь их красотой...

...И тогда уже я по-настоящему проснулся, и увидел яркий солнечный свет в окнах с открытыми ставнями, и сквозь синюю сетку своей кровати увидел маму в ее кровати вместе с моим бородастым папой, которого я так любил, а папина кровать была пуста...

Папа и мама смотрели на меня, их маленького сыночка, веселыми глазами, но я не посмел рассказать им свой вещий сон, а затаил его в самой сокровенной глубине души.

Вскоре умерла моя мама, родив братика Женечку, а затем умерла и Леля от туберкулеза ноги.

И все это правда.

Монетка.

Наконец наступило 16 января, день моего рождения, который я каждый год ждал с таким нетерпением и такими надеждами.

Кроме подарков, этот день сулил мне еще одну радость: я мог не идти в гимназию и валяться в постели сколько захочу.

Я проснулся, когда в доме еще все спали, и при слабом, предрасветном свете, как бы делавшим вокруг меня все предметы еще более темными, чем ночью, прежде всего осмотрел плетеное сиденье стула возле моей кровати. Я надеялся, что на нем, как всегда, уже с вечера положены для меня подарки.

Подарков не было.

Я осторожно вылез из-под одеяла и на цыпочках — теплыми богами ногами по холодному полу — отправился на разведку в столовую. Я надеялся, что подарки стоят на буфете или на обеденном столе. Пройдя мимо тетиной комнаты и прислушавшись к доносившемуся из-за дверей дыханию спящей тети, я вернулся обратно в нашу комнату, где предутренним храпом храпел папа и чмокал во сне губами Женька.

На подоконниках, куда из щелей закрытых ставней уже проникал мутно-голубой свет зимнего утра, подарков тоже не было.

Странно!

«Не может быть, чтобы они забыли,— подумал я про папу и про тетю.— Наверное, они решили приготовить для меня какой-нибудь особенный сюрприз». Однако это предположение не успокоило меня, а, наоборот, еще больше встревожило. «Неужели,— думал я,— на этот раз они решили оставить меня без подарков? Невероятно! Но кто их знает? От них всего можно ожидать. Может быть, папа, который вообще имеет оригинальный характер и не признает показной стороны многих обычных семейных событий, как, например, дня ангела, новоселья и тому подобного, если и принимал в них участие, то лишь для того, чтобы не обижать окружающих и не навязывать своих личных взглядов; так вот — очень может быть, папа, будучи человеком глубоко верующим, даже к церковным праздникам и государственным торжествам относился в душе неодобрительно, хотя и не высказывал этого вслух и исполнял все, что полагалось исполнять верующему русскому православному человеку,— думал я,— так неужели папа вдруг решил, что празднование дня рождения не больше чем предрассудок, который пора отменить. И вот отменил! Правда, Лев Толстой,— продолжал размышлять я,— имеет на папу известное влияние, но ведь папа человек добрый и не захочет обижать своего сына... Хотя от него всего можно ожидать!»

Полный сомнений, я улегся под одеяло, утrelся и решил ждать, что будет дальше. Я уже начал рисовать в воображении ужасную картину отмены дня моего рождения со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями, но скоро, окончательно утревшись, заснул сладким сном, а когда проснулся, то по тишине, царившей в квартире, понял, что все уже ушли: папа и тетя на уроки, прихватив с собой Женьку, для того чтобы отвести его в детский сад госпожи Цакни, куда его водили ежедневно до поступления в гимназию.

Из кухни слышалось, как кухарка рубит секачкой мясо на котлеты.

Меня же не разбудили, значит, день моего рождения все же не отменен, и это меня немного обнадежило. «Если даже и отменен, то все-таки не полностью: в гимназию можно не идти — и то хорошо», — подумал я, открывая глаза.

В комнате уже было гораздо светлее, чем раньше, однако утренний свет с трудом пробивался сквозь окна, густо занесенные ночной вьюгой. По-видимому, метель продолжалась, потому что в печах гудело и стекла окон звенели, как будто бы с улицы кто-то в них то и дело бросал полными пригоршнями сухой январский снег.

Я любил этот голубой зимний свет в пустой и тихой квартире поздним утром. Я посмотрел на плетеное сиденье стула, надеясь, что все обошлось и подарки уже на месте. Стул был пуст. Я заглянул в столовую. Там тоже ничего для меня не было. Я опять вернулсЯ в постель и утrelся под одеялом. В печке с герметически завинченной двойной чугунной круглой дверцей постреливали дубовые дрова.

Было довольно уютно, но мучительно скучно.

Уж лучше бы я пошел в гимназию, где меня бы как именинника щипали за уши, хотя, в общем-то, я не был именинником, а рожденником, но мои товарищи не вдавались в такие подробности.

Я опять стал размышлять насчет подарков. Мне пришла мысль, что, может быть, папа положил подарок под мою подушку, что иногда практиковалось в нашем семействе. Это показалось мне вполне вероятным, так как спросонья мне даже один раз показалось, что к

моей постели на цыпочках подошел папа уже в сюртуке и осторожно поцеловал меня, пощекотав мокрой после умывания бородой, — поздравил с днем рождения. Может быть, он положил подарок под подушку? Я засунул руку под подушку и сразу же почувствовал, что там лежит что-то совсем небольшое, похожее на ощупь на маленький мешочек. Я пощупал этот плоский мешочек, и мои пальцы ощутили металлический запор с двумя шариками. Кошелек!

Я проворно вытащил из-под подушки руку, в которой был действительно зажат небольшой, весьма неказистый замшевый кошелечек. Я открыл его, заглянул внутрь и в голубых сумерках позднего утра увидел монетку — двугривенный.

В первую минуту я почувствовал нечто вроде того, что меня обворовали.

Вот так подарок! Нечего сказать: маленькое дешевенькое портмоне — и в нем двадцать копеек! Такого ничтожного, даже оскорбительного подарка мне еще никогда не делали ко дню рождения. Неужели это намек на мои двойки, которые я принес домой во второй четверти? Или, может быть, папа решил раз и навсегда покончить с дорогими подарками и подарил мне кошелек с серебряной монеткой не как ценность, а просто на память, как «сувенир» — любимое выражение тети.

Мне сразу стало скучно и ужасно жалко своих несбывшихся надежд на коньки «нурмис» с носами острыми, как у броненосца.

Я вяло оделся, умылся и, спрятав в карман кошелек, поплелся в столовую пить чай, который принесла кухарка, поздравившая меня с днем рождения, и подала к чаю небольшой, специально испеченный ради моего дня рождения сдобный кренделек, посыпанный миндалем и сахарной пудрой, как будто бы его замела метель. Запивая крендель чаем с молоком, я от нечего делать достал из кармана кошелек и вынул из него двугривенный. Уже в то время, как моя рука несла монету, мне показалось, что монета что-то больно тяжеленькая для двугривенного. Я посмотрел и не поверил своим глазам: у меня на ладони лежала ярко-желтая золотая монета — пять рублей. Я не мог ошибиться. В столовой было достаточно светло, чтобы можно было отличить серебро от золота. Я подошел к окну, где было еще светлее, и осторожно бросил монетку на подоконник. Она издала ни с чем не сравнимый, полновесный звон золота, завертелась и с музыкальным звуком остановилась, упав плашмя.

Да! Это были самые настоящие золотые пять рублей!

Мне стало совестно, что я заподозрил папу в намерении отметить день моего рождения. Я был уверен, что папа меня любит, несмотря даже на плохие отметки в четверти. Я знал, что папа считает безнравственным дарить детям деньги, которые развращают человека. Он часто высказывал эту мысль. Он даже говорил, что все зло мира происходит от денег. И тем не менее он подарил мне деньги — целых пять золотых рублей. И это уже не впервые.

Совсем недавно, в день моего ангела 6 июля, он подарил мне три рубля — прекрасную зеленую бумажку, гладкую, еще ни разу не согнутую, — вынув ее из книги, где он между листов хранил свои ассигнации. Мы жили возле Будака, на даче у немца-колониста, над морем. Вокруг была прекрасная степная и морская природа, но не было игрушечных магазинов, и папа впервые поступил против своих принципов — подарил мне три рубля.

О, как ясно помню я это незабываемое солнечное утро, когда я, держа в руках кредитку, обошел всю немецкую экономию, желая поделиться с кем-нибудь своим счастьем. Но, как назло, вокруг не было ни одной живой души. Все были на море и купались. Я пошел на скотный двор, где в углу стоял дилижанс без лошадей, привозивший и отвозивший дачников в Аккерман или из Аккермана. Я влез на козлы дилижанса и, сидя на клеенчатой, нагретой утренним солнцем подушке, долго рассматривал три рубля, восхищаясь отличной бумагой с водяными знаками, видными на просвет, четкой мелкой печатью и с ювелирной тонкостью оттиснутыми вокруг цифры «три» радужно-разноцветными сетками — чудом гравировального искусства. Одно лишь сознание того, что в моих руках находится билет государственного банка с выгравированным факсимиле подписи кассира, придавало мне в собственных глазах какое-то особое значение, как именинника и человека, некими таинственными узами связанного отныне с Самим Государством — Российской империей.

К этому сознанию примешивалось ни с чем не сравнимое чувство именинника, которое бывает лишь один раз в году, когда ангел-хранитель как бы прикасается к душе именинника, обнимает ее своими незримыми, прохладными ангельскими крыльями, а потом уносится вверх на небо и еще долго потом нежно, любовно смотрит с высоты на именинника.

...Одно было не совсем приятно — то, что 6 июля был день ангела не только Валентина, но также и Сыся. Так и в календаре было написано: Сыся и Валентина. И мне было не особенно приятно, что меня и какого-то Сыся охраняет один и тот же ангел. Впрочем, может быть, у Сыся был свой собственный ангел-хранитель. Так или иначе, но это слегка омрачало мои именины...

Сидя на горячих козлах дилижанса с трехрублевым билетом государственного казначейства в руках, рядом с полузавядшим венком из васильков и пшеничных колосьев, кем-то забытым на сиденье дилижанса, я смотрел в знакомое, почти бесцветное от зноя июльское небо с двумя белоснежными облачками, ища глазами своего ангела, и временами мне даже казалось, что я его вижу: его или покровителя Сыся.

...Не помню уже, на что я потратил свои именинные три рубля.

Теперь же, в морозное январское утро, в моем замшевом кошельке болталась тяжелая золотая монетка, и каждую минуту я открывал кошелек и заглядывал в его недра, желая убедиться, что золото осталось золотом, не исчезло, не превратилось в серебро двугривенного. Я клал пятирублевою монетку на ладонь и любовался ее блеском, желтым, ярким, свойственным одному лишь золоту. И я владел этим золотом! Я был готов любоваться этим тяжелым кружочком, этим своим сокровищем бесконечно; однако сила и власть, заключенные в золоте, уже овладели мною, моей бессмертной, свободной душой. Папа был прав, что деньги развращают. Я уже был развращен.

Быстро надев шинель, калоши, фуражку, а поверх фуражки повязав еще желтый верблюжий башлык, обшитый по швам коричневой тесьмой, несмотря на ужасную метель и пургу, я отправился в город, для того чтобы испробовать на деле могущественную силу золота.

Вскоре в заиндевавшем башлыке я вернулся из города обратно и, выскочив из санок, положил в руку извозчика два пятиалтынных. Он попросил прибавить на водку, и я дал ему еще гривенник. На

пуговице моей шинели висел пакет с покупками: лобзик для выпиливания и дрель для просверливания дырочек, несколько пачек тоненьких пилочек для лобзика; под мышкой у меня были два листа тонкой фанеры, свернутой в трубу, перевязанную шпагатом.

Мне казалось — прошла целая вечность после моего ухода за покупками, а на самом деле прошло часа полтора, не больше. В доме еще было по-утреннему пусто и чисто. Похваставшись перед кухаркой своими покупками, я пообещал ей выпилить красивую узорчатую полочку для кухни и сейчас же принялся за дело.

Однако выпилить лобзиком изящные узоры оказалось мне не под силу: тонкие пилочки лопались, винты лобзика плохо закручивались, дрель с трудом просверливалась в фанере необходимые дырочки, да и сама фанера была твердая, неровная; видно, продавец в лесном складе на привокзальном базаре здорово меня надул. Я поранил палец и забросил все свои материалы и принадлежности для выпиливания древнерусских национальных узоров из фанеры в чулан, где они, наверное, пролежали бы до сих пор, если бы дом в Отраде, где мы тогда жили, не был снесен с лица земли немецкой фугаской в 1941 году. Там торчали лишь остатки обгорелого дуба, который некогда так красиво рос перед нашим балконом. О маленьком флигельке старушки Языковой я уж и не говорю. От него осталось одно лишь смутное воспоминание.

Меня утешало, что покупки стоили сравнительно не очень дорого. Осталась сдача рубля два с чем-то. Сдача звенела в кошельке, но это уже было совсем не то, что целенькая, еще неистраченная золотая полновесная монетка, чудный звон которой я впервые услышал в то раннее утро, когда бросил ее на замерзший подоконник, освещенный голубым светом занесенного снегом окна.

...Ну, а потом все было как полагается: торт, дымящийся шоколад в нарядных именных чашках, бисквиты, похожие формой своей на хлястики гимназических шинелей; гости, среди которых особенно выделялась сидящая рядом со мной Надя Заря-Заряницкая с длинными английскими локонами и прелестным прямым носиком, осыпанным золотистыми, почти незаметными веснушечками, которые совсем ее не портили, а, наоборот, украшали.

А золотой монетки все-таки было ужасно жалко... Как я поторопился с ней разделаться!..

Столовая ложка.

Бабушка — папина мама, — по имени Павла Павловна, имела обыкновение в дни нашего рождения и в дни ангела дарить нам, Женьке и мне, столовую серебряную ложку. Старушка появлялась из-за своей ширмы, подходила к имениннику, целовала его в лоб сморщенными губами и, произнеся какое-то поздравление вроде напутствия своим неразборчивым, шамкающим вятским говорком, вручала столовую ложку. Именинник весь день пользовался за столом этой ложкой, а вечером бабушка незаметно выкрадывала ее из буфета, относила к себе за ширму и куда-то прятала, а при следующем семейном торжестве снова выносила ее утром из-за своей ширмы и опять дарила имениннику.

Это было известно всем, но все делали вид, будто никто ничего не заметил, а именинник пользовался ею весь день до тех пор, пока вечером бабушка не выкрадывала ее из буфета.

Однажды мы с Женькой, заинтересованные, куда она прячет эту именниную ложку, перерыли за ширмой все бабушкины вещи и обнаружили ложку за кроватью, под ковриком.

Всякий раз, даря ложку, бабушка присоединяла к своим поздравлениям еще и наставления, как надо обращаться с ложкой, как надо ее беречь и чистить толченым мелом и следить, чтобы ее не стащила прислуга. Тогда, говорила она, к тому времени, когда мы вырастем и женимся, у нас уже будет у каждого по дюжине серебряных ложек.

Бедная бабушка!

Одна-единственная серебряная ложка осталась у нее от того времени, когда она была попадъей, женой вятского соборного протоиерея — моего дедушки Василия Алексеевича, — была полновластной хозяйкой большого деревянного дома, мать большой семьи, в которой мой папа, и дядя Миша, и дядя Николай Васильевич были такими же детьми, как теперь мы с Женькой.

Среди духовного общества Вятки она, вероятно, занимала далеко не последнее место, все-таки матушка, супруга соборного протоиерея, лица заметного в иерархии местного губернского духовенства.

Отца протоиерея — мужа моей бабушки, отца моего папы, а моего дедушку — я никогда не видел, так как он умер в Вятке задолго до моего рождения. У папы хранилась семейная фотография, где посередине своего семейства сидел строгий священник с хрящеватым носом, огромной бородой и глазами Салтыкова-Щедрина, портрет которого я видел в одной из книг нашего небольшого книжного шкафа, а рядом с ним сидела моя бабушка, его жена — Павла Павловна, попадья, небольшая женщина в черном шелковом платье с кринолином, гладко причесанная на прямой пробор, с маленьким круглым старообразным личиком, напоминающим белую просфорку, но властными сухими ручками, чинно сложенными на коленях. Рядом со своей маленькой попадъей дедушка выглядел громадным, подавляюще-величественным со своим большим наперсным крестом на муаровой рясе. Однако бабушка не казалась рядом с ним подавленной или ничтожной. Наоборот. В ее маленькой фигурке было нечто очень самостоятельное, независимое, волевое, даже деспотическое, и очень возможно, мой дедушка, соборный протоиерей, был под башмаком у своей попадьи.

По-видимому, семья вятского соборного протоиерея держалась на могущественных старозаветных принципах почтения к родителям, на принципах православной веры со всею ее церковностью и любви, даже обожания своей матери-родины России и своего государя императора, самодержца всея Руси.

Мне было трудно представить себе быт семьи моих вятских бабушки и дедушки, трудно было вообразить папу в моем тогдашнем возрасте, еще труднее было вообразить Вятку, такую далекую от всего нашего южного, степного, морского, заграничного, отчасти украинского — «малороссийского», как тогда принято было говорить, — всего того, что окружало меня в детстве.

О папином детстве в Вятке я составил себе представление по отрывистым, случайным воспоминаниям, которым иногда предавался папа. Иногда он рассказывал, что в детстве, зимой, они — все три брата — вместе со своим отцом, моим дедушкой, протоиереем, парились в домашней бане, хлестали друг друга березовыми вениками, а потом, напарившись до малиновой красноты, выбегали в чем мать родила прямо на мороз, и валялись в снежных сугробах, и возвращались обратно в крепко натопленную баньку, где обливались напоследок студеной водой, вытирались и уже потом одевались в свежее белье, предваритель-

но отдохнув на еловой лавке в предбаннике. И ничего. Никогда не простужались, говорил папа.

В Вятке папа воспитывался в спарганском духе с северно-русским оттенком. Одна из любимых папиных поговорок была:

— Держи голову в холоде, брюхо в голоде, а ноги в тепле.

Папа рассказывал, как у них в доме в Вятке жарким летом сохраняли молоко от скисания: клали в кувшин с молоком живую лягушечку — и молоко всегда было свежим, прохладным и не скисало даже во время грозы, когда считалось, что от грома молоко непременно киснет.

Я живо представлял бревенчатый городской вятский дом с усадьбой, где жила семья протоиерея, — погреб, баню, хотя настоящую русскую баню с кирпичной печкой, полками, предбанником, березовыми вениками никогда не видел. У нас в Одессе были «бани Исаковича» с номерами, куда папа водил нас, детей, купаться в том случае, если квартира была без ванны.

Помню эти «бани Исаковича» — семейные номера, — куда мы ездили сначала на конке, а впоследствии на электрическом трамвае, уже вечером, когда в городе горели фонари, отражаясь в мокрой мостовой.

Коридор, тусклый от пара, и какие-то мутные, особые, «банные» зеркала с дешевыми, неровными, как бы жестяными стеклами. Мокрые половики. Померной босиком, в русской рубахе, с ключом от «номера» в руках, и коптящая керосиновая лампочка на стене, и полумрак, в котором неизвестно почему мне чудилось что-то греховное.

Папа намыливал меня и Женьку мочалкой, а сам, худой и голый, намыливал себе шею и голову, а потом мы терли друг другу спины распаренной мочалкой, так вкусно пахнувшей хорошим аптекарским магазином Леммэ, где она была папой куплена.

...Потом отдыхали на клеенчатых кушетках...

Папа нам рассказывал, что недалеко от их дома в Вятке была еврейская синагога и в пятницу вечером, когда закон запрещал евреям всякую работу, папу и его братьев нанимали как «гоев», то есть не евреев, тушить свечи, что тоже считалось работой, и за это платили им по две копейки. Тушение свечей в еврейской синагоге я тоже представлял довольно ясно, и меня удивляло и даже смешило, что русские мальчики, семинаристы, дети соборного протоиерея, тушат свечи в синагоге, где на черных скамейках сидят евреи в своих полосатых талесах, с какими-то черными коробочками, привязанными ремешками ко лбу.

Но папа говорил, что тут нет ничего смешного, потому что всякая вера угодна богу и всякую веру следует уважать.

Я представлял себе вятского дедушку в его золотых или серебряных несгибающихся ризах, в епитрахили и прочем облачении иерея — как он стоит на амвоне собора окруженный лилово-меловыми облаками росного ладана, освещенный свечами и лампадками, прекрасный, могущественный, с громадной окладистой бородой и грозными глазами обличителя и сатирика.

Дедушка умер, его вакансию в соборе занял другой протоиерей, бабушка осталась бедной вдовицей, ее сыновья-семинаристы по каким-то причинам, а вернее всего, вследствие веяния времени не захотели продолжать свою духовную карьеру: папа и дядя Миша поступили в Новороссийский университет, который избрали по причине теплого климата и баснословно дешевой жизни на юге России. Папа взял с собою свою маму, и она с тех пор постоянно жила при нем на его иждивении, так что когда мы с Женькой родились, бабушка уже дав-

но жила в столовой за какой-то некрасивой коричневой ширмой, обтянутой коричневым, «вдовьим» коленкором.

Она уже и тогда была очень стара.

Тихая, незаметная, бесполезная, она скромно влачила свою жалкую жизнь вдовицы на иждивении своего среднего сына Петруши, моего папы. Она не делала попыток играть какую-нибудь роль в нашей семье, сначала при маме, а потом, после ее смерти, при тете, маминой сестре. Она была как бы осколком какого-то совсем другого, давно уже исчезнувшего мира дореформенной провинциальной жизни Северной России. Она не жила, а вернее, существовала, очень медленно доживая свои годы, всегда одинаково старая, неслышно ходившая, распространяя вокруг себя запах старой шерстяной юбки и дряхлого тела — старушечий, вдовый запах. У нее было маленькое скуластое личико с бесшумно жевавшими губами, сплошь покрытое глубокими клетчатými морщинами. На ее голове, на лысой макушке, всегда была черная вязаная нитяная нашлепка, похожая рисунком своим на паутинку. У нее был носик пуговкой. Чем-то она напоминала старую-престарую китаянку.

Она сделалась как бы неодушевленной принадлежностью нашего дома.

Переезжая с квартиры на квартиру, ее брали с собой, как самовар, как фикус...

Для нее никогда не находилось отдельной комнаты, она всегда помещалась со своей простой железной кроватью, сундучком и ковриком за ширмой в столовой, что, при всей бабушкиной тихости, незаметности, все же не могло нас всех не стеснять и даже, если говорить правду, раздражать; раздражало ее бормотанье и вятский говор — «ч» вместо «ц»; «красавича», «черковь», «чиркуль» и тому подобное; раздражали ее исконно русские «давеча», «вечор», «намедни», «сени», «студенный», «сказывала»...

С годами она становилась мелочно-скупой, пересчитывала при гостях сахар в сахарнице, следила за столом, кто сколько взял, подглядывала, как, что и сколько съедает кухарка, уличая ее в том, что она:

— Так и уписывает за обе щеки, так и уписывает!..

Мы все относились к ней равнодушно, терпели ее.

Мы с Женькой иногда передразнивали ее чуждую для нас вятскую скороговорку.

...Тетя как бы не замечала ее вовсе...

Один только папа нежно любил ее, свою маму, и свято исполнял сыновний долг перед этой никому не нужной старушкой, некогда родившей его на свет божий.

Бабушка умерла однажды рано утром, когда мы все еще спали, на руках у папы. Она как бы просто заснула и уже больше никогда не просыпалась.

Папа закрыл ей глаза, положив на опущенные веки медные пяточки, подвязал чистой салфеткой челюсть, чтобы она не отваливалась. Это было как раз в то время, когда у бабушки впервые была своя отдельная комната. Но жила она в ней все равно за ширмой. Мы с Женькой умылись, оделись, и папа с красными от слез глазами привел нас в холодную бабушкину комнату, где, уже обряженная в свое лучшее платье, она спокойно лежала на своей вдовой постели. Как ее перекладывали в гроб, не помню. Помню лишь, что гроб был недорогой, коричневый. Помню белый, слишком нарядный для бабушки катафалк,

стоявший у наших ворот, и лошадей в черных пополах с вырезанными кругами для глаз.

Папа не взял нас на похороны. Он шел за гробом один. В этот день он пропустил свои уроки.

Вернувшись с кладбища, он сказал:

— Похоронил вашу бабушку, мою мать. Ее могила недалеко от вашей мамы. Когда придет и мой час, пусть меня положат между моей женой и моей матерью, между двух женщин, которых я любил больше всего на свете.

Бабушкину комнату проветрили, вымыли, привели в порядок и отдали под жильцов.

...а столовую серебряную ложку, которую нашли у бабушки под ковриком, вычистили мелом с нашатырем и присоединили к другим серебряным ложкам в ящике буфета.

Небольшие уличные происшествия.

У нас в Отраде часто происходили погони за убежавшей обезьяной или улетевшим попугаем. Эти маленькие происшествия вносили в нашу жизнь еще больше разнообразия и как бы заменяли нам путешествия в заморские страны, приближали нас к персонажам Жюль Верна или Луи Жаколио.

В один миг Отрада с ее четырьмя милыми, глухими улицами, обсаженными белыми акациями, сквозь перистые листья которых так романтично просвечивало слегка зеленоватое приморское небо, с ее дачами, с ее яркими газонами и клумбами огненных канн превращалась в какое-то Вальпарайсо.

Во всяком случае, нам так казалось.

Выбравшийся из клетки попугай, хохлатый какаду или многоцветный, как флаг какой-нибудь южноамериканской республики, жако, разучившийся в своей большой куполообразной клетке летать, вдруг по случайности оказывался на воле. Пролетевши в дверцу, которую забыли запереть, он сначала неуклюже ковылял по комнате, потом вскакивал на подоконник, оттуда неуклюже взлетал в открытую форточку и, почуввав волю, бросался наутек, неловко размахивая крыльями, отвыкшими от полета. Он медленно, с усилием летал невысоко над мостовой, продираясь сквозь виноградно-зеленую листву акаций, и время от времени издавал какие-то глупые, каркающие, иностранные междометия.

Его пленная душа не сразу могла привыкнуть к свободе, но все его существо уже ликовало, и он, изо всех сил гребя по воздуху своими короткими крыльями, пытался как можно дальше удрать от своей остервеневшей клетки, от медного кольца, в котором он висел вниз головой, не зная, что с собой делать, красивый, бесполезный, с горбатым коротким клювом, твердым, как маникюрные щипцы, с замшевыми полуопущенными веками на круглых глазах, не радуясь ни свежей воде в стаканчике, ни жареным семечкам в кормушке...

Теперь, вырвавшись на волю, он чувствовал, что все дороги открыты для него, и кое-где среди ветвей акаций ему уже не раз заманчиво показалось море и дикие скалы Малого Фонтана. Стоило ему лишь подняться повыше, оглядеться по сторонам, по сильнее взмахнуть крыльями — и тогда поминай как звали!

...вот оно уже перед ним — Вальпарайсо...

Не тут-то было. Уже вся улица бежала за ним с криками:

— Держи его! Лови! Хватай!

Впереди всех бежала, шумя своей нижней накрахмаленной юбкой, в кружевном фартучке и кокетливой наколке горничная капитана дальнего плавания добровольного флота, у которого в гостинной жил попугай.

Именно эта самая горничная забыла запереть дверцу клетки и теперь как главная виновница происшествия с испуганными карими украинскими глазками мчалась за попугаем, крича:

— Попка, попка! Слышишь, что тебе говорят? Вертайся сейчас же домой в свою клетку!

За горничной, придерживая рукой шашку, которую все называли не иначе как селедкой, поспешал наш постоянный постовой городской с рыжими усами и невинными голубыми глазами, смотрившими из-под административно насупленных бровей, по фамилии Зельцер, так как происходил из немцев-колонистов деревни Кляйн Либентел, или по-просту Малая Акаржа под Одессой.

Для того чтобы напугать птицу, городской Зельцер уже собирался свистеть в свой роговой свисток с горошиной внутри.

За городовым бежала вся наша компания, «голо́та». А уже за головой — все остальные любители уличных происшествий.

Попугая было довольно трудно настичь, и, очень возможно, он так бы и улетел неизвестно куда. Но помогли воробьи, скворцы и местные кошки. Завидев диковинную птицу, они включились в погоню.

Кошки карабкались на деревья, в листве которых путался попугай, а воробьи и скворцы налетали на него сверху и с ненавистью, которую всегда испытывают животные к красивому иностранцу, клевали его в голову и подняли вокруг несчастного попугая страшный крик и писк. Разноцветные перья летели во все стороны. Попугай заметался, не зная куда деваться, и тут же наиболее ловкая и злая кошка, зловеще мяукая, достала его лапой и вырвала из хвоста красное перо.

— Ко-ко-ко-ко,— жалобно сказал попугай на своем иностранном языке и свалился на тротуар, где его тут же сцапал городской Зельцер, а затем с вежливой улыбкой вручил горничной, которая завернула насмерть испуганную птицу в фартук, помчалась, поднимая своими юбками ветер, домой и водворила попугая в клетку.

Попугай был очень рад, что снова очутился в знакомой, спокойной обстановке, и теперь уже безрассудный порыв к свободе, вероятно, казался ему величайшей глупостью. Во всяком случае, он с удовольствием напился свежей водички из стаканчика, пощелкал жареных семечек, а потом покачался вверх ногами в своем медном кольце, немного напоминая акробата на трапеции под куполом цирка, причем то и дело приговаривал с удовольствием:

— Ко-ко-ко... Ко-ко-ко...

Бегство маленькой обезьянки Дези, принадлежавшей Джульетте Арнери, о которой я уже упоминал в этой книге, происходило примерно так.

Когда я присоединился к толпе, то Дези, с оборванной цепочкой на ошейнике, кривлялась на верхушке самой старой из всех наших акаций и бросала вниз охапки сорванной листвы. Джулька молитвенно простирала к ней руки, пытаясь своей кокетливой улыбкой на смуглом итальянском личике заманить Дези вниз, на землю.

Все семейство Арнери стояло рядом с Джулькой — папа Арнери в сдвинутой набекрень фетровой шляпе-борсалино, мама Арнери в черном кружевном платке, накинутом на красиво седеющие волосы, такие же кудрявые, как и у Джульки, и братья Арнери, мои друзья

Рафка и маленький Петрик со своим трехколесным велосипедом, а также старшая сестра Нелли, неопишуемая красавица с раскрытым кружевным зонтиком на плече.

Так как обезьяна не желала добровольно спуститься с акации на тротуар, то позвали дворника, который принес лестницу. Но едва он приставил ее к стволу акации — Дези, как гимнаст, перебралась на другое дерево и, оскалившись, издала злобный трескучий звук раздавленного ореха. Едва дворник прикоснулся к лестнице, желая переставить ее к другому дереву, — Дези перелетела на уличный фонарь, скрючилась, поискала у себя немного в голове, а затем побежала по верхушке каменного забора и все с той же акробатической точностью продолжала перебираться по карнизам, водосточным трубам и балконам довольно высокого кирпичного дома Фесенко, пока не перебралась на крышу и оттуда бросила на преследователей презрительный взгляд своих полузакрытых глаз с лазурными веками.

...глаза клоуна...

— Дези! Дези! Дезинька! — нежнейшим голосом звала Джулька. Если бы Дези была человеком, то она, несомненно, немедленно спустилась с крыши в руки своей хозяйки, потому что Джулька была неотразима своим телесно-розовым ротиком и смугло-румяными щечками.

Но Дези была обезьяна и ничего этого не понимала. Наоборот, она даже как будто оскорбилась от Джулькиных притязаний, повернулась спиной к Джульке, задрала хвост, чем и показала ей свое презрение.

В это время подъехал на велосипеде Стасик Сологуб, прислонился вместе со своей машиной к дереву, подумал, посообразал, а затем сошел с велосипеда и мужественно полез по пожарной лестнице на крышу, вызвав всеобщее восхищение, но не долез, потому что зацепился за какой-то костыль и порвал свои узкие диагональные брюки со штрипками, так что все увидели его подштанники. Смущенный Стасик спрыгнул на землю и умчался домой на своем велосипеде под бурное улюлюканье всей нашей голоты.

С обезьяной возились долго.

Она перебиралась с крыши на крышу. Еще немного — и она бы спрыгнула в приморский сад дачи Налбандовых, а оттуда вниз с обрыва, и тогда ищи свищи!

...но тут появился Мишка Галий, он же просто Галик...

Галик подошел своей цепкой черноморской походочкой к толпе, посмотрел вверх на обезьяну зорко прищуренными глазами шкипера, а затем сказал Джульке, что поймать Дези — плевое дело, надо лишь иметь восемь копеек. Семейство Арнери, посоветовавшись, вручило Галику восемь копеек, и, подмигнув Джульке, Галик не торопясь удалился все той же своей знаменитой походочкой.

Он был в бобриковых лиловых штанах, откуда торчали его пыльные босые ноги.

Толпа видела, как в перспективе улицы Мишка Галий, звякнув дверным колокольчиком и нажав щеколду, вошел в бакалейную лавочку Коротынского и вскоре вышел оттуда, прижимая к груди фунт винограда, завернутого в грубую, дешевую, толстую бумагу. Не отвечая на вопросы, он сноровисто полез, перебирая босыми маленькими ногами по перекладинам пожарной лестницы, достиг уровня крыши и показал обезьяне гронку винограда, вынутую из фунтика. Обезьяна издала свой щелкающий звук, в два прыжка на трех длинных руках

приблизилась к Мишке Галику и протянула к винограду человеческую коричневую ручку.

Однако Галик винограда обезьяне не дал, а медленно начал спускаться вниз, держа перед мордой зверька соблазнительную полупрозрачную кисть, насквозь пронизанную солнцем.

Таким образом Мишка Галик, а за ним и обезьяна благополучно спустились на улицу, где Мишка молниеносным движением схватил Дези за хвост и, не обращая внимания на сердитые крики обезьяны, норовившей его укусить, подал Джульке животное: затем, сказав всего лишь одну фразу: «А виноград пойдет мне за работу!» — Галик удалился, окруженный голотой, кричавшей:

— Мишка! Галик! Не будь жадным! Дай хотя бы одну гронку на всех!

...но Мишка Галий был неумолим...

Драгоценные окаменелости.

Один мальчик принес кусок окаменевшего дерева и толстую пластинку антрацита с отпечатками на его зеркальной поверхности листиков папоротника, росшего, как сказал мальчик и подтвердил учитель истории, много сот тысяч, а может быть, и миллионов лет тому назад.

Весь класс столпился возле парты, где лежали окаменелости, с любопытством рассматривая их. Мальчики брали в руки тяжелые окаменелости, произнося различные междометия вроде:

— Ого-го!

Или:

— Уй-юй-юй!

Или:

— Ай-яй-яй!

Но в общем миллионлетние камни не слишком заинтересовали класс, и мальчики вскоре разошлись по своим партам.

На меня окаменелости произвели потрясающее впечатление. Воображение представило мне картину древовидных папоротников и каких-то других чудовищных растений, среди которых бродили ихтиозавры с длинными и крошечными головками на фоне воспаленно-розового заката, и все это происходило на земле миллионы лет тому назад. Я так живо видел неправдоподобные ветки допотопных папоротников с мелкими овальными листочками на пирамидальных концах. Впоследствии эти листочки отпечатались на пластах каменного угля, который, как я уже знал, получился из стволов деревьев, пролежавших в земле невообразимо продолжительное время — миллионы миллионов лет.

Страшно подумать!

Мне захотелось иметь эти окаменелости, захотелось мучительно, страстно. Я понимал, что они представляют огромную ценность и мальчик — их обладатель — ни за какие блага мира не захочет с ними расстаться.

Каково же было мое удивление, когда на мою просьбу дать мне хотя бы самый маленький кусочек окаменелого дерева и самую крошечную частицу допотопного антрацита с хотя бы одним отпечатком овального листика мальчик сказал:

— Да забирай их все, если хочешь!

— Даром? — спросил я.

— Конечно. Мне уже надоело таскать их в ранце, — ответил он.

— Честное благородное? — спросил я.

— А что! Мне папа привезет их из Донецкого бассейна сколько угодно, хоть два пуда!

Папа мальчика был обер-кондуктор на железной дороге.

Не веря своему счастью, я поскорее захихнул окаменелости в ра-нец и не без труда притащил их домой, они оказались страшно тяже-лыми.

Моя душа ликовала; я сделался обладателем драгоценных окаме-нелостей, изображение которых я видел до сих пор только в учебни-ке. А уж раз они попали в «Природоведение», то, значит, им цены нет. Я представлял себе, какой восторг вызовут мои окаменелости у домаш-них и как станет завидовать Женька. Мне было немного жаль маль-чика, так легкомысленно подарившего мне окаменелости: бедняга, наверное, и не подозревал, какие это драгоценные вещи.

Однако ни на улице, ни во дворе, ни дома мое приобретение не произвело никакого впечатления. Мальчики и девочки просто не поня-ли, чем, собственно говоря, я хвастаюсь. Дома тетя поморщилась и сказала, что я опять натаскал в дом всякой дряни.

Женька оскорбительно хихикал.

А папа, придя вечером с уроков, осмотрел мои приобретения и сказал, что подобные окаменелости довольно часто попадают в ка-менноугольных шахтах и рудниках и это лишний раз подтверждает, что жизнь на нашей планете существует уже многие и многие миллио-ны лет.

...Он сказал, что на пластах каменного угля нередко попадают отпечатки не только растений, но также раковин, моллюсков и позво-ночных животных. Он говорил об этом как о вещах самых обыкновен-ных. И я представил себе на пластинке каменного угля отпечатки ске-лета допотопной ящерицы со все уменьшающимися позвоночками хвоста...

Я был подавлен.

Но в глубине души я не поверил папе, что мои окаменелости не представляют ничего особенного. Я был не в силах расстаться с мыслью, что у меня в руках находятся драгоценности, которые охотно за громадные деньги приобретет любой музей.

Ведь собирают же они, думал я, черепки глиняной посуды и нако-нечники стрел, которым всего-навсего несколько тысяч лет. А у меня окаменелости многомиллионной давности. В особенности меня восхи-щала обломки окаменелого дерева, с виду кусок обыкновенного полена, а тяжелое, как свинец, и невероятно твердое — никакими способами не отколешь от него ни одной щепочки: все волокна его, сохраняя свой вид и свою структуру, превратились в кремь.

Нет, папа, наверное, ошибся!

Такие вещи, я уверен, встречаются в природе чрезвычайно редко, гораздо реже, чем золото и бриллианты.

Нечего и говорить, что на другой день рано утром я бережно за-вернул свои окаменелости в «Одесский листок» и вместо гимназии отправился в археологический музей.

Эта идея пришла мне вдруг среди ночи и показалась одним из самых легких способов быстро обогатиться.

Кассирша при входе в археологический музей потребовала, чтобы я приобрел входной билет, но я с достоинством ответил, что я не прос-той, обыкновенный посетитель, а пришел по важному делу и желаю видеть заведующего музеем.

Ко мне вышел толстячок в сюртуке, с университетским значком на груди и спросил, что мне угодно.

Я молча развернул окаменелости и с плохо скрытым торжеством поднес их к лицу толстяка.

— Видите? — спросил я.

— Ну, вижу, — ответил толстяк. — Так что же ты от меня хочешь?

— Купите для вашего музея, — сказал я и, заметив на его лице неопределенно-удивленное и вместе с тем довольно веселое выражение, прибавил не совсем уверенно: — Им несколько миллионов лет. Пять рублей за оба дадите?

Толстячок взял из моих рук окаменелости, повернул меня к себе спиной и, открыв мой ранец, засунул туда сверток с окаменелостями и застегнул ремешки крышки ранца. Затем он подвел меня к громадной входной двери с ярко начищенными медными ручками и сказал:

— И чтоб я тебя больше не видел.

— Дяденька, — неожиданно для себя сказал я тоненьким, нищенским голосом, — тогда хоть пустите меня бесплатно в ваш музей.

— Это можно, — охотно согласился толстячок и провел меня по скользким, неизмеримо громадным паркетным полам безлюдного, холодного музея, где в витринах виднелись черепки и кости, медные позеленевшие скифские украшения, глиняные светильники, кремневые наконечники стрел и все то, что так сильно действует на воображение посетителя в археологических музеях. Я проходил мимо амфор вышиной в мой рост, где древние греки хранили пшеницу и вино; мимо лакированного ящика, имевшего смягченные очертания человеческого тела, и я знал, что там внутри лежит, спеленатая черными смоляными бинтами, древнеегипетская мумия — всё, что осталось от египетской царицы или царя, фараона. Всюду меня преследовали знаки непостижимо далекого прошлого, а за высокими музейными окнами с ярко начищенными медными шпингалетами, от которых пахло самоварной мазью, виднелась панорама нашего порта, карантинная гавань, эстакады, заново выстроенные после того, как их сожгли во время революции 1905 года, и по которым теперь, стучаясь друг в друга тарелками буферов, туда и назад катались красные товарные вагоны, груженные бессарабской пшеницей, и нежно посвистывал маневренный паровичок, пуская в небо облачка пара, и лебедки пароходов, стоящих у причалов, издавали свои привычные звуки:

...Тирли — Тирли — Тирли — Тирли...

...кажется, уже давно описанные у какого-то знаменитого писателя, кажется у Чехова... А белоснежный корпус портового маяка, имевший форму несколько удлиненного колокола, хрустально отражался в волнах, и яхта с надутыми парусами, дав сильный крен, красиво огибала маяк, оставляя за собой пенистый след, и зелено-голубое зеркало акватории бороздили черные чумазые буксирные катера, и все вместе это было так прекрасно, что я готов был писать об этом стихи, да только не умел.

Попрощавшись с добрым толстяком, я вышел на улицу и, пройдя мимо глиняных амфор, стоящих под древнегреческим портиком музея, побрел по Пушкинской улице по направлению к вокзалу и Куликову полю.

Меня угнетало чувство вины перед папой и гимназией, так как я прогулял занятия.

Мне было жарко в шинели на вате под зимним приветливым южным солнышком, плечи давили ремни ранца, где вместе с книгами лежали мои страшно тяжелые окаменелости.

Я вынул их из ранца, положил на тротуар возле ствола старого пятилистного платана и, вздохнув с облегчением, отправился домой, раз-

мышляя о времени — какое оно непомерно огромное, миллионы миллионов лет, и какой я по сравнению с этим бесконечным временем маленький, не больше круглого листочка допотопного папоротника, отпечатавшегося на пласте каменного угля, который в свой черед когда-то в незапамятные времена был живым деревом.

...и может быть, когда-нибудь кто-нибудь откроет в глубине вечности каменноугольный пласт тысячелетия с отпечатками моих позвонков и рядом кусок окаменелого дуба, того самого, что рос тогда в Отраде под нашим балконом...

Афонский лимон в графине.

Уже не помню, каким образом попал к нам этот пузатый графин тонкого дешевого стекла, с довольно узким горлом, наглухо забитым пробкой. В графине находился лимон-великан, занимая почти всю обширную внутренность графина, наполненного какой-то бесцветной жидкостью, как предполагали — водкой.

Я никогда в жизни не видывал таких громадных, удивительно красивых лимонов с косо обрезанной веточкой и двумя зелеными листиками.

Трудно, даже совсем невозможно было понять, каким образом удалось пропихнуть лимон в узкое горлышко графина. Может быть, сначала графин был сделан без дна, а после того, как лимон положили в графин, как-нибудь приварили дно? Я самым тщательным образом исследовал графин и убедился, что дно составляет одно целое со всем сосудом.

Было что-то волшебное в этом графине с лимоном, что-то из тысячи и одной ночи, из пещеры Аладина, тем более, как я теперь припоминаю, эту редкость сделали на Афоне и продал его афонский монах, разностык душистых кипарисовых крестиков, лубочных картинок, серебряных цепочек и оливкового масла в узких, как палка, рифленых бутылках.

Кажется, монах пришел со своим мешком на русский пароход РОПиТа (Русского общества пароходства и торговли), грузившийся в Константинополе, а капитан купил графин с лимоном в подарок своему сыну, гимназисту нашей гимназии, затем перешел в собственность другого гимназиста и наконец каким-то образом очутился в руках у моего брата Жени, ховидшего уже в приговорительный класс.

Если мне не изменяет память, Женька выиграл графин в тепки или обменял его на две марки — суданскую и бразильскую.

Графин долго стоял у нас на верху буфета, вызывая общее изумление: каким образом удалось протолкнуть лимон в такое узкое горлышко графина?

...Когда луч солнца проникал сквозь листья старого ветвистого дуба, росшего перед домом, и касался верхушки буфета, графин с лимоном вдруг загорался ярким желто-зеленым пламенем, освещая всю комнату, как волшебная лампа Аладина, натертая песком, и тогда наши скромные комнаты с бумажными обоями — или, как тогда называли, шпалерами — превращались в склад драгоценностей. Ночью при зеленом свете луны, проникавшем в щели ставней, сквозь сон — или, вернее, во сне — я видел темную, длинную, узкую, таинственную фигуру афонского монаха в черной скуфейке, в кожаном поясе, который, неслышно ступая, проносил по комнатам, как священный сосуд, графин со святящимся лимоном...

Но все же каким образом лимон влез в графин? Мы с Женькой ломали над решением этого вопроса голову и в конце концов пришли к заключению, что лучше всего разбить графин и исследовать лимон — не поддельный ли он?

Мы потащили графин с лимоном в кухню и над мусорным ведром безжалостно тюкнули его секачкой: Женька держал графин, а я тюкнул. Графин раскололся, жидкость вылилась, распространяя головокругительный спиртуозно-лимонный дух, и у нас в руках оказался лимон. Он был не так велик, как нам казалось, когда мы смотрели на него сквозь выпуклое, как бы увеличительное стекло графина, но все же гораздо крупнее обыкновенных лимонов.

Мы разрезали его на части и обнаружили, что это не подделка, а самый настоящий лимон с косточками, внутренними перегородками и кислый на вкус. Он был несколько бледнее обыкновенного лимона, но это объяснялось тем, что он долго пролежал в водке.

Мы выбросили его в помойное ведро, так и не раскрыв тайны.

И совершенно напрасно, так как на другой день один мальчик в гимназии — тот самый сын капитана, первый владелец графина, — объяснил нам, что монахи на Афоне выводят особый сорт лимонов-великанов, причем всовывают в графины завязь лимонного плода, когда он еще величиной с фасоль, потом лимоны созревают в графинах, и тогда монахи отрезают веточку, на которой рос лимон, наливают графины водкой, закупоривают хорошей пробкой и пускают в продажу вместе с прочими афонскими сувенирами, которые охотно раскупают русские паломники на пристанях Константинополя.

...мы лишились загадочного графина, который некоторое время так волновал мое воображение и так волшебным образом озарял нашу квартиру днем и в особенности в лунные ночи, когда взрослые храпят, а дети под крылом своих ангелов-хранителей видят сказочные сны...

Патроны, брошенные в костер.

Я вышел из дому, пошел по хорошо знакомой улице, которая на этот раз показалась мне слишком пустынной и какой-то безрадостной. Я шел к моему товарищу Смирнову, тихому зайке, с которым до сих пор никогда не дружил и относился к нему вполне безразлично.

Каким образом оказалось, что мы вдруг стали друзьями, мне было неизвестно, да я об этом и не думал и не старался объяснить, как нечто само собою разумеющееся.

Смирнов жил на соседней улице, называющейся Ясной, в скучном кирпичном доме, и едва я появился возле ворот, как он выглянул в окно и сейчас же вышел ко мне на улицу в зимней шинели и фуражке с гимназическим гербом, показавшимся мне гораздо больше обычного, и в этом я увидел какое-то тревожное предзнаменование, особенно в безукоризненно серебряном траурном цвете скрещенных пальмовых веточек.

У Смирнова было серое лицо, такое же скучное и благонравное, как его фамилия, как бы лишенная звукового богатства. Заикание делало его застенчивым, излишне молчаливым. Я поймал себя на том, что подружился с ним из корыстных побуждений: его отец был преподавателем в нашей гимназии, а я был очень плохим учеником и отец Смирнова мог оказаться мне полезным на педагогическом совете, когда начнется обсуждение моих успехов, поведения и встанет вопрос о моем исключении из гимназии.

...мысль, что я подружился со Смирновым по расчету, мучила мою совесть, и этим тайным мучениям соответствовало все окружающее: серая, неопределенная погода, небо, покрытое излишне низкими тучами, голые деревья, а главное, пустота и безлюдье обычно таких радостных улиц нашей Отрады с их чудесными названиями: Отрадная, Уютная, Ясная, Морская. На асфальтовых тротуарах этих улиц обычно несколько мальчиков подгоняли кнутиками свои кубари, называвшиеся у нас «дзыги», и несколько девочек играли в серсо, бросая деревянными рапирами с перекладинами пестрые, почти невесомые кружки.

Теперь же ничего подобного не было, как поздней холодной осенью, хотя, я думаю, был лишь конец сентября.

Смирнов поднял воротник своей шинели и неуверенной улыбкой дал мне понять, что все в порядке. Дело заключалось в том, что у Смирнова имелась коробка с патронами для «монтекристо», и он обещал сегодня вынести ее из дому. Он вынул из кармана шинели круглую картонную коробочку зеленого охотничьего цвета с черным австрийским орлом на крышке, таким же двуглавым, как наш российский. Он дал ее мне, и я потряс коробочку возле уха, желая узнать, много ли там патронов, и услышал тарактение патронов, которых, судя по звуку, было в коробке не так-то много, вернее, даже совсем мало. Но это меня не огорчило: ведь ружья «монтекристо» у нас все равно не было.

По печальным улицам мы пошли рядом по направлению к обрывам и по знакомой, но несколько изменившейся к худшему дорожке спустились вниз, туда, где между подошвой обрывов и морем простиралось излюбленное нами пространство со следами давних оползней и мусорными кучами, поросшими бурьяном, дурманом с его зелеными колочими корбочками и дудочками цветов нездорового белого цвета, а также пасленом.

Тут мы увидели как раз то, что нам было нужно: затухающий костер, слегка дымившийся, стлавшийся по бурьяну беловатым дымом. Я подбросил в костер сухого бурьяна, и он стал со слабым треском разгораться, но разгорелся не слишком сильно — казалось, его душат низкие тучи, длинными рядами идущие одна за другой откуда-то из-за пасмурного морского горизонта над пенистыми волнами бесшумного и какого-то неприятно-бескрасочного прибоя. Костер понемногу разгорался. Теперь уже можно было бросать в него патроны.

Смирнов, неловко ворочая языком и заикаясь, стал уговаривать меня не делать этого. Но я сумел красноречиво доказать ему, что это будет очень интересно, а главное, поучительно. Почему-то я очень торопился с этим делом и приводил множество доказательств и доводов, из которых самый сильный был тот, что больше уже никогда в жизни нам не представится такой подходящий случай.

Смирнов согласился.

Я открыл коробочку. Там катались три или четыре довольно длинных патрона.

Я бросил их в костер, и мы со Смирновым побежали прочь от костра, каждый миг ожидая услышать за собой грохот взрыва. Но позади нас все было тихо, однако эта тишина казалась нам недоброй, чреватой ужасными последствиями.

Мы, конечно, понимали, что патроны от «монтекристо» не могут взорваться с особенной силой, но мы боялись, что из костра начнут вылетать пульки и попадут нам в спину или в голову и, может быть, даже убьют. Мы спрятались в яму, поросшую пасленом, прижались к земле, наблюдая издали, как будут рваться в костре патроны.

...патроны так долго не рвались, что мы уже перестали надеяться...

А пасмурный день вокруг нас и молчаливое море становились все темнее, зловещее. Именно тогда и стали рваться патроны. Они рвались со слабым, но каким-то несвойственным им раскатистым слитным потрескиванием, вернее протяженным во времени и пространстве рокотом, и от этого грозного рокота и обступившей нас темноты я проснулся и увидел в окнах тягостную темноту пасмурного майского утра и небо, сплошь обложенное грозowymi тучами, среди которых изредка проскакивали сиреневые молнии, и вслед за ними продолжительно ворчал слабый гром, как будто бы по крыше над моей головой проезжали биндюги, везущие листовое железо, а в квартире еще все спали и в комнатах было темным-темно с легким оттенком цветущей в соседних садах густо-лиловой сирени...

...а мальчика Смирнова вообще не существовало в природе, он был просто моим сном, хотя уверенность в подлинности существования его и его отца-учителя иногда волнует меня до сих пор. Нет, все-таки, кажется, он существовал...

Таяние льда.

Учителя у нас в гимназии носили форму: длинные серые сюртуки с золочеными пуговицами министерства народного просвещения, в синих бархатных петлицах белели серебряные звездочки, обозначающие чин. Преподаватели были чиновники. У статских советников звездочки были похожи на сильно увеличенные снежинки.

Один или два учителя позволяли себе являться в гимназию в пиджаках, с маленькими щегольскими ромбовидными университетскими значками на груди. Впрочем, их пиджаки были тоже с золочеными пуговицами и звездочками на бархатных петличках, так что это, собственно, были не пиджаки, а скорее форменные тужурки. Обычно эти вольнодумцы в форменных тужурках были молодые люди, недавно окончившие университет и еще не выбросившие из головы либеральные идеи. Их скоро появлялись в длинных синих форменных сюртуках с синими жилетами, из-под которых выпячивалась треугольником белоснежная скорлупа крахмальных манишек.

Учительский синий цвет был темно-синий, с некоторыми незначительными отклонениями: у одних сукно было более синее, у других менее синее.

Однако учитель, преподаватель физики и географии, отличался от других педагогов слишком светлым тоном своего форменного сюртука, как будто бы и синего, но, по существу, почти голубого, бледного.

Сукно этого голубого форменного сюртука отличалось своей тонкостью, дороговизной, форменные пуговицы на его фоне не так резко выделялись, казались не ярко-золотыми, а скорее бледно-лимонными, в особенности маленькие пуговички на жилете и на обшлагах рукавов, где они как бы сливались с бледным золотом запонок на круглых, хорошо накрахмаленных манжетах, издававших мягкое тарыхтение, когда Акацапов — так звали учителя физики и географии — вытаскивал из заднего кармана своего сюртука квадратик хорошо выглаженного и вчетверо сложенного тонкого батистового платка с меткой, распространявшего при встряхивании приятный запах цветочного одеколора — тоже как бы бледно-золотистого, если только запах может иметь цвет.

Акацапов был довольно стройный худенький мужчина с узкой спиной и узкой жиденькой бородкой, всегда аккуратно постриженной,

бледно-золотистого (какого-то золотушного) оттенка, который очень шел к его бледно-голубым жуликоватым глазам.

...Про него ходили слухи, что он выгодно женился на богатой вдове-купчихе и, кроме того, берет взятки с состоятельных учеников...

Он производил впечатление полного невежды, путал названия рек и стран, развязно и неопределенно водил длинной указкой по истертой, дырявой географической карте, а физику преподавал слово в слово по толстому учебнику Краевича, что дало повод создать такую поговорку: «Мы с Круевичем сумвестно».

Именно таким образом Акацапов произносил эти слова. Вообще, вместо букв «а» и «о» Борис Алексеевич Акацапов довольно часто произносил букву «у». Например: геуметрия или вудурод.

Мы прозвали его Бурис.

Впрочем, Бурис был характера покладистого и даже самым заядлым двоечником ставил тройки, произнося при этом:

— Мы с Круевичем сумвестно решили тебе поставить тройку с минусом.

Как педагог он был совершенно бездарен и каждый урок с большим трудом дотягивал до спасительного звонка, то и дело вытирая свой высокий, но узкий лоб платочком.

В особенности не удавались ему физические опыты: колбы лопались, пробирки выскальзывали из пальцев и вдребезги разбивались, заливая серной кислотой журнал, спиртовая лампочка не хотела зажигаться, а тлеющая щепочка, опущенная в банку с кислородом, долго не хотела вспыхивать звездой и ярко светиться, что строго предписывалось ей Краевичем. Самый простой опыт не получался у Акацапова.

Желая, например, доказать факт воздушного давления, он — в точном соответствии с рекомендацией физики Краевича и помещенного в ней гравированного рисунка — наливал из графина до краев стакан и покрывал его квадратиком бумаги. По идее, если перевернуть стакан кверху дном, то вода не выльется, так как на бумажный квадратик будет давить столб воздуха и бумага удержит воду в стакане, не даст ей вылиться.

...Дрожащей рукой с тонким обручальным кольцом бледного золота, погромыхая манжетами с золотушными запонками, наш Бурис наливал всклянь стакан, принесенный с собой из физического кабинета, затем покрывал его четвертушкой почтовой бумаги и, неуверенным голосом проговорив, что столб воздуха силой своего давления удержит в сосуде воду, поворачивал стакан дном кверху, причем бумажка немедленно отползала в сторону и вода одним махом выливалась на крахмальную манишку, лацканы сюртука и текла по хорошо, по-семейному выутюженным брюкам на щегольские ботинки Буриса. Боясь потерять свой авторитет, Бурис снова начинал поединок с действительностью, не хотевшей подчиняться законам природы, предписанным физикой Краевича, но вода снова под веселый смех всего класса выливалась на паркет. Акацапов попадал в безвыходное положение, пытался отшучиваться, и лишь звонок, возвещавший об окончании урока, выручал его.

...справедливость требует заметить, что не все опыты проваливались у Буриса. Был один опыт, который всегда ему блестяще удавался. Опыт назывался: превращение жидкого тела в твердое и наоборот. Это был коронный номер Буриса, триумф физики Краевича...

В этот день Акацапов обычно был в веселом настроении и бодрой походкой, приподнято улыбаясь голубыми глазами, входил в класс в сопровождении служителя в по-солдатски твердом стоячем воротнике, который, скрипя сапогами, почтительно нес за Акацаповым блюдечко с куском льда.

— Как вам, вероятно, известно,— торжественно, но несколько игриво произносил Бурис,— а если неизвестно, то можете почерпнуть это из физики Круевича, при температуре ниже нуля по Реомюру жидкое тело вода начинает замерзать и превращается в твердое тело, так называемый лед. И наоборот. При температуре выше нуля по Реомюру твердое тело, так называемый лед, начинает таять и постепенно превращается в жидкое тело, называемое водой. В этом вы можете легко убедиться, проделав опыт, о котором подробно говорится у Круевича на такой-то странице, смотри рисунок номер такой-то. Итак. Внимание. И перестаньте шуметь. Мы берем кусок твердого тела — льда — и помещаем его в комнату, нагретую до температуры выше нуля, например в этот класс, где, как вы видите, термометр показывает температуру выше нуля... Дежурный по классу, какую температуру показывает в данный момент термометр?

— Шестнадцать градусов по Реомюру выше нуля! — хором прокричал класс вслед за дежурным, который, став на цыпочки, смотрел на стеклянную трубочку комнатного градусника.

— Заметим это себе,— многозначительно произнес Акацапов,— и поставим блюдечко с твердым телом на видное место, чтобы все могли наблюдать опыт превращения твердого тела в жидкое. Григорий,— обращался Бурис к служителю,— поставь блюдечко с твердым телом на кафедру.

После того как Григорий в своем черном форменном мундире с одним рядом медных пуговиц, как у гоголевского Городничего, с величайшей осторожностью и почтением устанавливал блюдечко с куском сосульки, отбитой им с водосточной трубы, на самом видном месте кафедры, а затем, скрипя сапогами, на цыпочках удалялся из класса, Акацапов начинал урок, время от времени открывая свои золотые часы, и, сверясь с ними, поглядывал на блюдечко, куда уже с сосульки натекло довольно много воды.

К концу урока в блюдечке уже, кроме воды, ничего не было, никакого твердого тела, и Бурис, с торжеством захлопнув крышку часов, провозглашал опыт удавшимся. На этот раз звонок, возвестивший конец урока, звучал как бы в знак триумфа Акацапова «совместно с Круевичем». Класс раздражался непозволительными в стенах казенного учебного заведения аплодисментами, под плеск которых и выкрики «ура!» наш Бурис упругой походкой с журналом под мышкой удалялся из класса, двусмысленно сияя своими голубенькими глазами.

...меня одолевали разные неразрешимые вопросы. Ну, хорошо, думал я, при температуре сто градусов выше нуля вода кипит и превращается в пар, то есть в газообразное состояние. Но ведь при дальнейшем повышении температуры газ, наверное, превращается еще во что-то другое, а затем это другое превращается во что-то новое? Но что представляет собою это новое? И до каких пор будут совершаться эти превращения?

Ворочаясь ночью на горячей подушке, я никак не мог заснуть, представляя бесконечный ряд этих непостижимых моему рассудку вечных, постоянных, неостановимых никакими человеческими усилиями превращений одного в другое.

Меня и сейчас иногда мучают эти вопросы...

Самодельная тележка.

Теперь, вспоминая это баснословно отдаленное время, прежде всего я почему-то представляю себе — отчетливо вижу во всех подробностях — громадную крону какого-то дерева, массу мерцающих листьев, висящих надо мной как туча, качаясь от сухого степного ветра и отбрасывая вокруг меня пыльные многослойные живые тени, в то время как жгучее полуденное солнце, ослеплявшее все вокруг, белое и тоже как бы пыльное, делавшее больно глазам, заставляло серебряно блестящую воду в мутной реке, называвшейся Бугом, и дряхлое мельничное колесо, заросшее зеленой тиной, выливавшее все время добела раскаленные струи воды, падавшей в темный, почти черный волшебный омут, вселявший в мою душу ужас.

...это была какая-то часть бывшей Российской империи, степной юг, Новороссия, уже сопредельная с Крымом, Черным морем, Бессарабией, городом Аккерманом, откуда, как мне казалось, тянуло, как из открытой духовки, раскаленным турецким воздухом.

...Где-то недалеко был город Николаев, село Трихаты — станция, откуда мы приехали сюда, — и порт, откуда мы должны будем через некоторое время уехать на пароходе домой в Одессу.

Время разбило мои воспоминания, как мраморную могильную плиту, лишило их связи и последовательности, но вместе с тем сохранило их подробности, неистребимые никакими силами, как вызолоченные буквы, составлявшие имя некогда жившего на земле человека:

...подобие разбитой жизни. Но разбитой не морально, а физически «на куски» вследствие вечно действующего закона уничтожения и созидания. А впрочем, может быть, это более походило на византийскую мозаику, которую много лет спустя увидел я в Киеве и Константинополе, где люди, вещи, ангелы, святые и весь смугло-золотой мерцающий фон, на котором они изображены, представляли собою набор искусно выложенных кубиков, наколотых из смальты, особой, стекловидной массы всевозможных цветов: ляпис-лазури, кармина, сахарно-белого мрамора, ярко-зеленой медянки, хрома и многих других...

...Может быть, из подобия наколотых кубиков какой-то светящейся смальты была выложена тяжелая разноцветная доска моей жизни со всеми ее живописными подробностями, сначала кем-то превращенная в отдельные разноцветные стекловидные кубики, потом собранная в одну картину и в конце концов раздробленная временем — потерявшая форму, но не потерявшая цвета, — с тем чтобы снова быть превращенной в одно единое, прекрасное целое...

...Может быть: Разбитая жизнь? Смальта?..

Непомерно огромная по сравнению со мной крона упомянутого дерева — не явора ли? — его морщинистый ствол и развилка толстых сучьев были тогда подробностью какой-то большой мозаичной картины, теперь уже разбитой на части, но ждущей того времени, когда чьей-то волшебной силой она опять соединится в одно прекрасное, единое целое.

Как сейчас вижу над головой массу древесной листвы с кусочками облака, просвечивающего сквозь эту массу белизной колотого сахара, и кое-где крупинки небесной ляпис-лазури.

Босоногие деревенские мальчишки полезли на это дерево и принесли гнездо с маленькими толстенькими птенчиками — сорокопути-

ками, от названия птицы сорокопуд. Но я воспринял это название как «сорокопуд», от слова «пуд»; и маленькие круглые птенчики представлялись мне сорокопудиками, уложенными в гнездо, как тяжеленькие фунтовые гирьки, которые незадолго до этого увидел я впервые в прохладной деревенской бакалейной лавке с медными чашками весов и запахами дегтя, керосина, патоки, ржаных пряников, сыромятной кожи, какой-то сбруи, хомутов и земляного пола, политого теплой речной водой из чайника в виде восьмерок.

Кажется, деревенские мальчики пришли к моему папе продавать гнездо с птенцами для моей забавы, но папа не стал покупать птенцов-сорокопудиков, а дал мальчику две копейки — семишник, с тем чтобы они отнесли гнездо на прежнее место, так как отец и мать сорокопудиков, большие сорокопуды, с криком отчаяния летали над нашими головами, желая спасти своих детей.

...в то лето я впервые видел поле, степь и коров с телятами, из которых один пятнистый теленок стоял, широко расставив ноги и упруго отвернув в сторону хвост, из-под которого била мутно-красная струя, растекаясь по сухим степным растениям, и человек в пропотевшем коломянковом картузе и пыльных, потрескавшихся сапогах, приехавший на бегунках, от которых одуряюще пахло колесной мазью, раскаленной клеенкой и лошадиным потом, посмотрел на теленка и сказал, что это —

«кровавый понос»,—

и я помню, как меня испугали, даже потрясли эти слова, сказанные грубым мужским голосом...

Я не помню уже, где мы там жили, помню только белые раскаленные и потрескавшиеся тропинки среди сухой степи, и как больно они кусали мои босые пятки, и как я боялся наступить на коровьи лепешки, сухие сверху и мокрые внутри.

Мы ходили иногда в гости куда-то «к соседям», которые не были приезжие на лето, как мы — мама, папа и я,— а жили здесь всегда в доме под зеленой железной крышей, окруженном уже отцветшей сиренью и пирамидальными тополями. У них всегда было много гостей, и перед домом я помню сухую глинистую землю и на ней клумбу с белыми звездами табака и лилово-красной ночной красавицей, цветочки которой днем плотно скручивались, как зонтики.

...Здесь, в гостях, я однажды оскандалился: войдя в столовую и увидя стол, накрытый к ужину, и тарелку с нарезанными кружками свежей чайной колбасы, я выбежал на террасу, где сидели гости, и с восторгом закричал, подбегая к маме:

— Мамочка, пойдём скорее, там у них есть чайная колбаса!

Все дружно рассмеялись, а мама залилась краской, сконфузилась — я ее никогда не видел такой смущенной, со слезами на глазах — и довольно сердито, хотя и стараясь улыбнуться, сказала:

— Можно подумать, что ты никогда не видел чайной колбасы.

Колбасу-то я, конечно, видел, но мне ее никогда не давали, считая вредной, а давали мне главным образом яйца всмятку и овсянку «геркулес», которую мама варила на керосинке. А я любил больше всего на свете чайную колбасу.

Там же, в столовой, где на тарелке лежали сочные кружки чайной колбасы и уже багрово горели свечи, в сумерках я увидел на подоконнике крупные бледно-желтые яблоки и схватил одно из них, желая откусить кусочек, но яблоки оказались вовсе не яблоками, а маленькими высушенными тыквочками, оставленными на семена.

Это опять вызвало смех гостей и смущение мамы, сказавшей мне:
— Ты совсем не умеешь вести себя в обществе.

Тогда же я узнал, что эти сухие карликовые тыквочки называются «таракуцки»...

В эти же летние дни в самом начале моей жизни я убедился в могуществе моего папы.

В могуществе мамы я убедился еще прежде, в один из первых в моей жизни долгих зимних вечеров, когда зажженная керосиновая лампа отражалась в замерзшем стекле еще не закрытого ставнями окна, а мама сидела за столом и, как я понял позже, подрубала новую наволочку, и в ее пальцах блестела иголка, которой она так ловко наискось прокалывала матерью, а за иглой тянулась крепкая, тонкая, очень белая нитка номер сорок, и мама печально пела вполголоса песню: «Ты не шей мне, матушка, красный сарафан, не входи, родимая, попусту в изъян»...

Эта песня неприятно волновала меня непонятным словом «изъян», которое в моем воображении превращалось в слово «обезьяна», так что рядом с красным сарафаном по его следам шла на своих четырех руках, с красиво загнутым хвостом обезьяна, стараясь лизнуть подол красного сарафана.

— Мамочка, почему обезьяна? — спрашивал я.

— Какая обезьяна? Откуда ты взял обезьяну?

— Ну, не обезьяна, а обезьян? — канючил я. — Это для обезьяна шила матушка красный сарафан?

Мама объяснила мне, что вовсе не обезьян, а изъян, но так как я никак не мог понять, что такое изъян, то мама перестала подталкивать ушко иголки блестящим наперстком, закрыла ставни на задвижку и решила отвлечь меня от непонятного «изъяна», поиграв со мной в тележку.

...маленькая, совсем кукольная тележка, запряженная крошечным осликом, недавно была куплена мне в подарок и еще не успела надоесть. Мама поставила передо мной тележку с осликом и стала рассказывать про нее целую длинную историю.

Мама обладала поразительной способностью рассказывать всякие истории и сказки собственного сочинения; обычно я был околдован ее выдумками, полными юмора и забавных подробностей, и тотчас переставал капризничать, переносясь в мир маминых выдумок.

Но сейчас картина красного сарафана, так противоестественно связанного с четвероруким и тоже, вероятно, ярко-красным обезьяном, следующую по пятам за сарафаном, пересилила волшебство маминогo рассказа про тележку и ослика, про их житье-бытье и про их приключения в Италии, и я еще пуще раскапризничался, стал придираться к каждому маминoму слову, упрямо повторяя, что тележка все равно ненастоящая и ослик тоже ненастоящий, потому что если бы они были настоящие, то в тележке лежала бы трава, а ослик ел бы эту травку, а так все это одни выдумки, сплошной обман, может быть даже изъян.

— Ага, — говорил я маме, — ты не можешь сделать так, чтобы в тележке была травка! Ага!

Мама пригорюнилась, чувствуя, что я припер ее к стенке.

Действительно: где же достать травку ночью, зимой, в комнате с натопленной печью и наглухо закрытыми ставнями? Надо быть волшебником, волшебницей! Я-то знал, что моя мама просто мама, а не волшебница.

И я капризничал еще больше, требуя от мамы невозможного: достать для тележки траву.

Вдруг среди капризов я заметил, как у мамы блеснули карие глаза и чуть дрогнули губы скрытой улыбкой.

— Хорошо,— сказала она,— если тебе так хочется травки, будь по-твоему. Будет тебе травка. Мы ее сейчас поищем и, может быть, найдем.

Мама пошла к комоду, порылась в нем, и вдруг я увидел в ее руках горсть чего-то зеленого. Неужели трава? Невозможно! Невероятно! Но мама уже кладет это зеленое, травоподобное в тележку и нежно прижимает мою голову к своей теплой груди.

— Ну, теперь ты доволен?

Я, конечно, понимал, что это не настоящая трава, даже не сено.

Это сухой, крашенный ярко-зеленой краской мох, которым обычно принято было у нас украшать ватный валик, положенный между двумя оконными рамами зимой. Иногда на этот ватный валик еще ставили стаканчики с серной кислотой — тогда стекла не замерзали.

Стало быть, это не трава, а крашенный мох. Но все равно — чудо. Мне понятно: тележка не настоящая, а игрушечная, ослик не настоящий, а игрушечный, так пусть же и трава будет игрушечная. И это — подлинное чудо, а мама — волшебница.

...стенные часы хрипят, щелкают и пружинно бьют восемь раз, после чего мои глаза закатываются, я не в силах поднять отяжелевшую голову и уже не помню, не сознаю, как мама раздевает меня и укладывает в постельку, и, сладко засыпая, всем своим существом я чувствую всемогущество моей дорогой, любимой мамочки-волшебницы.

Так я уверовал во всемогущество мамы...

Но папа все еще не казался мне всемогущим до тех пор, пока я наконец не убедился, что и он, как и мама, волшебник.

Это случилось именно в те знойные дни, под непомерно громадной, какой-то мглистой кроной явора, о которых я вдруг вспомнил сегодня среди бесконечно длинной переделкинской зимы.

...Тогда я стоял возле папы, едва доставая головой до его колена, и масса движущейся вверху листы бросала на нас многослойные, волнообразные тени. Недавно впервые в жизни я увидел в степи арбу, и мое воображение было поражено видом этой очень длинной телеги с боками, похожими на две горизонтально положенные деревянные лестницы.

Мне вдруг ужасно захотелось иметь такую телегу-арбу — хотя бы ее маленькое игрушечное подобие, и я, теребя отца за брюки, требовал, чтобы он сделал мне такую игрушечную арбу. А так как возле нас в это время бегал, высунув язык, дворовый песик Рудько, то мне пришлось в голову, что недурно было бы запрячь в маленькую арбу собаку Рудько, с тем чтобы он повозил ее по дорожке. Я не верил в способность папы построить для меня арбу. Я тогда не знал, что он, так же как и мама, всемогущ. Тем не менее, стоя возле его ног, я канючил, требуя немедленно маленькую арбу. К моему удивлению, папа быстро согласился, сверкнув стеклами пенсне, и тряхнул темной гривой своих семинарских волос, мокрых и немного курчавых после купания в Буге.

— Хорошо,— сказал он,— не горюй: будет тебе сейчас великолепнейшая арба.

С этими словами папа поднял валявшийся возле сарая кусок дерева, принес из кухни нож, которым обычно рубили мясо на котлеты, быстро наколол ровных лучин и стал из них связывать арбу, так что очень скоро в его руках появилось весьма красивое подобие маленького кузова арбы.

Папа работал весело, сбросив со вспотевшего носа пенсне, которое висело, раскачиваясь на шнурке. Он был в промокшей на спине полотняной малороссийской рубахе с вышитым воротом, подпоясанной ремешком, совсем не похожий на преподавателя, а скорее на ловкого на все руки мастера, столяра, и я видел, как мама, стоя на глиняном пороге кухни, с улыбкой любитесь бородатым папой, его молодецкой рабочей хваткой.

Быстрота, а главное, простота осуществления моего желания несколько обидела меня, и я ворчливо сказал папе:

— А как ты сделаешь колеса?

— Как-нибудь сделаю, — ответил папа, посмеиваясь.

— Но как? — настаивал я.

— Да уж как-нибудь! — ответил папа.

Из его неопределенных ответов я заключил, что папа просто хватается, будто сможет сделать колеса. А на самом деле не сможет. Мне было непонятно, как и из чего он сделает такие сложные круглые предметы, как колеса. Из чего он их выгнет, каким образом скрепит обод? А спицы? Легко сказать! Нет, ни за что ему не удастся сделать колеса. Мама — волшебница. А папа только притворяется, что может все сделать. Он не волшебник. Он не всемогущий.

— Ну, делай, делай колеса! — сказал я папе, грубо хохоча. — Посмотрим, как ты их сделаешь!

— Посмотри, — ответил папа, и чудо сотворения колес совершилось на моих глазах с такой быстротой, что я не успел ахнуть.

Папа поискал глазами вокруг, поднял с земли деревянный кругляш, обрезок какого-то не слишком толстого древесного ствола, снял с гвоздя на стене сарая ручную пилу, положил кругляш на чурбан, уперся в него коленом и отрезал пилой четыре кружка с такой быстротой, что только опилки брызнули в глаза.

Я еще не успел сообразить, что эти древесные кружочки и есть колеса, как папа достал откуда-то четыре гвоздика и прибил ими кружки к кузову тележки, так что получились отличные колеса, которые папа покрутил, чтобы они разошлись, и затем покатил арбу по дорожке.

Тут-то я и понял, что мой папа так же, как и моя мама, вполне волшебник и вполне всемогущий. Моему восторгу не было предела, а папа, со стружками и опилками в волосах, поймал Рудько и ловко запряг его в арбу какими-то веревочками, нашедшимися в сарае.

...Мы стояли втроем — мама, папа и я, — такие родные друг другу, такие любящие и любимые, такие всемогущие, и смотрели, как Рудько рванулся вперед по дорожке, катя за собой арбу, как на повороте арба налетела на пень, где сидела бабочка «адмирал», разбилась вдребезги, колеса покатались в разные стороны. А Рудько, размахивая хвостом, унесся куда-то вдаль, в зелень, волоча за собой остатки арбы.

Зеркало.

Девочку звали Ксения, но я называл ее сокращенно Ксения, иногда просто Ксенька. Она была на несколько месяцев старше меня, а мне тогда было года три, и меня еще одевали как девочку.

Ее привели к нам две наши мамы — Ксенькина и моя, — для того, чтобы мы познакомились, подружились и поиграли вместе.

Ксенька была дочкой наших соседей, живших с нами дверь в дверь через лестничную площадку.

Ее папа был военный врач, грубый человек, постриженный ежиком. От его рук пахло карболкой, а от военного кителя с погонами и выпускным овальным академическим значком с двуглавым серебряным орлом на груди разило табаком и еще чем-то спиртным, очень возможно, водкой, которую он пил перед обедом, а также горчицей и перцем, запаха которых я не переносил. Я его терпеть не мог и боялся, в особенности когда он шутливо ловил меня и больно прижимал к своей толстой груди, к твердому академическому значку, желая слегка попугать, щелкал возле меня длинным берейторским кнутом, с которым ездил в госпиталь в своем желтом шарабане. Этот берейторский бич тонкого плетения всегда стоял у них в углу столовой. У них к обеду денщик подавал на стол огненный, переперченный борщ с сахарной мозговой костью, а посередине стола стояли соль, перец и графинчик водки.

Ксенькина мама мне тоже не нравилась своим напудренным, накрашенным лицом с начерченными бровями, сильным запахом духов, накладной прической и слишком блестящими, мужскими глазами, куда она, как я узнал позже, впускала для расширения зрачков атропин. Она одевалась шикарно, шумела шелковым платьем, скрипела корсетом — и по сравнению с моей мамой выглядела вызывающе неприличной, тем более что курила папироски, сбрасывая пепел в большую пятнисто-рогатую тропическую раковину на столике с семейным альбомом и лампой под шелковым кружевным абажуром.

Это соседство совсем не подходило к нашей тихой, некурящей и непьющей семье, однако мы были соседями и это накладывало обязанность быть в дружбе и ходить друг к другу в гости.

...и вот Ксеньку привели со мной играть...

В этом чувствовалось желание наших родителей укрепить соседство двух семейств, живущих рядом. Ксенька мне совсем не нравилась, несмотря на ее жиденькие локончики, аккуратный фартучек, скрещенный на спине, и чисто вымытые крупные уши. У нее было худое, бледное личико, голубые тени под глазами, и я уж был осведомлен, что у нее есть глисты, с которыми идет постоянная, настоячивая борьба. У нее был плаксивый характер, и она меня все время раздражала своими капризами и слезами.

Обе мамы — моя и Ксенькина — объявили, что мы с Ксенькой теперь жених и невеста, и с умилением смотрели, как мы играли.

Игра состояла в том, что мы неудобно сидели на ковре, раскладывая игрушки и рассматривали мою книжку — гармонику с разноцветными картинками.

Иногда мы заползали под диван, и там я с ненавистью смотрел на Ксеньку, представляя, как у нее выводят глистов: ставят чесночную клизму, дают на ложечке варенье, посыпанное каким-то специальным порошком против глистов, а потом сажают на белый фаянсовый горшок, и я представлял себе, как она сидит и дуется с капризным выражением некрасивого личика.

В конце концов пришел денщик и доложил Ксенькиной маме, что кушать подано, барин серчает, и Ксеньку увели, заставив на прощание со мной поцеловаться, как то и полагалось жениху и невесте. Мы поцеловались друг другу щеки, а ночью мне приснился сон, что мы с Ксенькой действительно жених и невеста: у нее длинные плакучие

волосы, вызывающие во мне какое-то любовное раздражение и в то же время желание поскорее как-нибудь отделаться от непрошеной невесты.

...И тут мне пришло на помощь неизвестно откуда взявшееся волшебное зеркало, обладающее способностью обнажать все скрытые пороки того человека, который в него посмотрится. Я поднес это зеркало к лицу уже ставшей совсем взрослой Ксении, она посмотрелась в него, и вдруг вся ясная гладь зеркала покрылась как бы черными раковинами, исковеркавшими стекло, до этого чистое, как родниковая вода. Лицо Ксении исказилось. На нем повсюду выступили черные раковинки пороков, и я понял, что уже давно страстно ее ненавижу...

Я проснулся, как всегда, от солнечных лучей, бивших с Базарной улицы в щели ставен, день был прекрасен, но это не могло рассеять моего отвращения к Ксеньке, которое, как это ни странно, я испытываю до сих пор, хотя ее уже, наверное, давно нет на белом свете.

Жизнь на Днестре.

Однажды летом мы жили над Днестром; вокруг были холмы — каменистые предгорья Карпат, — поросшие ползучими травами, низкорослой польнью, бессмертниками — иммортелями — с их лиловыми слюдяными, как бы вылинявшими кладбищенскими цветами. В некоторых местах чернели следы цыганских костров, вокруг которых сухая трава была прожжена угольками, и я подбирал эти угольки, вызывавшие в моем воображении картины цыганского табора, ночевавшего здесь: телеги с парусиновыми халабудами, шатры, цыганок в длинных цветных юбках и цыган с кудлатыми бородами, темно-синими, как ежевика. А так как было широко распространено мнение, что цыгане крадут детей, то, засыпая, я крепко держал руку мамы и заплетающимся языком просил хорошенько меня стеречь и не отдавать цыганам.

На приднестровском склоне, куда дачники ходили любоваться закатом, был сложен очаг: плоский известняковый камень, по бокам торчком два других известняковых камня, а сзади в виде спинки четвертый камень — довольно высокая узкая плита со слюдяными следами маленьких степных улиток и блестками задымленного кварца. Этот очаг мама назвала тронем. Отсюда открывался особенно красивый вид на закат, пламенивший над седой от полыни каменистой степью, где в розовой от солнца сухой траве вдруг проползал ужили, стоя над своей норкой как столбик, суслик посвистывал, маленький, симпатичный, повернувшись спиной к предзакатному степному ветру. Отсюда виднелся противоположный берег Днестра — глиняные обрывы с круглыми черными дырами, откуда вылетали стрижи и кружились над пенистой быстринной Днестра, подмывавшей крутые его берега.

...Когда солнце наконец садилось и спустя некоторое время на небе выступало несколько первых звездочек, мы любовались роскошным зрелищем пароходика, который в это время всегда проходил мимо нас вниз по Днестру, шумя колесами и пуская из огнедышащей трубы целый фейерверк золотого дождя...

Пароходик огибал небольшой остров посередине реки, на котором — я знал — находилось садоводство какого-то немца, куда мы однажды ездили в лодке покупать луковицы гиацинтов, и нашу лодку

качало на волнах, поднятых пароходом, и пароход удалялся во тьму звездной ночи, а мама мечтательно провожала его глазами, говоря:

— Какая прелесть пароход!

И я повторял за ней, не без труда произнося:

— Кука прелесть пуруход...

Из чего можно заключить, что мне было в ту пору не более трех лет.

Впечатление от огнедышащего пароходика каким-то образом было связано с событием, происшедшим до или вскоре после моего рождения.

Речь шла о катастрофе на Черном море вблизи Одессы, когда ночью столкнулись два парохода и погибло много людей. Эта катастрофа с человеческими жертвами в течение нескольких лет была темой разговоров, а так как один из пароходов назывался «Меркурий», то до сих пор это слово вызывает во мне тягостное чувство.

Всюду обсуждались обстоятельства суда над виновниками катастрофы. Дело оказалось крайне запутанным, и суд долго не мог доискаться причины происшествия.

В связи с этим мне запомнилось произносимое взрослыми имя Дорошевича, писавшего тогда в «Одесском листке» фельетоны об этом трагическом случае, о суде над капитанами двух погибших пароходов.

Было допрошено множество свидетелей-очевидцев, в том числе один грек, произнесший с сильным греческим акцентом следующие легендарные слова, объяснившие все дело:

«Сли вапёры без фонóри, пассажиры потонули».

По-русски это значило: шли пароходы без фонарей, пассажиры потонули. Слово «пароходы» грек-очевидец произнес на французский лад вапёр, то есть пароход, а во множественном числе выходило вапёры.

Итак:

«Сли вапёры без фонори, пассажиры потонули».

Фонори значило, конечно, фонари.

Это стало чем-то вроде веселой поговорки, которую часто при мне произносили взрослые.

Впоследствии в моем представлении грек-свидетель соединился с другим греком — кондитером Дымбой из чеховской «Свадьбы»...

Живя над Днестром, я впервые увидел много разных интересных вещей: например, аиста на камышовой крыше молдаванской мазанки, которую мы наняли на лето. Аист стоял рядом со своим большим, небрежно сложенным из сучьев гнездом, в котором сидела на яйцах жена аиста — аистиха, а сам аист стоял на одной ноге, а другую прижал к животу, охраняя аистиху. Время от времени аист улетал и приносил в своем длинном клюве еду — маленького ужа или зеленую лягушечку с четырьмя растопыренными лапками.

Аист умел щелкать клювом, и это щелканье напоминало мне резкие деревянные звуки колотушки ночного сторожа, которые я когда-то слышал ночью у бабушки в Екатеринославе.

Папа научился весьма ловко щелкать языком, подражая аисту, и часто, желая позабавить меня и маму, становился против аистиного гнезда, закладывал руки за ремешок своего пояса и, задрав бороду, звонко, чеканно-отчетливо щелкал языком, вызывая аиста на разговор.

Аист начинал отвечать папе, и таким образом они долго переговаривались, а мы с мамой хохотали, и мама сквозь слезы говорила папе:

— Перестань, Пьер, ты нас уморишь. Ты ведешь себя совсем как мальчишка.

Мама называла папу на французский лад Пьером; я думаю, этот «Пьер» пошел у них от «Войны и мира», книги, которая в нашей семье считалась священной.

...На всю жизнь запомнились мне молдаване в сырмятных постолах, меховых жилетах и высоких бараньих шапках, которые они носили, несмотря на летнюю жару...

В Карпатах шли дожди, таяли снега, и тогда Днестр вдруг темнел, раздувался, выходил из берегов, так что каменная дамба против нашей хатки уходила под воду и поверх нее с головокружительной быстротой неслись длинные волны, с которых ветер срывал куски серой пены, покрывавшей весь берег, прибрежные кусты, набивался в камыши, на три четверти затопленные бунтующей водой с черными воронками смертельно опасных водоворотов.

В эти дни в Днестре часто тонули люди, и я со страхом смотрел с галерейки нашей мазанки на зловещие тучи и на массы карусельно несущейся воды.

Через несколько дней дожди в Карпатах проходили и вода в Днестре падала — иногда даже ниже прежнего уровня, — дамба снова появлялась из-под воды, а на песчаных отмелях ходили аисты, выклеывая из полуоткрытых речных ракушек неприятного черного цвета жирных моллюсков.

Я подходил к отмели, покрытой ракушками, и любовался их видом, их дышащими створками, которые то открывались, то закрывались, словно им не хватало воздуха. Меня удивляло, что они живые, что они дышат, что они как бы высовывают языки.

Когда начиналось наводнение и дамба уходила под воду, мы с мамой кричали ей:

— До свиданья, дамба!

Когда же наводнение кончалось, мы приветствовали ее появление из-под воды криками:

— Здравствуй, дамба! Ку-ку, дамба!

Раза два в течение лета папе приходилось уезжать по епархиальным делам на несколько дней в Одессу, до которой, в общем, было хотя и близко, но сообщение было очень неудобное: с переездом на пароме, с двумя железнодорожными пересадками. Я только знал, что папа должен добираться пешком до какой-то Резины — большого села или даже заштатного городка с лавками и почтой, — потом переправляться на пароме в местечко Сахарна, а оттуда уже как-то попадать на железнодорожную станцию Рыбница, где однажды в окно вагона, когда мы ехали на дачу, я действительно видел огромную, только что пойманную белугу, которую, подцепив крючком за хвост, укладывали на платформу железнодорожных весов, посыпанных крупной солью, и кто-то в восторге крикнул, что в рыбе полтора пуда веса.

Обычно мы ждали возвращения папы с громадным нетерпением, каждый день выходили ему навстречу. Он всегда появлялся неожиданно и всегда в первую минуту был не похож на себя.

Один раз мы с мамой вышли встречать его на дорогу, а в это время поперек Днестра, сносимая течением, плыла с того берега, приближаясь к нам, лодка перевозчика, в которой сидел на корме пассажир весь в черном, с длинными волосами, похожий не то на молодого мо-

наха, не то на псаломщика. Мы сначала не обратили на него внимания, но вдруг мама замахала зонтиком, который несла на плече, и крикнула:

— Пьер! Пьер! Боже мой, я его совсем не узнала!

В лодке оказался мой папа с хорошо мне знакомой дорожной плетеной корзинкой на коленях. Увидя нас, папа, в свою очередь, стал размахивать своей черной широкополой шляпой с выгоревшей лентой. Оказалось, он сошел на предыдущей станции и решил переправиться не на пароме, а на лодке, с тем чтобы пристать к дамбе прямо против нашей мазанки, которая со своим аистом на крыше так красиво стояла на каменистой горе, поросшей полынью.

У папы за эти несколько дней отросла на затылке грива, лицо загорело, черное летнее пальто пропылилось, и мама, целуя его и обнимая, то и дело восклицала:

— Ах, Пьер, посмотри на себя, на кого ты похож! Идем же скорей, тебе надо хорошенько помыться с дороги. У тебя бурая шея.

А я норовил вытащить деревянную затычку и заглянуть в скрипучую корзинку, зная, что там непременно должны быть для меня гостинцы из города; потом папа сажал меня на пыльное плечо, и мы весело шли по немощеной деревенской дороге домой — папа, мама и я. Казалось, что, кроме нас троих, никого нет на свете.

...как мы тогда любили друг друга!..

В другой раз мы отправились встречать папу, вышли на дорогу и незаметно дошли до Резины, где на окраине после недавних дождей дорога превратилась в непроходимую лужу, обойти которую было невозможно, потому что с обеих сторон дороги тянулись глухие плитняковые заборы. Мы с мамой остановились и вдруг увидели папу в его широкополой шляпе, как у Максима Горького, в пыльном летнем пальто, в пенсне, со знакомой корзинкой в руке; он осторожно пробирался между каменной стеной и жидкими колеями дороги, в которых полосами отражалось небо, он шел, осторожно переставляя ноги, по совсем узенькой кромке сухой земли, задевая одним плечом известняковые камни забора, оставлявшие на рукаве пыльные следы. Он шел не замечая нас, с доброй улыбкой, предвкушая встречу с нами, испытывая блаженство возвращения к жене и сыну.

Мы с мамой затаили дыхание и долго любовались не замечавшим нас папой.

...самое удивительное было то, что лет через шестьдесят пять после того, когда в мире и во мне все так изменилось, когда уже давным-давно не было на белом свете ни мамы, ни папы, а только осталась легкая, нежная, грустная память о них, я вдруг попал в Резину и сразу же узнал то место, где папа пробирался по обочине дороги, задевая плечом камни забора.

Здесь до такой степени ничего не изменилось — даже зеркальные полосы блестели в густой черной грязи дороги, — что я бы не удивился, если бы вдруг увидел молодого папу в его выгоревшей широкополой шляпе, с корзинкой в руке, бородатого, пыльного, доброго, осторожно переставлявшего ноги, пробирающегося домой — ко мне и к маме.

Я вышел из автомобиля, потрогал рукой неизменившиеся известняковые камни забора, сорвал сухую серебряную былинку, растущую под самым забором, и, чуть не плача от непонятого горя, вернулся в машину и попросил, чтобы повернули обратно вдоль Днестра в Сахарну, а оттуда в Оргеев, где во время первой мировой войны, во время керенщины, меня чуть не расстреляли корниловцы, а потом в Ки-

шинев, памятный мне с лета 1917 года по знакомству в нем с Котовским...

В это время, пока машина разворачивалась, над узкой улицей, над двумя каменными плитняковыми заборами, раскинув крылья и опустив вниз голенастые ноги, как бы висел знакомый аист, с удивлением рассматривая меня — такого старого и не похожего на того маленького мальчика с круглым лицом и узкими монгольскими глазами...

Тут же я вспомнил еще нечто давным-давно забытое из нашей тогдашней жизни на Днестре.

У нас был знакомый местный арендатор, который ходил в брезентовом пылевике и мужицких сапогах. Почему-то он иногда заходил к нам и пил у нас чай. У него было странное имя:

«Кисель Пейсахович Гробокопатель Поссессор».

Так было напечатано на большой визитной карточке, которую он вручил маме и папе при первом своем посещении.

И еще.

Здесь впервые я увидел, как мальчику драли уши. До сих пор не могу забыть это ужасное зрелище.

Возле хатки в этом прелестном приднестровском краю, которую так же, как и мы, нанимала на лето семья неких Месснеров, я увидел в огороде мадам Месснер, которая что-то делала со своим сыном, маленьким кадетиком в широких черных штанах и холщовой летней рубашке с синими твердыми погонами. Мальчик был гораздо старше меня, и я его воспринимал почти как взрослого. Тем страшнее было то, что я увидел. Сначала мне показалось, что они — мадам Месснер и ее сын-кадет — играют в какую-то странную игру. Потом я подумал, что мадам Месснер умывает своего сына двумя губками, которые она держит в обеих руках, и я даже заметил, как по красным щекам кадетика и по носу течет вода.

Это меня удивило.

Однако приблизившись к плетню, вдоль которого росли светящиеся против солнца розовые и красные мальвы, я увидел, что госпожа Месснер дерет уши своему сыну. До этого времени я только слышал, что иногда злые взрослые дерут детям уши, но никогда ничего подобного не видел и, откровенно говоря, не вполне этому верил, думая, что так говорится лишь для того, чтобы припугнуть детей и заставить их быть послушными.

И вот теперь передо мной открылась ужасная правда: большому мальчику на моих глазах драли уши.

Мадам Месснер, крепко вцепившись опытными руками в ушные раковины своего родного сына, драла их взад-вперед, причем мне даже послышалось, как трещат их хрящи. Уши кадета были распухшие, пунцово-красные, цветом своим напоминая чашечки цветущих мальв, возле которых все это происходило.

Мадам Месснер, коренастая белокурая немка в маленьком пенсне, дрожащем на ее пористом напудренном носике, в шелковой блузке, скрипевшей на ее толстой спине и туго затянутой в талии, в накрахмаленном фартуке — она до этого пекла на керосинке Грец свой штрудель с яблоками, — со злыми водянисто-голубоватыми глазами и двойным розовым подбородком, действовала своими пухлыми руками как рычагами, с неотвратимой настойчивостью драла распухшие уши мальчика, пунцовое лицо которого обливалось слезами и было искажено болью.

Чудный светящийся мир, сиявший вокруг меня в это приднестровское росистое утро, вдруг померк; я едва не потерял сознание; мама

подхватила меня на руки, прижала к себе и с побледневшим от негодования лицом унесла подальше от безобразной сцены.

Я долго не мог этого забыть.

Иногда в Одессе я встречал на улице уже взрослого кадета Месснера, мы с ним раскланивались, причем я всегда не отрываясь смотрел на раковины его несколько оттопыренных ушей...

...Последний раз я встретился с ним во время первой мировой войны. Я ехал, сидя на зарядном ящике своей трехдюймовки, а он — навстречу нашей батарее верхом на лошади, в длинной кавалерийской шинели, гусарской фуражке, с кожаным походным портсигаром через плечо, со стеклом в руке в замшевой офицерской перчатке. Дело было под Минском лютой зимой, в дремучем еловом лесу, среди деревьев, утопавших в сугробах, за которыми садилось красное льдистое солнце, и где-то недалеко была артиллерия, пахло дымом солдатских костров, сложенных из елового лапшняка.

Месснер — уже красивый молодой человек с усиками — не узнал меня и проехал мимо, поглаживая свою лошадь по шее. Я посмотрел ему вслед. Раковины его ушей, красных на морозе, ярко светились против заходившего солнца, охваченного ледяным нимбом...

Я вдруг вспомнил жизнь на Днестре, папу, маму, черный след цыганского костра среди каменистой земли, поросшей полынью, вспомнил угольки костра и аиста, как бы висящего над нами на своих раскинутых черно-белых крыльях, с повисшими голенастыми ногами.

Мандолина.

Я узнал, что один гимназист из нашего класса отличный музыкант и даже один раз выступал на гимназическом литературно-музыкальном утреннике, исполнив на своей мандолине, которую принес в сером байковом мешке, затянутом шелковым шнурком, несколько русских патриотических пьес, из которых больше всего понравилась вариация на тему известной песни «Слышу пенье жаворонка, слышу трели соловья; это русская сторонка, это родина моя!»

Сам директор и дамы-патронессы в белых атласных платьях, скроенных вроде русских сарафанов, с бело-сине-красными ленточками розеток русского народа, аплодировали юному мандолинисту, и это решило дело: я дал себе клятву приобрести мандолину и научиться играть на ней разные концертные пьески и бальные танцы вроде падекатра или хиаваты.

Нечего и говорить, что моя просьба купить мне мандолину не вызвала в нашей семье никакого сочувствия. Как и следовало ожидать, тетя юмористически наморщила губы и довольно ядовито высмеяла мою новую беспочвенную фантазию. Женька тактично промолчал, но в его светло-карих глазах я уловил зеркальный блеск взбесившей меня насмешки, а папа даже не на шутку рассердился и, постучав указательным пальцем по обеденному столу, назвал меня лентяем и двоечником, который, вместо того чтобы исправить свои отметки, собирается заняться игрой на таком пошлом мещанском инструменте, как мандолина, из чего, сказал он, все равно ничего путного не выйдет: только зря будут выброшены деньги на покупку инструмента и на плату какому-то проходимцу, объявлявшему в газете, что обучает игре на мандолине за пятнадцать уроков по пятьдесят копеек урок.

Но, хорошо зная папин характер, я не отступил и продолжал настаивать на покупке мандолины, давая честное благородное слово

исправить все двойки и впредь старательно и добросовестно готовить уроки.

С жаром доказывал я папе необходимость для меня музыкального образования, которое так облагораживает человека. Я знал, что папа придерживался именно такого же мнения и сам очень любил музыку. Я сумел убедить его в серьезности моих намерений, после чего папа сдался и мы поехали на новом электрическом трамвае бельгийского общества в город, в центр, где за четыре с полтиной была куплена превосходная итальянская мандолина с черепаховым медиатором, заложённым в двоянные струнах инструмента. Медиатор стоил отдельно сорок копеек.

Я заметил, что, расплачиваясь за мандолину и медиатор, папа с расстроенным видом заглянул в свой кошелек, но, взяв себя в руки, бодро мне улыбнулся и сказал:

— Надеюсь, что ты серьезно отнесешься к своим занятиям музыкой. Помни,— со вздохом прибавил он,— что твоя покойная мамочка очень любила музыку, была чудесная пианистка и так мечтала, чтобы ее дети стали музыкантами.

— Честное благородное слово! — с жаром воскликнул я.

— Дай-то бог,— сказал папа.

По дороге домой в трамвае я нежно прижимал к себе мандолину, любясь ни с чем не сравнимой, совершенной формой ее легкого, емкого корпуса, прочно склеенного из полосок палисандрового дерева, ее выпуклым затылком, красиво суживающимся к грифу, всеми подробностями ее механизма, перламутровыми кружочками на грифе, металлическими делениями, но не такими, как на градуснике, а неравномерно отстающими черточка от черточки — наверху редко, чем ниже, тем чаще, в чем была некая загадочная закономерность.

Мне тут же, в трамвае, хотелось заложить ногу за ногу, а на колени положить мандолину, согнуться и, как заправский мандолинист, ловким движением медиатора извлечь из попарно протянутых металлических струн волнистое, красивое тремоло. Но я сдержался, скромно поглядывая на пассажиров, несомненно восхищенных моей новой, до блеска отполированной мандолиной.

...все это предвещало много радостей, а в самом недалеком будущем — когда через пятнадцать уроков я научусь играть на мандолине,— может быть, даже славу...

Я горел от нетерпения поскорее начать ходить на уроки к учителю игры на мандолине и каждую свободную минуту садился посреди комнаты на стул, закладывал ногу за ногу и, сторбившись над мандолиной, пытался извлечь из ее струн твердое, ровное тремоло.

Это казалось мне так просто!

Однако медиатор скользил у меня в пальцах, и его расширенный конец упруго гнулся, заставляя металлические струны издавать звуки громкие и совсем не музыкальные. Даже не звуки, а скорее нестройное звяканье.

Тетя зажимала уши мизинцами и запиралась у себя в комнате, Женька делал вид, что не обращает на меня ни малейшего внимания.

Затем я стал посещать учителя игры на мандолине — молодого человека в диагональных синих, очень узких брюках, в форменной тужурке почтово-телеграфного ведомства поверх русской косоворотки, с длинными белокурыми сальными волосами, заложёнными за уши. От него пахло табаком, и большую часть урока он набивал гильзы Катька легким золотистым табаком Асмолова и рассказывал мне свои любовные приключения, почесывая ногтем мизинца угреватый нос.

Я оказался настолько неспособен к игре на мандолине, что даже не выучился играть простую гамму.

Дело кончилось тем, что я постепенно перестал ходить на музыкальные уроки, а вместо этого одиноко шлялся с мандолиной под мышкой по городу, лишь бы только не идти к учителю в его аккуратную, но очень тесную комнату в полуподвале, набитую всякими дешевыми, никому не нужными базарными безделушками. Эту комнатку учитель игры на мандолине нанимал в квартире еврейского портного, где всегда стоял особый, устойчивый запах фаршированной рыбы, коленкора, детских пеленок и где вечно стояла подавляющая душу тишина, нарушаемая рубленным стуком маятника и нескончаемо длинными трелями канарейки.

Деньги же, которые мне давали для уплаты за уроки, я тратил на зельтерскую воду с зеленым сиропом «свежее сено» или «ром-ваниль», на рахат-лукум, баклаву и прочие восточные сладости, на приторно-сахарные, как бы лакированные рожки и копру кокосовых орехов...

Я чувствовал себя последним подлецом и, возвращаясь домой, осторожно клал мандолину на черный гардеробный шкаф в нашей комнате, где висел папин новый сюртук и наши новые форменные костюмы. В конце концов, я возненавидел мандолину, не оправдавшую моих надежд и превратившуюся в постоянную улику.

К счастью для меня, папа как-то рассеянно отнесся к моему охлаждению к музыке, махнул рукой и перестал давать полтинники на учителя.

...с тех пор мандолина несколько лет лежала на шкафу в сером байковом мешке, который сшила для нее тетя. Мандолина покрывалась пылью и напоминала о себе лишь тихими музыкальными аккордами, откликаясь на любой, самый легкий звук, доносившийся до нее и проникавший сквозь байковый мешок: стук входной двери, звонок, шаги по коридору, шум воды из уборной, цоканье лошадиных подков на улице, дребезжанье извозчицкой пролетки, певучий голос точильщика или паяльщика, как бы где-то вдалеке прошедшего военного оркестра, водянистый, удручающе грустный звон великопостного колокола, собачий лай, даже шорох мыши, катавшей кусочки сахара за буфетом, даже ночной шелест и потрескивание отклеивающихся обоев...

Странно, что никто, кроме меня, не замечал этих вздохов мандолины, доносившихся со шкафа как укоры совести. Эти вздохи вселяли в меня необъяснимый страх. Я боялся оставаться один в пустой квартире наедине с мандолиной, ловившей каждый мой вздох, следившей со шкафа за каждым моим шагом, как бы музыкально повторявшей все мои самые сокровенные мысли.

Иногда среди ночи я просыпался от прилива необъяснимой тоски, и тотчас на шкафу просыпалась мандолина, начиная еле слышно звенеть всеми своими струнами, сдвоенными, как железнодорожные рельсы. Меня начинала мучить бессонница. Подушка жгла щеку. Мандолина вкрадчивым звоном отзывалась на папин храп, на Женькино сладкое чмоканье и всхлипывание во сне.

Мандолина лежала на шкафу возле самой стены, я ее не мог видеть с кровати, даже если в комнату сквозь ставни пробивался лунный свет поздней осени, но все же я ее как бы ясно видел, лежащую в сером мешке на своем круто выдающемся затылке вверх плоским, срезанным лицом с открытым, мягко очерченным овалом рта, как у греческой трагической маски.

Но, главное, я как бы видел всю ее глубокую пустоту, где накапливались и резонировали самые разнообразные звуки не только нашей квартиры, нашей улицы, нашего города, нашей империи, но и всего земного шара, его прошлого, настоящего, будущего — зловещий, еле слышный струнный хор, хорал военных приготовлений, скопления военных частей, музыку парадов и свиданий монархов, церковных песнопений, колоколов, молебнов, потайной ход подводных лодок, гул чумы и надвигающейся войны, бой под Сморгонью, дуновение смерти, от которой не было спасения моей незащитной, еще почти детской душе.

Мандолина истерзала меня тысячами ночных страхов, муками моего созревания, и я в конце концов, прижав ее к груди, как вор, на цыпочках вышел из квартиры, сбежал по лестнице, причем мандолина сопровождала каждый мой шаг укоризненными аккордами, отправился в город и, испытав множество унижений в разных магазинчиках и лавчонках старья, наконец продал мандолину за смехотворную цену — за восемьдесят копеек, из которых один двугривенный потом оказался фальшивым, грубо сделанным из олова местными неумелыми фальшивомонетчиками, ютящимися где-то в трущобах Молдаванки или в каком-то бах.

Не помню уже, на какие нужды потратил я нечестно приобретенные деньги: может быть, даже проиграл их на чердаке дома Мирошниченко в двадцать одно Жорке Собецкому, а может быть, на что-нибудь другое.

Не знаю, не знаю, не помню...

Проклятая мандолина, обещавшая мне так много высокого восторга и ничего не давшая, кроме томительных музыкальных вздохов, пустых созвучий...

Перед пасхой.

Все наши квартиранты имели различные странности и причуды. Например, один из последних — кандидат на судебные должности — держал в клетке какую-то птицу, скворца или дрозда, уже теперь не помню. Кажется, скворца. Впрочем, может быть, и дрозда.

Он поселился у нас уже на Пироговской улице, когда мы переехали в новый кооперативный дом квартирновладельцев.

Жилец поселился у нас в то время, когда я уже был на фронте в качестве вольноопределяющегося — артиллериста.

Перед пасхой я выпросился в двухнедельный отпуск и, не предупредив папу, желая сделать ему сюрприз, неожиданно прикатил с позиций под Сморгонью, где было тогда затишье, на побывку домой, в родной отчий дом.

Тетя уже не жила с нами, а уехала в Полтаву к родственникам, считая мое и Женино воспитание законченным и долг свой перед своей сестрой, нашей покойной мамой, исполненным.

Она жаждала личной жизни и личного счастья.

Когда утром прямо с вокзала я вошел в квартиру в своей боевой артиллерийской шинели, с черным ранцем за плечами, с кинжалом-бэбутом на поясе, дома никого не было, одна лишь новая, еще неизвестная мне прислуга за всё производила предпасхальную генеральную уборку. Распахнутые окна были уже начисто вымыты, протерты, и весеннее небо как бы качалось на петлях в мокрых рамах.

По всей просторной новой четырехкомнатной квартире с электрической арматурой и батареями пароводяного отопления гуляли

апрельские сквозняки и солнце лежало ярко-желтыми восковыми квадратами на новеньком натертом паркете.

Отпирая мне дверь, новая прислуга держала в руке пустую клетку. Так как мы никогда не водили птиц, то я понял, что эта проволочная клетка принадлежит новому жильцу, поселившемуся в бывшей тетиной комнате, о чем мне папа писал в действующую армию.

По испуганному лицу новой прислуги текли слезы, и я узнал, что произошло несчастье: пока она чистила клетку, дрозд выскочил за дверцу, посидел на шкафу, посмотрел туда-сюда, а потом махнул в открытое настежь окно — и поминай как звали!

Новая прислуга сказала, что квартирант не дай бог как рассердится, потому что очень привык к дрозду и каждый день собственноручно меняет ему воду и засыпает конопляного семени, а дотрагиваться до клетки никому не разрешает.

Я еще не успел насладиться свободой и чистотой нашей квартиры со всеми признаками наступающей пасхи: зеленой горкой взошедшего кресс-салата, узкими вазонами с зацветающими гиацинтами, тарелкой с только что выкрашенными пасхальными яйцами, закрепленными в уксусе и до зеркального блеска натертыми сливочным маслом, — пунцовыми, алыми, зелеными, лиловыми, в каждом из которых отражалось окно, в то время как опустошенные пакетики из-под краски для яиц еще лежали в кухне на подоконнике и на каждом таком пакетике было изображение цветного яйца, из которого вылупляется желтый цыпленок.

...и в столовой на пианино — только что полученный пасхальный номер «Лукоморья» с глянцевой обложкой, на которой был во много красок напечатан букет ярких тюльпанов, что придавало дому еще более пасхальный вид...

Не успел я еще всем этим насладиться, как раздался резкий электрический звонок и в дверях появился наш новый жилец — довольно молодой простецкий мальчик в распахнутом партикулярном пальто, в форменной фуражке судебного ведомства, в кашне, либерально обмотанном вокруг крепкой розовой шеи с индюшечьим кадыком.

Отстранив помертвевшую прислугу и не обратив на меня никакого внимания, кандидат на судебные должности вошел, весело посвистывая, в свою, то есть в бывшую тетину, комнату и вдруг там сразу замолк.

Наступила тягостная пауза, после чего квартирант уже без пальто появился на пороге бывшей тетиной комнаты, причем —

...«клик его был ужасен»...

— Фрося,— почти неслышным голосом, с легким украинским акцентом спросил он,— где дрозд?

Фрося закрыла лицо фартуком и зарыдала.

— Я спрашиваю, где дрозд? — еще тише выговорил жилец.

Фрося продолжала рыдать.

Жилец еще раз посмотрел на открытую клетку, потом на распахнутое окно, на соседнюю крышу, над которой простиралось чистое пасхальное небо с трепещущими в нем жаворонками, бог весть как залетевшими с поля в город, а затем, сделав трагическое лицо, полное решимости, если потребуется, совершить убийство, сказал:

— Чтоб птица была!

Он закутал свою шею кашне, накиннул пальто на плечи, нахлобучил фуражку, вышел гремящими шагами на лестничную клетку, изо всех сил захлопнул за собой дверь и уже после этого закричал с лестницы еще раз страшным голосом, потрясшим весь дом:

— Чтоб птица была!

А я стоял в передней, улыбался, потешаясь над бессильной яростью этого молодого человека — будущего судебного крючка, — не нюхавшего пороха, оконавшегося в тылу и не имеющего никакого понятия, что такое стрельба немецкой тяжелой артиллерии по нашим блиндажам.

...и каким же надо быть шпаком и неврастеником, чтобы требовать улетевшую на волю птицу. Улетит, брат, не поймаешь. Ищи, свищи...

Вскоре я ехал в пустом вагоне на фронт под Сморгонь и в белорусских лесах блестели озера талой воды.

«Чем дальше от юга и моря, тем сердце спокойней и проще; тем в сердце спокойней и проще, и сердце полно тишиной; в открытые окна вагона дышали весенние рощи, дышали весенние рощи прохладой и мокрой землей. Бежали лесные болота, и в них серебристые звезды дрожали от свежего ветра весеннею дрожью своей. И светлые пятна из окон бежали по шелку бересты, белеющей скромно и тонко сквозь кружево хвойных ветвей... Бродило предчувствие счастья апрельским, ликующим хмелем; бродило, горело и мело весенние песни в крови. Заря занималась сквозь слезы, туманы ползли по ущельям, и пели в садах станционных, в росистых садах соловьи...»

Рождение братика.

Когда няня привела меня с прогулки, раздела и я вошел в гостиную, то было уже почти темно, а мама и еще одна женщина сидели рядом в креслах возле столика, покрытого бархатной скатертью, и рассматривали какую-то книгу.

Эта книга не была толстым, хорошо мне знакомым альбомом с медными пружинными застешками и толстыми лаково-белыми картонными страницами с золотым обрезом, в которые были вставлены семейные фотографии.

Альбом этот всегда находился рядом с керосиновой лампой на высокой ножке, с красивым бронзовым резервуаром и матовым абажуром в виде раскрытого тюльпана, откуда высывалась верхушка лампового стекла, над которой всегда колебался нагретый воздух.

С наступлением темноты эту лампу, уже зажженную, принесли из кухни, где заправлялись все прочие керосиновые лампы нашей квартиры, и тогда небольшая гостиная со старой мягкой мебелью делалась в моих глазах как-то по-вечернему уютной, почти сказочной, чему способствовала тень фикуса с его овальными листьями, вдруг четко, но мягко появлявшаяся на потертых, слегка золоченых обоях.

На этот раз было уже довольно темно, а зажженную лампу все еще не принесли.

Женщину, сидевшую рядом с мамой, я узнал сначала по черной шерстяной материи ее одежды, пропитанной приятным запахом ладана и лампадного масла, а также по белому цвету пухлого лица, окруженного краем накрахмаленной косынки, выглядывающей из-под черного монашеского платка.

Это была пожилая сестра милосердия из Стурдзовской евангелической общины, и она имела какое-то не совсем понятное мне, близкое отношение к нашей семье, в особенности ко мне: я слышал, как взрослые говорили про нее, что она меня принимала.

Но что значит принимала, я не понимал, а только чувствовал в этом какую-то необъяснимую, темную тайну. Я неясно понимал, что не всегда жил на свете: сначала меня совсем не было, я не существо-

вал, а если и уже существовал, то был в каком-то таинственном месте, ни живой, ни мертвый, и Акилина Афанасьевна, как звали сестру из Стурдзовской общины, каким-то образом оттуда выручала меня, крошечного ребеночка,—принимала в свои пухлые теплые руки, как бы вытертые, по далекому сходству с ее именем, приторно-сладким глицерином, который я однажды лизнул с пробочки мамино флакона.

Акилина Афанасьевна считалась у нас в семье как бы дальней родственницей и появлялась иногда по большим праздникам.

Однажды мы с мамой ходили ее навестить в Стурдзовскую общину — нерусское здание, построенное из какого-то крепкого дикого камня, с часами над входной дверью,—и я помню темный узкий коридор, в холодных сумерках которого перед иконой горела цветная лампада, подвешенная на трех цепочках.

...Во всю длину коридора лежала ковровая дорожка, делавшая наши шаги неслышными...

Мама не успела меня схватить за руку, как я уже отцепил цепочку с гвоздика и лампадка тяжело, со стуком упала на пол, погасла, зачадила, лампадное масло потекло по ковровой дорожке, и самое ужасное было то, что в тот же миг в глубине коридора показалась фигура настоятельницы общины в черной царственной мантии, с высоким посохом в руке, с грозным выражением бледного худого лица с высоко поднятыми, густыми, как усы, бровями.

Я так испугался — в особенности меня испугали ее резные кипарисовые четки, висящие на руке,—что едва не потерял сознание, а она приблизилась ко мне и легко, но довольно чувствительно шлепнула меня по рукам, проговорив сквозь сжатые губы:

— Скверный шалун.

Я уже сейчас не помню, как меня увели из общины, где я так оскандалился, но с тех пор у меня почему-то появилась уверенность, что Акилина Афанасьевна принимала меня именно отсюда, из этого сумрачного коридора с узкими готическими окнами, с чадящей на ковровой дорожке лампадкой и черной фигурой настоятельницы, протершей ко мне белой высокой посох, и в моей душе всегда жила благодарность к Акилине Афанасьевне за то, что она приняла меня и вынесла меня отсюда на своих мягких пухлых руках на свет божий, в мир, где горело солнце, трепетала листва, прыгали воробьи и по небу над длинной железной крышей когановского приюта бежали веселые облака, гонимые ланжероновским ветром.

Теперь в темной гостиной я увидел маму и Акилину Афанасьевну с ее кожаным акушерским саквояжем на коленях. Я заметил на столике открытую книгу, такой книги у нас не было: наверное, ее принесла с собой Акилина Афанасьевна. Хотя было довольно темно, но я заметил, что это книга с картинками, и тотчас влез на мамины колени, с тем чтобы посмотреть картинки. Мне было неудобно сидеть на маминых коленях, так как меня подпирал ее очень потолстевший за последнее время живот, на что я, впрочем, не обратил особого внимания. Я тянулся к открытой книге, желая рассмотреть рисунок, совсем неразборчивый и непонятный в потемках. Этот рисунок казался мне странным, необычным, так как я не находил в нем изображения знакомых предметов — людей, деревьев, животных, домов, то есть всего того, что обыкновенно бывает в книгах и называется картинками

Я увидел рисунок, изображавший нечто похожее на несколько

скрюченный огурец с подогнутой крупной головой и, как мне показалось, сонно закрытым детским глазом.

— Что это такое? — спросил я маму.

— Это не для детей, — ответила мама.

— Да, но все-таки что это такое? — настаивал я.

— В темноте не разберешь, — улыбаясь, сказала Акилина Афанасьевна, желая все это повернуть в шутку.

Тогда я стал требовать, чтобы принесли лампу. Лампу принесли, но книга тем временем исчезла. Ее куда-то от меня спрятали. Исчезла картинка, вызвавшая в моей душе беспокойство.

Утром я почувствовал, что в доме что-то неладно: мама не встала с постели, папа ходил по комнатам и, как видно, не собирался ехать на уроки. В гостиной снова появилась Акилина Афанасьевна со своим саквояжем.

Меня напоили чаем с молоком, одели тепло, как для длительной прогулки, в пальто и гамаша, и мама, поцеловав меня сухими губами в лоб, сказала, что кухарка отведет меня на целый день в гости к одним знакомым, которые живут за циклодромом, недалеко от Ланжерона, против пустыря, где впоследствии разбили новую часть Александровского парка, а тогда там рос бурый осенний бурьян, доходя до самого обрыва, как бы повисшего над бушующим грязным морем, и шквалистый штормовой ветер гнул в одну сторону и заставлял трепаться сухие кусты перекаати-поля и будяков и нес в лицо холодную пыль, смешанную с пухом репейника.

Мне было холодно в моем осеннем пальтишке, из которого я немного вырос, и в тонких шерстяных гамашах.

Ежась я вошел в незнакомую мне квартиру, где меня уже ждали. Выбежали две девочки, вышла с ласковой улыбкой их мама, затем я увидел их папу — полковника с бакенбардами, в мундире офицера пограничной стражи.

Он качался в качалке и милостиво потрепал меня по щеке своей костлявой рукой, напомнившей мне руку покойного екатеринославского дедушки, мамино папы, того самого, который некогда подарил мне Лимончика.

У моих новых знакомых была просторная, богатая квартира с теплой застекленной террасой, полной тропических растений и клеток с канарейками, там стоял длинный обеденный стол и вокруг него дачные плетеные стулья.

Девочки были старше меня — высокие, худенькие, вежливые, приветливые. Они развлекали меня, как воспитанные хозяйки развлекают не очень интересного гостя: меня поили какао с рогаликами, показывали картонный игрушечный театр, рисовали вместе со мной на особом матовом стекле разные предметы, и во всем их милом, деликатном поведении сквозило непонятное сочувствие, грусть, даже тревога.

Их мама курила очень тонкие папироски, сбрасывая сиреневый пепел в перламутровую раковину, время от времени подзывала меня к себе и гладила мои стриженные, жесткие на макушках волосы...

(Не забывайте, что у меня было две макушки, я был «счастливчик».)

...Причем выражение ее лица делалось сочувственно-грустным и вместе с тем полным скрытого любопытства.

Наша кухарка давно уже ушла, и я слышал, как мать девочек сказала ей, чтобы обо мне не беспокоились: если дело затянется, то я буду ночевать у них в гостиной на стульях.

Но что же могло затянуться?..

Тревога охватила мою душу. Я чувствовал все усиливающееся

беспокойство, к которому почему-то примешивалось представление о саквояже Акилины Афанасьевны и картинке в книге, смысла которой я не мог разгадать, хотя мне казалось, что загадка моего пребывания в чужом доме заключается именно в этой неразгаданной картинке, в этом как бы скрюченном тельце с большой сонной головой, опущенной вниз, в этой странной личинке, которую мне вчера не хотели показывать при свете принесенной лампы.

...кажется, ее звали не Акилиной Афанасьевной, а Саввишной. Да, именно так. Но это не имеет значения, как не имело бы значения, если бы ее звали не Акилиной, а Гликерией...

У девочек была бонна, и она водила нас гулять на Ланжерон, где высокий прибой обрушивался на скалы и взбаламученное море кое-где просвечивало резкой зеленью октябрьского шторма.

Мне по-прежнему было холодно, и бонна подняла мне воротник с маленькими вышитыми якорями и закутала мою шею гарусной шалью, отчего я почувствовал себя еще более сиротливо.

Под темными тучами, низко бегущими одна за другой над Ланжероном, возле обрыва в сухом бурьяне лежали производившие учение солдаты, как я узнал от бонны — рота искрового телеграфа. Они запускали в небо полотняный, так называемый змейковый азростат, и он, треща под напором шквалистого ветра, уходил по косо́й линии все выше и выше к черным тучам на тонком стальном тросе, скользящем с большой железной катушки, которую постепенно разматывали солдаты с зелеными погонями, лежащие в репейнике. Рядом с ними в репейнике стояли полированные деревянные ящики электрических батарей, соединенных со змейковым азростатом черным проводом, откуда время от времени выскакивали как бы маленькие синие молнии электрических разрядов искрового телеграфа.

Бонна объяснила нам, что солдаты посылают электрические телеграфные сигналы на миноносец, нырявший в штормовых волнах против Ланжерона. Я видел на мостике миноносца маленькую фигурку матроса, который, как мельница, махал двумя сигнальными флажками.

Во всем этом было что-то новое, зловеще-военное, какое-то темное предзнаменование, и я, спрятав ручки в рукава своего короткого пальтишка, чувствовал себя совсем сиротой.

Я провел у знакомых целый день, завтракал, обедал и ужинал, причем, помню, меня поразило богатство ужина: солдат-денщик в зеленых пограничных погонах и в белых нитяных перчатках подал блюдо жареных куриных котлет с зеленым горошком, а на столе на фаянсовой дощечке стоял большой кусок слезящегося швейцарского сыра с крупными дырками.

Наступил вечер. Стемнело. С Ланжерона дул ветер.

Уже давно зажгли лампы. В аквариуме уснули золотые рыбки, повисшие как загниотизированные среди водорослей, осыпанных бисером воздушных пузырьков.

Станный день, проведенный у чужих людей, впечатление от змейкового азростата с его цветными полотняными плоскостями, который косо уходил вверх, в тучи, искры, выскакивающие из антенны, гул штормового моря и качающегося бурьяна утомили мой мозг, глаза мои сами собой закрывались, я стал капризничать, и мама девочек наконец велела укладывать меня спать на составленные стулья в гостиной, среди араукарий, бронзовых статуэток и больших картин в золотых рамах, из которых одна особенно восхищала и в то же время пугала своей красотой: черноглазая неаполитанка с поднятым бубном.

Я ужаснулся от мысли, что мне придется спать — как сироте! — в чужом доме и ночью на меня будет смотреть своими черными глазами итальянка в красном корсете.

Но в это время пришла наша кухарка, возбужденная, веселая, и сказала мне:

— Ну, слава богу, теперь у тебя есть братик, пойдем поскорее домой к мамочке, она за тебя беспокоится.

Поверх пальто она закутала меня принесенным серым оренбургским платком, от которого, как мне казалось всегда, исходил теплый, домашний, несколько кухонный запах екатеринославской бабушки, и вскоре я, еле держась на ногах, со слипшимися глазами — с ланжероновским репейником в вязаных гамашах, — очутился дома, в нашей маленькой трехкомнатной квартире, небывало ярко и весело освещенной лампами и свечами.

Прежде чем увидеть только что появившегося на белый свет своего братика — во что я все-таки никак не мог поверить, — я почувствовал крепкий запах распаренного липового дерева и облитых кипятком пеленок. Затем я увидел на кресле в гостиной раскрытый саквояж Акилины Саввишны и наконец ее самое, мелькавшую в дверях спальной со своей крахмальной косынкой и белыми, пухлыми, сладко-глицериновыми руками, обнаженными по локоть.

Было сразу заметно, что она тут главное лицо, распорядительница.

...мелькнул взволнованный папа в распахнутом сюртуке...

Я увидел липовое корыто, поставленное на две кухонные табуретки. По-видимому, недавно корыто ошпарили кипятком, потому что в воздухе сильно и приятно пахло душистым древесным запахом. Дно корыта было устлано сложенными в несколько раз бумазейными пеленками, а на пеленках лежал совсем крошечный длинненький ребенок с еще красным тельцем и животиком, перевязанным марлей.

Акилина Саввишна осторожно поливала ребенка из кружки теплой водицей и нежно терла его кукольные ручки и ножки своими нежными ладонями, как бы предназначенными самой природой для купанья новорожденных детей.

...Я увидел черные, слипшиеся на лбу волосики моего неизвестно откуда взявшегося братика, его кисло зажмуренные глазки...

Акилина Саввишна держала ребенка спиной вверх на своей просторной ладони над корытом, а папа, не боясь облить водой свой новый сюртук с шелковыми лацканами и крахмальные манжеты, поливал его из кувшина, и вода лилась по нежному тельцу нового ребенка, согнутому, как очищенная раковая шейка. Из крошечного ротика ребенка выскакивали пузыри и беззвучно лопались. Я увидел, как Акилина Саввишна вытерла руками ребенка, а затем, положив его спинкой на стол, крепко запеленала, так, что он стал твердой неподвижной куклой без рук, и только крошечное сморщенное личико, красное и потное, виднелось из пеленок, окутывающих головку.

Несколько раз ребенок, не раскрывая глаз с набухшими веками, издал ротиком довольно громкий крик:

— Кувá, кувá, кувá!

И тогда мама, лежавшая на кровати, по-девичьи разметав по подушке свои смоляные волосы, с нежным усилием улыбнулась искусанными губами и проговорила почти совсем пропавшим голосом:

— Ах ты мой маленький кувасик.

С тех пор моего братика долгое время называли Кувасиком.

Когда же Акилина Саввишна положила спеленатого ребенка рядом с мамой, приложив его личико к ее надутой, влажной, с кораллово-коричневым соском и каплей молока на нем груди, мама с усиленным протянула ко мне ослабевшую смуглую руку, погладила меня по голове с двумя макушками и, с трудом шевеля губами, сказала: — Поцелуй своего братика.

...и я осторожно, как будто к иконе, приложился губами к круглому личику «кувасика», испытывая одновременно и невыразимую нежность к этому чудесному произведению природы, и непонятную боль какого-то темного предчувствия, пронзившего мне сердце.

В верхних слоях атмосферы...

Все-таки сначала мы сделали попытку проникнуть на ипподром Российского общества рысистого коннозаводства — или как оно там называлось, не помню! — бесплатно, через забор, причем Боря чуть не порвал свою новенькую летнюю шинель на шелковой подкладке, но получили от прибежавшего сторожа по шее, после чего оставалось только купить входные билеты, за которые без особого удовольствия заплатил Боря: у меня в кармане не было ни копейки, а у Бори всегда водились деньжата.

В этот день на ипподроме бегового общества были объявлены не бега, как обычно, а полеты на аэроплане «фарман» знаменитого борца Ивана Заикина — сильнейшего соперника великого Поддубного. Заикин сделался на некоторое время авиатором. Заикин был наш кумир, и некоторые считали, что по технике он даже выше Поддубного.

Авиатором Заикин сделался в силу моды того времени. Каждый известный спортсмен должен был быть авиатором. Это создавало вокруг его имени шум и необходимую рекламу.

На полеты мы пошли с Борей не столько ради Ивана Заикина, сколько для того, чтобы увидеть знаменитого писателя Куприна, который, приехав из столицы в Одессу, по слухам, должен был совершить полет вместе с Заикиным.

Особенно хотелось увидеть Куприна моему другу Боре, уже успевшему прочитать «Гранатовый браслет», «Поединок» и «Штабс-капитана Рыбникова».

Народу на ипподроме оказалось не слишком много, все больше простой народ — по входным билетам, как и мы. На трибуне виднелись несколько богатых дам в громадных шляпах, пришедших посмотреть знаменитого писателя, и десятка два студентов и щеголеватых офицеров, пришедших ради «волжского богатыря» Заикина, ну и, конечно, для того, чтобы полюбоваться полетом.

Дул довольно сильный ветер, и публика боялась, что полет отменят по случаю неблагоприятных метеорологических данных, как это случалось в то время, на заре авиации, довольно часто.

Уличные мальчишки сидели на акациях за ипподромом и выражали крайнее беспокойство: отменят полет или не отменят? Однако вскоре далеко за конюшнями открылись широкие ворота дощатого ангара и несколько солдат местного гарнизона в бескозырках вывели на беговую дорожку желтый биплан на толстых резиновых колесах. В то же время откуда-то появились и медленно прошли мимо трибун Куприн и Заикин.

...Волжский богатырь был в желтом кожаном пальто, в кожаном шлеме, в черных кожаных перчатках с большими раструбами; его

пшеничные, по-борцовски закрученные вверх усы придавали его крестьянскому красивому лицу выражение решимости и бесстрашия, в то время как его друг, знаменитый писатель, толстячок с несколько татарским круглым лицом и узкими зеленоватыми глазами, шел рядом с борцом-авиатором в так называемой шведской куртке — черной, кожаной, короткой, — из-под которой торчали какие-то газеты. По ипподрому сейчас же распространился слух, что ввиду того, что в высших слоях атмосферы, куда Заикин намеревался поднять свой летательный аппарат, царит ужасно низкая температура, то Куприн решил утеплить свою шведскую куртку, напихав под нее десятка два номеров газеты «Одесские новости», в качестве специального корреспондента которой должен был совершить вместе с Заикиным рекордный полет на высоту по крайней мере трехсот метров, что казалось нам с Борей настоящим чудом авиации, чем-то почти невероятным...

— Ваня, не простудись! — кричали поклонники Заикина с деревьев и из-за забора.

— Александр Иванович, — слышались взволнованные голоса с трибун, — поберегите себя для русской литературы!

Раскланиваясь с публикой на все стороны, Заикин и Куприн остановились на краю беговой дорожки, куда солдатики, держа летательный аппарат за несущие поверхности, уже подкатили «фарман». Механик-француз, привезший авиационный мотор «Гном» из Исси ле Мулино под Парижем, осматривал со всех сторон биплан, пробыл крепление распорок, прочность тонких стальных тросов, проверял подвижность руля высоты, и публика с завистью разглядывала его клетчатую спортивную каскетку наимоднейшего парижского покроя, его макслиндеровские усики и коричневые кожаные краги на кривоватых ногах.

Заикин, слегка покачав аэроплан, отчего он как бы весь зазвенел, как музыкальный инструмент, ловко вскарабкался на свое сиденье, а Куприн, кряхтя, заполз ему за спину и уселся там под латунным бензиновым баком, в котором, как в самоваре, отражалось холодное солнце этого незабвенного ветреного дня.

Публика начала аплодировать, и Заикин в ответ встал и помахал своей большой перчаткой с рыцарским раструбом, а Куприн приподнял на коротко стриженной голове с челкой маленькую кепочку с пуговкой, а затем надел эту кепочку козырьком назад.

— Контакт! — гаркнул француз-механик.

— Есть контакт, — ответил цирковым тенором волжский богатырь и повернул червячок-кнопку механизма зажигания.

Два солдата под руководством француза с усилием крутнули несколько раз деревянный лакированный пропеллер, мотор «Гном» чихнул и вдруг с грозным жужжанием завертелся, разбрасывая во круг капли касторового масла, которым был смазан.

Пыль поднялась облаком.

Мы с Борей, надвинув свои гимназические фуражки козырьками на нос, неподвижно стояли друг возле друга, очарованные зрелищем последних мгновений перед тем, как аэроплан побежит вперед, оторвется от земли и достигнет рекордной высоты в триста метров, навеки прославив покорителей воздушной стихии и силы земного притяжения, великого борца среднего веса Ивана Заикина и знаменитого писателя Куприна.

— Ты чувствуешь, что мы присутствуем при историческом событии? — сквозь крупные передние зубы проговорил Боря, крепко сжимая мою руку.

— Спрашиваешь! — прошептал я в ответ, и слезы восторга повисли у меня на ресницах.

...нет, что и говорить, момент был незабываемый: два безумно храбрых человека, два кумира, презирая опасность, не обращая внимания на довольно свежий дофиновский ветер, рискуют подняться над ипподромом и, достигнув верхних слоев атмосферы, где, быть может, их ждут непредвиденные опасности, покажут всему миру, на что способен неустранимый русский человек!..

Солдаты, державшие аэроплан за хвост, топя сапогами, отбежали в сторону, на них налетела туча пыли, ветер сорвал с их стриженных голов фуражки, «фарман» побежал и под громкое «ура» публики оторвался от беговой дорожки, сделал крутой вираж в воздухе и, обогнув четверть круга, мягко упал на Второе еврейское кладбище, известное, между прочим, тем, что там имелся мраморный памятник с золотой надписью под шестиугольным щитом царя Давида:

«Здесь покоится Лазарь Соломонович Вайншток, корректный игрок в картах».

...Трибуны ахнули... Немедленно к месту катастрофы напрямик поперек ипподрома помчалась, издавая свои хорошо знакомые тревожные гудки, карета «скорой помощи», запряженная парой вороных лошадей, а следом за каретой «скорой помощи» поскакали несколько извозчиков и собственных выездов, в которых стояли взволнованные люди: француз-механик, полицмейстер, несколько студентов-белоподкладочников с биноклями и заплаканная дама в боа из страусовых перьев...

Мы с Борей с ужасом всматривались вдаль, где среди мраморных надгробных памятников Второго еврейского кладбища возвышались два легких крыла севшего набок биплана. Несмотря на самые мрачные наши предчувствия, все обошлось благополучно.

Сначала весело промчалась назад пустая карета «скорой помощи», а за нею не торопясь следовал извозчиный экипаж, в котором, откинувшись на подушки, довольно смущенно сидели целые и невредимые волжский богатырь Иван Заикин и знаменитый писатель в своей шведской куртке, набитой газетами, для того чтобы не простудиться в верхних слоях атмосферы.

Семена.

За луковицами гиацинтов и тюльпанов, а также за рассадой и семенами цветов тетя ходила в садоводство Веркмейстера.

Иногда ранней весной меня внезапно одолевало чувство, трудно определимое словами, — нечто вроде жажды принять участие в таинственном явлении произрастания семян, в превращении мертвого зерна в живое зеленое растение.

Более точно не могу выразить это чувство.

Это чувство охватывало все мое существо, овладевало всеми моими помыслами и желаниями. Тогда, раздобыв гривенник, я отправлялся в садоводство Веркмейстера на Пироговской улице, против массивного белого здания штаба Одесского военного округа. За глухим каменным забором садоводства на цветочной плантации уже начинались весенние работы: два садовника-немца в картузах и зеленых фартуках откапывали превосходными заграничными лопатами кроны присыпанных на зиму штамбовых роз, распрямляли их согну-

тые в дугу тонкие стволы и прикрепляли к ним оловянные ленточки с выбитыми на них названиями сортов роз.

Кучи хорошо унавоженного, перепревшего и просеянного сквозь сито чернозема голубовато дымились на солнце; в большую кадку текла из крана вода, кое-где валялись дорогие плоские лейки, или, как они назывались в нашем городе, поливальницы, а также совки синей вороненой стали, купленные, несомненно, в магазине железных инструментов и двутавровых балок «Братья Раухвергер», — верный признак того, что садоводство Веркмейстера было поставлено на широкую ногу и пользовалось лишь самым лучшим английским садовым инвентарем.

Семена продавались в глубине участка в маленьком домике, называвшемся конторой.

Сжимая в кулаке гривенник, я входил в маленькую беленую комнату, где сам Веркмейстер в фуражке и вязаном жилете лично продавал семена, вынимая пакетики из узких ящичков, которые выдвигались из шкафа во всю стену, на манер клапанов фисгармонии.

На прилавке стояли аптекарские весы и фаянсовые банки с развесными семенами, отчего магазин напоминал аптеку.

Веркмейстер с головой Иоганна Себастиана Баха не торопясь выдвигал узкие ящички, выкладывая на прилавок перед покупателем конвертики с цветной картинкой, изображающей цветок, гораздо более красивый, яркий, хрестоматийно достоверный, чем в природе: анютины глазки, петунья, ночная красавица, резеда, махровая гвоздика, львиный зев, настурция... Все они были пока заключены в мертвых семенах, иногда мелких, как соринки, так что трудно было поверить, что из них вообще может что-нибудь вырасти. Но все равно трудно было представить, что из них могут вырасти такие нарядные цветы.

В одной этой комнате в деревянном шкафу с маленькими узкими ящичками помещалось столько будущих цветущих растений, что они могли бы превратить весь наш Причерноморский край в Эдем.

...и это казалось мне настоящим волшебством...

Я долго выбирал семена, перебирая пакетики, в которых, шурша, пересыпались микроскопические зародыши растений, и, в конце концов налюбовавшись цветными картинками, останавливался на вьющихся бобах.

Веркмейстер с величайшей тщательностью отвешивал мне унцию крупных бобов и заворачивал в папиросную бумагу, скрепляя пакетик аптекарской резинкой.

Бобы были большие, тяжелые и на унцию их выходило штук пять, но зато они стоили дешево — всего шесть копеек, а на остальные деньги Веркмейстер позволял мне набрать в газетную бумагу хорошей садовой земли, а также давал обстоятельные наставления о том, как надо сажать бобы.

Дома я немедленно высыпал рыхлую черную влажную землю в плоску и закапывал в нее свои большие плоские бобы — твердые и мертвые, как ланжероновские камешки шоколадного цвета, мягко, до глянца обточенные прибоем.

Все вокруг начинало зеленеть.

На кухне зеленела горка, приготовленная для пасхального стола, — пирамидка из щепочек, обтянутая сукном; на это сукно намазывали, как икру, липкие семена кресс-салата, поливали три раза в день, и они вдруг начинали произрастать, выпуская из себя сначала бесцветные червячки первых ростков; затем горка зеленела, как хо-

рошо ухоженный газон, и во всей своей красе и свежести наполняла кухню острым растительным запахом, как бы ждала того дня, когда ее окружают крашеными пасхальными яйцами.

На Французском бульваре на голых конских каштанах надувались и готовы были треснуть громадные почки, как бы густо смазанные столярным клеем.

На кладбище вокруг маминой могилы с мраморной плитой и белым мраморным крестом из сухих прошлогодних листьев, устилавших землю, прокалывая эти полуистлевшие листья, вылезали из земли яркие иглы молодой травы.

Все растения вокруг собирались воскреснуть после зимней смерти.

И я почти не отходил от площадки с посаженными бобами.

... на моих глазах совершалось воскрешение мертвых семян, их таинственное, но совершенно наглядное превращение в зеленое растение. Я видел, как сначала из неподвижных бобов вылезали маленькие бесцветные ростки, как потом эти ростки толстели, наливались соками жизни, согнувшись, впивались в землю, уходили в ее глубь и там начинали укореняться, в то время как бобы все еще продолжали оставаться неподвижными, лишенными признаков жизни...

Но это лишь так казалось. Я чувствовал, что в них уже начала развиваться энергия жизнедеятельности. До этого мне приходилось рассматривать в микроскоп тонкий срез древесного листа с увеличенными в сто раз клетками с их прозрачной протоплазмой, зернами хлорофилла и крахмала, похожего на маленькие рубчатые ракушечки.

Глядя одним глазом в микроскоп на этот удивительный внутренний мир растения, недоступный маломощному, невооруженному человеческому зрению, я не видел, но чувствовал в растительной клетке какое-то вечное незаметное движение, накопление неизвестно откуда взявшихся жизненных сил. Эти незримые силы, эта неукротимая энергия, казалось, была способна сокрушить любую преграду:

...я же видел не раз, как стебель какого-нибудь на вид слабого сорнякового растения вспучивал асфальт, пробивал, проламывал его и выходил наружу, на свет божий, на солнце. Я же видел целые деревья, выросшие на старых церковных колокольнях, обрушив штукатурку и сделав трещины в обнажившейся старинной кирпичной кладке...

В то время я уже знал, что эта сила создается вследствие превращения света в механическую энергию и это непостижимое моему еще слабому разуму превращение называется фотосинтез.

Фотосинтез! — как будто бы это могло что-нибудь объяснить.

И пока на кухне все ярче и все гуще зеленела пасхальная горка, пока тетя поливала на балконе из небольшой поливальной лейки рассаду душистого табака и петунии, высаженную в плоский сосновый ящик, я не спускал глаз с моей глиняной площадки, где, как на маленьком круглом кладбище, в сырой веркмейстерской земле были похоронены мои все еще мертвые бобы.

Почти на моих глазах совершалось чудо их воскрешения. Солнечный весенний свет, превращенный в механическую энергию, вдруг повернул мои бобы, поставил их на ребро, поднял над землей, они раскололись на две дольки, раскрылись, как гробы, затем каждая мясистая долька еще раз повернулась и стала сочно-зеленой, превратившись в листик, и эти два парных листика поднялись на одной зе-

ленной ножке, как бы сделавшись маленьким распятием, а моя плошка представилась мне земляной Голгофой, где одновременно произошло чудо смерти, воскрешения и вознесения вверх. Крученный стебель растения все с новыми и новыми парными листьями, а потом с красными сережками бутонов бобовых цветов полз, вился вверх по натянутой бечевке...

...а весеннее солнце так раскалило толстый деревянный подоконник, что он покрылся пузырями масляной краски..

Небольшой черный пудель.

Все было прекрасно в то воскресное утро, все радовало меня, даже то, что мы вышли черным ходом, через двор, который мне очень нравился тем, что там зеленела травка возле каменного забора, отделявшего от нас какие-то загадочные закоулки нашего квартала, какие-то «зады», где всегда находилась поленница дубовых дров, а рядом стоял флигелек, где жил один довольно большой мальчик, Витя Ильин, старше меня года на три, уже умевший превосходно рисовать карандашом на толстой, крупнозернистой рисовальной бумаге броненосцы, крейсера и миноносцы русского военного флота со стремительно выставленными вперед наподобие кончиков ножей носами, андреевскими флагами над башнями и названиями, написанными славянскими буквами:

...«Ретвизан», «Орел», «Стремительный», «Аврора»...

Витя Ильин обещал научить меня тушевать рисунок специальной бумажной растушевкой и стирать резинкой «слон», а также надувать на липке пузырек воздуха, который с треском лопался, если его раздавить... Я надеялся, что встречу Витю во дворе, но он сидел дома под окном за столом и, низко наклоняясь стриженной головой над листом рисовальной бумаги, что-то делал — вероятно, тушевал броненосец или снимал липкой лишние тени волны, разрезаемой, как плугом, острым носом военного корабля.

Впрочем, это не слишком меня огорчило, так как день был ярок, прекрасен, а впереди предстояла поездка с папой на конке в Аркадию, и я уже предвкушал, как будет визжать на крутых прибрежных поворотах тормоз и как морские волны будут вкрадчиво подбираться к нашим ботинкам — папиным и моим. Может быть, думал я, мы с папой даже выпьем в будке в Аркадии зельтерскую воду с красным или желтым сиропом, чудную шипучую воду, которая будет шибать в нос и щипать язык.

Для того чтобы выйти на нашу Базарную улицу, следовало пройти под каменными сводами, в конце которых как бы в подзорную трубу виднелась резная арка ворот, а за нею до рези в глазах яркая и по-воскресному пустынная улица — центр моего тогдашнего мира.

Мне было года три, и я шел рядом с папой, не держа его за руку и даже отваживаясь иногда опередить его, чувствуя себя при этом как-то особенно молодцевато — самостоятельным, независимым и от этого еще более счастливым.

Опередив папу, я выбежал из ворот и в сияющей перспективе Базарной улицы заметил фигуру приближающегося человека. Еще никогда в жизни я не видел такого красивого господина — щеголя в летнем люфговом шлеме с двумя козырьками (один спереди, другой сзади), так называемый «здравствуй — прощай», что уже это одно само по себе привело меня в восхищение, так как я впервые в жизни

увидел такой красивый оригинальный головной убор. На господине была надета черная крылатка морского покроя, застегнутая на груди цепочкой с двумя пряжками в виде львиных голов. В руках у господина была бамбуковая тросточка, что в соединении с его острой черной бородкой, такими же острыми черными усиками и наимодевшим черепаховым пенсне на шелковой ленте, заложенной за ухо, до глубины души потрясло меня своей красотой, и я тут же мысленно пожелал, когда вырасту, сделаться таким же красавцем.

Эх, да что говорить!

...Даже мой дорогой, любимый, родненький папа, которого я до этой минуты считал самым красивым человеком на свете, вдруг оказался мне слишком будничным и — прости мне, боже! — бедноватым человеком...

Рядом с красивым господином бежал его сравнительно небольшой черный пудель, быть может еще более красивый, чем его господин. Он был пострижен по тогдашней моде под льва — с гривой, головой тонкой талией, с помпончиками на ногах и на кончике хвоста, с пушистыми усами и шелковым бантом на шее. Этот пудель, казалось, сбежал со страницы детской книжки, и я остановился как вкопанный перед этим чудом природы, чудом парикмахерского искусства.

— Цюцик, цюцик, — нежно заворковал я.

И вдруг этот пудель ринулся ко мне и положил свои передние лапы с помпонами на мои плечи, разинув глубокую пасть с ярко-красным, как бы движущимся языком и злыми, острыми зубками, и я увидел совсем близко перед своим лицом два черных, как бы стеклянных глаза.

Я оцепенел.

Пудель побарабанил по моим плечам стриженными лапами и громко залаял прямо мне в лицо. Ужас пронзил все мое существо, и я закричал на всю Базарную улицу голосом, оглушившим меня самого и почти разорвавшим мои голосовые связки.

Чудесный воскресный день померк. Я бросился к папе и, продолжая безостановочно орать и визжать, обнял дрожащими ручонками его колени, и хотя пудель был уже далеко, в конце улицы, я продолжал, все продолжал не останавливаясь, изо всей мочи орать, визжать и снова орать и орал до тех пор, пока совсем не осип, потерял голос и был отнесен на руках домой, к маме.

...вот уже с тех пор прошло семьдесят, а то и больше лет, а моя гортань до сих пор как бы чувствует последствия этого крика: мое горло часто простужается, гортань краснеет, голосовые связки сипнут, и тогда я вижу ясно перед собой, как в подзорную трубу, туннель сводчатых ворот, за которыми по сияющей пустынной Базарной улице конца девятнадцатого — начала двадцатого века идет фронт в черной разлеталке и рядом с ним бежит, мелко перебирая стриженными ножками, черный пудель, постриженный под льва, с разинутой адски красной пастью и злыми стеклянными глазами...

Извозчик.

Лошади еще пугались локомотивов, паровых трамбовок и первых автомобилей. Они бесились, разбивали дрожки, убивали седоков, ранили прохожих...

Сбесившаяся лошадь на улице города — это было ужасно...

Сначала я слышал знакомый тоненький свисток трамбовки, ко-

торая, по-видимому, уже дошла до перекрестка Базарной и Французского бульвара и с шумом и стуком накатывала свое переднее широкое и длинное, как отрезок трубы, колесо на щебенку, уже насыпанную ровным слоем во всю ширину нового шоссе.

Вместе со стуком и пыхтением машины я уловил еще какие-то тревожные звуки: режущее ухо визгливое ржание лошади, крики бегущих людей, дробный стук извозчичьих дрожек, заехавших на тротуар, срывающееся цоканье задних подков вставшей на дыбы обезумевшей лошади.

Вслед за побледневшей как полотно мамой в развевающейся юбке и кухаркой с безумными глазами я побежал на наш балкон с жестяным полом, низко повисший над улицей, где происходило что-то ужасное.

Бежал, придерживая шашку, городской. Два дворника в белых фартуках, с номерными бляхами на груди ловили взбесившуюся лошадь.

Я был такой маленький, что не мог смотреть на улицу поверх перил. Стоя между мамой и кухаркой, разводя в стороны их юбки, я заглянул вниз через красиво выгнутые прутья балконной решетки, и то, что я увидел, на всю жизнь оледенило мою душу:

...взбесившаяся лошадь с безумными скошенными глазами неслась вскачь по улице, волоча за собой дрожки со сломанным колесом, а за дрожками по мостовой волочила свалившегося с козел и запутавшегося в синих вожжах извозчика — мужика в армяке, с разбитым лицом, сломанными зубами, окровавленной рыжей бородой, оставившей на камнях мостовой красную полосу, словно намазанную широкой малярной кистью. Кровь отчетливо, как масляная краска, блестела на ярком солнце, и по спеленатому вожжами телу извозчика бежали кружевные тени акаций, а глаза извозчика были открыты, но уже неподвижны и отсвечивали стеклянным гляncем...

Так впервые в жизни я увидел человека, умершего неестественной смертью. Я и до сих пор вижу этого спеленатого вожжами мертвеца в синем ватном армяке, волочащегося по мостовой мимо нашего балкона, мимо соседних домов, мимо угольного склада, возле которого на улице стояли мешки с древесным самоварным углем. У этих мешков верх был сетчатый, чтобы покупатель мог видеть уголь, который он покупает.

Мертвый извозчик вспомнился мне в 1917 году на румынском фронте, когда мы переходили лесную лощину в предгорьях Карпат, на рассвете, а бой уже начался. Было сыро, прохладно, по всей передовой линии уже гремело на десятки верст, за гребнями невысоких гор вспыхивали зарницы неприятельской артиллерии, над линией фронта по воздуху туда и назад низко летали немецкие и наши самолеты — бомбардировщики и наблюдатели-корректировщики. Мы торопились поскорее занять исходную позицию и шли, спотыкаясь о корни деревьев, продираясь сквозь кустарники, и вдруг увидели странную группу неподвижных солдат, сидевших и лежавших вокруг свежей ямы, вырытой снарядом. По-видимому, они шли так же, как и мы, по лощине и немецкий снаряд попал в самую их середину.

...они так и остались на месте, застыв в естественных, а некоторые в неестественных положениях, как восковые куклы, одетые в шинели, спокойные, мирные, и только клочья пробитых шинелей и темные пятна говорили, что здесь произошла мгновенная трагедия...

В особенности запомнился мне один пожилой солдат в новой шинели — может быть, ополченец, — с головой, превращенной в красное месиво, и остатками рыжей бороды, густо окрашенной, как красной краской. Рядом с ним по-хозяйски лежал его хорошо уложенный вещевой мешок, подданный осколками. И в ту же секунду перед моими глазами возникла картина далекого детства, Базарной улицы, во всю длину освещенной щедрым солнцем, и спеленатая вожжами кукла рыжебородого извозчика, которую волокла мимо нас взбесившаяся лошадь, кося во все стороны своими безумными, как бы нарисованными глазами, среди криков погони, общего ужаса, свистков городских и отдаленного шума работающей паровой трамбовки.

Ядро в цоколе Дюка.

К числу главных достопримечательностей города принадлежало чугунное ядро, вделанное в угол цоколя памятника дюку де Ришелье на Николаевском бульваре против знаменитой одесской лестницы, ведущей из города в порт.

Герцог де Ришелье был представлен на памятнике в строго классическом виде: короткая античная туника, голые ноги в сандалиях, рука со свитком протянута в сторону моря, по направлению к Константинополю и его проливам, что имело скрытое политическое значение.

Памятник этот сокращенно называется памятник Дюку и даже еще лаконичнее: просто — Дюк.

...«мы вчера встретили его возле Дюка»...

Ядро, вделанное в цоколь Дюка, имело свою историю.

Во время Севастопольской кампании английский флот решил высадить в Одессе как в ближайшем к осажденному Севастополю порту десант, но нападение англичан было отбито, а стопушечный английский фрегат «Тигр» потоплен русской полевой артиллерией против Малого Фонтана, а снятая с него в виде трофея чугунная пушка была поставлена на деревянном лафете на вечные времена как памятник русской славы на том же Николаевском бульваре против изящного здания городской думы работы архитектора Боффó.

Таким образом, гуляя иногда с покойной мамой на Николаевском бульваре под громадными пятнистыми платанами между пушкой и Дюком, проходя мимо бюста Пушкина, я узнал, что наш город, на вид такой разноязычный, мирный и беспечный, некогда переживал бурные дни и над его черепичными крышами летали неприятельские бомбы.

Смутно помню рассказ бабушки — маминой мамы, — слышанный ею, в свою очередь, от ее мамы, то есть моей прабабушки, историю артиллерийского прапорщика Щеголева, отбившего английский десант и потопившего «Тигра».

Дело заключалось в том, что на английском фрегате «Тигр» были дальнобойные морские пушки, а у нас на берегу всего лишь небольшие сухопутные полевые орудия, так что англичане доставали до нас, а мы до англичан не могли достать. Прапорщик Щеголев предложил смелый план: поставить наши полевые пушечки на плавучие плашкоуты — плоты, — вывести их в море поближе к английскому фрегату на расстояние выстрела и, открыв беглый огонь, потопить его. Прапорщику Щеголеву разрешили для этой цели набрать добровольцев, и он набрал команду отчаянных смельчаков из жителей одесских ок-

раин — Пересыпи, Молдаванки, Дальника. Все это были молодые ремесленники, рабочие, портовые грузчики, наконец, просто одесские босяки — люди отчаянной храбрости и большие русские патриоты. Прапорщик Щеголев с их помощью сколотил плашкоуты, поставил на них свои легкие пушки и ночью вывел в море против Малого Фонтана, сократив расстояние между ними и английским фрегатом до дистанции пушечного выстрела. Едва взошло солнце, начался бой, и прапорщик Щеголев, опередив англичан, несколькими удачными залпами потопил вдесятеро сильнейший фрегат, и английские паровые транспорты, крейсировавшие на горизонте, принуждены были убраться подобру-поздорову. Одесса была спасена.

Бабушка со слов своей мамы рассказывала, что прапорщик Щеголев сразу стал национальным героем и государь повелел произвести его в капитаны.

Но каким образом можно было произвести прапорщика прямо в капитаны? Военский устав этого не предусматривал. Тогда нашли следующий выход. Весь гарнизон был выстроен на Куликовом поле; командующий военным округом вызвал из рядов прапорщика Щеголева и, вручив ему пакет с приказом и новые погоны, произвел его в подпоручики. Затем, после того как подпоручик Щеголев вернулся в строй, его опять вызвали и произвели таким же образом в поручики, а через короткое время опять вызвали и произвели в штабс-капитаны, а потом и в капитаны. Причем знамена войск были развернуты и гремела военная музыка. Затем войска прошли перед капитаном Щеголевым церемониальным маршем.

Доходя до этого места, бабушка вытирала платочком слезы восторга, и я тоже начинал плакать от гордости за русскую армию и мечтал стать когда-нибудь таким же прапорщиком артиллерии, как Щеголев.

...Прапорщиком-то я стал, но дальше подпоручика не пошел...

В детстве я обходил вокруг Дюка, с изумлением разглядывая небольшое чугунное ядро, вделанное в цоколь. Я, конечно, понимал, что ядро не само собой застряло в памятнике Дюку: сначала оно отбило угловой кусок гранита из цоколя, а уже потом, может быть через несколько лет после севастопольской войны, его навечно вделали в гранит, с тем чтобы оно напоминало гражданам города о его героическом прошлом.

Больше всего меня тревожил вопрос: куда девался осколок гранита, отбитый бомбой? Бомба нашлась, а где осколок гранита? Он должен быть где-то здесь, поблизости. Я был уверен, что найду его среди крупного, отборного морского гравия, которым щедро посыпали дорожки Николаевского бульвара и в особенности площадку вокруг Дюка.

Маленький мальчик — я — ходил по скрипучему гравию, не отрывая глаз от гладких морских камешков, каждый миг надеясь увидеть среди них осколок гранита. Мальчик так ясно представлял себе, какой должен быть осколок: удлиненный, с острыми краями, кинжаловидный, розоватый. Мне казалось невероятным, чтобы осколок исчез. Наверное, он где-то тут, поблизости, может быть совсем рядом. Временами мне даже казалось, что я его вижу. Вот он, вот он! Я наклонялся, протягивал руку, но в тот же миг осколок исчезал, а у меня в руке оказывалась горсть гравия.

Я снова и снова продолжал поиски, бегая по дорожкам бульвара в тени вековых платанов, видевших живых Пушкина и Гоголя, среди цветников с винно-красными каннами.

Иногда в поисках осколка я добегал до чугунного бюста кудрявого Пушкина и любовался чугунными щекастыми дельфинами, украшавшими его цоколь; из круглых ртов дельфинов в чугунные раковины дугообразно лились перекрученные струи воды.

Но и здесь не было осколка.

...все это напоминало какой-то живописный сон, где не хватало какой-то самой главной, самой яркой краски или даже какого-то знакомого, но навсегда исчезнувшего из памяти слова, без которого все вокруг, не теряя своей красоты, теряло смысл, лишалось значения...

Мой детский ум никак не мог примириться с мыслью, что бомба попала в цоколь Дюка очень давно, когда ни меня, ни даже моей мамы еще не было на свете, и осколок давно уже исчез с бульвара. Я не мог смириться с властью времени над жизнью. Впрочем, тогда я даже вряд ли представлял себе, что время существует, и не бился над разрешением вопроса: память уничтожает время или время уничтожает память?

Самое удивительное заключалось в том, что каждый раз, проходя мимо Дюка, я искал глазами осколок. Даже сравнительно недавно, уже будучи стариком и приехав в родной город, пошел на бульвар и поймал себя на том, что, гуляя вокруг Дюка, искал глазами на земле осколок, и мне казалось, что вот-вот сию минуту я его наконец найду.

...а сколько за эти годы пролетело надо мной и над моим городом бомб, снарядов, ракет, осколков?..

Микроскоп.

В конце концов и его постигла та же участь, что и многие другие ценные вещи, купленные мне папой по моим настойчивым просьбам.

Обычно мое увлечение быстро проходило, я охладевал к дорогому подарку, и дело кончалось тем, что я тайно продавал надоевшую мне вещь за четверть цены. Разумеется, не без чувства некоторого угрызения совести.

Не избежал этой участи и микроскоп, который сначала казался мне чудом оптики, а потом надоел еще быстрее, чем мандолина.

Папа купил мне микроскоп с педагогической целью расширить мое представление об окружающем нас мире.

Микроскоп стоил, по папиным средствам, дороговато — рублей пять, и увеличивал предметы примерно в сто раз. Микроскоп помещался в деревянном лакированном ящичке, запирающемся на два латунных крючка; один вид этого строгого ящичка как бы говорил о причастности находящегося в нем оптического прибора к науке. В течение часа я раз двадцать вынимал микроскоп и любовался его блестящей медной поверхностью, его рабочими винтами, окуляром, а главным образом маленьким круглым зеркальцем, которое так легко и мягко поворачивалось на своей оси, бросая снизу пучок отраженного света на лоток, где помещались две стеклянные пластинки, между которыми клался исследуемый предмет.

Прежде всего, конечно, я поймал муху, для того чтобы исследовать под микроскопом ее крыло и лапку. Они оказались под микроскопом громадными, грубосетчатыми, мохнатыми, как бы окаймленными радугой и занимали все круглое поле зрения, освещенное пучком лучей, брошенных зеркальцем.

Я ожидал большего!

Я ожидал волшебства, а увидел лишь безобразно увеличенные маленькие изящные предметы. Не больше. Никакого волшебства не было. В конце концов, не все ли равно, какого размера был мушинный глаз? Пусть хоть величиной с раздутый воздушный шар, заключенный в сетчатую оболочку.

Затем я исследовал под микроскопом тончайший шелковисто-золотой волосок, незаметно вырванный мною из локона Нади Заря-Заряницкой. Надя даже не заметила, как я совершил эту кражу.

Я принес Надин волосок домой и положил его между двух узких стеклышек, озарив их волшебным зеркальцем, так легко повернувшимся на своей оси. Я прильнул глазом к окуляру, надеясь увидеть нечто сказочное. Сначала в ярком кружке света все было мутно, размыто. Тогда я подкрутил окуляр по глазам, и вдруг с необычайной резкостью передо мной показалось какое-то золотистое бревно, грубый ствол какого-то растения вроде бамбука с белой луковицей на конце.

...Так это и есть волос Нади Заря-Заряницкой, так бережно принесенный мною в гимназическом билете?..

Неужели же Надины прелестные голубые — почти аквамаринные — глаза, ее рыжеватые ресницы, ее золотистые веснушечки превратились бы под микроскопом в грубые, неестественно громадные, некрасивые предметы величиной со слона?

Кому это нужно?

Я разочаровался в своем микроскопе. Он не открыл мне тайны вещества, материи, на что я так надеялся. Оказалось, что стократное увеличение ничего не дает.

А вот у одного знакомого богатого гимназиста — узнал я — есть микроскоп, увеличивающий в пятьсот раз. Я видел этот микроскоп, по сравнению с которым мой выглядел нищенски-жалким.

У микроскопа богатого мальчика был особый осветительный прибор — хрустальный гладкий шар, наполненный чистой водой. Через этот шар пропускался свет электрической лампочки с зеркальным рефлектором, и луч страшной силы падал на стекло с препаратом.

Богатый мальчик показал мне кровообращение головастика. Я заглянул в окуляр и увидел часть какого-то полупрозрачного тела, пронзенного электрическим лучом из хрустального шара; в нем пунктирно двигались пульсирующие частицы — как мне объяснил богатый мальчик, кровяные шарики, или белковые тельца, или что-то в этом роде.

Вот это был микроскоп так микроскоп!

...с этого дня мой дешевый микроскоп, поставленный на стол рядом с глобусом и кинематографическим проекционным аппаратом, играл лишь бутафорскую роль некоего научного прибора. Это было тогда, когда в меня вселялась душа великого Менделеева и я производил свои ужасные химические опыты...

Потом мой микроскоп постигла печальная судьба мандолины.

Алмазная корона.

Достать проволоку было просто: мотки проволоки всегда лежали в подвале дома для нужд иллюминации в царские дни. Проволоку протягивали перед домом между стволами акаций и вешали на нее

шестигранные фонарики с разноцветными стеклами. В середине фонарика зажигалась елочная свечка, и на тротуаре под каждым фонарем качалась многоцветная звезда. Там же, в подвале, рядом со связками фонариков в углу стояли трехцветные флаги, вывешиваемые над воротами в торжественных случаях.

Отрезав кусачками немного мягкой железной проволоки, я принес ее домой и при помощи плоскогубцев сделал из нее нечто вроде небольшой короны, более, впрочем, похожей на корзиночку, чем на корону. Но это не имело существенного значения, так как это была еще не корона, а лишь ее остов.

Затем я приступил к приготовлению насыщенного соляного раствора, дела совсем не трудного: в чайный стакан с теплой водой надо было понемножку подсыпать поваренной соли, принесенной из кухни в деревянной банке, и делать это до тех пор, пока соль не перестанет растворяться. Как только соль перестанет растворяться — стало быть, стоп: вода превратилась в насыщенный раствор.

После этого я привязал нитку к верхушке короны и осторожно погрузил ее в стакан с насыщенным раствором так, чтобы она висела, не касаясь дна. А нитку я привязал к карандашу, положенному сверху на стакан, как и полагалось по всем правилам проведения этого увлекательного физического опыта.

Стакан с насыщенным раствором поваренной соли и висящей в нем коронкой следовало как можно осторожнее поставить в какое-нибудь тихое, спокойное местечко и ждать.

Набраться терпения и ждать.

Недели через две-три, а то и через месяц вода насыщенного раствора настолько испарится, что избыточная соль в виде красивых кристаллов осядет на проволоке и остов проволочной коронки вдруг — в один какой-то неуловимый миг — превратится как бы в алмазную коронку.

...теоретически все это было очень просто — количество переходит в качество,— но на практике...

На практике этот опыт представлял известные трудности. Главная трудность заключалась в терпении. Требовалось громадное терпение, чтобы не потревожить раньше времени стакан с насыщенным раствором.

Таинство кристаллизации должно было совершаться в полной неподвижности и тишине.

С величайшей осторожностью я влез на стул, поставил стакан с остовом коронки на шкаф и придвинул его к стене. Это место, по моему мнению, было самое тихое во всей нашей квартире. Здесь стакан должен был стоять в полной неподвижности, пока превращение не совершится.

Мне стоило огромных усилий воли не становиться по несколько раз в день на стул, для того чтобы посмотреть на стакан, таинственно блестящий среди пыли, покрывавшей верхнюю доску шкафа. Я предупредил кухарку, чтобы она ни в коем случае не вытирала пыль со шкафа, что она с удовольствием исполнила. Я потребовал от всех домашних, чтобы они открывали шкаф с большой осторожностью и ходили мимо него на цыпочках.

Я обещал им чудо кристаллизации.

Самое удивительное, что я нашел в себе силу воли не испортить дело излишней торопливостью. Правда, несколько раз я становился

ногами на кровать и оттуда, издали, смотрел на стакан, желая убедиться, что уровень насыщенного раствора понизился. Он действительно постепенно понижался: жидкость явно испарялась, оставляя на стенке стакана мутные круги истекшего времени. Но до стакана я ни разу не дотронулся, сам удивляясь твердости и упорству своего характера.

И судьба вознаградила меня.

В один прекрасный день я влез на стул, заглянул на шкаф и увидел, что кристаллизация совершилась.

В глубине души я сомневался, что опыт может удасться. Сначала я даже не поверил своим глазам, потому что вместо проволочного остова передо мной блестела сказочная корона, как бы униженная кристаллами горного хрусталя. Она была похожа на беседку в зимнем саду, сверкающую в лучах январского солнца гранеными нитями гололедицы. Это впечатление усиливала погода, стоявшая на дворе: морозная, солнечная, безоблачная, со страусовыми перьями оснеженных деревьев перед флигельком старушки Языковой, у которой недавно умер от чахотки внук, молодой человек с тонким большим носом и крупными, выставленными вперед зубами, белеющими под жиденькими усиками. Тогда в замерзших окнах светились разноцветные лампадки и погребальные свечи, и я с ужасом переступил порог тесной гостиной старушки Языковой, наполненной клубами ладана, и увидел серебряный гроб и парафиновое лицо покойника...

Сразу же мне повезло: по дороге в гимназию мне удалось похвататься соляной коронкой, показав ее сначала Надьке Заря-Заряницкой, которая шла в гимназию в нарядной шубке, с ранцем за спиной, а потом Жорке Мельникову, что, по моему мнению, очень меня возвысило в их глазах.

В гимназии, насквозь пронизанной ледяным ярким солнцем, моя коронка тоже произвела большое впечатление, несмотря на то, что многие мальчики уже сделали себе подобные коронки, но, по-моему, их коронки были гораздо хуже моей.

Я понес свою коронку в учительскую, показал ее Акацапову, и он одобрил коронку, выразившись примерно так:

— Мы с Круевичем совместно считаем, что твой опыт с насыщенным соляным раствором вполне удался. Молодец, старайся!

...это был один из самых счастливых дней моей жизни, и я весь светился торжеством и радостью, как созданная мною коронка, падающая в луч солнца, сверкала, как бриллиантовая...

Единственное, что несколько испортило мое настроение, это коронка, которую принес в класс один богатый изобретательный мальчик: его коронка была примерно такая же, как моя, но она была покрыта не белыми, а ярко-синими кристаллами, что придавало ей вид сделанной из чистейших сапфиров. Оказывается, мальчик растворил в воде не поваренную соль, а медный купорос, почему его коронка и получилась такой сверкающе-синей, вызвав общее восхищение.

Сапфировую коронку даже выставили в физическом кабинете для обозрения, а ее создателю Бурис поставил пятерку.

Я чуть не плакал от обиды и решил во что бы то ни стало сделать коронку еще более сверкающую и синюю, но не смог этого сделать потому, что, во-первых, у меня не было денег на покупку медного купороса, а во-вторых, я не знал, где он продается.

Но все же — согласитесь! — моя коронка была тоже ничего себе. Каждый раз, когда я читаю «Бориса Годунова» и дохожу до того места, где Марина говорит своей горничной: «Алмазный мой венец» — я вижу черный шкаф и на нем стакан с насыщенным раствором поваренной соли, а в этом растворе блестит уже совсем готовая коронка...

...И траурно оснеженные деревья перед домиком старушки Языковой, где сквозь замерзшие окошки видны огоньки лампадок и погребальных свечей.

Трамбовка.

Паровая трамбовка — зеленая, окутанная паром, — которая ездит туда и назад, трамбуя Французский бульвар уже дальше юнкерского училища, дальше Пироговской улицы, где-то между дачей Вальгука и ботаническим садом, привлекала мальчиков не только зрением своего механического движения, своей шумной работой, своей могучей силой, заставлявшей содрогаться стекла в домах и беситься лошадей, но также и потому, что в тех загородных районах, где она трамбовала шоссе, всегда недалеко от нее были насыпаны пирамидальные кучи щебенки — материала, из которого делалось шоссе.

Эту щебенку привозили издалека — с Урала, с Кавказа, из Донецкого бассейна, из Сибири, — и она представляла собой выработанную пустую породу из разных рудников и шахт.

На первый взгляд кучи щебенки казались однообразно-серыми, скучными, как всякий битый камень. Но в яркие осенние дни, присмотревшись своими зоркими пытливymi глазами, я однажды обнаружил, что каждый камень щебенки имеет свой особый, неповторимый цвет, свою особую структуру.

Иные из них горели яркой киноварью, иные отливали ляпислазурью, другие зеленели медянкой, и всюду между ними блестели грани разноцветных гранитов со вкрапленными в них слюдяными блестками и ярко-синими или темно-красными точками.

...под свист пара и тяжелый чугунный гул махового колеса — вернее, диска — трамбовки я копался в кучах щебня, открывая для себя все новые и новые красоты минералов, предназначенных для покрытия Большефонтанного шоссе...

Эти камни казались мне драгоценными, в особенности небольшие тяжелые металлически-желтые куски, так ярко блестевшие в лучах сухого сентябрьского солнца, что я всерьез принимал их за самородки золота.

Здесь были также самородки чистого серебра. Хотя такового в природе, кажется, не существует. Но я распорядился законами природы по своему усмотрению.

Я набивал кусками щебенки ранец и карманы своих черных сумонных гимназических брюк, а потом, пристроившись на выгоревшей траве ботанического, давно уже запущенного сада, под кустом жимолости или дикого орешника с поджаренными осенним солнцем, но еще зелеными листьями, кое-где стянутыми шелковинками паутины, рассматривал свои богатства, будучи совершенно уверен в том, что я держу в руках самородное золото, серебро, горный хрусталь, яшму, сердолики, яхонты, сапфиры...

Как чудесно было сидеть под жарким сентябрьским черноморским солнцем в своем зимнем гимназическом костюме, пропотевшем под мышками и под воротом, чувствовать накаленную солнцем кожу

пояса, горячую мельхиоровую его пряжку, то и дело вытирать вспотевший под козырьком фуражки лоб, с которого еще не сошел летний загар, и перебирать — перекаладывать с места на место — угловатые куски минералов, любуясь их драгоценным, металлическим и золотисто-слюдяным блеском.

В общем-то, я, конечно, понимал, что это вовсе не драгоценные камни, а пустая порода, выработка, годная лишь для того, чтобы мостить шоссевые дороги, а настоящие драгоценные камни — золото, серебро, алмазы — остались там, в далеких краях невообразимо огромной и богатой Российской империи, в руках добытчиков, золотоискателей и миллионеров — промышленников, горнозаводчиков...

...Но кто его знает? — быть может, в кучах щебенки остались невыработанные драгоценности. Бывают же на свете чудеса!..

Я, например, был почти уверен, что мне повезло и один из камней есть не что иное как самородок золота: так жарко, драгоценно блестел он на солнце.

Кажется, попался мне также и небольшой кусочек густо-синего сапфира, вкрапленного в малиновый зернистый гранит, а что касается крупного прозрачного кристалла, то я не сомневался, что это горный хрусталь.

В конце концов я уверовал, что мне повезло, и чувствовал себя счастливецом, которому привалило богатство.

У меня был заветный гривенник, накопленный из денег, которые давали мне на покупку свечки, отправляя меня каждое воскресенье в церковь. На радостях по дороге домой я купил в бакалейной лавочке фунта самой дешевой серой халвы, сделанной на желтом кунжутном масле, и наелся ею до тошноты, так что на некоторое время потерял всякий интерес к своим камням.

Но вечером, когда папа вернулся с заседания педагогического совета, камни снова заманчиво засветились при свете керосиновой лампы. Я вывалил перед папой на письменный стол, окруженный с трех сторон деревянными перильцами-балясинками, на его слегка траченное молью зеленое сукно со старыми чернильными пятнами свои камни и стал допытываться, драгоценны ли они или нет.

Папа надел пенсне и стал рассматривать мою щебенку.

Он брал камни один за другим и подносил их к стеклам пенсне, а затем откладывал в сторону, педантично произнося:

— Гранит. Диорит. Базальт. Полевой шпат. Кварц. Опять полевой шпат. Боксит. Еще полевой шпат. Сланец. Сурмяный блеск. Цинковая обманка.

...Я слушал эти названия, все еще надеясь, что они обозначают нечто драгоценное...

Но у папы было такое равнодушное выражение лица, что надежды мои на обогащение таяли с каждой минутой.

— А это разве не самородок золота? — спросил я, когда очередь дошла до сверкающего при свете настольной лампы под зеленым абажуром желтого минерала.

Папа усмехнулся.

— Должен тебя огорчить, — сказал он, — это обыкновенный медный колчедан.

— А почему же он блестит, как самородок чистого золота?

— Потому-то и блестит, что не золото,— ответил папа,— настоящее самородное золото тусклого, матового оттенка и мало похоже на то золото, которое мы привыкли видеть в витринах ювелирных магазинов. Кроме того, если бы это было настоящее золото, то оно было бы неизмеримо тяжелее. А это обыкновенный медный колчедан. Словом, как говорит мудрая русская пословица, не все то золото, что блестит,— назидательно закончил по своему обыкновению папа и улыбнулся педагогической улыбкой.

Остался последний шанс: горный хрусталь.

Я показал папе крупный друз прозрачного минерала, в гранях которого отражался вечер в нашей квартире с папиной зеленой лампой.

— А это, скажешь, не горный хрусталь? — спросил я с надеждой.

— Должен тебя разочаровать,— ответил папа, едва удостоив взглядом минерал в моей руке.— Это отнюдь не горный хрусталь, а самый обыкновенный кварц, повсеместно распространенная горная порода.

Я был подавлен. Мои сокровища на глазах превратились в кучу камней, не имевших никакой ценности. Они вдруг потускнели, потеряли силу своих металлических оттенков, сделались неуклюжими, серыми, как та дешевая халва на вонючем кунжутном масле, отвратительный вкус которой я все время ощущал на языке и на гортани.

...ну что ж: рухнула еще одна иллюзия. Значит, такова жизнь...

Я молча забрал с папиного стола камни, отнес их в кухню и бросил в мусорное ведро, причем они как-то скучно, глухо, вульгарно застучали. Когда же я вернулся в нашу общую комнату — спальню и кабинет,— папа, согнув спину в домашнем люстриновом пиджаке, уже исправлял красно-синим карандашом ученические тетрадки, беря их одну за другой из стопки.

Горела лампа под прозрачным зеленым абажуром, освещая папин письменный стол, называвшийся у нас почему-то конторкой. На этой конторке всегда находился письменный малахитовый прибор: доска с желобком, на которой стояли две стеклянные кубические чернильницы, два медных подсвечника с медными ручками на малахитовых подставках, медный нож для разрезания книг с малахитовым черенком, медная чашечка на малахитовой подставке для кнопок и марок и медный прибор на малахитовой же подставке, куда затыкалась между двух пластинок коробка спичек, малахитовое пресс-папье. Была еще малахитовая ручка, но она давно уже сломалась. Это было наследство, доставшееся папе от его папы. Я слышал историю этого старинного малахитового прибора, в свою очередь полученного моим вятским дедушкой от своего отца, моего прадедушки.

Малахитовый прибор был куплен в Екатеринбурге, на Урале, где добывалось много малахита. В свое время прибор этот был очень красив и ярк, но с течением времени потускнел, и местами камень отбил, а медные части подсвечников, закапанных стеарином, позеленели.

Он не имел вида.

Но иногда, под большие праздники, папа его собственноручно чистил и мыл, и после этого он вдруг преображался: нарядно блестела медь, а малахитовые доски и подставки светились такой яркой прозрачной зеленью в прожилках и зигзагах, как зеленые черноморские волны, написанные Айвазовским.

И меня не удивляло, что эта фамильная вещь считалась почти драгоценной.

Прыжок смерти.

Из непомерно больших афиш, расклеенных по городу, стало известно, что ежедневно на циклодроме после нескольких мотоциклетных заездов с лидерами на длинную дистанцию состоится прыжок смерти неустрашимого Дацарилла, всемирно известного покорителя силы земного притяжения,—

...или нечто подобное...

Полгорода успело уже побывать на циклодроме и собственными глазами увидеть прыжок смерти, а у нас с Борькой не было денег на билеты, и нам удалось их раздобыть лишь перед прощальным выступлением и бенефисом Дацарилла, когда билеты стоили вдвое.

Было объявлено, что в этот день Дацарилл совершит свой прыжок смерти не в воду, а в огонь, то есть в пылающий керосин, налитый на поверхность воды.

— Не может быть,— сказал Боря, скептически сжав губы, между которыми блестели два больших передних зуба, делавших его лицо неумолимым, и надвинул на лоб фуражку,— тут явное мошенничество.

Он по обыкновению покрутил перед своим маленьким носиком длинными музыкальными пальцами, как бы давая понять, что предстает какой-то жульнический шахер-махер.

Боря был большой знаток и истолкователь конандойлевского Шерлока Холмса. У него был нюх на разного рода мошенничества и преступления.

— Будем следить в оба,— сказал я.

— Я уверен, что они бросят в огонь человекоподобную куклу,— заметил Боря.

— Вполне возможно,— согласился я.

Циклодром был переполнен. Только что кончился никому не интересный гандикап и мотоциклист Ефимов, сделав круг почета на своем стреляющем «вандерере» и навоняв бензиновым чадом на весь циклодром, скрылся в дверях сарая.

Посередине циклодрома на зеленом газоне возвышалась вбитая в землю мачта высотой по крайней мере с трехэтажный дом. На верхушке мачты была устроена небольшая дощатая площадка без перил, а по сторонам ее на ветру развевались два национальных флага, что придавало предстоящему зрелищу нечто торжественное.

Перед основанием мачты среди зеленой травы лужайки была выкопана небольшая квадратная яма глубиной не более сажени, наполненная водой, а рядом на холме черной сырой земли лежал бидон с керосином, а может быть даже с бензином.

На мачте снизу до самого верха были прибиты деревянные перекладины, что делало ее отчасти похожей на градусник с делениями. По этим перекладинам неустрашимый Дацарилл должен был подняться на верхушку мачты, на шаткую площадку, откуда ему предстояло броситься головой вниз в яму, наполненную водой с пылающим на ней керосином или бензином.

Администрация прыжка смерти разрешила публике подходить к столбу и к яме, с тем чтобы все желающие могли убедиться, что никакого жульничества нет.

Мне с Борисом тоже удалось пробиться сквозь толпу к яме. Мы потрогали руками столб, выбеленный еще не успевшим высохнуть мелом, измерить длину и ширину ямы с водой — оказалось, три на три шага, — а я, кроме того, работая локтями, добрался до бидона и убедился, что все правильно: бидон издавал запах керосина.

Мы с Борисом постояли, задрав головы вверх, возле столба, рассматривая маленькую дощатую площадку с флагами, которая, казалось, летала, падая на невероятной высоте среди несущихся ей навстречу румяных предвечерних облаков, особенно выпуклых и легких на фоне обморочно-яркого приморского неба.

Прыгать вниз головой с такой высоты в небольшую (а глядя сверху, совсем маленькую) ямку — это действительно было смертельно опасно: ничтожное отклонение от линии полета — и наверняка не попадешь в яму и убьешься, а если даже попадешь, не промахнешься, то можно сгореть в керосиновом пламени, а если не сгоришь в керосиновом пламени, то, не успев «сгруппироваться», рискуешь врезаться головой в дно ямы, предварительно поломав себе вытянутые вперед руки, а затем и шейные позвонки.

...Нам стало очевидно, что если все это не какое-нибудь жульничество, то рядом с нами незримо стояла смерть, готовая вырвать душу из распростертого на траве тела промахнувшегося Дацарилла...

Мы заняли свои стоячие места позади задних скамеек, переполненных более состоятельными, чем мы, зрителями, и как замороженные не могли отвести глаз от белого столба с площадкой наверху.

В сущности, весь этот прыжок смерти должен был длиться не более пяти минут, считая, что подъем на вершину столба займет от силы три минуты, приготовление к прыжку одну минуту, зажигание керосина — мгновение, и самый прыжок — несколько секунд.

Однако этот аттракцион совершался по всем правилам цирковых традиций, с намеренной замедленностью, до последней степени взвинчивающей нервы зрителей, с тем чтобы в конце концов вызвать взрыв восторга и бурную овацию.

Сначала духовой военный оркестр долго играл грустный вальс «Лесная сказка», и звуки медных инструментов, а также глухие мягкие удары турецкого барабана и медных тарелок улетали во все стороны, отражаясь вдалеке от белых красивых стен Третьей гимназии, от каменных нештукатуренных стен епархиального училища, от гранитной Александровской колонны, чья бронзовая верхушка виднелась над деревьями Александровского парка, как бы соперничая с верхушкой белого столба, откуда будет совершен прыжок смерти.

Публика с нетерпением ждала появления таинственного Дацарилла. А он все не появлялся и не появлялся, и неизвестно было, когда и откуда он появится.

Некоторые из публики считали, что он подъедет к циклодрому на автомобиле вместе с красавицей женой, которая будет провожать его до самого рокового столба.

Другие утверждали, что он уже давно приехал и ждет выхода в раздевалке для гонщиков, играя в домино с администратором аттракциона.

Оркестр перестал играть, переиграв весь свой репертуар.

Наступила продолжительная тишина.

Мы с Борей вытянули впотевшие под крахмальными воротничками шеи.

Дацарилл не появлялся.

Поползли слухи, что он заболел и прыжок смерти будет отменен, а публике возвратят деньги. Поднялся ропот. Народ вовсе не желал получать обратно деньги. Народ жаждал зрелища, которое могло кончиться трагически. Стыдно признаться, но мы с Борей в самой глубине наших помертвевших душ жаждали, чтобы Дацарилл промахнулся, и в нашем воображении уже стояла картина мертвого тела, распростертого на ярко-зеленой траве, возле ямы с пылающим керосином.

Пауза слишком затянулась, и администратор в котелке и с крашеными усами дал знак оркестру сыграть еще что-нибудь. Оркестр неохотно заиграл попури из оперетки «Веселая вдова».

...Дацарилл не появлялся...

Возле кассы и раздевалки для гонщиков замечалась какая-то растерянная беготня. Несколько раз туда и обратно прошмыгнул главный администратор, он же хозяин всего предприятия,—немолодой еврей в шелковом кашне, из-под которого виднелся воротничок вспотевшей сорочки.

Снова наступила тишина — томительная пауза,— и оркестр заиграл в третий раз, теперь уже порядочно устаревший вальс «На сопках Маньчжурии», показавшийся довольно смешным в наступившем веке пара и электричества.

В публике началось волнение; слышались ядовитые замечания; кто-то грозил, что будет жаловаться в полицию; некоторые визгливыми голосами требовали деньги назад.

Оркестр начал играть в четвертый раз.

Публика заревела.

Главный администратор вышел на середину циклодрома и, поставив к крашеным усам жестяной рупор, дрожащим, но зычным голосом провозгласил, что прыжок состоится ровно через десять минут и что неустрашимый Дацарилл уже прибыл и готовится к выступлению. Публика успокоилась. Оркестр грянул марш тореадора из оперы «Кармен», и под его бодрые звуки на беговую дорожку циклодрома выехал парный экипаж, называемый в нашем городе штейгер, и провез вокруг циклодрома мимо трибун Дацарилла, закутанного в черный плащ, в черной полумаске. Дацарилл, стоя в экипаже, приветствовал публику мужественным жестом римского гладиатора, в то время как его пожилая жена в шляпке, съехавшей на затылок, горько рыдала, держа Дацарилла за свободную руку, иногда прижимая ее к губам.

В экипаже ехали также маленькие дети Дацарилла: два мальчика — один в матроске, а другой в форме реального училища — и совсем маленькая девочка с двумя рыжими косичками, спускавшаяся из-под кружевной шляпочки в форме горшка. Но на детей никто не обращал внимания.

Объехав под шум аплодисментов и восклицаний циклодром, Дацарилл не без труда вылез из штейгера, подошел к столбу и попробовал руками, крепко ли он держится.

...Затем началась драматическая сцена прощания Дацарилла с семьей, для описания которой у меня не хватает таланта. Могу только сказать, что сцена прощания была так неподдельно драматична, что многие из публики вытирали слезы, а дамы всхлипывали и отво-

рачивались, несмотря на то, что все прекрасно понимали: вся эта мелодрама — не что иное как так называемая на цирковом жаргоне «продажа номера»...

Наконец, измотав нервы чувствительной южной публике, Дацарилл стал медленно подниматься вверх по столбу, останавливаясь на каждой перекладине, чтобы перевести дух и бросить взгляд вниз, на врачебную комиссию от городской управы, которая должна была присутствовать при опасном номере.

Боря заметил, что из-под полумаски Дацарилла текут струйки пота и, доползая до усов, окрашиваются в чернильно-лиловый цвет.

Нет, совсем не таким представляли мы себе Дацарилла, изображенного на афише стройным, атлетически сложенным молодцом с мрачными бодлеровскими глазами.

Оркестр смолк, и музыканты стали выливать из своих инструментов слюни.

Наступила такая тишина, что стали слышны свистки паровиков и звуки грузовых лебедек, долетающие из порта.

Теперь Дацарилл, вскарабкавшись на самый верх, стоял на шатком помосте между двух национальных флагов, и ветер трепал его черный плащ. На фоне летящих облаков он казался тощим и маленьким, почти карликом. Некоторое время он нерешительно стоял, глядя вниз, где из бидона уже наливали керосин в яму с водой.

Одно время мне с Борей даже показалось, что Дацарилл чувствует головокружение и собирается спуститься вниз, на землю.

— Дрефун,— презрительно процедил Боря сквозь зубы.

— Тогда деньги назад,— сказал я.

В это время Дацарилл решительно снял с себя плащ, бросил его вниз, и он плавно, как черный орел, раскинувший крылья, опустился на газон, ставший при этом как бы еще ярче, зеленее до рези в глазах.

Публика зашумела, послышались аплодисменты. Маленький Дацарилл стоял на помосте в черном, несколько великоватом для него трико с большим белым черепом с двумя скрещенными костями на впалой груди.

— Зажигайте керосин! — слабым голосом крикнул сверху вниз Дацарилл и прибавил, повернувшись в сторону духового оркестра: — Давайте дробь!

Над ямой вспыхнуло красно-черное пламя керосина, и одновременно с этим раздалась мелкая барабанная дробь, от которой мурашки побежали по моей спине.

Дацарилл еще раз посмотрел вниз, покачал головой, зажмурился, поднял вверх сцепленные руки и ринулся в бездну.

Совершилось это так стремительно, что я и Боря очнулись лишь после того, как пожарные стали заливать огонь из брандспойта, а Дацарилла не без труда вытащили за худые руки из ямы живого, неведимого, но дрожащего от холода и мокрого, как мышь. Черное великоватое трико облепило его щедедушную фигуру с волосатыми ногами, маска съехала на сторону, и в таком виде под звуки туша Дацарилл проехал, стоя в штейгере, одной рукой обнимая жену, а другой неумело посылая во все стороны воздушные поцелуи. Мне с Борей показалось, что он плачет, а с усов текла на подбородок черная краска.

— Молодец,— пробормотал Боря.— Молодец, что не промахнулся!

Боря был строг, но справедлив.

И все же мы были разочарованы: не такого мы мечтали увидеть Дацарилла и уже жалели, что потратили деньги на входные билеты, тем более что все обошлось так благополучно!

Я бы навсегда забыл эту историю, если бы лет через тридцать, а то и все сорок я не сидел однажды в Москве, в артистическом кружке, ужиная вместе со своими друзьями куплетистом С.-С. и режиссером Г. Зал был переполнен артистами, музыкантами, администраторами, поэтами, драматургами, которые собирались здесь обычно к часу ночи, после спектаклей.

Среди веселого, беспорядочного разговора куплетист С.-С. вдруг посмотрел в дальний угол подвального, где за столиком сидел, окутанный облаком табачного дыма, маленький неряшливый старичок с лиловыми мешками под глазами и пил пиво.

— Обратите внимание на того человека, — сказал С.-С., — на вид как будто ничего особенного. А на самом деле это легендарная личность. Герой. Это именно он, будучи антрепренером известного в свое время Дацарилла, прыгнул с мачты в яму с горящим керосином вместо Дацарилла, который неожиданно запил и не только не мог прыгать, но даже встать с кровати, а его антрепренер, чтобы не возвращать публике деньги, выполнил сам его смертельный номер, не имея ни малейшего опыта в этом деле.

Влезая на столб, он произнес историческую фразу:

... — лучше умру, чем верну публике деньги...

Я посмотрел на старого антрепренера: в нем не было ничего особенного. Но все же, согласитесь, он совершил героический поступок, не желая разориться и пустить по миру свою семью — жену и троих детей, двух мальчиков и одну девочку.

Тетрадь с картинками.

Может быть, самая огромная, невознаградимая утрата в моей жизни — это исчезновение тетради, в которую мама наклеивала для меня картинки. Мне было тогда, наверное, года два, но я прекрасно помню гуммиарабик в треугольном флаконе с оловянной крышечкой, из которой высывалась рукоятка кисточки, покрытая затвердевшими белыми потеками гуммиарабика.

Мама вынимала эту плоскую кисточку из треугольного флакона, намазывала обратную сторону картинки клеем, а затем прикладывала картинку к чистому листу самодельной тетради, крепко сшитой белыми нитками, завязанными узелком.

Мама поглаживала лакированную поверхность разноцветной штампованной картинки своей милой, теплой ладонью с фруктовым запахом гуммиарабика.

Тетрадка была сшита из отличной канцелярской бумаги, которую откуда-то приносил папа.

Прежде чем я увидел настоящую, цветущую на кусте гроздь сирени, я уже познакомился с ее изображением — таким ярким, нарядным, точным, выпуклым и неподвижным. Прежде чем я увидел живую кошку, я уже видел картинку — изображение образцовой красавицы кошечки с зеркальными глазами и голубым бантом на белой шейке.

...Я увидел ангела со звездой на голове и белыми перистыми крыльями за спиной — чудное, неземное существо с локонами, как у хорошенькой девочки, и чистеньким белым лбом умного мальчика, облаченного в бледно-голубые одежды, из-под которых виднелись чистенькие босые телесные ножки...

Я увидел трубочиста в цилиндре, с лестничкой за плечом, стоящего на крыше рядом с какой-то немецкой кирпичной трубой, из которой шел новогодний дым. Я увидел корзинку с яблоками; павлина, распутившего хвост; кружевной веер во всю страницу и котильонные звезды и ордена на ярких лентах.

Все эти изображения поражали меня своей красотой, законченностью, рельефностью. Но в то же время их неподвижность и немота пугали меня, отталкивали.

Я перелистывал тетрадь, испытывая неудовлетворенность их преувеличенным, нереальным реализмом, как будто бы ел во сне что-то вкусное, но не насыщавшее меня.

Чего-то не хватало.

Мама внимательными глазами посмотрела на меня и поняла, чего мне не хватает.

Она принесла папину чернильницу, деревянную ручку со стальным калено-синим пером марки «коссодо» и под каждой картинкой стала прилежно писать своим мелким женским почерком объяснения картинок, неторопливо и нежно повторяя их мне на ушко, как бы сообщая какую-то приятную тайну:

...«Вот маленький пушистый котенок, потерявший свою маму и оставшийся один на улице под холодным дождем. Он весь вымок, проголодался, и стоял, дрожа в чужой подворотне, и жалобно мяукал. Дети увидели его, пожалели, принесли домой, высушили, напоили из блюдечка теплым молочком, а потом расчесали его нежную шерстку, распушили хвостик и надели на шейку голубой шелковый бант. Котенок повеселел, его глазки заблестели, и он стал облизывать мордочку розовым язычком, а потом зажмурился и замурлыкал: мур-р... мур...р... Мур...р...р...р. Дети были очень рады, уложили котенка спать на мягкую подушку, а на другой день отнесли его кошке-маме, которая жалобно мяукала в подворотне, зовя своего пропавшего котенка. Вот этот котенок. Не правда ли, какой он хорошенький?..»

Или:

...«Кто этот черный господин в высоком цилиндре и с лестницей за плечом? Это трубочист. Он залез на крышу для того, чтобы почистить трубу, а потом бросить в нее шоколадную бомбу в серебряной бумаге. Бомба полетит вниз по трубе и попадет прямо в чулок, повешенный на спинку кровати спящего мальчика. Мальчик проснется утром, и — о радость! — оказывается, в чулке — шоколадная бомба в серебряной бумажке. Вот какой добрый, хороший трубочист, несмотря на то, что он снаружи черный-пречерный, весь в саже. Зато душа у него добрая и светлая»...

...«Обрати внимание на этот испанский кружевной веер. Он вчера весь вечер провел на балу в руках у красивой дамы, которая обмахивалась им во время танцев и после танцев. Дама устала, и веер тоже устал. Но зато оба — дама и веер — придя домой, сразу же заснули сладким сном: дама в своей роскошной опочивальне, а веер в передней на подзеркальнике — как был, так и остался раскрытый, потому что ленивая красавица не успела его сложить, ей так хоте-

лось спать! А теперь отгадай загадку: ветер дует — не иду я, а иду я — ветер дует, и тогда, когда иду я, ветер дует от меня... Что это такое? — спросила мама, загадочно мерцая глазами, и так как я не в силах был ответить на этот вопрос, а мама молча любовалась приклеенным к белой странице ажурным, кружевным бальным веером с серебряными пластинками, то, некоторое время помолчав, мама приложила ладонь к моей щечке и шепнула мне на ухо ответ на загадку: — Веер!..»

Каждый вечер мама наклеивала в тетрадку новые картинки и подписывала их, так что в конце концов получилась как бы самодельная книжка для рассматривания и чтения.

Я очень полюбил эту книжку-тетрадку, потому что, как я уже значительно позже понял, в ней удивительно гармонично сочеталось изобразительное с повествовательным, без чего не может существовать подлинное искусство.

...Эта тетрадка, некогда такая новенькая, прочно сшитая льняными нитками, старела у меня на глазах: выцветали чернила, появлялись пятна от пролитого молока, отпечатки пальцев, размазанные кляксы, с картинок медленно сходил литографический глянец, некоторые из картинок отклеивались, бумага желтела, но каждый раз прикасаясь к этой тетрадке, я испытывал прекрасное, грустное чувство любви к моей сначала живой, а потом так рано умершей маме, которая с детства не только приучила меня любоваться миром, формами и красками окружающих меня предметов, но также дала им вторую жизнь, соединив их со словом, наполнив внутренним — подчас тайным — содержанием, движением мысли, как бы окунула их в бесконечную и безначальную стихию повествования...

После смерти мамы тетрадка хранилась у нас в семье в папином комод, о котором я еще, наверное, кое-что расскажу, до самой революции, а потом, после смерти папы, куда-то девалась вместе с комодом.

Куда?.. Ума не приложу!..

Но до сегодняшнего дня, когда я все это пишу уже старческой рукой, глядя на замерзшие окна, за которыми в наплывах льда зеленеет и синеет январский переделкинский пейзаж, залитый хрустально-белым светом морозного солнца, мамина тетрадка так поразительно отчетливо, во всех подробностях живет в моей памяти, все еще продолжающей уничтожать Время.

...Помню даже ту отличную министерскую бумагу, из которой тетрадка была сшита, бумагу Дитятковского товарищества, с водяными знаками, если посмотреть на свет. Эти водяные знаки всегда меня удивляли: как они делаются? Откуда берутся?

Иногда мне кажется, что я бы не мог жить без памяти об этой тетрадке, без кошечки с голубым бантом, без пирамидальной грозди сине-лиловой сирени с желтыми тычинками, без моего ангела-хранителя с серебряной звездой над хорошенькой головкой с локонами, как у девочки.

Однажды — давным-давно — мне самому захотелось создать нечто подобное этой тетради. Мама дала мне лист министерской бумаги с водяными знаками, карандаш, и я, разложив по столу локти, при свете висячей керосиновой лампы под белым абажуром, сквозь который язычок пламени еле просвечивал, как маленькая зубчатая коронка малинового цвета, при пружинном звоне столовых часов медленно

пробивших восемь раз, уже засыпая, нарисовал нечто закутанное с двумя вишенками посередине, что представлялось мне густым, таинственно-сказочным лесом, которого я еще никогда в жизни не видел, и я с трудом нацарапал печатными кривыми буквами надпись:

...«какой хороший этот лес и как прекрасно в этой дали»...

Разумеется, «хороший» и «етай», но какое это имело значение, если именно в этот миг, быть может, началась моя жизнь поэта, тем более что мое первое произведение тоже навсегда исчезло вместе с заветной маминой тетрадкой?

Тетины поклонники.

После смерти мамы у нас в доме вместе с маминой сестрой тетей Лилей появилась и тетина чайная чашка, сразу же обратившая мое внимание, так как до этого времени у нас в доме не было чашек: пили чай из стаканов.

Тетя очень дорожила своей чашкой, пользовалась ею лишь в торжественных случаях, собственноручно ее мыла в полоскательнице, с величайшей осторожностью вытирала чистым сухим полотенцем, боясь, чтобы не треснул тончайший, полупрозрачный севрский фарфор, и время от времени напоминала нам — Женьке и мне, — что это очень редкая, драгоценная, старинная чашка.

Тетя всегда брала с собой эту чашку в дорогу, укладывая ее в ярко-желтую фанерную шляпную коробку с крепким ремнем, застегивающимся поверх крышки.

Однажды, когда мы с тетей возвращались в вагоне второго класса после побывки у бабушки из Екатеринослава в Одессу, тетя вынула чашку, налила в нее для меня из бутылки, завернутой в вату, сладкий чай с лимоном и, предупредив, чтобы я не сломал чашку, с непонятной для меня мечтательно-грустно-юмористической улыбкой — то ли в шутку, то ли всерьез — сказала, что эту чашку некогда подарил ей князь Жевахов, ее бывший поклонник и даже жених.

Я попросил тетю рассказать подробности, но она не захотела. Меня взволновала мысль, что если бы тетя тогда вышла замуж за своего жениха князя Жевахова, то теперь была бы княгиней!

Меня также волновало слово «поклонник», услышанное впервые.

— А что такое поклонник? — спросил я.

— Вырастешь — узнаешь, — ответила тетя со своим мелким смешком.

— Это полковник? — настаивал я.

— Не всегда, — уклончиво ответила тетя, весело наморщив губы.

— Но все-таки что это такое — поклонник? Это человек?

— Поклонник — это жених, — сказала тетя, чтобы отвязаться, и прибавила: — Чем болтать, лучше пей чай, пока он еще не совсем остыл. И не разбей чашку.

Я стал пить чай, наливая его из чашки с китайским рисунком в драгоценно-потертое блюдечко, и мне казалось, что я держу в руках величайшую музейную редкость.

Вагон пружинило, покачивало, из окна в купе бил столб пыльного солнечного света, а за окном простирались плоские просторы Новороссийского края, поля, степи, изредка скифские курганы и покосившиеся каменные бабы.

Иногда столб солнечного света перемещался, начинал поворачиваться, переходя с полосатого тикового диванного чехла на пуговичках на потолок с вентилятором, потом переползал на стрекочущий фонарь, куда ночью обер-кондуктор вставлял толстую стеариновую свечу. Передвижение столба солнечного света значило, что рельсы поворачивают, дорога делала дугу; тогда, выглянув в окно, можно было увидеть впереди туловище паровика с быстро крутящимися колесами, свистящими поршнями и дымом над головастой трубой. А сзади загибался, как хвост ящерицы, конец поезда с уменьшающимися звеньями вагонов — синих, зеленых и желтых.

Но ничто не могло отвлечь меня от тетиных слов, поразивших меня до глубины души, так как слово «Жевахов» было мне хорошо знакомо: между Пересылью и Дофиновкой, по дороге на Куяльницкий лиман, куда надо было ехать на настоящем поезде, а не на совсем игрушечном, дачном, как на Большой Фонтан, мимо нас проплывал довольно высокий холм, называвшийся Жевахова гора, в честь какого-то князя Жевахова, владевшего этой горой, заросшей бұрьяном.

...Жевахова гора принадлежала к достопримечательностям города...

Теперь же вдруг оказалось, владелец знаменитой горы, князь Жевахов, был ни более ни менее как тетин поклонник, жених. Мне что-то не совсем верилось этому.

— А Жевахова гора того самого князя Жевахова, вашего поклонника? — спросил я.

— Представь себе, — ответила тетя.

— Почему же вы с ним не женились? — спросил я.

— Он был очень стар, — ответила тетя, — и я ему отказала.

— А чашку все-таки взяли? — спросил я.

— А чашку взяла, — засмеялась тетя. — На память.

Я живо представил себе драматическую картину: владелец горы, несметно богатый князь Жевахов, старик со слезами на морщинистых щеках стоит на коленях перед моей тетей, протягивает ей драгоценную севрскую чашку и делает предложение, а тетя ему отказывает, хотя и берет чашку на память.

Кроме жеваховской чашки, тетя привезла в нашу квартиру еще музыкальный ящик вроде органчика и золотые часики в виде открывающегося шарика, висящего на плетеной золотой ленточке.

Тетя очень дорожила и гордилась этими вещами, так как оказалось, что они получены ею как призы на каких-то балах в Нижнеднепровске под Екатеринославом, когда тетя еще до переезда к нам учительствовала в тех краях в селе Каменском. Часики тетя всегда носила у себя за поясом, иногда давала их нам потрогать и даже открывала их, показывая эмалевый циферблат и золотые стрелки, а музыкальный ящик позволяла заводить когда угодно, и первое время я без усталости вертел тугую ручку, заставляя крутиться тонкий стальной диск с целой сетью продолговато-поперечных скважинок, которые цеплялись за шипы стального гребешка, что производило звонкие музыкальные звуки — ноты, — в целом составлявшие как бы несколько затрудненно, по складам выполненный отчетливый мотивчик какой-нибудь польки-мазурки или вальса.

Стальных пластинок было полдюжины, и я их ставил по очереди. Больше всего мне нравился мотив украинской народной песни, слова которой под стальные звуки шарманки напевала тетя:

«...Ой за гаем, гаем, гаем, гаем зелененьким, там орала дивчинонька вольком черненьким. Орала, орала, не стала гукаты, тай на-няла казачинку на скрипочке граты. Казачинка грае, бровами моргае, а чорт его батьку знае, чога вин моргае: чи на мои волы, а чи на ко-ровы, чи на мое било лице, чи на чорны брови?..»

Тетя получила эти призы — золотые часики и музыкальный ящик «аристон» — за красоту, о чем она сама сообщила мне однажды со свойственной ей иронической улыбкой, причем как бы в подтверждение этого сделала, подобрав юбку, несколько изящных танцевальных па и пропела не без кокетства куплеты из оперетки «Гейша»: «За красу я получила первый приз, все мужчины исполняют мой каприз» — и т. д.

Мне было трудно этому поверить, так как, на мой детский взгляд, тетя была уже далеко не молода и совсем не красива, хотя и симпатична.

Может быть, ее красоте мешало небольшое утолщение на конце носа — небольшая розовая клубничка, — свой нос она в детстве так сильно расквасила, катаясь на качелях, что след остался на всю жизнь. Я думаю, это утолщение на краю носа придавало тете что-то неповторимое, одной лишь ей свойственное, прелестное. При насморке или когда тетя плакала конец ее носа довольно сильно краснел. В остальном же тетя Лиля была хороша собой, голубоглаза, и, как я это понял впоследствии, у нее была стройная, легкая фигура и красивые ноги, маленькие и всегда хорошо обутые.

Ей не было и тридцати, когда она приехала к нам заменить покойную маму. Тогда я еще не понимал что она совершила подвиг, в цвете лет отказавшись от личной жизни, от свободы, независимости ради того, чтобы воспитать нас — меня и крошечного Женьку, детей ее любимой старшей сестры, которой она однажды дала слово в случае ее смерти заменить нам мать.

...Она была моей крестной матерью, некогда специально приезжала из своего Каменского крестить меня, первенца своей сестры, и весело рассказывала, как я намочил ее розовую муаровую юбку, как невозможно было вывести пятна — и юбка пропала. Крестным отцом был один из тетиных поклонников, приват-доцент Попруженко, которому я тоже умудрился намочить парадные брюки и часть сюртука, но с них эти пятна вывелись...

Тетя заменила нам мать, поступила учительницей в епархиальное училище и сделалась хозяйкой нашего дома.

Маленького Женечку, который с самого раннего, грудного возраста рос у нее на руках, она любила страстной, нежной, истинно материнской любовью.

Казалось, было бы совершенно естественно, чтобы папа в конце концов на ней женился. Но, видимо, папа принадлежал к редкому типу мужчин-однолюбов. Других женщин, кроме мамы, для него не существовало. После ее смерти он дал себе слово навсегда остаться — и остался! — вдовцом. Мне даже временами казалось, что к любой женщине он чувствует какую-то странную, с трудом скрываемую неприязнь.

Возможно, тут сыграло роль происхождение папы из духовной среды. Ведь все-таки папа, будучи семинаристом, готовился стать священником, хотя потом и пошел по светской дороге, окончив после семинарии университет и сделавшись преподавателем средних учебных заведений.

...Я думаю, «духовное» крепко сидело в нем...

По всему своему образу жизни и взглядам на нее он был скорее священник, чем лицо светское. Скорее иерей, чем надворный советник. Священникам же не позволялось иметь вторую жену, даже если первая умерла. В таких случаях священник чаще всего уходил в монахи. В папе стало заметно проявляться нечто монашеское, строгое, целомудренное, неприступное для любого мирского соблазна, кроме театра, который папа очень любил, конечно театра серьезного, где ставились классические пьесы Гоголя, Островского, Шекспира. В особенности он любил трагедии Шекспира.

Хотя тетя материально была вполне независима, так как была учительницей в младших классах епархиального училища, совмещая это с должностью делопроизводителя, и несла все расходы по дому наравне с папой, но все же ее положение, по взглядам окружавшего нас обывательского мещанского общества, было несколько двусмысленно: живет под одной крышей с вдовцом, ведет хозяйство, воспитывает его детей...

Что-то неладно!

Однако ни папа, ни тетя не обращали внимания на сплетни и намеки, делавшиеся у них за спиной. Они были выше этого, в чем и проявлялась их подлинная интеллигентность.

И все же — теперь я понимаю! — тете у нас жилось не очень легко. После своей свободной жизни в Каменском, после нижнеднепровских балов с призами за красоту, с поклонниками из числа видных горных инженеров, путейцев, политехников, заводчиков, помещиков, что тетя легко совмещала со своим учительством, дававшим ей независимость, жизнь в доме вдовца, воспитание двух мальчишек, ведение чужого хозяйства, несомненно, ее тяготили, не могли не тяготить. В сущности, это был отказ от личной жизни.

Впрочем, от поклонников тетя окончательно не отказалась. Время от времени у нас в доме появлялся кто-нибудь из тетиных поклонников, что, как мне казалось, несколько раздражало папу, не привыкшего к гостям. Но он старался не подавать виду.

С появлением у нас тети мы уже не могли поместиться в нашей дешевой, старомодно и скромно обставленной квартире на Базарной улице, рядом со Стурдзовской общиной, почти на углу Французского бульвара. Тете была необходима отдельная комната, поэтому мы переехали на другую квартиру, просторную и для нас дороговатую, в шикарном доме Аудерского на Маразлиевской, одной из лучших улиц города.

Старая мягкая мебель была продана, куплена новая, под черное дерево, обитая золотистым шелком. Это сделало нашу гостиную хоть и более красивой, чем прежняя, но не такой уютной, мягкой, с западающими пружинами кресел, как при маме.

Комнат было много, и лишние мы сдавали жильцам, чтобы, как говорила тетя, сводить концы с концами.

...с тех пор, сколько я себя помню, мы постоянно переезжали с квартиры на квартиру, ища наиболее удобную и подешевле...

А бабушка — папина мама — всегда переезжала с нами, сидя на платформе рядом с фикусом, и по-прежнему жила в столовой за ширмой, тихая, никому не нужная, всеми забытая, нежно и почти-тельно любимая лишь одним папой.

Тетя хорошо одевалась, душилась духами, носила модные шляпы, вызывавшие у папы иронические улыбки. Даже в епархиальное учи-

лице на уроки тетя надевала синее шелковое платье с кружевами на шее и на рукавах. В противоположность покойной маме, всегда гладко причёсывавшей свои черные, как воронье крыло, волосы, тетя — светлая шатенка, почти блондинка — устраивала себе модные причёски с валиком впереди а-ля Вяльцева, знаменитая исполнительница цыганских романсов.

Тетя часто садилась на вертящуюся табуретку с плетеным сиденьем, открывала крышку пианино и с блеском, со щегольством начинала играть один за другим вальсы Шопена, причем ее тонкие пальцы так и летали туда и назад вдоль пожелтевших клавишей, сверкая кольцами с маленькими, но настоящими разноцветными драгоценными камешками.

...кажется, она даже втайне от нас курила, так как я однажды обнаружил в ее комнате тоненькую дамскую папироску и легкий запах табачного дыма...

Тетины поклонники — «женихи» — появлялись не слишком часто, но я их всех хорошо запомнил. Вероятно, тетя им всем отказывала, так как после одного-двух визитов они больше уже не появлялись.

По моему мнению, не считая, конечно, старого князя Жевахова, которого я продолжал представлять себе стоящим на коленях перед тетей с чашкой в руке стариком с лицом художника Айвазовского, — самый значительный тетин поклонник был остзейский барон фон Гельмерсен, вдовец и красавец.

Как-то тетя объявила, что в воскресенье у нас будет обедать один ее старый знакомый, который придет со своим сыном, воспитанником кадетского корпуса, и, зная, что между кадетами и гимназистами существует извечная вражда, тетя строго приказала мне и Женьке вести себя прилично и вежливо по отношению к сыну фон Гельмерсена. Мы пообещали не драться с кадетом, но при этом скорчили такие рожи, что тетя погрозила нам мизинцем.

Накануне визита фон Гельмерсена тетя сделала кой-какие покупки: коробку сардинок, полфунта очень дорогой московской копченой колбасы в серебряной бумаге, швейцарского сыру со слезой и две длинные бутылки пива Санценбахер с фарфоровыми пробочками на проволочных конструкциях.

Увидев пиво, папа покраснел от негодования, даже, собственно, не только покраснел, но и побелел; побелели его скулы; он был убежденным трезвенником и ни под каким видом не разрешал держать в доме спиртные напитки.

— Зачем вы купили эту гадость! — сказал он, дергая шей и правая пенсне. — Я выброшу их в помойное ведро.

На что тетя хладнокровно ответила, что фон Гельмерсен привык пить за обедом пиво; он ее гость, а по отношению к гостям надо быть предупредительным.

Сардинки и швейцарский сыр вызвали на папином лице брезгливое выражение.

(У нас в доме никогда за обедом не водилось никаких закусок; начинали прямо с супа.)

На балконе стояла жестяная формочка с апельсиновым желе, которое тетя собственноручно приготовила для своего поклонника.

Фон Гельмерсен оказался весьма respectable господином — высоким, усатым, в клетчатом жакете английского фасона, в высоком крахмальном воротничке, подпиравшем его сизые щеки, и в остроносых штиблетах с серыми суконными гетрами. Помнится, на его паль-

це было два обручальных кольца, а на черной шелковой ленточке болтался моноколь — вещь, которую я впервые в жизни видел.

Войдя в переднюю, он снял с рук замшевые перчатки, бросил их в шляпу и поставил в угол прямую, как он сам, крепкую трость из палисандрового дерева с набалдашником пожелтевшей, надтреснутой слоновой кости. Из-за его высокой фигуры выглянул маленький белобрысый кадетик и шаркнул сапогами, от которых по всей передней распространился запах казенной ваксы.

Фон Гельмерсен был вдовцом и по воскресеньям ходил по гостям вместе со своим сыном.

...Что связывало его с нашей тетей, где они познакомились? Это осталось для меня навсегда тайной...

Визит фон Гельмерсена сохранился в моей памяти как скучно проведенное, пропащее воскресенье. Пока после обеда барон, заложив ногу за ногу, пил пиво, курил свою сигару и с довольно заметным немецким акцентом вел светский разговор с тетей и папой, который не выносил табачного запаха и отгонял ладонью от своего носа красивый дорогой светло-голубой сигарный дым, мы с Женькой повели кадета на улицу поиграть. Хорошо еще, что на улице никого не было из мальчишек, в особенности Мишки Галия, а то досталось бы и нам и кадету: задразнили бы.

Сын фон Гельмерсена оказался на редкость скучным мальчиком и очень мало разговаривал, потому что все время вынимал из карманов штанов куски хлеба, которые натаскал во время обеда, и набивал ими рот, так что его красные щеки все время были раздуты и слова с трудом пролезали сквозь его маленький ротик.

В общем, он был мальчик смирный, но смертельно нам надоел, так как испортил нам все воскресенье.

Фон Гельмерсен просидел у нас до вечера, прямой как палка, потертый, с сигарой во рту, с мешками под глазами, лысоватый. Что нашла в нем тетя, до сих пор не могу понять. Вероятно, этот самый фон Гельмерсен был не более чем какое-то волнующее воспоминание прошлого, может быть, того золотого времени, когда совсем молоденькая тетя, генеральская дочь, независимая, веселая барышня, проводила летние каникулы на Рижском взморье, о чем она иногда рассказывала не без удовольствия.

...Если бы она вышла тогда за фон Гельмерсена, то была бы баронесса. Вот это был бы номер!..

Больше фон Гельмерсен со своим кадетиком у нас не появлялся. Для чего он приходил — неизвестно. Может быть, опять свататься? По-видимому, тетя по своему обыкновению ему опять отказала.

Помню, как папа в своем парадном сюртуке на шелковой подкладке после ухода фон Гельмерсена, морщась, проветривал комнаты от сигарного дыма и собственноручно брезгливо унес в кухню длинные бутылки из-под санценбахеровского пива: в них вместо пива были сотоподобные крупные перепонки остатков пива, так называемые загогулины, весьма занимавшие мое воображение вопросом: как это происходит? откуда они берутся?

Остальные тетины поклонники не представляли ничего интересного. Они появлялись на короткое время, вселяли в тетину душу надежду на какое-то личное счастье и потом навсегда исчезали, отвергнутые тетей.

...Был, например, как это ни странно, приказчик Мухин, плотный красавец, шикарно одетый, с шелковым галстуком цвета павлиньего пера, с бриллиантовым перстнем на мизинце. Он был не приказчиком в обыкновенном галантерейном магазине где-нибудь на Ришельевской улице, меряющим желтым деревянным аршином с металлическими кончиками кружева или какую-нибудь стеклярусную отделку. В иерархии приказчиков он занимал высшее место — был, что называется, правой рукой хозяина крупной фирмы, в магазине на Дерибасовской бывал редко, а большей частью ездил за товаром в Москву, которую называл первопрестольной, и в Санкт-Петербург, который называл Питер, а иногда ездил даже в Париж. У него были изысканно-скромные манеры человека, знающего себе цену, безукоризненный пробор, красиво подбритые виски, чистое, отчетливое произношение. На самом кончике его красивого русского носа была небольшая зарубочка, как бы мушка на конце ружейного ствола, что до известной степени подходило к его фамилии — Мухин, Мушкин... Когда он смотрел на собеседника своими красивыми крестьянскими глазами, то как бы прицеливался, наводя в самый центр невидимой мишени мушку своего носа. От него пахло французскими духами — словом, он был отличный экземпляр еще довольно молодого состоятельного мужчины с положением.

Несмотря на его несомненное превосходство перед нашей семьей в материальном отношении, он все же воспринимался нами как человек низшего сорта. Причиной этого был его язык, обороты его речи, от которых так и разило чем-то галантерейным. Он употреблял такие слова, как «сударь», «сударыня», «не извольте беспокоиться», «точно так», «особа»; он часто присоединял к слову частичку «с»: всенепременно-с, почту-с за честь-с, отнюдь нет-с и тому подобное, что настолько было не в духе нашей семьи и тети, что Мухин быстро получил отказ, хотя один раз даже возил тетю, надевшую беличью рогонду и капор, на извозчике в оперетку.

...как-то незаметно промелькнул щеголеватый студент-белоподкладчик в фуражке прусского образца, в мундире и узких диагональных брюках, который в день «Белой ромашки» сопровождал тетю собиравать на улицах пожертвования в пользу туберкулезных больных. Нарядно одетая тетя, держа в руке синий бархатный щит с наколотыми на него целлулоидными значками в виде цветка белой ромашки, грациозно подбегала, шумя шелковой юбкой, к прохожим и, проговорив с обворожительной улыбкой: «Надеюсь, вы не откажете...» — прикалывала на лацкан мужчины или на каракулеву кофточку дамы белый цветок с желтой серединкой, а в это время студент подставлял гремящую деньгами кружку-копилку с сургучной печатью на замке, и в щель падали гривенники, двугривенные, полтинники, а иногда даже, если тетя была особенно обворожительна, полновесные серебряные рубли. В конце дня, перед тем как идти в городскую управу сдавать выручку, тетя пригласила студента к нам выпить чаю, и я мог попробовать на вес наполненную пожертвованиями кружку и поддерживать в руке синий бархатный щит.

В управе оказалось, что тетя набрала больше всех пожертвований, и ей была вынесена публичная благодарность, но папа не одобрил всего этого, назвав «недостойной игрой в благотворительность».

Быть может, ему просто не понравился излишне щеголеватый студент, который, впрочем, больше у нас не появлялся...

...наверное, его постигла участь всех других поклонников тети: получил отказ...

Был еще преподаватель духовного училища, уроженец Умани со странной фамилией Кривда — украинец в вышитой рубашке под форменным учительским пиджаком, человек с тыквообразной головой, едва прикрытой несколькими аккуратно разложенными волосками; он пил у нас чай, макая шевченковские усы в блюдце, очень веселился и все время порывался рассказать по-украински что-нибудь смешное, причем ласково и сладко, как толстый кот, поглядывал на тетю.

Один из его анекдотов я запомнил.

Однажды хохол заспорил с турком, чей бог лучше. Спорили долго и ни до чего не могли договориться. Тем часом набежала черная пречерная хмара, началась гроза и как вдарит молния, а за нею гром!.. «Ще наш бог бьет вашего бога», — сказал турок, а хохол-казак ему меланхолично отвечает: «Так ему и надо: нехай с дурнем не связывается».

Слово «связывается» Кривда произносил как звязувается.

Одно время в поклонники тети записался троюродный брат папы, приехавший из Вятки, некто Иван Иванович Творожков, так же, как и папа, поступивший после окончания духовной семинарии в Новороссийский университет; благополучно поступил на медицинский факультет и уже дошел до четвертого курса. Он был беден и, по-видимому, искал невесту с приданым, хотя бы маленьким, для того чтобы иметь возможность окончить университет. Он говорил как настоящий вятч, «лапшеед». Половину слов трудно было разобрать, точно и впрямь его язык запутался в лапше, так же, как и у бабушки, папиной мамы. Он то и дело очень по-провинциальному потирал потные руки, ни к селу ни к городу начинал как-то застенчиво, по-китайски смеяться — хи-хи-хи,— чай хлебал с блюдечка, держа его перед собой на трех пальцах, обязательно вприкуску, зажав между передними зубами крошечный кусочек сахара. Вместе с тем было известно, что он необыкновенно талантлив и считался на факультете одним из самых блестящих студентов.

Разумеется, из его сватовства ничего не вышло, и он как-то сконфуженно удалился в своем потертом пальто, бородатый, добрый, смущенный, с умным простонародным лицом Пирогова, в кепке с пуговицей и в старых, хлюпающих калошах.

Года через три он вдруг появился у нас, уже будучи прозектором по кафедре анатомии, прилично одетый, и представил нам свою жену — совсем не молодую поповскую дочку, на которой он женился по расчету, из-за приданого в три тысячи рублей.

Он был явно смущен, и на его лице типичного русского ученого-самородка было написано столько грустной доброты, что нам всем стало его жалко, тем более что его жена, женщина серой провинциальной внешности, одетая в шелковое коричневое платье, вела себя очень стесненно, неуклюже, громко сморкалась в платок, который вынимала из рукава своего платья, а когда в конце обеда подали на сладкое вишневый компот, то она выплевывала вишневые косточки в горсть, и в это время ее лицо делалось каким-то утиным. Они иногда посещали нас по-родственному, а однажды пришли под Новый год к яблочному пирогу с запеченным в нем на счастье гривенником и принесли две бутылки донского игристого шампанского с засмоленными пробками, привязанными веревочками.

...тогда я впервые в жизни попробовал донское игристое, и оно мне, признаться, очень понравилось...

Последний тетин поклонник появился уже в начале первой мировой войны. Это был миссионер нашей губернской епархии. Несмотря

на такую странную романтическую профессию, которая в моем представлении была связана со смертельно опасной, подвижнической жизнью на каких-нибудь коралловых островах или в джунглях девственных лесов, кишачих ядовитыми змеями, мухами це-це, дикими зверями, вопреки моему представлению миссионера в виде подвижника в грубом монашеском рубище, с пылающим, неугасимым пламенем веры в глазах, просвещающим дикарей, наш одесский епархиальный миссионер, выходец из Калуги, ведущий борьбу на религиозных диспутах с раскольниками и разными сектантами, имел самую ординарную внешность, был мал ростом, мелок, тщедашен, носил старый пиджачок, брюки, вздутые на коленях, и довольно забавно тряс своей козлиной бородкой, уж никак не напоминая духовное лицо.

Приезжая из Калуги после каникул, он долго пил у нас чай, рассказывая о никому не интересных калужских новостях.

Разумеется, никаких шансов покорить сердце тети у него не было, тем более что он оказался тайным алкоголиком, и я однажды видел его совершенно пьяным, сидящим у нас на ступенях парадной лестницы.

По-видимому, он плелся к нам с визитом, но не доплелся, присел на ступеньку перевести дух да так и заснул, распространяя вокруг себя запах самогона: водка тогда уже была по случаю войны запрещена.

Через некоторое время тетя уехала от нас в Полтаву, где жил ее двоюродный брат, богатый помещик и земский деятель Евгений Петрович Ганько, тоже бывший, вероятно, некогда тетиним поклонником, и стала вести его хозяйство, заменив свою умершую двоюродную сестру Зинаиду Петровну Ганько.

...Хорошо помню этого самого Евгения Петровича. Он был большой барин, сибарит, бонвиван, любил путешествовать по разным экзотическим странам и несколько раз, возвращаясь на пароходе добровольного флота из Китая, Гонконга, Египта или Индии, проездом через Одессу в Полтаву неизменно наносил нам семейный визит, принося в подарок разные диковинные сувениры: японские лакированные пеналы, страусовые яйца и перья, циновки, плетенные из тончайшей египетской соломы, портсигары, украшенные изображением священного жука-скарабея, и прочее. У него было могучее, хотя и довольно тучное от неумеренной жизни телосложение, ноги, разбитые подагрой, так что ему приходилось носить какую-то особенную бархатную обувь вроде шлепанцев, и великолепная голова с римским носом, на котором как-то особенно внушительно, сановно сидело золотое пенсне, весьма соответствующее его сенаторским бакенбардам и просторной пиджачной паре от лучшего лондонского портного, источавшей тонкий запах специальных мужских аткинсоновских духов...

К началу войны Евгений Петрович одряхлел, почти уже не мог ходить и по целым дням сидел у себя в Полтаве в удобном кирпичном особняке, построенном в украинском стиле, окруженном тенистым полтавским садом, в вольтеровском кресле, с ногами, закутанными фланелью, и перелистывал старые комплекты французского журнала «Ревю де Дё Монд» или занимался своими марками, и я слышал, что он был великий филателист и владел бесценными коллекциями, из которых одна была единственной на весь мир — коллекция полтавской уездной земской почты.

Тетя стала вести его хозяйство.

Так кончилась жизнь тети у нас в доме.

...тетя умерла в Полтаве в 1942 году при немцах, незадолго до этого похоронив Евгения Петровича и оставшись совсем одна, больная, старая, нищая, переселенная в какой-то полуразрушенный флигелек. Будучи русской патриоткой, она не могла перенести унижения иноземного нашествия на родную землю, на ту землю, где некогда Петр разбил шведов...

Соседи нашли ее однажды утром мертвой рядом со своей постелью на полу. По-видимому, она полезла под кровать за туфлями, и тут ангел смерти вынул ее нежную, добрую и такую несчастливую душу.

О, как ясно вижу я зимнее темное полтавское утро, хлопанье зениток, шум немецких танков на улице, тучи над развалинами некогда прекрасного украинского города с белыми стенами домиков, зелеными железными крышами и пирамидальными тополями — лежащую на полу ничком маленькую, высохшую старушку с седыми волосами, разметанными по вытертому коврику.

Детское представление о смерти.

В течение нескольких лет, в детстве, меня преследовал зловещий сон, приснившийся мне всего один раз, но потом долго не выходящий из памяти: как бы снился наяву, мучая своим странным содержанием.

...этот сон был изображением моей смерти...

Мне кажется, что у каждого человека в детстве — раньше или позже — всегда внезапно наступает миг, когда он со всей очевидностью начинает понимать, что он смертен и ему непременно когда-нибудь предстоит умереть, перестать существовать, жить, — мысль, к которой невозможно привыкнуть.

Мой сон состоял в том, что я бегал по нашей столовой вокруг не покрытого скатертью круглого ясеневое — а может быть, и елового, — желтого обеденного стола, а за мною гналось странное чудовище, но не живое, а сделанное из такого же ясеневое желтого дерева, как стол и как буфет. Впрочем, буфет был не ясеневый, а светлого дуба и был замечателен тем, что на его дверцах не было традиционных деревянных украшений в виде фруктов или зайцев, а только два деревянных кружка, вследствие чего буфет напоминал вятское лицо старушки — бабушки, папиной мамы, с ее круглыми глазами.

Чудовище, которое за мной гналось, представляло из себя бессмысленное деревянное сооружение — мебель! — не то стул с непомерно высокой лестницеобразной спинкой, не то выросший до потолка буфет с круглыми деревянными бабушкиными глазами.

Самое ужасное, пугающее, заключалось в том, что, хотя чудовище было деревянное и стучало по полу деревянными ножками — как лошадь стучит копытами, — оно в то же время было разумное существо, старающееся меня догнать и схватить, — и тогда я погиб!

Я боялся оглянуться, задышался, и временами мне казалось, что за мной вокруг стола уже гонится, стуча костями, пожелтевший скелет с черной грудной костью, откуда расходятся сухие белые ребра.

Вместе с тем я чувствовал, что я уже не я, а этот самый скелет с черной грудной костью, который гонится за мной и хочет меня

умертвить каким-то одним коротким движением. Я и скелет были одним и тем же предметом или даже не предметом, а существом, так что получалось:

...я гонюсь сам за собой для того, чтобы причинить себе смерть, уничтожить свое сознание...

Для этого стоило только повернуть какую-то штучку в виде электрического эбонитового выключателя, вделанную в мою грудную кость и одновременно с этим вделанную в стенку возле двери, — и тогда для меня сразу наступит смерть.

Странное заключалось в том, что в то время у нас еще не было электрического освещения и я еще нигде не видел выключателя, хотя готов поклясться, что в этом детском сне участвовал выключатель, вделанный в мою грудную кость на грудобрюшной преграде, — черный эбонитовый выключатель, как бы появившийся чудесным образом из недалекого будущего, может быть, даже из Екатеринослава, где уже имелось электрическое освещение.

Впрочем, в этом не было бы ничего странного, если бы можно было поверить, что время движется не только в одну сторону — вперед, — но и в другую — обратно.

А почему бы нет? Может быть, это именно так и есть. Ведь время — вещь еще не вполне исследованная.

Я бежал как сумасшедший вокруг стола, все убыстряя и убыстряя свой бег; я чувствовал за собою лошадиный стук высокого стула, меня все время ловили сбоку, желая пошекотать, какие-то руки, вроде того как иногда в веселую минуту ловили меня, сидя за столом, папа и мама, когда я норовил пробежать мимо них. Но среди этих добрых рук я чувствовал прикосновение сухих, холодных рук умирающего — уже умершего — на диване в гостиной дяди Миши с сумасшедшими глазами и редкой бородкой великомученика, и я испытывал ледящий душу страх смерти, невыносимый ужас, и чтобы избавиться от него, сам убивал себя, повернув на своей грудной клетке щелкнувший выключатель, который в тот же миг погасил мою жизнь, и со всех сторон в меня хлынула тьма, лишенная звуков, немая, непоправимая, и уничтожила меня навсегда.

Проснувшись утром, я уже был не тот маленький веселый мальчик — полуживотное, получеловек, — я уже стал полностью человеком, навсегда отравленным неистребимой мыслью, верным знанием того, что я смертен и уже ничто не спасет меня от уничтожения.

Человеческий мозг.

Об Иване Ивановиче Творожке пошла молва как о выдающемся молодом ученом физиологе. Я думаю, он был сделан из того же теста, что Сеченов, Павлов, Мечников, Менделеев... Папа тоже, по-моему, принадлежал к этой породе, но он пошел по другой дороге — стал ординарным педагогом среднеучебных заведений, не мог себя отдать только науке.

Творожков — тоже уроженец Вятки — как-то очень подходил к папе: их беседы всегда имели возвышенный, научный характер, ничего общего не имеющий с пустой обывательской болтовней.

Они касались непонятных для меня университетских, научных вопросов, иногда спорили, кипятились, и тогда папа начинал тороп-

ливо и неразборчиво говорить, так же как и Творожков, по-вятски произнося вместо «ц» — «ч».

Исследуя в своей университетской лаборатории человеческий мозг, изучая его функции, его механизм как центра психической деятельности человека, соединяя теорию ученого с практикой врача-психиатра, Творожков создал свою особую теорию наследственности, сущности которой я не понимал, а лишь догадывался, что эта теория состоит в утверждении передачи из рода в род изъязнов в веществе головного мозга, влекущих за собой наследственные особенности личности, а также психические заболевания, сумасшествие, преждевременную смерть.

...Временами мне казалось, что Творожков выбрал нашу семью для научных наблюдений, которые должны были подтвердить его теорию наследственности...

Дедушка — папин папа, — вятский протоиерей Василий Алексеевич, умер сравнительно рано — лет пятидесяти от роду. От какой болезни он умер, я не знал. Говорилось туманно — от горячки. Папин брат, мой дядя Миша, о котором я уже упоминал, умер тридцати лет от сумасшествия. Старший брат папы, дядя Коля, умер лет сорока от прогрессивного паралича, и, говорят, когда его увозили в больницу, он вскакивал с носилок, страшный, бородатый, в длинной рубахе, и, хохоча на всю улицу, пел сам себе «со святыми упокой» и дирижировал воображаемым хором.

Он был статский советник, окончил Московскую духовную академию и преподавал в Одесской семинарии. У него было несколько орденов, которые он любил надевать.

Из трех братьев оставался в живых лишь мой папа, обладавший отличным здоровьем, умеренностью и уравновешенным характером. Впрочем, в редких случаях он был склонен к вспыльчивости.

Мне кажется, что Творожков исподтишка наблюдал за нами, а иногда, как бы вскользь, осторожно задавал какие-нибудь якобы невинные вопросы вроде тех наводящих, прозрачных вопросов, которые обычно задают врачи-психиатры своим пациентам, заподозренным в душевной болезни, и ища ее признаков.

В конце концов, кажется, это превратилось у доктора Творожкова в манию; может быть, принадлежа к одной из ветвей нашего вятского рода, он сам постепенно начинал сходиться с ума.

Во всяком случае, однажды я поймал на себе его мягкий, изучающий взгляд, от которого мне стало холодно.

...неужели он считал, что сочинять стихи есть признак душевной болезни?..

Однажды он поймал меня за руку, положил свои ловкие, холодные, докторские пальцы на пульс, вынул часы, долго слушал и наконец произнес:

— Так-так-так-так-с, отлично, отлично.— А затем спросил:— Как у тебя с памятью?

— Хорошо,— ответил я.

— Это прекрасно,— сказал он одобрительно.— А какие тебе снятся сны?

Я был в затруднении: мне снилось множество различных снов — черно-белых и цветных, в том числе и эротические, так что я молча покраснел.

— Так-так-так-так,— сказал доктор Творожков.— Головокружения бывают? Раздражаешься?

Он смотрел в мои глаза и, казалось, видел меня насквозь: я действительно был вспыльчивый мальчик, почти уже юноша. Затем он все теми же докторскими руками пощупал у меня железки за ушами, а потом, с ловкостью фокусника вынув из бокового кармана черный медицинский молоточек, постучал у меня под коленом — моя нога гальванически подпрыгнула.

— Так-так-так,— с удовлетворением сказал Творожков.— Сердце дает себя чувствовать?

— Иногда,— сказал я, не желая разочаровать Ивана Ивановича.

— Так-так... Половое созревание... Нервозность...— произнес Творожков и некоторое время смотрел на мой лоб, и мне казалось, что он сейчас вскрыет мою черепную коробку, чтобы посмотреть, имеются ли в моем мозгу наследственные изъяны.

...мне показалось, что он маньяк.

Он настойчиво советовал папе регулярно принимать йод и сам его принимал, вынимая из жилетного кармана пузырек и накапывая в рюмку с молоком густую черно-коричневую жидкость, от которой молоко в рюмке делалось зловеще розоватым. Он боялся склероза и у всех находил признаки раннего склероза.

Однажды он пригласил меня в свою лабораторию посмотреть, как он препарирует человеческий мозг.

С чувством скрытого страха я отправился в университетскую клинику.

Университетские корпуса — громадные, массивные, трехэтажные, с крупными высокими окнами, сильно выступавшими карнизами и громадными вылощенными входными дверями с пудовыми медными ручками — находились в разных местах города — по факультетам — и придавали улицам, на которых были расположены, особо внушительный, академический, несколько казенный характер.

Обычно казенные здания были выкрашены в особый, желтый чиновничий цвет. Здания же университета были выкрашены в бледно-зеленый цвет, что производило такое впечатление, будто даже и среди дня они освещены газовыми фонарями.

От них даже как бы пахло светильным газом.

Они были окружены железными решетками, и перед их могучими фасадами и корпусами росли старые акации, платаны и каштаны с лапчатыми листьями, быть может, еще времен Пирогова и Мечникова.

Вечером в их окнах виднелся зеленый свет газовых горелок.

Медицинский факультет находился дальше всех других факультетов от центра города, если не ошибаюсь, где-то в конце Херсонской, где город уже приобрел несколько провинциальный характер и откуда между домами виднелись Пересыпь, Жевахова гора и кусочек моря.

Лаборатория помещалась в небольшом флигеле в глубине тенистого двора, уложенного большими бетонными плитами, а еще дальше виднелся другой флигель, который сразу же как-то насторожил меня, вселив в мою душу темное подозрение. И не напрасно: впоследствии я узнал, что это мертвецкая, или, как студенты говорили, — «трупарня», где они вскрывали трупы.

Иван Иванович повел меня в комнату, обставленную старыми ясеневыми шкапами с лабораторной посудой и различными приборами.

Посередине помещался цинковый стол с микроскопом и какой-то машинкой, похожей на те только что начавшие входить в обиход в гастрономических магазинах машинки для быстрой резки ветчины на очень тонкие ломтики.

Творожков был в холщовом халате. Он вынул из шкафа цилиндрический стеклянный сосуд, покрытый сверху стеклянной плиткой, поставил его на стол и вынул оттуда предмет, похожий на свежеочищенный грецкий орех, но только величиной с кочан цветной капусты и даже на вид довольно тяжелый, он был как бы вылеплен из почти белого, чуть-чуть желтоватого воска, и его глубокие извилины сразу как бы сказали мне, что это человеческий мозг. Самого человека уже нет, он умер, его череп расколот долотом, тело закопано в землю, а мозг, еще на вид совсем свежий, сохранившийся в банке с формалином, попал в руки доктора Творожкова в черных гуттаперчевых перчатках.

Творожков положил мозг в машинку и стал резать его на тончайшие пластинки, брал их пинцетом одну за другой, рассматривая на свет. Он показал мне на каждой из пластинок небольшое пятнышко, которое как бы тянулось через все тело мозга,— может быть, след кровоизлияния. Иван Иванович сказал, что таким образом прослеживается направление червоточины, принесшей в конце концов смерть человеку.

...Он сделал препарат и положил его под микроскоп...

Но я уже не мог заставить себя посмотреть в окуляр микроскопа. Меня мутило. Мне хотелось скорее на свежий воздух, под зелень акаций и каштанов. Меня сводил с ума запах формалина и трупный запах незаметно разлагающегося мозга.

Меня ужасала мысль, что в этом восковом слитке высокоорганизованной и такой непрочной материи может каким-то образом отражаться, жить, существовать все окружающее человека — весь Мир, вся вселенная, весь я — и солнце, и луна, и море, и облака, и Пушкин, и Чайковский, и Надька Заря-Заряницкая, и горе, и радость, и то необъяснимое горькое чувство вечной, безответной любви, которое я уже с недавних пор носил в себе и знал, что буду носить всю жизнь в своей душе, казавшейся мне до сих пор бессмертной, в то время как она была всего лишь непрочной материей, извилинами мозга с отпечатками окружающего меня бытия.

И мне трудно было с этим примириться, но ничего не поделаешь, надо!

По горло в песке.

Когда мне был год или два, папа и мама, для того чтобы предохранить меня от рахита, летом отправлялись со мной на Куяльницкий лиман или на Ланжерон принимать песочные ванны.

Папа выкапывал в песке неглубокую ямку в соответствии с размерами моего тельца, а так как песок внизу был еще сыроват, то некоторое время приходилось ждать, пока он высохнет и нагреется под палящим июльским солнцем; мама раздевала меня догола и усаживала в теплую, сухую ямку, как в песчаное гнездышко.

Я рассматривал свои круглые упитанные ручки с нежной кремово-розовой кожей, и мне доставляло радость, растопырив пальчики, хлопать ладошками по горячему песку, набирать его в горсти и с бездумным хохотом разбрасывать вокруг себя, любуясь его алмазным блеском.

Затем папа, подгребая раскаленный песок, засыпал меня по горло так, что я чувствовал песок подбородком, а некоторые песчинки щекотали мне губы. Я пытался выпростать из плотной песчаной кучи свои руки и ноги, с трудом преодолевая его вес, но папа снова нагребал на меня горку песка, так что в конце концов из горячей, тяжелой кучи выглядывала только моя голова, обращенная лицом к воде.

У меня не было сил бороться с тяжестью целебного песка, который давил на меня со всех сторон, не давая возможности пошевелиться. Солнце жгло нещадно.

Мама раскрыла зонтик и воткнула его ручкой в песок. Теперь я сидел по горло в песке, под тенью большого батистового зонтика, а папа и мама любовались мною, вернее моей круглой черноволосой головкой с двумя макушками.

Моя голова едва возвышалась над уровнем моря, над полосой прибрежного песка, смешанного с обточенными челночками перламутровых раковин — остатки мидий — и лентами сухих водорослей. Поле моего зрения было настолько сокращено, что я видел лишь самую ничтожную часть моря, то тут, то там мигавшего ослепительно-белыми звездами солнечных отражений.

Горизонт был совсем близок — рукой подать! — но он сливался с сияющим небом, и невозможно было понять, где небо, а где вода: они смешивались в одно струящееся зеркальное марево.

Краски вокруг меня были настолько яркими, что глаза уставали от них, и я видел все как бы выгоревшим от полуденного солнца, обесцвеченным, размытым. Зато запахи и звуки приобрели особенную ясность, отчетливость, силу.

...запах расплавленной смолы, которую варили где-то за моей спиной, для того чтобы засмолить дно разошедшей шаланды, и запах самого костра, йодистый запах — гниющих водорослей, мидий, рыбьей чешуи — смешивались со звуками плотничьего фуганка, с шарканьем снимавшего длинные кудрявые стружки с сосновой тесины, и я понимал, что это — где-то за моей спиной — плотники строят новую шаланду. К этим звукам примешивались пронзительно-визгливые крики чаек, а также удары весел проплывающей недалеко мимо меня лодки с небольшим железным якорем — кошкой — на носу и возгласы купальщиц, болтающих ногами в мелкой воде.

Иногда я видел папу в полотняной блузе с ременным поясом, который нагибался, разыскивая плоские камешки — особые ланжероновские камешки, накалинные солнцем, — и, размахнувшись мальчишеским движением, ловко пускал их рикошетом, и они, подпрыгивая по морщинам мелкой воды, уносились из поля моего зрения, производя все убыстряющееся шлепанье, вызывающее в воображении нечто вроде изгиба тела ящерицы, позвонков ее хвоста, которую я недавно видел на скале, поросшей дерезой с сиротски лиловыми цветочками.

Где-то вдалеке басом прогудел пароход.

Ручьи пота текли по моему лицу, и я не мог их вытереть. Распаренное тело, сжатое со всех сторон песком, изнемогало от сладостной спеленатости. Наконец мама посмотрела на часы, и я понял, что сейчас меня вынут из песка. Полусонного, мама извлекла меня из горячей кучи, вытерла полотенцем мое сырое тельце, надела на меня пикейное платьице и соломенную шляпку, а папа выкопал из мокрого прибрежного песка бутылку молока, с приятным звуком открыл пробку и дал мне попить прямо из горлышка.

Потом папа взял меня на руки и понес в гору, а мама шла сзади и щекотала пальцами мою сырую горячую шейку и время от времени целовала мои ушки — то одно, то другое попеременно, — а я молчательно улыбался этой материнской ласке, доставлявшей мне неопишное наслаждение.

...Так мы возвращались домой на Базарную...

Когда мы поднялись в гору по пологому ланжероновскому спуску, то папа поставил меня на тротуар, и дальше до самого дома я уже шел самостоятельно, держась одной рукой за папу, а другой за маму и помаленьку топя своими башмачками по плиткам лавы.

Мы все трое — мама, папа и я — были в соломенных шляпах разных фасонов...

Паломничество в Киев.

Однажды, приехав к бабушке в Екатеринослав на побывку, я нашел большие перемены. Бабушка и все ее многочисленные дочери, сестры моей недавно умершей мамы, стало быть, мои тетки — тетя Наташа, тетя Маргарита, тетя Нина, тетя Клёня, — жили уже в большой, даже огромной богатой квартире со множеством хорошо обставленных, высоких, светлых комнат с паркетными полами, коврами, зеркалами и тропическими растениями — роскошь, которую никак не могли себе позволить бабушка, получавшая пенсию, и ее многочисленные незамужние дочери, служащие в разных учреждениях: в Контроле, в земской управе, на Екатерининской железной дороге и еще где-то.

Такая резкая перемена в жизни бабушки объяснялась тем, что одна из ее дочерей — мамина сестра, — тетя Нина, считавшаяся в семье редкой красавицей, вдруг вышла замуж за инженера-путейца с высоким служебным положением и громадным, как выразилась бабушка, «министерским окладом».

И все волшебным образом переменялось.

Тетя Нина и впрямь была красавица: тонкая, высокая, стройная, светловолосая, но не банальная, а с какими-то особыми аристократическими чертами лица, носом с небольшой горбинкой и царственной осанкой, но при этом со светлыми глазами доброй, но строгой феи.

Судьба, как видно, обделила всех остальных сестер как бы нарочно для того, чтобы все самое лучшее, привлекательное отдать тете Нине.

У нас долго хранилась фотография-открытка, где все мои тети были сняты во весь рост, в профиль, расставленные одна за другой в затылок по росту, в пальто и шляпках, с муфтами, в модных юбках со шлейфами, и тетя Нина была среди них самая заметная, самая красивая, самая высокая.

...считалось, правда, что у нее «холодная красота», в которой чувствовалось что-то недоступное...

Возможно, именно это и покорило такого завидного жениха, как Иван Максимович с его «министерским жалованьем» и великолепной внешностью, не уступавшей внешности тети Нины: высокий, выхолонный, с хорошо постриженной бородкой и усами, с ежиком волос над

высоким мраморным лбом, в форменной путевой тужурке с поперечными генеральскими погонами, в заграничных штиблетах, с ледяными голубыми глазами красавца-эгоиста.

В барской семикомнатной квартире, где бабушка уже не была полновластной хозяйкой, а скорее играла роль хотя и уважаемой, но бедной родственницы, что я сразу заметил с чуткостью и наблюдательностью быстро растущего мальчика и что причинило мне душевную боль, не проходящую и до сих пор,— так вот в этой семикомнатной барской квартире Ивана Максимовича я чувствовал себя как-то нерадостно.

Полноватая бабушка с короной своих белых, седых волос и двойным подбородком, как у императрицы Екатерины II, светская провинциальная дама, генеральша, всегда добродушно и весело царившая в своем доме, теперь отошла на второй план по сравнению с Иваном Максимовичем, ставшим истинным хозяином дома, повелителем семьи.

Порядок строго подчинялся Ивану Максимовичу, привыкшему жить на петербургский манер: завтрак в два, обед в семь — уже при лампе,— ужин в одиннадцать. Впрочем, ужинали всегда без Ивана Максимовича. Ежедневно вечером он уезжал в клуб, где играл в винт, и возвращался уже поздней ночью, в час или два, о чем извещал его очень короткий, хозяйский звонок, от которого все в доме просыпались.

Звонок был электрический.

Вообще говоря, по сравнению с Одессой Екатеринослав в техническом отношении был городом более передовым: электрические звонки, телефоны, электрическое освещение в домах и на улице, даже электрический трамвай, нарядные открытые вагончики которого бегали вверх и вниз по главному бульвару города, рассыпая синие электрические искры и наполняя все вокруг звоном и виолончельными звуками проводов. Это объяснялось близостью Екатеринослава к Донецкому бассейну с его сказочными богатствами: каменноугольными шахтами, рудниками, чугунолитейными и вагоностроительными заводами, иностранными концессиями, банками, всяческими торгово-промышленными предприятиями с главным центром в Екатеринославе, который из обыкновенного губернского города вдруг превратился чуть ли не в Клондайк, где можно было загребать золото лопатами.

В квартире Ивана Максимовича тоже, разумеется, было электрическое освещение и телефонный аппарат, стоящий в кабинете хозяина на зеленом сукне министерского письменного стола.

Ничто уже не напоминало скромный быт, заведенный при покойном дедушке, когда вечер наступал рано и небольшие комнаты провинциальной квартиры отставного генерала освещались керосиновыми лампами или парафиновыми свечами в закапанных медных подсвечниках.

..свечи покупались в бакалейной лавочке в виде четвериков или пятериков, завернутых в толстую синюю «свечную» бумагу...

Теперь комнаты были залиты безжизненным электрическим светом, к которому я никак не мог привыкнуть.

Иногда в доме раздавался телефонный звонок, и я слышал, как Иван Максимович в своем кабинете разговаривал по телефону, строго отдавая какие-то служебные распоряжения.

Длинный стол накрывался в столовой на десять или двенадцать, как говорила бабушка, кувертов, блестели серебряные вилки и ложки,

не такие, как у нас в Одессе, ветхозаветные, а в стиле модерн, с фигурными ручками; хрустальные подставки для ножей и вилок и солонки сверкали радужными вспышками, и посредине стола находилось узкое блюдо с великолепно разделанной астраханской селедкой, покрытой кружочками лука, похожего на цыганские серьги, и фарфоровая саксонская дощечка с куском швейцарского сыра, покрытого стеклянным колпаком, который в начале обеда Иван Максимович собственноручно снимал и резал сыр специальным месяцеобразным ножиком с острыми зубцами на утолщенном конце, как бы совершая некий обряд начала обеда, причем его безукоризненно накрахмаленные манжеты с золотыми запонками издавали респектабельный звук, весьма родственный звуку разворачиваемой туго накрахмаленной салфетки, закладываемой за борт жилета.

В этот раз мы приехали к бабушке в Екатеринослав втроем: папа, Женья и я. Папа давно уже мечтал посетить Киев, поклониться его святыням, побывать в пещерах. Теперь мы втроем предприняли это паломничество. Папа хотел прокатиться вверх по Днепру на пароходе до Киева, что можно было сделать лишь из Екатеринослава, так как ниже еще существовали знаменитые днепровские пороги, мешавшие сквозному судоходству.

Погостив некоторое время у бабушки, мы собирались проехать от Екатеринослава до Киева на пароходе, пожить немного в Киеве, а затем тем же путем вернуться в Екатеринослав, а оттуда уже на поезде — домой в Одессу.

Так все и произошло.

Поездка вышла на редкость удачной, и папа был очень рад, что ему удалось показать нам величие русской природы, древнейший русский город — источник православной веры, — наконец, великую реку Днепр, так чудно воспетую Гоголем.

Пароход шел по широкой реке, навстречу попадались буксиры, тащившие за собою длинные караваны больших крытых барж, так называемых «берлин».

...«В широком русле близ соснового леса река свои воды несла. Но тягостный путь был назначен судьбою, и много страдала она. Порою по ней проходили громады, по десять берлин за собою таща; порою была вся запружена лесом, которому нет и конца. — Скажи же, зачем ты свой путь совершаешь? Зачем твои воды несут корабли? Зачем не вступаешь в борьбу с человеком? Скажи мне, поведай стремленья свои. И тихо на это река отвечала: — Путем трудовым я иду и в море безбрежном за жизнь трудовую награду найду!..»

Временами вся река была сплошь покрыта плотами, что делало ее похожей на бесконечную движущуюся бревенчатую деревенскую улицу с избушками плотовщиков, дымящимися кострами и развешанным бельем.

В иных местах на перекатах босой матрос мерил глубину реки, опуская в воду шест с делениями и выкрикивая непонятные для меня цифры:

— Восемь! Десять! Шесть! Четыре! Опять четыре! Еще раз четыре! Семь!

А капитан в белом кителе то и дело через особую переговорную трубку отдавал со своего мостика куда-то вниз, в машинное отделение, команду, и колеса парохода то бурно взбивали мутную зеленовато-кофейную днепровскую воду своими красными плицами, то вдруг совсем

сстанавливались, даже начинали очень медленно двигаться в обратную сторону, и тогда пароход бесшумно, как бы затаив дыхание скользил над отмелью, просвечивающей сквозь тонкий слой рябой воды, коричневатой с примесью сильно разбавленной синьки.

Меня поражало, что, когда пароход проходил под низким мостом, его мачта и труба отгибались назад, и это зрелище вызывало тем большее удивление, что густой пароходный дым каким-то образом по-прежнему продолжал выходить из как бы сломанной трубы, хотя казалось, что он вот-вот вырвется из нижней части трубы и покроет палубу клубами каменноугольной сажи.

Но вот мост оставался позади, мачта и труба медленно выпрямлялись, принимая прежнее положение, и снова вокруг был широкий речной простор: один берег высокий, обрывистый, другой низкий, луговой, далеко видный, — в небе яркое солнце и летние русские облака, белоснежные сверху и подсиненные снизу, и шум пароходной машины, шлепанье по воде плиц, мужественный голос капитана, направленный в медную переговорную трубку, его крахмальный китель и жесткие боцманские украинские усы.

Впервые я ощущал, как велика, необъятна наша родина, всего лишь ничтожно малую часть которой я увидел: Екатеринослав, Новороссийские степи. Днепр с берлинами и плотами, железные косорешетчатые мосты, иногда на берегах захолустные городки, деревни с камышовыми или соломенными крышами, чисто выбеленные хатки, их приветливые окошечки, широко обведенные синькой, глиняные горшки и поливанные глечики на кольях плетней, подсолнечники, похожие на святых с желтым сиянием над их темными круглыми лицами, телесно-розовые, винно-красные, алые, желтые цветы мальв вдоль плегней, вишневые садоочки, уже обрызганные кровинками поспевших ягод, длиннорогие белые волю — как все это было для меня ново, как волновало скрытое до сих пор чувство родины, ее необъятности, потому что ведь где-то — я знал — были пространства Центральной России, финские хладные скалы, стены недвижного Китая, были еще Архангельск, Уральский хребет, Сибирь, Северный Ледовитый океан, Саянские горы, озеро Байкал, Владивосток, куда на поезде надо было ехать чуть ли не две недели.

...особенно врезалось мне в память раннее утро, когда папа разбудил нас, велел поскорее одеваться и идти вверх на палубу. На палубе, еще сырой от ночной росы, собрались пассажиры и смотрели на левый, высокий берег Днепра, где над холмом виднелся высокий деревянный крест. Папа снял свою соломенную шляпу и сказал голосом, в котором дрожала какая-то глухая струна:

— Дети, снимите шляпы, поклонитесь и запомните на всю жизнь: это крест над могилой великого народного поэта Тараса Шевченко.

Мы с Женей сняли свои летние картузы и долго смотрели вслед удаляющемуся кресту, верхняя часть которого уже была освещена телесно-розовыми лучами восходящего солнца.

Некоторые пассажиры крестились, некоторые шептали вслед уплывающему вдаль кресту:

— Вечная память... вечная память...

Некоторые стояли с низко опущенной головой, а капитан, сняв фуражку, потянул за проволоку, и длинный, густой пароходный гудок траурно заколебал утренний воздух, и еще долго звук его отдавался в высоких обрывах правого берега и, ослабевая, бежал по днепровской воде.

Мою душу охватил восторг: впервые в жизни я понял, всем своим существом ощутил, что такое настоящая слава поэта, отвергнутого государством, но зато признанного народом, поставившим над его скромной могилой высокий крест, озаренный утренним солнцем и видимый отовсюду всему миру...

...Это было одно из самых сильных впечатлений моего детства, уже в то время переходящего в раннюю юность...

Киев тоже навсегда остался в моем сердце таким, каким я увидел его в то лето.

Сначала мы заметили на высоком берегу белые многоярусные колокольни с золотыми шлемами Киево-Печерской лавры. Они тихо и задумчиво, как монахи-воины, вышли к нам навстречу из кипени садов, и уже больше никогда в жизни я не видел такой красоты, говорящей моему воображению о древней Руси, о ее богатырях, о пирах князя Владимира Красное Солнышко, о подвигах Руслана, о том сказочном мире русской истории, откуда вышли некогда и мои предки да, в конечном счете, и я сам, как это ни странно и даже жутко вообразить.

Папа снял шляпу, оставившую на его высоком лбу коралловый рубец, скинул пенсне и, вытирая носовым платком глаза, сказал нам, что мы приближаемся к Киеву, и назвал его с нежной улыбкой, как родного, как своего прапращурца:

— Дедушка Киев.

Прежде чем пароход причалил к деревянной пристани, мы увидели на очень высоком берегу, среди каштанов уже городского сада Владимирской горки, памятник крестителю Руси князю Владимиру и его фигуру, поднявшую над Подолом, над рекой, над синими заднепровскими далями стройный чугунный крест, который, впрочем, произвел на меня менее сильное впечатление, чем деревянный крест над могилой Тараса Шевченко.

Несколько дней, проведенных нами в Киеве, оставили в моей памяти представление как бы о некоем паломничестве по святым местам, что вполне соответствовало давней мечте папы.

Наше паломничество, несмотря на всю свою утомительность, несмотря на страшную июльскую жару, бесконечное хождение из конца в конец по раскаленному большому каменному городу среди грохота ломовиков и дробного щелканья пролетов по бульжной мостовой, где варился асфальт, распространяя вокруг мутно-синие облака удушливого чада, несмотря на строительные леса во многих местах, преграждавшие дорогу, — Киев бурно богател и строился, и мы с удивлением провинциалов задирали головы вверх, считая этажи новых кирпичных домов, нередко восьми- и даже десятиэтажных, — несмотря на все это, паломничество наше произвело на меня неизгладимое впечатление, с новой силой пробудив в моей душе религиозное чувство, которое стало по мере моего возмужания заметно ослабевать. Впрочем, это уже не было то возвышенное, чистое, наивно-детское чувство веры во что-то прекрасное, вечное, божественное, спасительное, а скорее действовало на воображение своей грубой, пышной и таинственной церковностью, почти оперного зрелища с его хорами, огнями, золотыми декорациями царских врат и хоругвями, лиловыми, какими-то грозowymi облаками росного ладана и парчовыми одеждами священнослужителей. А не то тихое, щемящее течение великопостной всенощной в маленькой церковке с узкими окнами, за которыми так грустно и вместе с тем так любовно синеет весенний вечер со слезинкой первой звезды.

В киевских соборах с византийским великолепием их мерцающих мозаик непрерывно шли службы, пелись молебны у серебряных раков (гробов) с мощами святых; соборы были переполнены толпами богомольцев, собравшихся сюда со всех концов России, для того чтобы приложиться к высохшей, куриной лапке угодника и поставить красную или зеленую свечу у Варвары-великомученицы, или святителя Николая, или какой-то усекновенной, мироточивой главы, откуда действительно капало душистое масло.

Свечи пылали золотыми кострами у каждой иконы, украшенной ризами, усыпанными рубинами, сапфирами, изумрудами, алмазами, крупным и мелким жемчугом, к которым так не шли многочисленные аляповатые искусственные цветы из папиросной бумаги.

Здесь впервые я увидел разноцветные церковные свечи — зеленые или красные, — перевитые тонкими ленточками сусального золота. Мы покупали эти свечи и, подходя на цыпочках вслед за папой, истово крестясь, зажигали их льняные необожженные фитили от других свечей и ставили перед серебряными раками угодников и перед древними иконами, вделанными в ярко позолоченный иконостас.

Мы отстояли, наверное, четыре или пять молебнов, и папа подал две просфоры — одну за здоровье, а другую за упокой. Высокий черный монах в железных очках, стоявший за конторкой, подал папе чернильницу и ручку с пером, и папа своим бисерным почерком аккуратно написал на подрумяненных подовых корочках просфорок, похожих на маленькие одноглавые древние-предревние церковки, сделанные из белого крутого теста, сначала о здравии:

...Елизаветы, Марии, Маргариты, Наталии, Клеопатры, Нины, Ивана, Петра, Валентина, Евгения...

А потом, с покрасневшими грустными глазами, так же аккуратно макая перо в чернильницу, написал длинный столбик имен за упокой усопших рабов божьих:

...Евгении, Алексея, Павлы, Михаила, Иоанна, Василия и еще множества незнакомых для меня людей, которых уже не было в живых на белом свете, а остались только черные букашки букв.

После литургии мы получили обратно свои просфорки с треугольными выемками от вынутых частиц, и папа завязал эти пропахшие ладаном и мятой просфорки в чистый носовой платок.

...мы остановились в какой-то особенной, монастырской гостинице, где монах приносил нам каждое утро большой графин рыжего монастырского удивительно вкусного кваса, где коридоры были тихи и безлюдны, а кровати в нашем номере, или даже, кажется, «келье», застланы серыми байковыми одеялами, и перед иконой горела лампадка, а платить надо было, по словам монаха — послушника с русыми кудрями и конопатым носом,

— сколько вам будет по средствам, —
и папа платил в день семьдесят пять копеек за нас троих, хотя мог бы ничего не платить...

В четыре часа утра нас будили мощные звуки монастырского колокола, призывающего к ранней обедне, и в окно заглядывали ветки пирамидальных тополей, и виднелся мощный двор, по которому по разным направлениям не спеша двигались черные фигуры монахов, виднелись также выбеленные одноэтажные флигели со свежескрашенными зелеными крышами, и во всем этом была для меня острая новизна, необъяснимая, грустная прелесть.

Разумеется, папа повез нас в знаменитые Киевские пещеры, где в толпе просто народа с тонкими свечками в руках мы спустились в

бесконечно длинный, глубокий, очень узкий сухой подземный коридор с естественно закругленными глиняными сводами, где время от времени в стенах (всегда как-то пугающе внезапно) открывались ниши, в которых стояли гробы с мощами угодников, завернутых в красные канаусовые саваны, под которыми угадывались части окостеневшего человеческого тела: руки, высоко сложенные на груди, ступни ног, круглая голова с острым выступом носа, слегка приподнятая на кумачовой подушке.

Монах-проводник со свечой останавливался возле каждой ниши и заученно пояснял столпившимся вокруг него паломникам — мужикам в сапогах и лаптях и бабам в черных платочках, с котомками за спиной — краткую историю угодника.

Больше всего меня поразил гроб с медной таблицей, где было выгравировано, что здесь похоронен «летописец Нестор».

Мне всегда казалось, что летописец Нестор, о котором мы проходили в истории, это личность скорее легендарная, чем на самом деле существовавшая, выдуманная историками специально для нас, мальчигов. И вдруг передо мной оказался его большой дубовый гроб во всей своей подлинности: стоило лишь взломать крышку — и можно было собственными глазами увидеть высушенное тело или, во всяком случае, скелет с громадной сухой белой бородой самого летописца Нестора — его подлинные кости, его подлинную бороду! — моего прапрапрапращура, давно уже превратившегося в легенду и вдруг появившегося из невероятной глубины веков как вполне материальное доказательство своего существования и существования того дивного, сказочно-древнего, но подлинного мира первобытной Руси, откуда мы все произошли, чувство, так удивительно переданное Пушкиным в его Пимене.

...Недаром многих лет свидетелем господь меня поставил и книжному искусству вразумил... Да ведают потомки православных... Еще одно, последнее сказанье...

Через несколько дней, переполненные впечатлениями, нагруженные сувенирами Киево-Печерской лавры — цветными бумажными иконками, отпечатанными в заведении Фесенко, лубочным изданием печерского патерика, кипарисовыми четками, печатными колечками святой Варвары-великомученицы, бутылочками со святой водой, зелеными и красными свечками, нательными крестиками из синей финифти на серебряных цепочках, стереоскопом, через который можно было рассматривать разноцветные открытки с видами Киева и Печерской лавры, деревянными ложками с ручками, вырезанными в виде кисти руки с пальцами, сложенными как для крестного знамения, и тому подобным, — мы возвращались вниз по Днепру в Екатеринослав, и вдруг я с новой силой понял, что, в сущности, бабушкиного дома уже не существует, а есть барская квартира Ивана Максимовича, который мне с первого взгляда не понравился, а теперь я его почему-то просто невзлюбил без всяких видимых причин.

Впрочем, хотя и не было прямых причин, был бессознательно ненавистный мне тип богатого, властного, чиновного человека — даже, как говорили, красавца мужчины, — по сравнению с которым мой папа выглядел совсем незаметным, серым, малосостоятельным.

Мне даже стало казаться, что красавица тетя Нина вышла замуж за Ивана Максимовича по расчету, для того чтобы поддержать большую, почти бедную семью, живущую на пенсию и на ничтожное жалованье служащих теток.

Я даже выдумал, что бедная тетя Нина «принесла себя в жертву». Между тем вряд ли это была правда. Иван Максимович был хороший, положительный муж, и, как я теперь понимаю, тетя Нина очень любила его. А почему бы, в самом деле, им было и не любить друг друга? Они были вполне подходящая пара — он красивый путейский инженер, начальник вагонного отдела Екатерининской железной дороги, она дочь отставного генерала, «ее превосходительство», как писалось перед ее именем на конвертах, красавица с лазурными жилками на мраморных висках, с узкими аристократическими руками и совсем еще не старая, лет тридцати, не больше...

Граммофонные иголки.

Иван Максимович, как говорила бабушка, обожал Нину, покупал ей парижские наряды, драгоценные кольца и брал с собой в служебные командировки в Санкт-Петербург, куда они отправлялись курьерским поездом в купе первого класса с синими сетками для багажа и двумя спальными местами в длинном пультмановском вагоне с начищенным до солнечного блеска медным вензелем императрицы Екатерины II, в честь которой была названа железная дорога.

Но именно купе с двумя спальными бархатными диванами, и электрическое освещение в вагоне, и название «пультман», и то, что путешествие ничего не стоило, так как Иван Максимович имел право на бесплатные билеты и даже имел собственный вагон, в котором объезжал свою железнодорожную линию, — все это возбуждало во мне странную детскую ненависть к Ивану Максимовичу, все раздражало меня в нем, даже щеточка светло-золотых волос над лбом.

В особенности же раздражала одна странность, вернее мания Ивана Максимовича: он был любитель птиц, которых без разбору покупал в большом количестве и держал в особой просторной комнате, рядом со своим кабинетом.

Однажды я заглянул в эту комнату и был поражен ее видом: она была наполнена множеством разных птиц от простых уличных воробьев и ворон до бразильских попугаев и крошечных колибри. Все эти птицы беспорядочно летали, бегали, кричали, клевали корм, ссорились, дрались, брызгались водой. Пух и перья кружились по комнате; отличные дорогие обои были загажены и порваны; паркетный пол покрыт известковыми кляксами — испражнениями птиц, — шелухой корма, вымочен водой; большая взъерошенная цапля стояла в углу, как будто ее наказали; пара бирюзовых попугайчиков-неразлучников с маниакальным постоянством делала круги, ни на миг не отдаляясь друг от друга; дурным голосом кричал какаду; тяжелый воздух был наполнен невыносимой вонью, распространявшейся по всей богатой кваргире.

...бабушка прошла мимо меня в своих мягких домашних шлепанцах, зажав ноздри пальцами, и на ее добром пухлом лице выражались одновременно и гадливость и покорность судьбе...

С этого времени я еще сильнее возненавидел Ивана Максимовича, заставившего и бабушку, и всех моих тетей, и свою красавицу жену Нину переносить все последствия его глупейшей мании: малейший намек на то, что птицы изгадили большую хорошую комнату, провоняли дом и по ночам будят всех своими разнообразными криками, шипеньем, воплями, приволил Ивана Максимовича в молчаливое, холод-

ное бешенство, и щеточка желтых волос над его мраморным лбом делалась как бы еще жестче и непреклоннее.

Даже красавица Нина боялась поднять голос против птиц и покорно исполняла роль любящей жены, и я жалел ее — такую красивую и такую несчастную.

Вероятно, Иван Максимович чувствовал мою неприязнь и отвечал мне тем же: иногда я ловил на себе слишком внимательный и недобрый взгляд его голубых глаз.

Это не могло не кончиться скандалом.

В кабинете Ивана Максимовича стоял граммофон — вещь по тому времени редкая. Граммофон этот был дорогой, заграничный, не похожий на те сравнительно дешевые рыночные граммофоны с размалеванной широкой трубой, напоминающей какой-то фантастически увеличенный цветок вроде петунии. Труба граммофона Ивана Максимовича была длинная, узкая, никелированная и держалась на специальной, довольно сложной подставке, а сам ящик был из тяжелого красного дерева, и на нем виднелась марка всемирно известной граммофонной фирмы «Голос моего хозяина» с изображением легавой собаки, заглядывающей в трубу граммофона, думая, что там сидит ее хозяин.

Иногда Иван Максимович педантично заводил свой граммофон, и тогда квартира наполнялась звуками шалопинского баса, собиновского тенора или цыганским, удалым голосом знаменитой Вяльцевой, певшей:

...«Гай да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом, светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем...»

Эту парочку вдвоем я представлял себе в виде Ивана Максимовича и тети Нины.

Разумеется, прикасаться к граммофону строжайше запрещалось, так же как и входить без разрешения в кабинет, где на шкафу стояла модель паровоза.

Нечего и говорить, что постоянно запертая дверь кабинета притягивала меня как магнит. Однажды, улучив удобную минуту, я вошел туда без спросу и, думая, что Ивана Максимовича нету дома, стал осторожно хозяйничать в его кабинете. Сначала я покрутил рубчатую рукоятку большого настольного телефона и послушал, как звенит телефонный звонок, но снять тяжелую эбонитовую трубку с высокой никелированной вилки не решался. Затем я полюбовался фабричной маркой на черной коробке телефонного аппарата: две скрещенные молнии в золоченом ромбе. После этого я полез на шкаф и потрогал модель паровоза. К граммофону я не решался прикоснуться, боясь сломать мембрану, где в слюдяном кружке с восковой капелькой в центре была как бы заключена тайна рождения человеческого голоса, снятого с шипящей вращающейся черно-блестящей пластинки острой иголочкой. слегка напоминающей сапожный гвоздик.

Признаться, один раз я потрогал пальцем иголку, вставленную в мембрану, и уловил шуршание слюды, в десять раз усилившей звук прикосновения шершавой кожи моего пальца к острию иголки.

Новые, еще неигранные иголки хранились в жестяной коробочке, уложенные в конвертики из черной бумаги. На коробочке было изображение все той же легавой собаки, слушающей доносящийся из трубы граммофона «голос ее хозяина».

А уже отработанные, притупившиеся иголки были целой горкой насыпаны в мелкую пепельницу, и мне захотелось убедиться, насколько

ко притупились их острия. Я протянул руку к пепельнице, как вдруг совсем близко от своего лица увидел жесткий ежик и ледяные глаза Ивана Максимовича, грозно смотревшего на меня из-под сдвинутых прямых бровей.

— Не смей трогать мои вещи! — сказал Иван Максимович и крепко схватил мою руку в запястье.

Я попытался вырваться, но пальцы Ивана Максимовича были как железные. Он повернул кисть моей руки и довольно чувствительно хлопнул по ней своей тяжелой рукой с тонким модным обручальным кольцом.

Меня еще никогда никто из посторонних взрослых не шлепал. Я почувствовал такую ярость, что чуть не задохнулся. Кровь бросилась мне в лицо, застучала в висках. Я вырвался из цепких пальцев Ивана Максимовича и, с ненавистью глядя на его плоский, как щетка, ежик, на его холеные золотистые усы и бородавку на щеке, на его ненавистный, ровный, как доска, лоб и скошенный затылок, даже не закричал, а заорал так, что сразу же осип:

— Вы не имеете права драться, дурак!

Услышавши это слово, Иван Максимович, в свою очередь, побагровел, и неизвестно, чем бы кончилось это столкновение, если бы не вбежала, переваливаясь, как утка, бабушка и не уволокла меня из кабинета Ивана Максимовича в свою комнату, где так уютно пахло чистоплотной, доброй старушкой. Бабушка сделала все возможное, чтобы успокоить меня. Она гладила меня по голове, целовала мою вспотевшую шею, наконец, велела кухарке принести клубничного варенья и сбегать в лавочку за сифоном зельтерской воды. Бабушка знала, что больше всего на свете я люблю ледяную шипучую воду со свежим, только что сваренным клубничным вареньем.

Обливаясь злобными слезами и пуская пузыри, я пил из стакана бурлящую розовую смесь, покрытую легким слоем вкусной пены, выделявшей углекислый газ со свинцовым привкусом, так приятно шибавшей в нос. Я пил божественный напиток, вытирая ладонью слезы, но моя злоба на Ивана Максимовича долго не проходила и мне было горько и стыдно, что бабушка не сделала Ивану Максимовичу выговора, не выгнала его из дому.

Не посмела!

Бедная моя, бедная бабушка, попавшая в зависимость от этого подлого человека. Еще хорошо, что не было дома папы. Можно себе представить его трясущиеся губы, прыгающую бородку и напряженные вятские скулы, если бы он узнал, что его сына ударили. Он мог бы сделать что-нибудь ужасное.

Вечером за обедом, нарезая швейцарский сыр с большими слезящимися дырами, Иван Максимович с деланным добродушием как бы вскользь рассказал о нашей стычке, представив дело так, что всего лишь слегка хлопнул по моей руке, опасаясь, чтобы я нечаянно себя не поранил граммофонными иголками.

Всем стало неловко, а тетя Нина даже покраснела. Однако Иван Максимович промолчал, что я назвал его дураком, хотя я понимал, что он мне этого никогда в жизни не простит, так же точно как и я никогда в жизни не прощу ему, что он посмел меня ударить.

На первый взгляд эта история кончилась мирно и была забыта. Но лишь на первый взгляд. Для меня с тех пор Екатеринослав и бабушкин дом потеряли всякую прелесть. Возненавидев Ивана Максимовича, я уже не мог наслаждаться жизнью в Екатеринославе с его жужжащими вагончиками электрического трамвая, с его тенистым старинным потемкинским садом, где на столетних пнях сидели, сложив крылья, большие бабочки «адмиралы»: с Историческим музеем, возле

которого вкривь и вкось стояли скифские каменные бабы с плоско-овальными, таинственно улыбающимися лицами; с обрывом над Днепром, где позади дома стояла, как бы повиснув над кудрявой зеленой пропастью, романтическая деревянная беседка, куда я уже несколько раз бегал на свидание с одной соседской девочкой в соломенной шляпке с голубым бантом,— забыл уже, как ее звали...; с далекими багровыми, зловещими отсветами в черном летнем небе, когда за Чечелевкой из доменной печи лили чугун; с ночными звонками Ивана Максимовича, возвращавшегося из клуба; с электрическим освещением и телефоном; с бегущим звуком колотушки ночного сторожа; с небольшими веревочными сетками вроде вуалеток, пропитанных гвоздичным маслом, которые екатеринославцы надевали поверх шляп в виде предохранения от злых днепровских комаров...

...теперь для меня от этой восхитительной жизни ничего не осталось. Она была в один миг разрушена грубостью Ивана Максимовича, а потом разбита временем, как древняя мозаичная картина, обнаруженная археологами при раскопках какого-то древнего византийского храма.

И лишь через многое множество лет, теперь, уже глубоким стариком, глядя в окно на туман, съедающий снег среди сосен, елей и берез Подмосковья, я, быть может, делаю отчаянные попытки хоть кое-как сложить осколки своей разбитой временем жизни в одну целую картину...

Беспроволочный телеграф.

И вот я опять спускаюсь в глубины своей памяти, как бы переходя из слоя в слой времени. Папа явился поздно, когда я уже лежал в кровати, закрыв глаза и делая вид, что сплю. Мама ожидала папу в столовой, облокотясь на круглый обеденный стол, и читала книгу, и я чувствовал, что она с трудом скрывает нетерпение, прислушиваясь к шагам на лестнице. Я знал, что папа пошел в «Императорское Российское техническое общество», где два раза в неделю вечером он преподавал русский язык и географию в особой, так называемой «школе десятиков», где учились десятичники, то есть старшие рабочие, руководители артелей, или, говоря по-теперешнему, прорабы.

Но сегодня папа пошел не на урок. Сегодня в помещении «Императорского Российского технического общества» должен был состояться в присутствии ученых, педагогов и представителей городских властей опыт передачи телеграфной депеши без проволоки.

Я был очень маленький, но уже знал, что телеграммы каким-то образом идут по проводам, по проволоке. Я всюду видел столбы с фарфоровыми изоляторами и протянутую между ними медную телеграфную проволоку. Мне очень нравились эти проволоки: то опускаясь, то поднимаясь, они бежали в окне вагона, когда нам случалось ехать в Екатеринослав к бабушке. Я не отрывал от них глаз, желая увидеть, как по ним бежит телеграмма: заклеенная в виде конвертика бумажка, на которой были наклеены ленточки с печатными буквами депеши.

Мне никогда не удавалось уловить таинственный миг, когда депеша скользила по проволоке между столбами, проплывающими в окне вагона.

Слова «телеграмма» и «депеша» заключали в себе нечто пугающее, траурное, причастное к смерти. Мне казалось, что в них непременно кто-то извещает кого-то о смерти близкого родственника, как в той телеграмме, которую некогда почтальон с черной сумочкой на поясе

принес к нам в дом и в которой сообщалось о смерти бабушки от удара. Эта телеграмма, несомненно, сначала летела каким-то образом по проводам из Екатеринослава в Одессу над полями и холмами, пока не попала сначала в зловеще-черную сумочку почтальона, а потом в дрожание, белые пальцы мамы.

Так или иначе я твердо знал, что телеграммы до сих пор шли по проволоке. Теперь же произошло нечто крайне меня удивившее: оказывается, появился беспроводный телеграф и теперь телеграммы будут идти без проволоки.

А в таком случае, как?

Это было настолько невероятно, что я даже думал: а не подшутил ли папа надо мною и мамой, объявив, что идет смотреть беспроводный телеграф, а на самом деле поехал на уроки и привезет мне каких-нибудь гостинцев: шоколадную бомбу в серебряной бумаге или маленькое лубяное ведерко шоколадной халвы фабрики Дуварджогу.

Это иногда бывало...

В столовой пробило девять — время для меня глубоко ночное. Мама зевнула и, закинув руки за голову, сладко потянулась, хрустя корсетом.

Я продолжал притворяться, что сплю, и в конце концов, вероятно, заснул бы на самом деле. Но как раз в это время в передней послышалось шуршание проволоки и дзинькнул колокольчик на спиральной пружинке.

Мама бросилась в переднюю, и я сразу же услышал перебивающие друг друга, оживленные голоса моих родителей, а через минуту папа уже стоял возле моей кровати, наклонив ко мне свое родное, доброе лицо. Заметив, что я не сплю, он спросил:

— А ты почему бодрствуешь?

— Он в самом деле беспроводный? — спросил я.

Мои родители засмеялись, и мама сказала папе:

— Нет, Пьер, я все-таки никак не могу поверить: неужели не было совсем никакой проволоки?

— Вообрази себе! — ответил папа. — Никакой!

И они оба — папа и мама — стали, перебивая друг друга, разговаривать. Мама все никак не могла поверить, чтобы телеграмма могла идти без провода, а папа говорил, что собственными глазами видел это, и рассказывал, в чем состоит опыт.

Так как однажды папа взял меня с собою в школу десятников, где мне надали множество обрезков рисовальной бумаги, то я имел представление о том помещении, где производился, по словам папы, опыт беспроводного телеграфа.

Я представлял себе длинные казенные коридоры, как-то темновато освещенные газовыми горелками, я даже чувствовал кислый запах светильного газа, я видел классы, в которых учились десятники, и мне казалось странным, что эти взрослые, иногда усатые и бородатые люди сидят, как дети, за школьными партами и крупными буквами пишут на грифельных досках слова, которые им диктует папа.

Опыт, о котором так оживленно рассказал папа, заключался в том, что в одном из самых дальних классов в конце коридора установили небольшую тумбочку с телеграфным аппаратом, а другую тумбочку с другим телеграфным аппаратом поставили в противоположном конце коридора и эти два телеграфных аппарата ничем между собою не соединялись, между ними не было проволоки.

— Но, может быть, — сказал я, — они куда-нибудь проволоку спрятали?

Папа и мама рассмеялись, и папа продолжал рассказывать, как телеграфист отстукал на одном аппарате депешу и как эта депеша в тот же миг сама собой отстукалась на другом аппарате в конце коридора.

— Без проводов? — воскликнула мама, всплеснув руками.

— Без проводов! — гордо ответил папа с таким видом, как будто бы это он сам изобрел беспроводной телеграф.

... я живо вообразил оба телеграфных аппарата с медными колесами, на которых были намотаны бумажные ленты, представил себе электрические батареи Лекланше, питающие телеграфные аппараты, представил себе двух телеграфистов — одного передающего депешу, а другого принимающего эту депешу в виде ряда точек и тире на длинной бумажной ленте, представил себе комиссию, состоящую из строгих господ в сюртуках и мундирах, и среди них моего папу: они смотрят во все глаза, чтобы не было какого-нибудь мошенничества, и не могут поверить, что телеграмма пришла сама собой, без проволоки... Тогда они начинают тщательно искать проволоку: не спрятали ли ее куда-нибудь под пол, под обои и незаметно соединили между собой оба телеграфных аппарата. Но нет! Проволока явно отсутствует, а для большей убедительности тумбочки поставлены на особые стеклянные ножки.

Папа все это рассказывает маме. Мамино лицо порозовело от возбуждения, от гордости за русскую науку, за морского инженера Попова, который впервые в мире открыл принцип беспроводного аппарата.

Тогда это казалось чудом.

Папа и мама пили в столовой чай, не уставая восхищаться новым изобретением, величием современной науки, беспредельной мощью человеческого разума, гением русского народа, и я все время слышал фамилию Попова. Я был взволнован не меньше папы и мамы и все никак не мог наглядно представить себе телеграмму, которая сама собой, без проволоки, прямо по воздуху несется из Екатеринослава в Одессу над степями, курганами и нивами Новороссии, а в окне вагона — ни одной проволоки!

...подавшись волнению мамы и папы, я чувствовал, что в мире произошло событие, которое каким-то образом изменит всю нашу жизнь. «Теперь все пойдет по-другому!» — думал я. Но проснувшись утром, как всегда от солнечного луча, пробившегося в щель ставни, я увидел хорошо мне знакомую комнату, в которой ничего не изменилось: по-прежнему стояли у стены две мои лошадки Лимончик и Кудлатка — Лимончик на колесиках, а Кудлатка на качалке, — по-прежнему в углу стоял мамин туалетный столик, обитый веселеньким ситцем, по-прежнему в столовой темнели коричневые ширмы, за которыми тихо, неслышно жила бабушка — папина мама, — по-прежнему за окнами была видна Базарная улица с телеграфными столбами, белыми баночками изоляторов и сетью телеграфных проводов...

И тем не менее я с ужасом чувствовал, что в беспредельном пространстве мира все время идут и идут — без проволоки, а сами по себе, — идут и идут какие-то траурные депеши.

Вечеринка

Вижу в передней большой поднос, тесно уставленный чайными стаканами. Каждый стакан на четверть налит густой, как смола, заваркой. Тут же в углу кипит самовар, из всех своих отверстий выпускающая

струи и клубы пара, от которого зеркало на стене ничего уже не отражает, так как его стекло покрыто матовой пеленой пара. Скоро из этого самовара дольются крутым кипятком стаканы, и они станут янтарно-красного цвета, и вокруг распространится запах чая. Еще я вижу аппетитные франзолы, много нарезанной чайной колбасы с белыми пятнышками сала — чудесной, обожаемой мною, свежей, душистой, влажной чайной колбасы, с которой так приятно сдирается прозрачная кожица. Вижу я также в стеклянном блюде ошпаренный кипятком ярко-желтый лимон и возле него специальную роговую пилочку. И еще я вижу сливочное масло в фаянсовой масленке и горку ярко-белого, яркого до синевы наколотого сияющего сахара-рафинада.

На нашей маленькой стенной вешалке навешано множество тяжелых драповых пальто и черных крылаток, но крючков не хватает, и горы пальто навалены на подзеркальный столик, на табуреты, на стулья, даже на кресла в гостиной. Среди мужских пальто попадаются бархатные дамские салоны, ротонды, клетчатые шотландские накидки, капоры и каракулевые шапочки пирожком. На полу — ряды мелких и глубоких резиновых калош на свекольно-красной суконной подкладке с медными буквами.

Из столовой слышится говор гостей, женский смех, басовитые, как мне кажется — «бородатые» звуки оживленной мужской речи, среди которых я узнаю родные голоса мамы и папы.

Кухарка в новой, еще ни разу не стиранной кофточке с оборками, в новом коленкоровом фартуке наскоро укладывает меня в постельку, крестит и шепотом внушает, чтобы я спал, потому что у нее много дела — подавать чай, выносить окурки.

В столовой курят, и в нашем «некурящем доме» табачный дым как-то особенно волнует меня.

Я знаю, что в столовой, где вокруг стола сидят гости и о чем-то горячо спорят, перебивая друг друга, через некоторое время начнут играть на пианино. Во всяком случае, еще необожженные свечи в подвижных пианинных подсвечниках по обеим сторонам нотной подставки уже приготовлены; кипа нот лежит на крышке инструмента рядом с деревянной пирамидкой метронома.

Этот прибор, чем-то отдаленно напоминавший гробик, всегда казался мне волшебным: стоило повернуть маленький медный крючок и отнять переднюю хрупкую, как бы сделанную из какого-то «музыкального дерева» дощечку крышечки, как сразу же обнаружился весь простой механизм метронома — маятник, перевернутый низом кверху, где на конце его узенькой металлической линейки находился треугольный грузик, дающий размах маятнику. Надо было лишь качнуть грузик — и маятник приходил в движение, отсчитывая время четким металлическим пощелкиванием — словно бы контролировал его течение.

Грузик метронома можно было передвигать по насечкам шкалы — вверх и вниз. Когда грузик находился на самой высшей точке, размах маятника был очень широким, томительно медленным, как бы движущимся туда и назад с большой неохотой, и между пощелкиванием метронома ложились неестественно длинные отрезки времени.

Чем ниже спускался грузик вниз по шкале, тем быстрее размахивался маятник, а когда грузик доходил до самого низа, до последней насечки, то стрелка метронома качалась с тревожной быстротой, как пульс человека, у которого температура сорок.

...с того дня, как я познакомился с метрономом, время как бы навсегда потеряло для меня свое плавное однообразие, незаметное, неощутимое движение, и я стал ощущать то его стремительную лихорадочную быстроту, то мучительную замедленность — в зависимости от состояния своего организма или мыслей, одолевавших меня. Когда я заболел инфлюэнцей или горячкой и, как папа выражался, «горел», то во мне как бы начиналось щелканье двух метрономов — одного с чрезвычайно замедленным размахом, другого с бешено-поспешным щелканьем, и тогда весь мой организм дрожал, как музыкальный инструмент, на котором с двумя скоростями играют хроматические гаммы, и это было мучительно, как всякая потеря точного ощущения времени, его обычной меры...

...значит, время имело много мер и, очень возможно, могло двигаться вперед и назад, — то из прошлого в будущее, то из будущего в прошлое... А может быть, времени и вовсе не было, а был лишь какой-то измеритель того, чего вовсе не существовало, со странным, щелкающим названием — «метроном»...

Лежа в кроватке, я тарашил слипающиеся глаза и делал усилия, чтобы не заснуть и услышать музыку. Я знал, что сейчас перед разложенными нотами зажгут девственно-белые свечи, послышится визг круглой табуретки, может быть, снимут переднюю дощечку с метронома, и я представлял себе, как мама ударит своими растянутыми длинными пальцами по клавишам и начнется музыка, потому что эта вечеринка, эта «сходка» была гакже и музыкальной.

До глубокой ночи — я знал и представлял себе это — в столовой будут о чем-то спорить и будет звучать уже не доходящая до моего сознания музыка.

...музыка, музыка, музыка...

Так бывало у нас всегда, когда в передней кипел ключом самовар, светился желтый, даже на вид кислый лимон и по зеркалу струились волны пара.

Но ни разу, как я ни тарашил глаза, мне не удавалось победить приступ глубокого детского сна без сновидений. Я проваливался как в яму, а когда открывал глаза, то уже было утро, в квартире все было прибрано, и только огарки свечей и пианинные подсвечники, покрытые потеками бирюзово-позеленевшего стеарина, да еще не вполне изгнанный запах папиросного дыма говорили, что вечеринка была, были споры, была музыка, но только я ничего этого не слышал, а маленький стоячий гробик уже закрытого на крючок метронома так невинно желтел в луче солнечного света.

В раннем детстве, когда еще была жива мама, и в доме у нас собирались на вечеринки папины и мамины друзья, и зажигались перед нотами свечи, и щелкал метроном, и из-под маминых бегущих по клавишам пальцев до полуночи лилась бурная, каменистая река музыки, и с восторгом произносились имена Глинки, Чайковского, Рубинштейна, — я спал крепким сном и ничего не слышал.

Я не слышал музыки, но она сама проникала в меня каким-то таинственным образом и всегда, всю мою жизнь, ничем не выказывая себя, жила в каждой клеточке моего мозга, и теперь, когда я слышу музыку, я знаю, что уже слышал ее некогда, при маме, в то время, когда перед раскрытыми нотами, испещренными таинственными муравьиными знаками, горели свечи или когда я сам сгорал от простуды и, теряя сознание, слышал щелканье метронома, в одно и то же

время и растянуто-длительное и бешено-быстрое, как мой горячечный пульс, как время, которое не поддается измерению, как споры марксистов и народников, гремевшие за чайным столом, как третий сон Веры Павловны из «Что делать?» Чернышевского, как «Времена года» Чайковского, как бравурные звуки Рубинштейна...

Мы ребята грузди!

Еще при жизни мамы была сделана попытка водить меня в детский сад, что по тем временам считалось большой новинкой. На весь город был, кажется, один-единственный детский сад, где какие-то пожилые дамы воспитывали маленьких детей по фребелевской системе.

В чем заключалась эта система — не знаю, но знаю только, что мама почему-то придавала ей большое значение, так как предполагалось, что она воспитает во мне волю к труду и вообще сделает из меня образцового ребенка.

К тому времени на меня уже стали надевать штанишки и мне доставляло большое удовольствие на глазах у всех ехать в городском омнибусе — так называемой трамкарете — в детский сад, помещавшийся, если мне не изменяет память, где-то недалеко от Дюка, на Николаевском бульваре, рядом с Воронцовским дворцом и его полукруглой колоннадой, как бы повисшей над портом, над пароходами и мачтами парусников, над волноломом, брекватором, Пересыпью с ее белыми бензиновыми цистернами и Жеваховой горой, всегда почему-то туманной и загадочной.

...Трамкаретой называлось некое сооружение вроде дилижанса, с передними очень маленькими, а задними очень большими — прямо таки громадными — колесами; самый звук этого сооружения по гранитной мостовой вызывал грохот, вполне соответствующий слову «трамка» — как сокращенно называли трамкарету с кучером на высоких козлах, с чугунным тормозом и парой крупных костлявых вороных кляч с лакированными шорами на глазах, которые выбивали подковами искры из гранитной мостовой Екатерининской улицы.

В детском саду мы сидели, одетые в специальные фартучки, на маленьких неудобных стульчиках перед низеньким столом и по фребелевской системе лепили из глины различные плоды: вишни, груши, яблоки и в особенности грибы, которые потом раскрашивали эмалевыми красками: ярко-красной, белой, коричневой, зеленой.

Кроме этих неуклюжих фруктов и не менее неуклюжих грибов, которых мы наделали великое множество, мы также плели из ленточек лакированной разноцветной бумаги коврики и корзиночки, что должно было привить нам трудовые навыки.

Мы водили какие-то затейливые хороводы, сопровождающиеся хлопаньем в ладоши и притоптываниями, а также разучивали французские песенки и бесхитростные стишки вроде: «Ля бонн апорт ля лямп; ля п'тит муш турн отур; ля флям атир ля муш; повр петит муш!»

Что значило по-русски: «Няня принесла лампу, маленькая мушка кружилась над ней; пламя убило мушку; бедная маленькая мушка!»

А то мы разучивали и такого рода французскую считалку: «Эн, дё, труа — аллон дан лё буа; катр, сенк, сиз — кёйир дё ля сериз; сет, юит, нёф — дан мон панье нёф»... и т. д.

Что обозначало по-русски: «Раз, два, три — пойдем в лес; четыре, пять, шесть --- собирать вишни: семь, восемь, девять — в мою новую

корзинку» — и так далее, что казалось мне по многим причинам большой чепухой: я еще никогда не видел леса, особенно такого, в котором росли бы вишни и прочие несообразности, не вызывавшие во мне ни малейшего доверия к пожилым дамам и фребелевской системе.

Папа, кажется, тоже слегка подсмеивался над затеей отдать меня в детский сад и называл моих воспитательниц в детском саду с непередаваемой иронией:

— Эти фребелички!

Однако меня продолжали возить на трамке, и я усердно лепил шарики из глины, раскрашивая их разными красками, а также повторял по-французски как попугай:

— Эн, дё, труа — аллон дан лё буа...

Я легко мог превратиться в идиотика, если бы главной фребеличке не пришла в голову мысль — для нашего дальнейшего художественного развития устроить большой публичный спектакль с участием всех мальчиков и девочек детского сада.

Дело сразу поставили на широкую ногу: сняли помещение какого-то средней руки клуба или танцкласса и пригласили в качестве режиссера бывшего артиста, а ныне содержателя театральной школы некоего Завадского, который принадлежал к числу знаменитостей нашего города вроде сумасшедшего Мариашеса или бывшего борца Фосса, о котором с ужасом слушал я рассказы взрослых как о личности колоссальной толщины и огромного, сказочного аппетита.

Рассказывали, что Фосс приходил в ресторан, где его еще не знали, заказывал там сразу четыре порции борща, пять порций котлет, восемь порций пломбира, все это мгновенно пожирал с хлебом и горчицей и деловито, быстро исчезал из ресторана, не заплативши ни копейки.

Внезапное появление Фосса в какой-нибудь кондитерской или колбасной вызывало у владельцев ужас как стихийное бедствие, а все остальные съестные лавки в округности на две версты срочно запирались и хозяева их с трепетом ожидали, когда нашествие Фосса кончится.

Вскоре Фоссу пришлось перекочевать в провинцию, где его еще не знали, и там — говорит легенда — в одной тираспольской кондитерской он съел целый противень свежих, еще теплых пирожных эклер — штук пятьдесят, а затем как ни в чем не бывало, устрашающе громадный, слоноподобный, с одышкой, отправился на железнодорожную станцию, где съел в буфете все пирожки с мясом, приготовленные к приходу пассажирского поезда.

Полиция ничего не могла поделать с Фоссом, так как денег у него все равно никогда не было, он был беден, как церковная крыса, а посадить его в кутузку не имело смысла в силу его гомерического, болезненного аппетита, который мог разорить любой полицейский участок.

Одним словом, это была эпоха, которую можно было охарактеризовать одной фразой:

...«а потом пришел Фосс и все съел»...

Но я отвлекся.

Итак: «Грузди, мы ребята дружны, пойдем на войну!»

В отличие от других артистов-бродяг того времени, Завадский был коренной житель нашего города, его достопримечательностью. Его часто можно было встретить на бульваре или в Александровском парке, даже иногда на нашей скромной Базарной улице. Он всегда пора-

жал меня своим необыкновенным артистическим видом: крылатка, широкополая шляпа с загнутыми по-итальянски полями, из-под которых ниспадали на плечи космы серо-черных волос. Под его трагическими глазами и на иссиня бритом лице лежали мрачные тени.

Некогда он играл в нашем драматическом Сибиряковском театре и считался замечательным артистом, одно время даже — говорит легенда — кумиром публики.

Я был совсем крошечным ребенком, когда увидел его впервые в театре на детском утреннике, где он играл роль Кощея Бессмертного — страшно злого, нехорошего старика, который в последнем действии корчился перед добрым молодцем Иваном-царевичем, державшим в кулаке утиное яйцо, в котором заключалась жизнь Кощея Бессмертного: стоило разбить яйцо — и Кощей должен был тут же умереть; Иван-царевич все сильнее и сильнее сжимал в своем богатырском кулаке яйцо, заставляя Кощея Бессмертного все мучительнее и мучительнее корчиться, извиваться, хвататься костлявыми руками за ствол картонного дуба, пока наконец добрый молодец Иван-царевич, вдоволь натешившись над Кощейем и помучив публику, не разбил вдребезги яйцо о дощатый пол сцены, и в тот же миг Кощей Бессмертный с воплем грохнулся на пол и испустил дух ко всеобщей радости детей, наполнивших театр, ну а Иван-царевич освободил красную девицу и женился на ней, вызвав бурные аплодисменты и крики радости.

...Программа утреннего публичного спектакля нашего детского сада состояла из нескольких сценок, которые мы должны были разыграть на французском языке, а также большого феерического представления с музыкой и песнями под названием «Война грибов»...

Спектакль, которого я ожидал с таким нетерпением, от которого ожидал столько восторгов и славы, разочаровал меня до слез. Я представлял себе сверкающий зал вроде городского театра, залитую огнями сцену с красивыми декорациями, аплодисменты в мою честь и прочее.

Однако спектакль шел при дневном свете, сцена была грязноватая, какая-то неприбранная, с сором по углам, а за уныло повисшими кулисами время от времени шныряли крысы, потревоженные спектаклем. В зрительном зале, наполовину пустом, на простых венских стульях, поставленных рядами, сидели мамы, папы, дедушки, бабушки, гувернантки и прислуга, одетые по-домашнему, вполне затрапезно.

Среди всего этого темноватого, беспорядочно загроможденного мира то здесь, то там возникала величественная фигура Завадского в крылатке, с простертой вперед рукой, на которой блеснул перстень с большим искусственным бриллиантом, так называемым «стразом». Он умело и ловко распоряжался ходом спектакля, начавшегося как-то незаметно для меня. Сначала шли маленькие сценки на французском языке и среди них сценка с моим участием. Моя роль заключалась в том, что я прихожу в часовую мастерскую для починки моих испортившихся часов. Хозяйка часовой мастерской, роль которой играла одна из наших фребеличек, произносила длинный монолог на французском языке, смысл которого заключался в том, что с часами надо обращаться бережно, после чего она сначала осматривала, а потом чинила мои часы и отдавала их мне; я прикладывал их к уху, якобы с восхищением говоря по-французски:

— Тик-так, тик-так, тик-так...

Затем якобы нечаянно я ронял часы на пол, и они снова портились, а фребеличка подбирала их, снова починала, произнося при этом

разные французские слова, и снова раздражалась на французском же языке монологом на тему, что с часами следует обращаться крайне бережно; после чего, сказав по-французски «мерси, мадам», я удалялся за сцену.

Моя роль представлялась мне очень длинной, содержательной, драматичной, чрезвычайно выигрышной, и я предчувствовал триумф. Перед самым моим выходом на сцену передо мной появилась фигура в крылатке и сунула мне в руку бутафорские часы, состоящие из одних лишь крышек и пустые внутри.

— Ты, мальчик, главное, не мельтешишь,— сказал Завадский густым голосом, затем взял меня за плечи и, равнодушно пробормотав: «Ну, с богом», вытолкнул на сцену.

В зале сидела мама, но я не увидел не только ее, но и вообще никого из зрителей в отдельности: все слилось в нечто единое, слитное, серое, состоящее из людей и пустых стульев, плохо освещенное дневным светом из окон, выходивших куда-то во двор.

Я собрал все свои силы, чтобы не торопиться, не «мельтешить», но вместо этого, боязливо оглянувшись по сторонам, вдруг как-то странно и глупо разъярился, одним духом выпалил свои «тик-так, тик-так» и, не дав выговорить фребеличке ни одного слова, изо всех сил швырнул бутафорские часы о дощатый пол сцены так, что они подпрыгнули и раскололись на две створки, как мидия, и полетели в зрительный зал.

Затем я почему-то сердито затопал ногами, закричал как попугай «мерси, мадам», сделал неправдоподобно-театральный гневный жест и бросился за кулисы, пробыв на сцене никак не больше десяти секунд, хотя мне и показалось, что я пробыл там часа два, произнес на французском языке блестящий монолог и потряс публику, шваркнув часы об пол с такой страстью, что зрительный зал разразился бурей аплодисментов, а на самом деле в публике послышались лишь легкие смешки и вздох моей мамы.

Помнится, я даже собирался выходить раскланиваться, но Завадский успел одним махом перехватить меня, отбросить за кулисы и тем же самым движением могучей руки вытолкнуть на сцену двух нарядных, хорошеньких девочек в розовых чулках с куклами, которые должны были сыграть забавную сценку на французском языке, и я, уткнувшись в какое-то бутафорское тряпье, с горечью слышал, как публика аплодировала нарядным девочкам, забавно тараторившим по-французски. Тогда я понял, что мой дебют провалился.

Я возлагал большие надежды на «Войну грибов», так как одна из фребеличек заверила меня, что я буду играть одну из главных ролей, хотя и без слов, но зато с песней и красивым выходом на авансцену.

Пока шли маленькие сценки, всех нас — участников «Войны грибов» — стали под руководством Завадского одевать в особые красивые театральные костюмы. Собственно, в красивые костюмы грибов одевали мальчиков, исполнявших роли боровиков, подберезовиков, волнушек, сыроежек и прочих персонажей «со словами», на нас же, бессловесных груздей, надели нечто вроде ранцев в виде неказистых грибков, склеенных из гофрированной цветной папиросной бумаги, набитой ватой. Мы, исполнители роли груздей, были несколько разочарованы, но Завадский, подлетевший к нам в своей крылатке как летучая мышь, объяснил нам, что мы, грузди, являемся главными действующими лицами всего представления. Остальные грибы под разными предлогами отказались идти на войну, защищать батюшку-царя, а мы, грузди — лихие молодцы, не стали отлынивать от военной службы, а охотно пошли на войну, являя себя, таким образом, патриотами. Достойными всяческих похвал.

Хотя доводы Завадского были достаточно убедительны, но все же мы, грузди, испытали чувство горькой неудовлетворенности, в особенности когда началось представление и посредине сцены сидел на троне богато одетый царь-боровик в бархатной шляпе, а перед ним проходили по одному другие богато одетые грибы, в том числе неслыханной красоты мухомор; каждый из этих нарядных, богатых грибов отказывался от военной службы.

Наконец Завадский вытолкнул нас, груздей, на сцену, и мы на вопрос царя-боровика, согласны ли идти на войну, жиденькими голосками старательно пропели давно уже прорепетированную песенку:

— Мы ребята грузди, мы ребята дружны, пойдем на войну!

После чего продефилировали, топая башмаками, мимо царя-боровика, и спектакль кончился.

Я готов был плакать — кажется, даже и плакал! — от унижения.

Но мама в вуали и шляпе с орлиным пером, ведя меня за руку домой по серой сухой каменной осенней улице, утешала меня, уверяя, что я играл на сцене лучше всех.

Я ей поверил и немного повеселел, но в глубине души осталась какая-то муть и горечь сознания, что я не более чем простой некрасивый груздь, обреченный воевать за батюшку-царя боровика, в то время как другие, более богатые, красивые грибы, будут сидеть у себя в лесу в безопасности, а мы, ребята грузди, будем умирать на войне.

...серый, холодный, сухой день, каменный город, и по спуску, ведущему в порт, несутся вскачь порожние «биндюги», а навстречу им тяжело поднимаются другие «биндюги», нагруженные раздутыми ящиками, набитыми апельсинами, и в холодном воздухе поздней осени слышится чудесный, уже вполне зимний, рождественский апельсиновый и мандариновый запах...

Александровский парк.

Громадная клумба штамбовых роз — розариум, — затем удивительно ровный, свежий, яркий, хорошо постриженный газон вокруг розариума, в отдалении старинная кирпичная стена — остатки какой-то крепости, кажется турецкой, — длинная стена со сквозными арками, в пролете которых виднеется море, резко-белый портовый маяк, выпуклое крыло яхты. Крепкий черноморский ветер — бриз, — а иногда и теплый, усыпляющий штиль. Широкие дорожки, посыпанные толстым слоем чистого, чудесно отшлифованного прибоем морского гравия, который привозит из Дофиновки на специальной барже буксирный катер.

В Дофиновке этого гравия видимо-невидимо. Но главное не гравий, а его глубокий, влажный, неторопливый скрип под колесами маленьких дροжек для катания детей. Дрожки запряжены двумя вонючими козликами с наглыми глазами — зрачки как финиковые косточки — и длинными ноздрями, придающими животным выражение злости и высокомерия.

Козлов вел старик с кожаным кошельком на груди и кнутом в старческой коричневой руке. Кнут был для красоты, так как старые козлы вели себя послушно и шли, скрипя по гравию, изредка позванивая бубенчиками своей сбруи.

Бубенчики напоминали глаза козлов, так как вырезы в бубенчиках напоминали финикообразные зрачки стоячих козлиных глаз, а также узкие щели их высокомерных ноздрей.

В соединении с запахом раскаленной лакированной кожи дрожек, в соединении с красными штамбовыми розами, газонами и морем за арками кирпичной стены все это вместе врывалось в мою детскую душу восторгом познания мира со всей его красотой, со всеми его радостями и надеждами, но прежде всего надеждой покататься на козликах.

...катание на козликах в Александровском парке было высшим счастьем моего детства...

Это счастье никогда не давалось легко. Нужно было выпрашивать у мамы или у няни три копейки — стоимость одной поездки на козликах вокруг овального газона. Хозяин козликов всегда был окружен детьми и няньками, у которых дети со слезами на глазах вымаливали счастье проехаться на маленьких дроздах с двумя парными сиденьями одно против другого. Сиденья эти были в тиковых полосатых чехлах на пуговицах, как в железнодорожных вагонах второго класса, и как-то особенно подходили к слову «парк», так же как слово «гравий» подходило и соединялось со скрипом колес и вообще со всем этим радостным событием катания на козликах.

Почему-то няньки, матери и бонны не сразу соглашались на катание; дети долго, с унижением их упрашивали и обычно в конце концов усаживались на дрозды — по двое на каждом сиденье друг против друга, — девочки в батистовых шляпках, с локонами, в ленточках и мальчики в матросках, с зареванными лицами, на которых сквозь слезы уже сияли улыбки счастья.

Бесконечным казался предстоящий путь на дроздах вокруг яркого газона, огороженного низкими железными дужками и ровно постриженным парпетом из миртового кустарника: козлики шли шагом, позванивая бубенчиками и время от времени роняя из-под заданных пегих хвостов в скрипучий гравий черные маслинки; няньки, мамы и бонны шли по сторонам дрожек, придерживая детей с таким испуганным видом, будто малейшая неосторожность может кончиться катастрофой. Неисчерпаемо длинным казался круг газона со штамбовыми розами посередине, казалось, ему не будет конца и края.

Увы, это лишь так казалось!

...Все короче и короче становился наш путь к тому месту, откуда началось путешествие. Старик хозяин вел своих козлов неторопливо, но неумолимо, и если бы на его плече лежал не кнут с длинным кленовым кнутовищем, а коса, то он мог бы вполне сойти за Хроноса, неуклонно ведущего человека к смерти. Изображение этого бога времени Хроноса я видел на обложке «Нивы», которую выписывали у нас в семье, и он всегда пугал меня своей длиннейшей седой бородой, сбитой на сторону, своими развевающимися одеждами, косой за плечами и песочными часами в костлявой руке...

Александровский парк состоял не только из хорошо постриженных влажных газонов, штамбовых роз, дорожек, усыпанных гравием, миртовых парпетов, стриженных узорчатых туй с туманно-голубыми смолистыми шишечками. В нем были также запущенные аллеи, дремучие закоулки, даже в одном месте в зарослях бурьяна сочился скудный ручеек, через который был перекинут дугообразный пешеходный мостик с перилами из неочищенных кленовых сучьев.

В этих глухих местах хорошо было играть в англо-бурскую войну, известную по картинам все той же «Нивы».

Буры были в широкополых шляпах, бородатые, увешанные патронташами, с винтовками в руках; англичане — не помню уже какие, кажется, в крагах, во френчах, в тропических шлемах, некоторые с трубками в зубах.

Буров я любил, англичан ненавидел. Почему? Неизвестно. Вернее всего потому, что буры были простые, трудящиеся, небогатые люди, любящие свою африканскую страну Трансвааль, а богатые и жестокие англичане хотели захватить у них их землю и превратить ее в свою колонию, а буров в рабов — или что-то в этом роде.

Мальчики Александровского парка как-то само собой разделились на две партии. Одна была за буров, другая за англичан. Я заметил, что на стороне англичан были чаще всего мальчики — офицерские дети, которых иногда водили в парк гулять вместо нянек или бонн солдаты-денщики. За буров были мы, дети штатских родителей.

Но, боже мой, какая вражда, какая ненависть царила между нами — «бурами» и ими — «англичанами»! Они были отлично вооружены, у некоторых имелись даже отцовские старые шашки с темляками и заржавевшие солдатские штыки времен сравнительно недавней русско-турецкой войны. Мы были вооружены игрушечными ружьями с деревянными прикладами, выкрашенными линючей канареечно-желтой краской, с жестяными стволами, а также духовыми деревянными пистолетами рыночной работы, стрелявшими пробкой на веревочке.

В сущности, между ними и нами, между «англичанами» и «бурами», сражений не было. Были взаимные угрозы и воинственные выкрики. Офицерские дети облюбовали себе небольшую горку, усыпанную скользкими сосновыми иглками, где по всем правилам военного искусства строили фортификации — небольшие земляные крепости, над которыми морской ветер колебал маленькие флажки, сделанные из обрезков орденских лент. Оттуда раздавалась военная команда и мальчик-комендант грозил нам издали настоящей саблей. Мы же, бедные, обездоленные, но безумно храбрые «буры», изгнанные проклятыми «англичанами» со своей земли, перешли к партизанской войне и воображали, что вместе с мулами, нагруженными ящиками с динамитом и вьючными пулеметами, скрываемся под мостиком среди бурьяна и болиголова, ожидая подходящего мига, чтобы взорвать мост и напасть из засады на «англичан».

Откровенно говоря, мы даже не знали, где происходит эта самая англо-бурская война: где-то в африканской пустыне, в какой-то стране Трансвааль, а может быть, где-то в другом месте.

...Александровский парк, его глухая, безлюдная часть, был нашим Трансваалем...

Мы, «буры», не успели взорвать мост. «Англичане» напали на нас врасплох. «Буры» бежали. Один лишь я попал в плен, и меня привели на горку к английскому коменданту.

— Проклятый бур, теперь ты будешь расстрелян! — сказал комендант, обнажая саблю.

«Англичане» привязали меня скакалкой к небольшой южной сосне, от которой так жарко и так приятно пахло терпентином. Моя матроска приклеилась к тонкому чешуйчатому стволу, покрытому тягучими слезами смолы.

— Завяжите этому подлецу буру глаза, — сказал комендант, но я сделал отстраняющее движение всем своим телом, давая понять, что хочу умереть с открытыми глазами.

«Англичане» нацелились на меня из захваченных у нас ружей с канареечно-желтыми липучими прикладами. Но я собрал всю силу

своей воли и бесстрашно, как и подобает истинному буру, смотрел прямо перед собой широко раскрытыми жестокими глазами и видел вдалеке море, ярко синее в арках старинной кирпичной стены с ее верхушкой, поросшей бурьяном, зелёный газон со штамбовыми розами и двух пегих козлов, которые под водительством самого бога времени Хроноса медленно, названивая бубенчиками, везли дрожки с нарядными детьми, и я слышал глубокий скрип влажного гравия, и мне было ничуть не страшно, потому что тогда я еще был бессмертен.

...мама смотрела на меня издали и смеялась...

Они не могли меня убить, потому что, захватив наши ружья, «англичане» не успели захватить наши пистоны, которые мы успели надежно спрятать в бурьяне под мостом, где в тени стояли наши вообразимые мулы, нагруженные воображаемыми ящиками с динамитом...

Гибель «Петропавловска».

Русско-японская война связана с черными, мохнатыми «маньчжурскими» папахами порт-артурских солдат, вернувшихся из японского плена на родину. Их привезли в наш город на пароходах добровольного флота.

Помню балаган на Куликовом поле, где на пасхальной неделе показывали «Гибель «Петропавловска». Помню печальный, за душу хватающий военный марш «Тоска по родине», который исполнял духовой оркестр на дощатом помосте возле высокого, выбеленного известковой флаштокки с бело-сине-красным полотнищем русского торгового национального флага.

Звуки марша «Тоска по родине», как бы временами прерываемые одышкой турецкого барабана, и впрямь вызывали в моей душе томительную тоску по родине, по военному ее поражению, по Цусиме, по сдаче Порт-Артура... Я страдал за унижение России, которую до того времени считал самой великой и самой непобедимой державой в мире.

В звуках медных труб и змеиных фиоритурах флейты мне слышались чуждые русскому уху японские или китайские слова, прилетевшие откуда-то из-за сопки Маньчжурии: чумиза, гаолян, шимоза, ляо-ян, чемульпо...

От этих слов в моем воображении возникали картины кровопролитных сражений с маленькими желтолицыми японцами в белых гетрах среди глинистых сопки и разрушенных фанз и кумирен.

В балагане было несколько рядов скамеек — неотесанных узких досок, приколоченных гвоздями к сосновым столбикам, вбитым в землю. На них было больно и неудобно сидеть, и ноги мои не доставали до земли, покрытой шелухой жареных подсолнечных и кабачковых семечек. Мутный свет проникал сквозь холщовую крышу, и две керосиновые лампы с рефлекторами висели по бокам маленькой сцены, освещая занавес.

Занавес, закручиваясь, поднялся, открылась сцена кукольного театра, и я увидел Порт-Артур: его набережную, фанзы, вдалеке желтые сопки с маленькими русскими батареями, а главное — рейд, поразивший меня своей живостью, непрерывным движением катящихся океанских волн, то и дело вскипающих белой пеной, что в первую минуту показалось мне необъяснимым театральным фокусом. Я не мог понять, каким образом удалось устроить эти длинные круглые

волны с барашками пены, то появляющейся на гребне, то скатывающейся вниз, исчезая в океанской пучине. Однако вскоре движение этих волн, как бы выкрашенных зелено-синей масляной краской, показалось мне подозрительно однообразным, механическим, и я вдруг понял, каким образом они устроены: порт-артурская бухта состояла из ряда длинных валиков сине-черно-зеленого океанского цвета с барашками пены, сделанными из папье-маше. Укрепленные рядом друг с другом, они составляли как бы поверхность взволнованной бухты, а благодаря закулискому механизму, который заставлял их вращаться вокруг своих осей, на поверхности этого крашеного моря то там, то здесь появлялись барашки пены, исчезали и вновь появлялись, создавая впечатление беспрерывно катящихся волн. Однако их слишком симметричное чередование давало понять, что это не настоящее море, а всего лишь театральная иллюзия, что не мешало мне с восхищением смотреть на эту живую картину, тем более что порт-артурская набережная так живо и увлекательно пестрела движущимися механическими фигурками китайцев с длинными косами, китайнок на маленьких спеленатых ножках, рикш, везущих бегом, как на шарнирах, легкие двуколки с важными седоками — англичанами в пробковых тропических шлемах или русских офицеров в гвардейских фуражках или черных папахах. Тут же шла уличная торговля с лотков.

...проехали в ландо красивые гейши, обмахиваясь овальными шелковыми веерами...

Грузчики-кули тащили на спинах ящики и тюки. Возле парапета набережной качались на волнах джонки с камышовыми парусами. А на рейде между двух крутящихся морских валов стоял громадный длинный русский броненосец «Петропавловск», грозно повернув в открытое море свои башенные орудия, а на мачте виднелось белое полотнище андреевского флага с двумя косо перекрещенными голубыми полосками, что делало его похожим на конверт.

В моей душе шевельнулось горячее чувство восторга, хотя я еще тогда не знал, что это необъяснимое чувство называется патриотизмом.

Тем ужаснее было то, что произошло в следующий миг: раздался довольно сильный пиротехнический взрыв — бенгальская вспышка посередине «Петропавловска», — фонтан золотого дождя, после чего длинный корпус броненосца раскололся пополам, нос и корма поднялись, и в таком виде корабль стал медленно опускаться в морскую пучину между двух крутящихся пенистых валов.

...«Петропавловск» тонул все быстрее, быстрее, и вскоре над гребнями искусственных волн осталась лишь одна мачта с андреевским флагом...

Но вот исчез и андреевский флаг под звуки марша «Тоска по родине», который беспрерывно исполняла балаганная шарманка.

Исчезли в пучине все матросы, офицеры, гордость и надежда русского флота адмирал Макаров, а также знаменитый художник Верещагин — о чем я уже заранее был осведомлен тетей, водившей меня в балаган.

Слезы катились по тетиним напудренным щекам, и она все время вытирала нос комочком маленького кружевного платка, тонко пахнущего французскими духами «кёр дё Жаннет», и почему-то это еще больше усиливало мое горе при виде гибели «Петропавловска».

«Петропавловск» взорвали японцы. А может быть, он напоролся на мину. Точно никто не знал.

А в это время на сопках вокруг Порт-Артура уже стреляли наши батареи, и в жестяно-голубом маньчжурском небе то там, то здесь вспыхивали черные, зловещие звезды взрывов японских шимоз; по набережной, шипя и стреляя, прыгали дымящиеся шутихи, крутился волчком, рассыпая вокруг золотые искры, фейерверк «солнце»; и под звуки все той же «Тоски по родине» скрученный в трубку занавес развернулся и упал, закрыв маленькую сцену, наполненную пороховым дымом фейерверка.

...когда мы вышли с тетей из балагана, за вокзалом догорел весенний закат, в воздухе пахло пылью, не успевшей еще осесть после дневного гулянья, и Куликово поле опустело. Это был последний, седьмой день пасхальной недели, конец ярмарки. Флаг уже был спущен, и выбеленный известью флашток одиноко, голо торчал посреди Куликова поля. Рядом стоял околоточный надзиратель, сердито свистя в свой свисток давая знать, что ярмарка закрыта. Некоторые балаганы уже начали разбирать, и возле них валялись оторванные тесины. А военный оркестр доигрывал последние такты марша «Тоска по родине», из которых я знал последние два стиха, слышанные мною от порт-артурских солдат, шлявшихся по улицам города: «Я отправляюсь в дальний путь, жена и дети дома ждут»...

...И горе сжимало мое сердце...

Землетрясение.

Среди ночи я внезапно проснулся. Меня разбудил быстрый, бегущий звук, который сначала я принял за стук швейной машинки в столовой. Значит, подумал я, там за обеденным столом сидит мама и что-то строчит, сноровисто, быстро крутя никелированное колесо ручной швейной машинки, чугунное тело которой представлялось мне статуэткой египетской кошки на деревянном лакированном пьедестале с металлической плиткой.

(Впрочем, я еще тогда не знал, что существует древний Египет с его статуэтками и странными фигурами людей, повернутых в профиль.)

Была глубокая ночь, и меня испугало, что мама слишком быстро шьет в этот ночной час что-то на ручной швейной машинке Зингера.

Я приподнял с подушки отяжелевшую от сна голову и огляделся.

Все вокруг было тихо и мирно, освещенное красным желатиновым ночником, который, как мне показалось, дрожал на комодке мелкой дрожью. Но мама и папа спали на своих тонких железных кроватях с медными шарами, не чувствуя озноба, который как бы уже охватил весь дом, а может быть, даже всю улицу.

Значит, это вовсе не мама строчила ночью на машинке. Тогда кто же? Неужели бабушка, жившая за коричневой ширмой в столовой? Но тогда бы в столовой был свет и он бы проникал в комнату, где мы спали, сквозь дверные щели или сквозь замочную скважину.

Однако в столовой было темно.

Озноб продолжался.

Теперь это был озноб мебели — буфета, стульев, стола. Это уже строчила не швейная машинка, а висячая столовая лампа с белым абажуром быстро и отрывисто звенела всеми своими составными частями: ламповым стеклом, неплотно вставленным в медную розетку, горелкой, цепью, на которой она висела на потолке над столом.

В мире происходило что-то странное и страшное.

Я заплакал и, просунув свою пухлую ручку сквозь сетку кровати, на спинке которой мелко дрожал образок моего ангела-хранителя Валентина, разбудил маму, схватив ее за щеку.

— Что с тобой, мальчик? — спросила мама шепотом, чтобы не разбудить папу, похрапывавшего рядом с маминой кроватью. — Почему ты проснулся?

— Я боюсь, — сказал я.

— Чего же ты боишься?

— Там, в столовой, кто-то шьет на машинке, — шепотом проговорил я, боясь, что тот, кто шил, может меня услышать. — Кто-то шьет на машинке, и дрожит лампа.

Мама прислушалась, но странные бегущие звуки уже прекратились. В квартире царствовала мирная ночная тишина.

— Тебе померещилось, — сказала мама. — Спи, маленький, успокойся, Христос с тобой.

Она перекрестила меня, поцеловала, поправила одеяльце и подвернула его под мои ноги.

Я успокоился и, положив под щеку обе ладони ковшиком, заснул, но скоро опять проснулся все от того же дребезжащего, бегущего звука. Я не успел захныкать, как звук прекратился, хотя мне и казалось, что еще некоторое время вся комната с кроватями на колесиках, комодом и сухими обоями, скупо освещенными красным ночником, продолжала почти неощутимо дрожать, и мне почудилось, что за закрытыми ставнями неосяземо дрожит не только наша длинная Базарная улица, но также и весь наш громадный город, границ которого я еще в ту пору не представлял.

...Дрожала вся природа...

И тут же я заснул с тревожным чувством какой-то непонятной, благополучно миновавшей опасности. Это чувство не покидало меня и утром, когда проснулись папа и мама, и, сидя вместе с ними за столом на своем высоком стуле, я ел пшеничковую кашу и пил кипяченое молоко, окуная в него горбушку белого хлеба — так называемого арнаута, — к которой прилипала молочная пенка.

— Он у нас ужасный фантазер, — сказала мама папе, рассказывая о моих ночных страхах.

— Я не фантазер, — ответил я, — а я слышал, как ночью кто-то шил на швейной машинке и дрожала лампа.

Мама и папа засмеялись, а папа поерошил мои черные, жесткие, как у япончика, волосы, взял под мышку стопку тетрадей, накрепко перевязанных шпагатом, и отправился на урок в епархиальное училище.

...Ах, как хорошо помню я эту стопку тетрадок с голубыми обложками и вылезавшими из них алыми промокашками, испятнанными чернильными кляксами. Так как эти тетради были сделаны из бумаги, а бумага — как мне уже было известно из разговоров взрослых — мерилась на дести, то кипа этих тетрадок представлялась мне дестью... Папа их исправлял по вечерам при свете лампы под зеленым абажуром, и абажур слегка дрожал при этом...

Несмотря на то, что папа и мама не верили, что я слышал ночью дрожание, похожее на стук швейной машинки, и были убеждены, что все это мне приснилось, я на верняка знал, что это было на

самом деле и в этом заключалась какая-то еще не известная мне тайна земли, на которой мы жили.

И я оказался прав. Я не был фантазером.

Вечером, вернувшись домой, папа развернул газету «Одесский листок», поводил по ней вдоль и поперек и по диагонали носом и вдруг весело воскликнул:

— Посмотри, Женья, а Валюшка-то наш оказался прав!

И папа прочел заметку о том, что прошлой ночью сейсмическая станция обсерватории отметила в нашем городе небольшие подземные толчки — следствие отдаленного землетрясения, эпицентр которого расположен на малоазиатском берегу Черного моря, в Турции, где разрушено несколько селений.

«Землетрясение это имело тектонический характер и не представляло для нашего города серьезной опасности, если не считать небольших оползней берега в районе Среднего Фонтана, где несколько дач дали легкие трещины».

Этими словами заканчивалась газетная заметка, прочитанная папой.

Папа весело посмотрел на меня.

— А ты, оказывается, у нас умник! — сказал он, но мамино лицо стало печальным.

— У нашего мальчика слишком чувствительная душа, — сказала она, — боюсь, ему будет трудно в жизни.

Но я не понимал тогда беспокойства мамы. Я торжествовал потому, что никто в ту ночь не почувствовал дрожания предметов в комнате с темными обоями, подкрашенными красноватым светом ползющего по комоду ночника, а я почувствовал, и проснулся, и слышал как бы торопливый безумный стук швейной машинки.

Только я тогда еще не знал, как называется таинственная, неподвластная человеку сила, которая способна заставить дрожать лампы, ночники, дома, двери, турецкие деревни с развалившимися черепичными крышами и которая, может быть, способна уничтожить одним мановением целые города, государства, народы.

Теперь же я узнал от папы, что она — эта таинственная сила — называется мрачным словом «землетрясение», таким же мрачным, страшным, как другие подобные слова: война, чума, голод, мор... О которых я еще тогда, в то далекое счастливое время детства, ничего не знал.

Рыбий жир.

Мы жили в большом доходном доме Гольденгорна, на Канатной улице, во втором этаже — или, как любила выражаться тетя, «в бельэтаже», — и наши окна выходили на Куликово поле, над которым ветер постоянно нес тучи пыли.

Почти против нашего дома находилось большое железнодорожное депо, из широких ворот которого выезжали маленькие, почти игрушечные паровозики большефонтанской железной дороги. С утра до вечера мимо нас, сотрясая окна, проезжали дачные поезда. Вероятно, поэтому наша большая квартира со всеми удобствами, в «бельэтаже» стоила так дешево.

Из наших окон я видел революцию 1905 года: перебежку дружинников в старых драповых пальто, с браунингами в руках, видел казачьи разъезды 6-го Донского полка, наконец, однажды видел черную, как туча, толпу черносотенцев, пересекавших Куликово поле по диагонали от Привокзальной площади до угла Пироговской, где стоял дом Гольденгорна.

Когда толпа в страшном молчании приблизилась к нашему дому, я увидел литографический портрет государя императора с голубой лентой через плечо в тонком золоченом багете. Его несли два сердитых старика в купеческих поддевках.

В следующий миг толпа смешалась, завывала и хлынула к углу дома Гольденгорна; там в полуподвале помещалась бакалейная лавочка, где мы всегда покупали керосин, сахар, макароны, подсолнечное масло. Лавочка принадлежала еврею Когану. В окна полуподвала полетели камни; в одну минуту лавочка была разгромлена, и потом еще долго вокруг нее на тротуаре блестели осколки стекла и валялись разные бакалейные товары: рассыпанный чай, лужи керосина, раздавленные коробки папиросных гильз, пачки махорки «Тройка» и табака «Бр. Асмоловых», карамель «Бр. Крахмальниковых» в цветных бумажных обертках...

Среди мертвой улицы, на фоне сухой зимней пыли, клубящейся над Куликовым полем, это было ужасно.

Никто не позволял себе прикоснуться к бакалейным товарам, рассыпанным, разбросанным по всей улице. Даже босяки со слободки — Романовки, — горьковские типы в дырявых рубахах, злые как черти, с красными от холода босыми ногами, проходя мимо разгромленной лавочки, старались держаться подальше от соблазнительных вещей, которые так легко и безопасно можно было бы присвоить.

Даже уличные мальчишки с Новорыбной хотя из любопытства и проникали в разгромленную лавочку сквозь сорванные с петель двери, но никто из них не взял ни одной конфеты, не отщипнул ни одного кусочка от глыбы дешевой белой халвы, облитой вонючим кунжутным маслом, валявшейся под разломанным прилавком рядом с медными чашками помятых весов.

Сквозь выбитые стекла полуподвальных окон дул пыльный, холодный ноябрьский ветер, и в разгромленной лавочке среди хаоса и обломков кружились залетевшие сюда с улицы сухие стручки акаций и рваные листья конского каштана.

Я тоже, замирая от страха, спускался по щербатым ступеням и ходил по лавочке Когана, и под ногами у меня хрустел рис, орехи, битая посуда.

К счастью, Коган вместе со всем своим семейством, с женой в черной шляпке и кружевных перчатках с отрезанными пальцами, митенках, и четверо рыжих детей с веснушчатými щеками и бледно-сиреневыми от страха губами, два мальчика в белых носках и две девочки в маленьких кружевных шляпках, и старуха бабушка с крючковатым носом и трясущейся головой — успели спрятаться в квартире у жильцов-христиан, где на подоконниках лицом к Куликову полю были расставлены иконы и зажженные лампадки, охранявшие христианские квартиры от вторжения погромщиков.

Я увидел на полу лавочки среди разбросанных медных денег выручки суконный котелок господина Когана, затоптанный и сплюсценный сапогами громил из «Союза русского народа».

...Мир вокруг меня в эти минуты был страшен...

Он продолжал оставаться страшным и потом, особенно в тот день, когда папа подъезжал к дому на извозчике, придерживая у себя в ногах железную складную детскую кровать, купленную для Жени, так как он уже вырос из своей старой, совсем маленькой кроватки... И вдруг навстречу извозчику из-за угла Пироговской выскочил красный автомобиль, или, как тогда принято было говорить, «самодвижущийся экипаж»; извозчицья лошадь шарахнулась в сторону, встала

на дыбы; дрожки заехали на тротуар, стукнулись о чугунную тумбу у ворот; папа вместе с Женькиной кроватью вывалился из дрожек, зацепился за подножку, и некоторое время его волокло по тротуару, а он пытался одной рукой удержать падающую на него железную кровать, а другой уперся в плиты тротуара, и я, игравший в то время возле дома, видел, как кожа сдирается с папиной окровавленной ладони, а на лбу сочится ссадина.

А красный автомобиль с медным закрученным сигнальным рожком и шофером в шубе, вывернутой собачьим мехом наружу, в специальных страшных автомобильных очках, закрывавших его грозное лицо на манер полумаски, извергая из себя клубы вонючего бензинового чада и как бы стреляя вокруг себя вспышками мотора, ехал по мостовой, прыгая по выбоинам и приводя в ужас и ярость прохожих, грозивших ему вслед палками и кулаками с криками:

— Когда это безобразие кончится? Куда смотрит полиция! Пора запретить этим вонючкам появляться на городских улицах, пугать лошадей и калечить обывателей!

Тогда в нашем городе было всего три или четыре автомобиля, и они воспринимались обществом как дьявольское наваждение, как исчадие ада, чуть ли не как первые признаки светопреставления, второго пришествия.

...К счастью, все обошлось благополучно и папа отделался лишь небольшими ссадинами, а также испугом, от которого дрожало и подергивалось побелевшее лицо с всклокоченной бородой...

Не могу описать, как мне было жалко папу, когда он с помощью дворника втаскивал сложенную детскую железную кровать по марморморной лестнице на наш «бельэтаж».

Еще более сильное чувство такого же рода я испытал впоследствии, когда мы некоторое время жили в доме Гладковского сиротского приюта у одного знакомого папиного священника, ожидая, когда будет готова наша квартира в Обществе квартировладельцев на Пироговской улице.

Гладковский сиротский приют был окружен высоким, глухим каменным забором, и ночью во дворе спускали с цепи злую собаку.

Папа задержался на педагогическом совете и вернулся домой поздно, когда собака была уже спущена. Стояла необыкновенно яркая, холодная ночь с резкими тенями уже голых деревьев, как бы нарисованных углем на белых стенах приютского флигеля во всех своих подробностях, с каждым самым маленьким сучком. Папа вошел в калитку, и вдруг на него покатила черная тень цепная собака, налетела, сбила с ног и стала кусаться.

Прибежавший дворник с трудом отогнал собаку и привязал ее на цепь. Папа вошел в разодранном пальто, окровавленный, и сейчас же тетя стала его раздевать, разрезая ножницами рукав окровавленной сорочки, а папа полулежал в кресле, и я видел на его белом теле глубокие сине-красные следы собачьих зубов и раны, сочащиеся кровью.

Перед образом горела гранатовая приютская лампадка, за окнами сияла голубая лунная ночь, огонь свечи колебался, бросая на стены громадные движущиеся тени, а в эмалированном тазу с обрывками ваты и марли качалась кроваво-розовая вода, и я, рыдая, обнимал папины колени, с ужасом и отчаянием повторяя:

— Папочка, папочка, милый, дорогой папочка.— И мое сердце готово было разорваться от любви к этому самому родному, близкому и любимому мною человеку.

Мне казалось, что папа сию минуту на моих глазах умрет или сбесится, потому что, может быть, собака была бешеная.

Женя стоял рядом со мной на коленях возле папы и мелко-мелко крестился, и слезы текли из его настороженных янтарных глаз.

Однако все прошло гораздо быстрее, чем можно было представить. Через какие-нибудь полчаса, с залитыми черным йодом ранами, перевязанными стерильными бинтами, от которых так целебно и успокоительно пахло аптекарским магазином, умытый, с расчесанными мокрыми волосами, в свежем белье и домашнем пиджаке, папа уже пил чай и даже улыбался.

Это происшествие нанесло мне такую глубокую душевную рану, что я до сих пор чувствую какую-то безумную, ни с чем не сравнимую сердечную боль, едва только вспомню лунную ноябрьскую ночь, резко-черную тень бегущей собаки, колеблющуюся багровую тень свечи в малознакомой, чужой комнате и стерильные бинты на голой папиной руке. И мне приходит на ум мысль — темная догадка, — что же должен был впоследствии испытывать папа в течение двух лет, пока я был на фронте, ожидая моих писем, которые я так редко и неохотно писал в то время, как папе, наверное, каждую минуту казалось, что меня убивает пуля или снаряд и я — его сын, его плоть и кровь, — падаю, окровавленный, на землю...

...Примерно в одну из этих лунных ночей пришло известие, что в Киеве убит Столыпин, и эти два события — собака, покусавшая папу, и убитый выстрелом из браунинга в печень, в киевском театре на глазах государя императора Столыпин, шталмейстер в расшитом мундире, — слились в какое-то трудно объяснимое предствление о темной чужой комнате и гранатном свете приютской лампы...

Возле дома Гольденгорна располагались зады штаба Одесского военного округа — высокая каменная стена, за которой как бы скрывались все военные тайны, и эта стена выходила на глухой пустырь, заросший сорняками. Здесь было даже днем жутко, а ночью думалось, что на пустыре совершаются какие-то преступные, опасные дела и поразбойничьи свишет зимний ветер.

Однажды мы узнали, что на этом пустыре застрелился солдат, стоявший на часах возле задних, постоянно запертых ворот штаба, рядом с полосатой будкой, где висел желтый дубленый постовой тулуп.

Я видел место, где застрелился часовой: там была ямка, продавленная в земле его затылком, наполненная красно-бурой жидкостью, еще не успевшей высохнуть. Он застрелился так, как обычно в то время стрелялись солдаты и юнкера: сняв сапог, для того чтобы можно было пальцем босой ноги нажать спусковой крючок винтовки, вставленной дулом в рот.

Мне долго потом снился этот солдат с остриженной под машинку русой головой с удлиненным затылком, его босая нога с как бы восковым большим пальцем и белые глаза под пшеничными бровями, полные предсмертной тоски.

...там же в гнилом бурьяне я нашел однажды старый, почерневший пятак, как бы покрытый лишаями, о чем я, кажется, где-то и когда-то уже писал. Этот пятак, казалось мне, хранил на себе следы темных пороков...

Вечера были черные, страшные. Ходили слухи об убийствах, грабежах, налетах на квартиры. Говорили о каких-то «черных воронах», нападающих на прохожих. «Черные вороны» чудились за каждым углом, на каждом пустыре — незастроенном участке города. Иногда

папа вечером ходил через Куликово поле на вокзал за столичными газетами. Я умолял его не ходить, боясь, что его убьют «черные вороны». Но он, бесстрашно посмеиваясь, уходил в непроглядную ночь и скоро возвращался. Мы узнавали его длинный звонок, но все же спрашивали через дверь, не снимая цепочки:

— Кто там?

И всегда получали в ответ:

— Черные вороны с орехами.

Это был папа, который, кроме петербургских газет, торчащих из кармана его зимнего пальто, приносил какие-нибудь гостинцы, чаще всего каленые, еще горячие орехи-фундук в бумажном мешочке или сладкие, очень тонкие сушки из кондитерской Амбатьелло. Сушки всегда были в легком мешке из очень тонкой бумаги. Такой мешок хорошо было надуть и потом хлопнуть. Он очень громко стрелял.

Раньше у нас в городе не водились дверные цепочки. Теперь они были в каждой квартире. В этом тоже я ощущал нечто зловещее.

...Однако не все было зловеще и страшно в эту осень и зиму вокруг дома Гольденгорна против Куликова поля...

Пришла зима, выпал снег, побелело Куликово поле. Ударили морозы. За вокзалом среди лазурных столбов паровозного пара по вечерам горела ледяная заря, и так ясно, отчетливо в морозном воздухе звучали паровозные свистки, и так бледно, прекрасно горели звезды вокзальных электрических фонарей, зеленые и рубиновые огоньки семафоров.

После рождества, Нового года и крещенья, когда по домам ходили церковные причты и священник Ботанической церкви в лиловой бархатной твердой камилавке, расширяющейся кверху, из-под которой на плечи ниспадали каштановые, хорошо расчесанные кудри, окуная метелочку в серебряную чашу со святой водой — чашу вроде суповой вазы, — которую ему подставлял дьякон, наотмашь кропил направо и налево, обходя все комнаты нашей квартиры, включая и кухню, где окропленная кухарка истово крестилась, ловила батюшкину руку и целовала ее на лету...

...масленица — это маленькие чугунные сковородочки на плите и шипенье расплавленного масла, которым кухарка смазывает эти дымящиеся раскаленные сковородочки при помощи пучка связанных перьев или же просто куриным крылышком...

На окнах белели как бы цинковые кристаллические узоры крещенского мороза. На балконах, остывая, дымилась на морозе миска с клюквенным киселем, таким ярким, как будто бы не заходящее за вокзалом январское солнце, а сам кисель источал этот ни с чем не сравнимый прозрачный густой клюквенный цвет уходящей зимы.

А потом пришла масленица, в кухне пекли блины. Непрозрачный, непроницаемый чад горелого коровьего масла наполнял всю квартиру.

...Першило в горле... на глаза навертывались слезы...

Масленицу у нас справляли не каждый год, а от случая к случаю. В этот год из Санкт-Петербурга приехал мой двоюродный брат, сын папиного покойного брата Николая Васильевича, попросту Вася, студент-выпускник Военно-медицинской академии, «без пяти минут военный врач», — веселый, остроумный, всегда оживленный молодой мужчина с черными усиками, в пенсне с черной лентой, заложенной за

ухо. В нем было что-то мило-французское, умело смешанное с русским, военно-студенческим и вместе с тем столичным, питерским. Васина мать, вдова папиного покойного брата Коли, моя тетья, была швейцарской француженкой из Вёве, жила в гувернантках в каком-то богатом русском семействе в Крыму, где познакомилась и вышла замуж за дядю Колю, — случай весьма банальный. Она перешла в православие, ее звали Зинаидой Эммануиловной, она быстро ассимилировалась в России — хотя на всю жизнь сохранила свой живой, кипучий, хозяйственный французский характер, — но так и не научилась правильно говорить по-русски, произнося, например, вместо помидоры — помадори, сильно грассируя, что при ее шляпке, рыжеватых шиньонах, пружинном заграничном пенсне и клетчатой шотландской тальме очень веселило торговков на старом базаре, куда Зинаида Эммануиловна ежедневно лично отправлялась за провизией, не доверяя кухарке и усердно торгуясь на ломаном русско-украинском языке, что делала не по скупости, а по своей швейцарской обстоятельности и привычке к разумному расходованию денег.

Она была прекрасная жена, нарожала кучу русских детей, нежная разумная мать, умелая хозяйка и благовела перед своим русским супругом, статским советником, преподавателем в духовной семинарии, носившим несколько раздвоенную сановную бороду, сквозь которую на шее просвечивала красная эмаль и золото ордена святого Станислава, курившим толстые папиросы и довольно основательно выпивавшим, никогда не теряя при этом своего достоинства.

Вася был ее старший сын, Саша — младший. Была еще старшая дочь красавица Надя, вышедшая замуж за петербургского военного врача-рентгенолога, и еще одна дочь Зина, тоже красавица с ярким лицом и соболиными бровями. А младшая дочь Леля одиннадцати лет умерла от костного туберкулеза.

Свое вдовство Зинаида Эммануиловна переносила с деятельной заботой о содержании детей, в постоянных хлопотах об увеличении пенсии и какой-то «эмеритуры» — слово, которое она повторяла на французский лад, так же как и другое слово — «консистерия». Эти оба слова она произносила с таким страхом, уважением и надеждой, как будто бы это был, по крайней мере, сенат или государственный совет. Оно и понятно: от консистерии в какой-то мере зависела и пенсия и эмеритура, то есть единственные средства существования семьи.

...однажды из Петербурга через Одессу на Дальний Восток проезжала красавица Надя со своим мужем, военным врачом, и новорожденной дочкой Аллочкой. Помню черную папаху Надиного мужа, помню маленькую девочку в нарядных кружевных пеленках и помню, как мы ездили их провожать в порт, откуда они должны были ехать на пароходе добровольного флота «Тамбов» во Владивосток, а оттуда в Хабаровск. Военный оркестр играл «На сопках Маньчжурии» и «Тоску по родине», и я видел тесную каюту с круглым иллюминатором, набитую дорогами петербургскими чемоданами и шляпными коробками, и среди этого всего беспорядка — маленькую девочку в пеленках. Они уезжали на русско-японскую войну... И было так грустно и страшно... И небо было такое серое...

Вася появился в своей военно-медицинской офицерской шинели, но еще с погонями нижнего чина, хотя уже с офицерской шашкой на узком серебряном ремне через плечо. Он повесил шинель и шашку на вешалку, а фуражку поставил на подзеркальник и весело оправлял свой зеленый сюртук с двумя рядами серебряных «военно-медицинских» пуговиц, удивительно ловко сидевший на его стройной фигуре

с тонкой талией. Он сразу же распространил вокруг себя запах бриллиантина, парикмахерской и сыроватого предвесенне-морозного воздуха. От блинного чада, валившего из кухни, на Васиных красивых веселых черных глазах в черных ободках пенсне навернулись слезы, и он с иронической улыбкой вытирал их хорошо наглаженным носовым платком, вынутым из заднего кармана сюртука.

С Васей пришли и остальные наши «двоюродные» во главе с миссис Зинаидой Эммануиловной в ее клетчатой потертой ротонде с треугольным капюшоном, придававшей ей нечто иностранное, швейцарское.

...Швейцарское всегда незримо присутствовало за ее спиной: Женевское озеро, зубчатые снежные горы «Дан дю Миди», крылатые паруса, Шильонский замок...

Гости наполняли веселыми восклицаниями все комнаты нашей квартиры, потонувшей в клубах горького блинного чада.

Героем дня был Вася, отправлявшийся на днях в Хабаровск на открывшуюся вакансию военного врача-лекаря, так что, в сущности, он уже был офицером: в Хабаровске его должны были произвести в первый офицерский чин. Японская война уже кончилась, но Дальний Восток, куда уехала Надя с мужем и теперь уезжал Вася, все еще казался театром военных действий, что усиливало общий интерес и любовь к Васе.

Маленький Женька не отходил от Васи, держа его своей пухлой ручкой за обшлаг военного сюртука, и тащил к пианино, упрашивая: «Вася, лягай кеквок!» — что обозначало: Вася, играй кекуок.

Вася покрутил плетеное сиденье, визгнувшее на железном винте, сел за пианино, поправил пенсне, щегольским жестом откинул в стороны фалды мундирного сюртука с погонами Военно-медицинской академии и нажал на педаль ногой в узких диагональных брюках с красным кантом; он поднял руки, собираясь ударить по клавишам, но вдруг раздумал и повернул к нам, обступившим его мальчишкам — Женьке, Саше и ко мне, — лицо с бровями, черными как пиявки, сдвинутыми над переносицей, приципленной машинкой своего столичного пенсне.

— А вы, эфиопы, уже пили рыбий жир? — зловеще спросил он.

Я и Саша похолодели, так как надеялись, что в общей масленичной суете рыбий жир, который мы ненавидели до рвоты, как-нибудь пронесет мимо. Что касается Женьки, то он, как это ни странно, очень любил рыбий жир и пил его с удовольствием, после чего даже облизывался.

— Ну нет, мои молодые пациенты, вы у меня не отвертетесь от рыбьего жира. Этот номер не пройдет!

Мы покорно уселись рядом на стулья, понимая, что отвертеться от рыбьего жира не удастся. Вася принес из кухни бутылку с тошнотворно-желтой жидкостью, достал из буфета серебряную столовую ложку, один лишь блеск которой вызывал отвращение не менее сильное, чем вид самого рыбьего жира, вынул пробку, обернутую промасленной бумагой, налил прозрачно-тяжелую омерзительную жидкость в ложку, заблестевшую в его опытных руках еще более тошнотворно, подошел ко мне, стиснул меня коленями, чтобы я не улизнул, велел открыть рот и заставил выпить полную ложку рыбьего жира; то же самое с грубым проворством военного хирурга он проделал с Сашей, у которого даже уши побелели от омерзения, а Женька с явным удовольствием выпил рыбий жир и облизнулся.

И лишь после этого Вася, дав нам на закуску по кусочку черного

солдатского хлеба с селедкой, уселся за пианино и весело отбарабанил кекуок, матчиш, а также весьма популярную после русско-японской войны «Китайянку».

«...был, бедняжка, ранен тяжело и к японцам в плен попал. Там влюбился он в смуглянку — кита-кита-кита-кита-китайянку...» — и т. д.

Это сразу внесло в дом бесшабашное веселье. Люди двигались в чаду как тени; глаза слезились; на столе соблазнительно виднелась закуска к блинам: тертый швейцарский сыр, мисочка расплавленного коровьего масла, другая миска со сметаной, разделанная селедка с перламутровыми распластанными щечками, красная икра и очень соленая багровая кета из реки Амур, появившаяся в продаже после войны. Красная икра и кета стоили очень дешево, заменяя в небогатых домах черную паюсную икру и семгу, которую мы никогда не покупали: не по карману!

Зато папа купил копчушек в лубяном плетеном коробке. Это были соблазнительно-золотистые копченые рыбки, главная прелесть которых заключалась в том, что их надо было, прежде чем подавать на тарелке к столу, облить спиртом и поджечь; когда спирт догорал желтовато-голубым пламенем, шкурка с рыбок снималась очень легко — сама собой! — и папа очень ловко проделывал эту операцию, обнажая душисто-продымленную плоть рыбьего суховатого мяса, такого вкусного, что от него трудно было оторваться, как от семечек.

Таким образом, к блинному чаду примешивался волшебный запах горящего спирта и теплый запах самих копчушек, что в соединении с «Китайянкой» и посеревшим, заметно осевшим снегом Куликова поля, видного в окна, именно и составляло сущность праздника под названием масленица.

Когда же из кухни в столовую вносились высокие стопки дымящихся блинов, каждый из которых как бы представлял лунную поверхность с кратерами, и Васе — в виде исключения — папа наливал из специального гостевого графинчика граненую рюмку водки, а Вася опрокидывал ее со столичным военно-медицинским шиком в свой румяный под черными усиками рот, и мы все начинали накручивать на свои вилки ажурные блины, макая их попеременно то в расплавленное масло, то в прохладную сметану, и мазать их крупной красной икрой, шарики которой так вкусно лопались на зубах, источая клейкую жидкость зародышей кеты, а зимние окна постепенно синели, неуловимо предвещая чем-то грядущую весну, и зажигали лампу, и папа виртуозно обдирали копчушки, то становилось на душе хорошо и весело и радовало, что две двоюродные семьи живут так дружно, хотя и в противоположных концах города, так любят друг друга, и это чувство охватывало наши души, и тетя от всей души целовалась с француженкой Зинаидой Эммануиловной, настолько обрусевшей, что даже привыкла к блинам, от которых на ее темных усиках белели следы сметаны, и она говорила резким голосом ученого попугая комплименты тетиним блинам:

— Кароши блины! Ах! Очень кароши! Настоящие, как у нас говорят, креп дентель! Кружевные!

Вася снова садился за пианино и, повизгивая немазанным винтом табурета, с огоньком и восклицаниями, посматривая на тетю, играл «Ой-ра».

— Ой-ра! Ой-ра!

...мне в душу закрадывалось подозрение, что Вася тоже был поклонником тети...

«Был, бедняжка, ранен тяжело и к японцам в плен попал!»

Падающие звезды.

В темную, безлунную августовскую ночь мы иногда шли к обрывам и, хотя там была вбита в землю скамеечка, предпочитали рассаживаться прямо на теплой, еще не успевшей остыть степной земле, поросшей ромашкой, полынью, чебрецом и многими другими душистыми травами. С обрыва открывалось темное море, на черном горизонте которого слабо светилась не то звезда, не то огонек на мачте невидимого парохода, уходящего за край траурной полосы между водой и небом.

Самое привлекательное в этих непроглядно-черных теплых ночах — перед началом нового учебного года — было то, что, всмотревшись в окружающую тьму, глаз обнаруживал множество источников таинственного свечения: то в кусте дикой маслины, озаряя своим янтарно-зеленым безжизненным светом всего лишь какую-нибудь ничтожно малую часть серебристо-суконного листика, вдруг появлялась капелька светлячка; то где-то неизмеримо далеко в степи, за скифским курганом, еле различимым на фоне неба, можно было рассмотреть искру цыганского костра; то внизу на песчаный берег у подошвы обрыва набегала длинная ночная волна, окаймляя берег светящейся кружевной пеной, — это фосфорилось море.

В черном небе среди довольно крупных, хорошо нам знакомых созвездий Северного полушария и раздвоенного рукава — как бы небесной дельты — Млечного Пути светились миллиарды звезд, наполняя небо серебристым песком, пылью, фосфорическим дымом, при свете которых степь и море хотя и оставались темными, но все-таки таинственно мерцали, и воздух был напоен тончайшим эфирным свечением, в котором вдруг пронеслась летучая мышь, похожая на дубль вз (w), или трепещущие ночные бабочки, как бы сеющие вокруг себя серую пыльцу, или двигались силуэты пограничников, совершающих свой ночной обход, и степь вокруг была наполнена хрустальным звоном сверчков.

Мы ложились на теплые травы лицом вверх и закладывали руки за голову — папа, Женя и я. И еще несколько мальчиков и девочек из немецкой экономики.

Теперь мы видели только одно громадное звездное небо, его траурную черноту и на ней — созвездия и отдельные звезды, которые папа называл по именам, как своих хороших знакомых:

...Большая Медведица, Малая Медведица, Полярная звезда, Сатурн, Юпитер, низко склоняющийся к морскому горизонту, Венера — странная звезда, дважды появляющаяся на небосклоне — утром и вечером, почему ее и называют то утренней звездой, то Веспером, то есть вечерней, а некогда, как нам сказал папа, запрокинув голову и смотря в звездное небо, считалось, что это не одна звезда, а две разных.

... не знаю, но почему-то это меня очень волновало, и мне казалось, что у меня две души — одна радостная, утренняя, а другая сумрачная — Веспер...

Мы лежали лицом к небу, нас обдувал теплый ночной ветерок, в котором смешивались запахи моря и степи, и временами мне казалось, что я не лежу на земле и смотрю вверх, а наоборот — вишу в пространстве лицом вниз, и в неизмеримой глубине подо мною раски-

нулось мировое пространство без начала и без конца — во всем своем августовском великолепии.

Казалось, я уже больше не принадлежу земле, ее материкам, океанам, странам и границам между этими странами, вдоль которых расставлены пушки, крепости и пограничные кордоны вроде нашего Будакского пограничного поста у высокого обрывистого берега, вдоль которого ходят пограничные патрули, и народы говорят на разных языках, и враждуют между собою, и ведут войны, и по морям и океанам ходят дредноуты, в глубине скользят тени подводных лодок — субмарин, — а есть надо всеми только одно общее звездное небо и одна всемирная душа — моя душа, и падающие звезды, или, как их называл папа:

...метеоры, болиды, метеориты...

В середине августа их — этих падающих звезд — было особенно много, и они одна за другой внезапно возникали в глубине угольно-черной небесной бездны и чиркали как спички, оставляя за собой фосфорическую царапину, быстро исчезающую среди небесной черноты.

Метеоры летали часто, легко и по разным направлениям, но не пересекаясь, а всегда примерно из одного самого темного участка неба.

И всегда неожиданно, без всякого порядка...

Иногда метеор напоминал алмазик стекольщика, оставлявший почти слышимый след на черном стекле Вселенной, или, как папа говорил, космоса.

Мы знали, что, пока звезда катится, надо шепнуть ей желание сердца и оно непременно исполнится.

В середине августа, подстерегая внезапное появление новой падающей звезды, на краю земли между Днестровским лиманом с его старой турецкой крепостью и дельтой Дуная, в Буджакской степи, я шептал заветное свое желание.

Но падающих звезд было так много, а желания мои были так разнообразны и противоречивы, что я до сих пор не знаю, исполнились ли они в конце концов или не исполнились...

«Ломай замок!»

До сих пор не знаю, не могу понять, хотела ли эта девочка подбить меня на кражу со взломом или в ее словах таился какой-то другой смысл — жгучий, волнующий...

Не помню, как ее звали.

Ей было лет одиннадцать, и она принадлежала к числу тех уличных девочек, которые вечно таскаются за мальчиками, предпочитая их обществу своих подруг. Никто из нас не знал — да и не интересовался, — откуда она появилась у нас в Отраде. Босая, очень коротко стриженная, в стиранном-перестиранном ситцевом платье с пуговками на спине, из которого она настолько выросла, что виднелись ее колени, покрытые синяками и царапинами, она плелась в некотором отдалении от мальчиков, напоминая приبلудившуюся кошку.

Мальчики ее отгоняли, но она не отставала и все время ка- нючила:

— Чего вы меня не принимаете в компанию? Что я вам сделала? Хотите, я вас поведу в сарай к мадам Васютинской, там в соломе ро-

дилось шесть штук котят и все полосатые, святой истинный крест, пусть меня бог накажет, если не полосатые.

— Иди ты знаешь куда со своими котятами. Чего пристала к людям? Иди к своим девчонкам и не морочь нам головы. Гэть отсюда! — говорили мальчики грубыми голосами.

— Пожалеете! — зловеще-скорбно отвечала она, но не уходила, а, лишь немного постояв на месте на одной ноге, как цапля, издали плелась за мальчиками.

Неизвестно почему, но она вызывала к себе презрение. Я тоже презирал ее и не упускал случая, чтобы не крикнуть ей:

— Чего прилипла? Иди откуда пришла, а то получишь по шее!

При этом я невольно смотрел на ее тонкую, не очень хорошо вымытую шейку и уши, выглядывающие из неровно обстриженных волос. Наверное, ее стригла дома ножницами мать — прачка или дворничиха.

Однажды после гимназии я, как любила ядовито выражаться тетя, валандался без дела по улице, ища себе компанию, но в этот знойный, послеобеденный час улица была пустынна: все другие мальчики, вероятно, сидели по домам и готовили уроки. Несмотря на конец сентября, ничто не напоминало осени. Можно было подумать, что томительно продолжается сильно затянувшееся южное лето и не предвидится ему конца.

Я чувствовал себя одиноким, каким-то бездумно-опустошенным. Между тем уже довольно долго за мной бесшумно шла неизвестно откуда появившаяся знакомая босая девочка — забыл ее имя, — и я вдруг услышал за спиной ее монотонный таинственный шепот:

— Мальчик, хотите, я вас поведу на одну пустую заколоченную дачу? Оттуда уже перебрались жильцы, садовник пошел в монопольку, и нас там с вами никто не увидит... Хотите, мальчик?

...Теперь она уже шла рядом со мной, со странным выражением, без улыбки, заглядывая мне в лицо. Мы были с ней одни, вдвоем среди этого знойного, пустынного, послеобеденного мира Отрады, и я вдруг стал испытывать к ней, кроме укоренившегося презрения, еще нечто странно-волнующее, почти любовное.

Я был Хома Брут, она — мертвая панночка...

— Пошла вон, — сказал я скорее по привычке, — чего ты за мной ходишь?

Она не обратила на мои слова внимания и, уже касаясь своим худым плечиком моего плеча, продолжала монотонно бормотать:

— Пойдемте со мной, вы не пожалеете, оттуда уже все дачники перебрались, комнаты стоят пустые, садовник пошел в монопольку за шкаликом, и нас там никто не увидит. Хотите?

Я почувствовал необъяснимое волнение и, ничего не отвечая, продолжал идти следом за девочкой, которая уже опередила меня, перебирая босыми ногами по горячему тротуару. Изредка она оборачивалась, глядя ничего не выражающими, пустыми глазами, светящимися на худом лице, неподвижном, как маска.

Пройдя сквозь безлюдную Отраду под сенью пыльных акаций, уже отягощенных гроздьями поспевших черных стручков, среди мелких листиков, еще почти не тронутых осенней желтизной, мы очутились на террасе пустой заколоченной дачи на краю обрыва, за которым голубело пустынное сентябрьское море, охваченное штилем. Мы стали заглядывать в окна, забитые накрест досками, рассматривая пустые дачные комнаты с частью оставленной на зиму мебели и разными забытыми мелочами вроде вазы для цветов, подсвечника, кухон-

ной ступки, жестяной коробки из-под чая... В углу на беленом потолке сидела, сложив треугольником крылья, большая серая ночная бабочка «мертвая голова», а паук уже успел заткать другой угол паутиной, по которой каталась как ртутный шарик блестящая солнечного луча, проникшего сквозь забитое досками, пыльное стекло.

...Вокруг царило страшное безлюдье.

На дверях висел железный замок. Девочка подошла ко мне совсем близко, почти вплотную. Я чувствовал на лице ее дыхание, пахивающее чесноком. Я видел близко ее малокровные губы с заедами в углах рта. Заеды были похожи на присохшую желтую малину. Под мочками ушей на шее виднелись мутные потеки: наверное, она недавно ела дыню, и концы дынной скибки касались ее ушей. Ее глаза с напряженно-стоячими зрачками смотрели на меня в упор, мне показалось, что она подбивает меня на кражу.

— Ломай замок! — повелительно сказала девочка и по-воровски оглянулась.

В этот миг калитка скрипнула, и мы услышали голос садовника, вернувшегося из монополюки:

— Чего вы здесь лазаете по чужим дачам? А ну, гэтъ видселя!

И он, стоя на месте, затопал сапогами, делая вид, что гоняется за нами.

В ту же минуту девочку как ветром сдуло, только через забор перелетело ее розовое платье.

Я побежал с пылающими ушами мимо ухмыляющегося садовника и слегка получил по шее добродушной рукой. Больше я эту девочку уже никогда не встречал.

Фани Марковна.

Была Малая Арнаутская улица, казавшаяся мне тогда ужасно далекой, а на самом деле находилась она совсем близко. Попадая на эту улицу, мы сразу погружались в мир еврейской нищеты со всеми ее сумбурными красками и приторными запахами. Мы входили в деревянную застекленную галерею, окружающую двор. Тут маме приходилось то и дело наклонять голову, чтобы орлиное перо на ее шляпе не сломалось, наткнувшись на какое-нибудь препятствие: веревку с развешанными на ней бебехами или перекладину, поддерживающую покосившиеся дощатые стены источенной жучками галереи с немывыми стеклами, половина из которых была разбита.

В галерею выходило множество окон и дверей, большей частью распахнутых, и там во тьме гнездились целые семейства евреев — ремесленников, портных, сапожников, модисток, жестянщиков, лудильщиков, — так что из каждой двери неслись звуки молотков, лязганье громадных портновских ножниц, треск раздираемого коленкора, визг намазанных ножных швейных машин и резкие кухонные запахи, смешанные с чадом множества керосинок «Грец» с их слюдяными окосечками, светящимися во тьме квартир, как сцены маленьких театров, где разыгрывалась феерия волнистых языков коптящего пламени — пожар какого-то города.

Мы входили в закопченную, почти черную дверь Фани Марковны, задернутую ситцевой занавеской, и мама наклонялась и прикрывала узкой рукой в лайковой перчатке перо на своей шляпе.

Фани Марковна встречала нас приветливой улыбкой на худом, малокровном лице, покрытом черными точечками угрей. Ее улыбка

обнаруживала отсутствие бокового зуба. Если бы не этот дефект и не дряблая кожа на шее, Фани Марковна вполне подходила к моему понятию — дама: на ней был жакет примерно такой же, как у мамы, и такая же юбка со шейфом, обшитым щеточкой, но только более поношенные. Фани Марковна отличалась от мамы прической. Мамины блестящие смоляные волосы были всегда гладко зачесаны назад и закручены на затылке узлом, полным шпилек, а у Фани Марковны была модная прическа с накладным валиком над преждевременно морщинистым низким лбом, производившая впечатление рыжеватого парика. Впрочем, кажется, это был действительно парик.

Из потемок вырисовывался темный комод тараканьего цвета, покрытый гарусной салфеткой, и на нем в белых гипсовых вазочках букеты бумажных роз, отраженные в зеркале без рамы, но на толстой ясенево́й подкладке.

Мама вручала Фани Марковне бумажный сверток с материей, предназначенной для шитья к весеннему сезону легкой шерстяной накидки. Фани Марковна разворачивала материю и выходила с ней в галерею, чтобы лучше ее рассмотреть, а мама садилась на гнутый венский стул черного еврейского цвета и привлекала меня к себе, целуя мою шею, причем я чувствовал, как надулся ее живот.

Затем возвращалась Фани Марковна и одобряла качество материи и мамин вкус. Материю она осторожно клала на круглый стол, покрытый бархатной скатертью с кистями.

Фани Марковна уводила маму за ширму для примерки прежде заказанных нижней юбки из шуршащего сиреневого канауса и корсета на китовом усе, а я долго сидел посреди комнаты на освободившемся стуле, то разглядывая узорную чугунную педаль ножной швейной машины, то глядя, как над бамбуковой ширмой вдруг на миг появляется мамина голая рука или голова Фани Марковны с булавками во рту и верхней губой, как бы опущенной темными ресничками усов. Именно от этого потрескавшегося клеенчатого сантиметра с серыми и розовыми цифрами и распространился — как мне казалось — тот общий для всей Малой Арнаутской улицы запах людской скученности и бедноты, как бы пропитавший золотушный воздух. Все это внушало мне в одно и то же время и отвращение и мучительную жалость к бедным людям, принужденным жить так скученно и некрасиво среди биндюгов, двухколесных тачек с задранными ручками, лавочек, где продавался вонючий керосин — петроль, — сливовое повидло в бочках, древесный уголь, называющийся «деревянный», и ржавые селедки в кадочках, и маслины, и брынза в стеклянных банках с мутно-молочной водой и желтыми соцветиями укропа и халва, похожая на глыбы оконной замазки.

...и я ерзал на черном венском стуле, с нетерпением ожидая мига, когда примерка кончится и, сопровождаемые сладкими улыбками и сдержанными поклонами Фани Марковны, мы с мамой наконец пойдем домой, подальше от этого грустного, несправедливого, ужасного мира Малой Арнаутской улицы.

Мама на улице.

Я уставал идти по улице, держа маму за палец в лайковой перчатке, и просился на ручки, на что мама — помнится мне — всегда говорила одно и то же:

— Как не стыдно! Такой большой, хороший бутузик, а ходить до сих пор как следует не научился.

Она меня ласково называла «китайчонком», а иногда Ли Хунчангом.

И я продолжал шаркать своими туфельками по гранитной мостовой, когда мы со всеми предосторожностями переходили на другую сторону против уже знакомой мне аптеки с двумя громадными стеклянными графинами, наполненными один лиловой, а другой зеленой жидкостью, ярко светящейся, как бы сквозь увеличительное стекло, в больших окнах, где виднелись черные полки с белыми фаянсовыми банками, помеченными зловещими надписями, которые я не умел прочитать.

На улице мама была совсем не такая, как дома. Дома она была мягкая, гибкая, теплая, большей частью без корсета, обыкновенная мамочка. На улице же она была строгая, даже немного неприятная дама в мушино-черной вуали на лице, в платье со шлейфом, который она поддерживала сбоку рукой, на которой висел черный муаровый мешочек, обшитый блестками, в котором лежала деревянная желтолакированная пулька — патрон с мигренином, открывавшийся с писком, как деревянная писанка, а внутри деревянной пульки оказывался вроде бы парафиновый карандаш мигренина: если потереть им лоб или щеки, то сильно холодило и пахло камфорой.

...Мама страдала мигренями...

Мигрени представлялись мне как сильные удары всеми пальцами по басовым бемолям пианино с нажатыми педалями.

В пенсне, рисовавшемся под вуалью, с густыми бровями, приподнятыми к вискам, с орлиным пером на шляпе, мама временами казалась мне совсем чужой женщиной, не мамой, а «сударыней», как обращались к ней в лавках или на улице, если кто-нибудь из встречаемых случайно задевал ее на узком тротуаре локтем:

— Простите, сударыня.

А мама в ответ гордо кивала головой в знак извинения и не оборачиваясь проходила мимо, таща меня за руку и произнося:

...какие все-таки невежи. Совсем разучились прилично ходить по улице...

Карлики.

Карлики была фамилия. Говорилось:

— Надо зайти к Карликам за тесьмой для юбки.

Карлики совсем не были карликами, а обыкновенными пожилыми людьми — мужем и женой, мадам Карлик и месье Карлик. У них мама покупала приклад, необходимый для шитья своих платьев у модистки Фани Марковны, а для меня цветные карандаши, резинки, липки, а также переводные картинки и просто разноцветные картинки, целыми листами висевшие на бельевых защипках над ящиком прилавка с потертыми, почти матовыми стеклами, огражденными сверху от локтей покупателей медными прутьями.

В магазине никогда не бывало обоих Карликов. Торговали по очереди: то мадам Карлик, то сам Карлик. Они оба хорошо знали маму и меня как своих «постоянных покупателей».

Кажется, мама впервые посетила магазин Карликов вскоре после того, как вышла замуж за папу и купила там лист канвы и два мотка красной и черной шерсти для того, чтобы вышить крестиками украинский орнамент на папиной рубашке, что имело особенное значение, так как папа окончил Новороссийский университет по историко-филоло-

гическому факультету с серебряной медалью за работу о византийском влиянии на народное искусство юга Украины, или, как тогда говорили, Новороссии...

...будучи студентом последнего курса, папа летом пешком исходил множество украинских сел и деревень с тетрадкой, куда — со свойственным ему педантизмом — срисовывал красным и синим карандашом народные орнаменты и вышивки на рубахах и рушниках — полотенцах.

Я живо представляю себе, как мама нашла эти тетрадки и в виде сюрприза тайно вышила красной и черной шерстью крестиками полотняную летнюю рубаху для папы. Сколько помню свое детство, в нем всегда присутствовала полотняная папина рубаха с маминой вышивкой на вороте и рукавах. Эта рубаха казалась неизносимой, и после множества стирок и глаженья крестики ее вышивки не теряли своей яркости; как видно, Карлики продавали хороший товар.

Кроме этой рубахи, помню серую холщовую наволочку, которую надевали на подушку, отправляясь куда-нибудь в дальнюю дорогу. Эта дорожная наволочка была тоже вышита шерстью, но уже в другом духе, чем папина рубаха. Здесь мама дала волю своей фантазии и уже без всяких византийских орнаментов не только черной и красной, но также зеленой, голубой, синей шерстью вышила гладью замечательно красивый букет, где без труда можно было узнать розы, гвоздики и фиалки. Помню костяные пуговички, на которые застегивалась наволочка, слегка пожелтевшие от времени, но все же неизносимо-прочные. Уверен, что их покупали тоже у Карликов, так же как и перламутровые пуговички для моих сорочек, продававшиеся дюжинами пришитыми к зеркально-блестящим картонкам, так ярко светившимся под матовым стеклом в глубине прилавка, рядом с катушками белых и черных льняных ниток номер сорок и черными матовыми конвертиками, откуда виднелся ряд блестящих ушек иголок, а в овальной прорези — их тесно прижатые друг к другу стальные стерженьки, напоминающие трубы микроскопического органа.

...крючки, кнопки, гуммиарабик, кисточки для акварельных красок и сами эти краски — кружочки, приклеенные к картонной палитре, или в деревянных ящичках, все это покупалось у Карликов, причем всегда сам Карлик или мадам Карлик в виде премии с любезной улыбкой вручали мне какую-нибудь приятную вещицу: синее стальное перо с курчавой головой Пушкина посередине, резинку с белым слоном или что-нибудь подобное, умилавшее тем, что это бесплатно.

Я очень любил, когда мама брала меня с собой в магазин Карликов за покупками. Должен прибавить, что сам Карлик всегда был в котелке, отчасти напоминая этим старьевщика, так как все старьевщики нашего города носили котелки и назывались не старьевщиками, а «старовещиками»...

Аптека.

В ней обращало на себя мое внимание большое количество кружек для сбора пожертвований разных благотворительных обществ. Они были прибиты вокруг кассы и стояли также на самой кассе. Их было, пожалуй, даже больше, чем на церковной паперти или на конторке церковного старосты. Не говоря уже о кружках Красного Креста, распространенных повсеместно, обращали на себя внимание круж-

ка еврейского благотворительного общества с голубой шестиконечной звездой царя Давида, кружка призрения сирот ведомства императрицы Марии Федоровны с птицей пеликаном, осеняющим своими опущенными крыльями гнездо, откуда во все стороны тянулись разинутые клювы голодных птенцов, в особенности же кружка общества спасения на водах в виде белоснежной шляпки с красным дном и эмблемой общества — двумя скрещенными якорями на фоне спасательного круга.

Все эти жестяные кружки были опечатаны сургучными печатями и заперты на висячие замочки.

Получая сдачу, покупатель аптеки иногда опускали в щели благотворительных кружек медные или даже серебряные деньги: ведь обычно человек шел в аптеку не от хорошей жизни; чаще всего в аптеку приводило горе, беда, смертельная опасность... В аптеке человек делался суеверным, и он, как бы желая умиловить судьбу, сулящую, быть может, смерть, бросал монеты в благотворительные кружки, подобно тому как первобытные люди приносили жертвы, желая умиловить темные силы, управляющие миром.

Покупая фенацетин от головной боли, мама всегда опускала сдачу в кружки и даже при этом, должно быть по привычке, мелко крестилась, как в церкви, и лицо у нее под вуалью делалось суеверно испуганным, как бы предчувствуя свою близкую смерть.

Золотой двуглавый орел над вывеской аптеки придавал ей нечто государственное, как будто бы ей была свыше вручена власть над здоровьем и жизнью всех людей, живших поблизости, как бы тяготеющих именно к этой аптеке.

Со страхом я заглядывал через прилавок, ставши на цыпочки, в открытую дверь заднего отделения аптеки, где готовились лекарства, из пузырька в пузырек наливались через стеклянные воронки разные жидкости, в толстых фарфоровых чашках растирались фарфоровыми пестиками какие-то мази, катались на стеклянной доске пилюли, посыпанные зеленым порошком, что-то взвешивалось на миниатюрных аптекарских весах с роговыми чашечками и зелеными шнурками, пылало почти невидимое при дневном свете спиртовое пламя, и пахло йодистыми и ртутными испарениями, наклеивались шлейфоподобные ярлыки рецептов с двуглавыми орлами, всеяющие в мою детскую душу величайшее почтение, даже страх.

...Особенно пугали меня кислородные подушки, которые иногда при мне выносил из задней комнаты сам провизор для какого-нибудь помертвевшего от горя покупателя с блуждающими глазами и дрожащими губами, который, делая неверные движения пальцами, бросал на каучуковый кружок с присосками перед окошечком кассы рубли и полтинники, а потом, взяв две объемистые кислородные подушки, неумело обхватив их невесомые туши с гуттаперчевыми аппаратами и черными трубками для вдыхания кислорода — респираторами, — выбегал с ними на улицу, и прохожие поспешно уступали ему дорогу, как ангелу смерти, и меня охватывал ужас при мысли, что подушки не успеют к умирающему больному, делающему последние глотательные движения губами и горлом, и я даже слышал его сухое хриплое дыхание, в котором мне чудилось какое-то темное, ужасное предчувствие, пророчество...

Утопленница.

Поразительный случай произошел со мной в раннем детстве, еще при жизни мамы:

Долгое время в нашей семье хранилась как курьез довольно большая, захватанная пальцами визитная карточка, напечатанная в провизитальной типографии прописными буквами, гласившая:

«Кисель Пейсахович Гробокопатель, поссессор».

Поссессор значило арендатор.

Эту визитную карточку показывали тем, кто не хотел верить, что существует человек с таким анекдотическим именем.

Мы познакомились с ним, когда проводили лето на берегу Днестра возле местечка Резина, недалеко от станции Рыбница.

Смутно представляется мне фигура человека в холщовом пылевике, в белом просалившемся картузе, в мужицких сапогах, арендовавшего не только несколько виноградников возле Сахарны, но также державшего мелочную лавочку, куда мы иногда навещались с мамой; у него же обычно нанимали лошадей до Рыбницы, когда в августе уезжали обратно в Одессу к началу учебного года.

Помню, это был деятельный, услужливый, немного суетливый человек с испуганными глазами и доброй, несколько приторной улыбкой.

Не знаю, по каким делам, но он часто навещал нас в белой мазаной хатке, где мы жили высоко над стремительно-быстрым Днестром. Кажется, он был арендатором нескольких домиков, которые сдавал на лето дачникам, приезжавшим сюда из Одессы и Кишинева. Он был источником всех местечковых новостей, и каждый год зимой, ближе к весне, мы получали от него по почте открытку, в которой он напоминал о своем существовании и просил не забывать, что если мы соберемся летом пожить на Днестре, то он придет за нами на станцию бричку.

И вот однажды вечером, когда в комнатах уже горели сумрачные лампы, освещающие цветы на обоях, а за окнами шумел зимний, предвесенний дождь, всегда особенно печальный в городе, и по нашей Базарной улице текли пенистые потоки, низвергаясь водопадами сквозь решетки городской канализационной сети, вделанные в гранитные обочины мостовой, на лестнице, через стенку, слышались шаги поднимающегося человека, и почему-то я сразу почувствовал, что это идет к нам Кисель Пейсахович Гробокопатель и несет какую-то недобрую, даже ужасную весть.

...в передней зазвенел на пружине колокольчик...

Послышался голос мамы, открывавшей дверь, потом голос папы и, прежде чем я добежал до передней и увидел Кисель Пейсаховича в потемневшем от дождя брезентовом пальто с капюшоном на спине, я уже знал, что утонула Маруся.

Эта Маруся была одна из батрачек на винограднике, арендуемом Кисель Пейсаховичем, и я видел ее всего два или три раза и всегда именно в то время, когда она вместе с другими девочками сбегала вниз к Днестру купаться.

Почему-то она особенно запомнилась своими карими, каштановыми глазами, веселой молдаванской улыбкой и громким, но музыкальным, приятным голосом, который долетал с берега, когда девочки раздевались, а затем в длинных нижних рубахах с шумом бросались в стремительные струи Днестра с чернильно-черными воронками водоворотов, и рубахи девочек шлепали по воде, надувались пузырями и неслись вниз по течению вдоль берега, покрытого слоем камышовых щепок, выброшенных сюда во время разлива откуда-то сверху, может быть с самых отрогов Карпат.

— Утонула Маруся? — дрожа от страха, закричал я.

Этот порыв ясновидения испугал маму, и она, побледнев сама, стала меня успокаивать, говорить, что я фантазирую, но Кисель Пейсахович среди множества новостей, привезенных им с берегов Днестра, уже сидя за чаем, подтвердил, что в прошлом году, после того как мы уехали, батрачка Мария действительно утонула, купаясь в Днестре, необычайно раздувшемся после летних ливней в Карпатах. Она попала в водоворот, ветер облепил ее прелестную головку вздувшейся пузырями рубахой, и она задохнулась в бурной воде, утонула, ее понесло вниз по течению, затащило на середину Днестра, и потом ее тело два дня искали баграми, пока наконец не нашли за десять верст от Резины.

С тех пор я вижу вздувшиеся, темные, как свинец, струи Днестра, несущего белую утопленницу с лицом, облепленным тонкой сорочкой, все дальше, и дальше, и дальше, мимо глинистых обрывов, как бы светясь сквозь сердитую воду посиневшей от ярости реки.

И так эта мертвая красавица всю мою жизнь, ни на минуту не останавливаясь, проплывала и до сих пор проплывает в моих сновидениях — прекрасная и пугающая, как гоголевская утопленница, с разметавшимися волосами, с которых ручьями течет речная вода...

...и когда в 1944 году ранней весной наш штурмовик летел в ущелье Днестра мимо глинистых обрывов, откуда из дыр вылетали стаи потревоженных стрижей, и мы бросали бомбы на немецкие обозы, и вокруг нас рвались красные звезды вражеских зениток, в весеннем тумане подо мной стремительно неслись черные струи вздувшегося Днестра, и мне казалось, что я вижу сквозь воду белое прекрасное тело уплывающей куда-то красавицы с разметавшимися волосами... и над нами тяжело пролетели аисты, возвращающиеся из чужих краев в родную Молдавию...

Волшебный рог Оберона.

Тогда еще по базарам и ярмаркам странствовали со своими лубяными коробами, обернутыми в домотканую холстину, продавцы дешевых народных песенников и книжек, так называемые офени.

Едва я научился читать по складам, как тут же моя бабушка — папина мама — пошла на привоз и купила мне у офени две копеечные лубочные книжки.

...я думаю, старушка не представляла себе, что в городе есть книжные магазины...

Одна из этих книжек как-то совсем улетучилась из моей памяти, будто бы ее и вовсе никогда не было, хотя я знаю наверно, что она была и что на ее обложке даже была какая-то прекрасная цветная картинка.

Другая же книжка называлась:

«Волшебный рог Оберона» — и на ее обертке было напечатано яркими липкими красками изображение не то короля, не то какого-то рыцаря, не то волшебника верхом на богато разубранной лошади, в дикой чаще сказочного леса:

...Всадник поднес к своему алону рту, к своей каштановой бороде закрученный охотничий рог на золотой цепочке, и, мне казалось, я слышу его медный раскатистый голос, наполнивший чудной своей музыкой не только нарисованный лес с зелеными папоротниками и белыми ландышами, но также всю нашу Базарную улицу...

Я понемногу читал эту книжку, складывая буквы в слоги, а слоги в слова, но ее содержание произвело на меня гораздо меньшее впечатление, чем картинка на обложке. Сейчас я уже совершенно не помню, что было напечатано в книжке сероватым шрифтом на плохой бумаге. Но на всю жизнь в памяти моей остался заголовок:

«Волшебный рог Оберона».

И яркая картинка обложки, как бы сразу заменившая мне все искусство мира, о котором тогда я еще не имел ни малейшего понятия.

К этому примешивалось не менее сильное чувство обладания: ведь книжка принадлежала мне, была моей собственностью, и я прятал ее у себя под подушкой, чувствуя во сне литографический запах, смешанный с затхлым, старческим, шерстяным запахом маленькой древней вятской попадьи, моей родной бабушки — мамы моего папы, которая, сама того не ведая, подарила мне слова:

«Волшебный рог Оберона».

...быть может, разбудившие во мне поэта.

Слабительное.

— Он горит! — сказал с дрожью в голосе папа, потрогав мою голову. — Женя, — обратился он к маме, — посмотри, он пылает!

Мама подошла к моей кровати и, просунув сквозь гарусную сетку руку, приложила прохладную ладонь к моему лбу, а потом перевернула ладонь и приложила ее обратной стороной к моей щечке, потом к шейке.

— Пьер, — сказала мама, — бога ради, скорее градусник!

Начались поиски градусника, и я слышал, как с визгом открывались ящики маминого комода, а потом звонко щелкнул особенный замок верхнего ящика папиного комода.

Я лежал с закрытыми глазами, и сквозь мои веки проникал кровавый свет лампы, принесенной из столовой с папиной конторки. Папа подошел ко мне с градусником в руке. Я открыл глаза. Градусник сверкнул зигзагом, как молния, и громыхнули папины крахмальные манжеты — это папа стряхнул термометр. Потом он сунул его мне под мышку, и на миг я почувствовал скользкий ледяной холодок еще не нагретого стекла, как будто бы мне под мышку сунули сосульку. У меня открылось плечо, и папа бережно натянул на него край душного одеяла.

Мне было тошно. Я горел. Я испытывал мучительное чувство, уже знакомое мне прежде. Это чувство, вернее телесное ощущение, состояло в том, что кисти моих маленьких рук, как бы наливаясь свинцом, начинают все расти, расти и расти, превращаются в громадные, пудовые гири и в то же время все уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются, делаясь крошечными, как булавочная головка, и эта одновременная борьба во мне чего-то неимоверно громадного, постоянно распухающего, тяжелого с чем-то микроскопически-крошечным и все время уменьшающимся наполняла мою душу, мое помраченное сознание непрерываемой тоской, страхом, беспомощностью, и мне все время представлялся нескончаемо длинный коридор, где по направлению ко мне откуда-то издали с четким стуком твердых каблучков торопятся чьи-то шаги и все никак не могут добежать до меня, одновременно и двигаясь и стоя на одном месте, что угнетало все мое существо так же мучительно, как и борьба пуда с булавочной головкой.

Я не почувствовал, как у меня из-под мышки выскользнула стекляшка термометра, но услышал два голоса — папы и мамы, слившиеся с бегущими по бесконечному коридору неподвижными шагами.

...мир вокруг меня не имел ни начала, ни конца... он был бесконечен...

Темный ртутный стерженек наполнил все плоское тело градусника, гладко-обтекаемый кончик которого — ртутная пулька — злоеще сверкал до рези в глазах зеркальной белизной живого серебра.

— Боже мой! Пьер! У него сорок и две десятых! — сказала мама.

— Женечка, я теряю голову, — сказал папа.

— Скорее за доктором!

— Да, да.

— На извозчике... к Линтвареву.

— Он горит. Он горит.

Я горел и уже перестал понимать время, слившееся для меня при свете лампы, заставленной открытой книгой, с бесконечно бегущими по коридору зловещными шагами, которые вдруг закончились появлением знаменитого детского врача Линтварева, его белых рук с обручальным кольцом, его растопыренных пальцев, приложенных к белым кафелям жарко натопленной печки, его золотых часов, вдруг со звоном раскрывшихся, как твердые крылья жука, собирающегося лететь, в то время как сам он — великий детский врач Линтварев, — крепко держа пальцами мое запястье, считал пульс.

...его грозные брови, еще более грозные глаза, увеличенные стеклами очков, и запах йодоформа, исходивший от его очень длинного сюртука...

Я уже не помню исчезновения доктора Линтварева, оставившего в маминых руках рецепт, который он, по-видимому, выписал за папиной конторкой в столовой.

Помню только, как суетливо накидывала на себя бурнус и повязывалась платком разбуженная кухарка, которую послали в аптеку, в ту самую аптеку против магазина Карликов...

А время то несло, то останавливалось, то совсем исчезало, и я проваливался в неподвижную пустоту и летел куда-то вверх и в то же время вниз, уже ничего не понимая, кроме ужаса этого безостановочного полета.

Потом я вдруг так страшно вспотел, что пот захлюпал у меня под мышками, волосы взмокли, рубашонка прилипла к телу, одеяло сползло на пол, и я ощутил отрадное дуновение прохлады.

Температура упала так же неожиданно и быстро, как и вскочила.

Я лежал блаженно ослабевший и смотрел на папу и маму, которые рассматривали возле лампы нарядную коробочку, обклеенную золотой бумажкой, принесенную из аптеки кухаркой. От коробочки тянулся длинный шлейф бумажного рецепта с двуглавым орлом и латинскими словами, написанными каллиграфическим почерком провизора.

— Я уже выздоровел, — сказал я слабым голосом. — Я уже по-тею.

Папа подошел ко мне и ощупал все мое мокрое, прохладное тельце. Он сунул мне под мышку термометр. Я терпеливо выдержал пятнадцать минут, пока папа не вынул термометр и не поднес его к лампе.

— У него тридцать шесть и шесть,— сказал он маме.

— Какое счастье!— воскликнула мама.

Она подбежала ко мне, стала меня целовать, переодевать, и вскоре я уже лежал во всем сухом и прохладном, наслаждаясь радостью своего внезапного выздоровления.

...не знаю почему, но в детстве и в юности у меня без всяких видимых причин вдруг вскакивала температура до сорока, даже до сорока одного, а потом так же быстро, внезапно падала до нормальной, и, таким образом, проboleв несколько часов и напугав всех домашних, я снова делался здоровым и свежим как огурчик...

— Все-таки, Пьер, ему надо дать порошки,— сказала мама.

— Зачем?— спросил папа.

— Потому что это прописал сам Линтварев,— ответила мама, произнося слово «Линтварев» как имя какого-то божества.

Линтварев и считался божеством. Он был страшно дорогой и модный детский врач, считавшийся всемогущим.

— Ах, этот Линтварев!— воскликнул папа, в котором вдруг заговорило все его толстовское неверие в докторов.— Доктора только людей морят,— пробормотал папа.

— Пьер, ты крайний нигилист!— воскликнула мама.— Надо что-нибудь одно: или верить доктору, или не верить!

— В медицину я верю,— упрямо сказал папа,— а докторам не верю. В особенности во всяких Линтваревых. Взял за визит пять рублей и прописал ребенку какую-то чепуху, а ребенок выздоровел сам по себе, без всяких лекарств. Природа победила!— прибавил папа торжественно.— Впрочем,— сказал он,— если хочешь, можешь дать ребенку порошок. Надеюсь, от него вреда не будет.

Мама принесла стакан кипяченой воды из самовара и открыла коробочку с порошками, но тут папа, надев пенсне, стал читать рецепт, и вдруг лицо его побагровело.

— Каломель!— закричал он в негодовании.

— Ну и что же?— спросила мама.

— Это сильнейшее и опаснейшее слабительное, почти яд,— ответил папа.— Я не позволю, чтобы моему ребенку давали отраву.

— Пьер, опомнись!— воскликнула мама.— Но ведь это прописал сам Линтварев! Он великий специалист по детским болезням!

Но папа продолжал кипятиться:

— Какой он там специалист. Он просто грубый коновал. Ему бы лечить коров, а не маленьких детей. Нет, ты только подумай: он прописал нашему ребенку лошадиную дозу каломели.

— Ну все-таки...— сказала мама.— Я дам ему всего один порошок.

— Ни за что! Ни полпорошка!— закричал папа.— Я не позволю травить ядом нашего сына. В печку его, в печку!

И не успела мама произнести «ах!», как папа в развевающемся сюртуке с порошками в руке очутился возле печки, с поразительной быстротой отвинтил медный запор герметической заслонки, откинул ее в сторону и, весь озаренный жаром раскаленных дубовых дров, яростно бросил в трескучий огонь нарядную аптекарскую коробочку, которая в один миг вместе со всеми линтваревскими порошками превратилась в черный комок пепла, улетевшего в трубу.

Затем папа закрыл двойную чугунную заслонку, завинтил медный винт и, сразу успокоившись, виновато подошел к маме:

— Извини, Женечка, но — ей-богу! — я был прав.

Не знаю, что ответила мама, так как я уже сладко спал, положив по своему обыкновению руки ковшиком под щеку.

Папин завтрак.

Повязавшись белым фартуком, мама жарила на кухне котлеты. На глазах у меня плоские розовые сырые котлеты, слепленные из рубленого мяса, вспухали, покрывались коричневой корочкой, и когда мама, желая проверить степень их готовности, надкалывала их вилкой, из них с шипеньем брызгал горячий говяжий сок, наполняя кухню до того аппетитным запахом, что у меня слюнки текли. Мама была мастерица жарить котлеты и жарила их сама, особенно в тех случаях, когда они предназначались на завтрак папе.

Два раза в неделю папа давал уроки в юнкерском училище, и мама посылала ему туда завтраки с моей бонной, а попросту говоря, няней, — белокурой рижской немочкой по имени Амалия, которую некоторые наши гости игриво называли:

— Амалия и так далее...

Что заставляло Амалию краснеть, а маму — грозить остряку средним пальцем с маленьким обручальным кольцом.

...Мама раскладывала на столе твердо накрахмаленную салфетку с нашей семейной меткой гладью и заботливо, словно совершая некий важный и приятный ритуал, заворачивала в нее пухлые, еще горячие котлеты, вложенные между ломтями белого хлеба, так называемого арнаута, который быстро пропитывался котлетным соком — вкусной коричневой подливкой...

Салфетка завязывалась сверху узелком, и Амалия брала папин завтрак в руки, уже одетая в тальму и шляпку, в то время как мама надевала на меня пальтишко, причем я все время не попадал вывернутыми руками в рукава, а потом, вытащив мои пухлые кулачки наружу, мама застегивала у меня на горле тугой крючок и на всякий случай надевала на мои ноги суконовые — на резине — ботики. «Амалия и так далее» на всякий случай брала свернутый зонтик, и мы отправлялись по Французскому бульвару, еще называвшемуся тогда Среднефонтанской дорогой, в юнкерское училище, стараясь не опоздать к большой перемене, которую возвещали звуки трубы, слышные далеко вокруг большого казенного, по-военному мрачного здания юнкерского училища, выкрашенного в казарменный желтый цвет, всегда наводивший на мою душу уныние и еще какое-то сложное чувство нелюбви ко всему военному.

Тогда еще перед юнкерским училищем не было ни сквера, как стало позднее, ни стадиона, как теперь, а был громадный, заваленный мусором и поросший почерневшим бурьяном пустырь, вернее овраг, над которым жесткий ветер поздней осени или очень ранней весны нес облака холодной пыли и с такой силой бил в лицо, что мы с Амалией принуждены были время от времени поворачиваться спиной и идти задом наперед, причем Амалия с трудом удерживала рукой в кружевной перчатке свою рижскую шляпку, готовую всякий миг улететь в серое от пылевых смерчей небо, где ныряли и кувыркались бумажные змеи, запущенные мальчишками с Новорыбной улицы.

...раздувались и трещали накрахмаленные юбки Амалии...

Часто в эти дни в мой глаз попадала соринка, песчинка, натирала мне веко, и потом ее долго удаляли разными способами: то мама, вывернув мне веко, осторожно вылизывала ее языком и я чувствовал на лице мамино влажное, теплое дыхание, то Амалия наливала

чайный стакан кипяченой водой — доверху, всклянь, — и я опускал в него изо всех сил вытарщенный глаз и держал его в воде до тех пор, пока песчинка или соринка сама собой не вымывалась из глаза.

И — боже мой! — какое я тогда испытывал наслаждение после адских мук, причиненных моему нежному глазу острой, граненой песчинкой с юнкерского пуствыря.

...это еще были остатки Одессы пушкинских времен, «Я жил тогда в Одессе пыльной...»

Мы проникали в юнкерское училище с парадного хода с тяжелой дверью и поднимались по мраморной лестнице в два марша мимо белого гипсового бюста царствующего императора Николая II, поставленного на мраморную полочку, приделанную к белой стене. На гипсовую голову императора с косым пробором постепенно оседала пыль, так что его макушка была несколько темнее бородки и щек под неподвижно-лучистыми августейшими глазами, что придавало облику императора странное выражение запущенности, обреченности.

...в 1917 году, в день Февральской революции, в Одессе произошли сильные оползни как раз в районе Отрады и Малого Фонтана, где не было повреждено ни одного дома, кроме массивного здания юнкерского училища, переименованного в то время в военное училище: глубокая трещина прошла через капитальную стену фасада и расколола бюст государя императора, что было воспринято как зловещее предзнаменование конца трехсотлетней династии Романовых.

Я сам видел тогда этот треснувший бюст, еле державшийся на своей расколоте полочке...

Но во время моего детства царский бюст был еще цел, и мы с Амалией проходили мимо него по красной ковровой дорожке лестницы с почтением и некоторым страхом, видя в Николае II нечто вроде земного божества.

На верху лестницы были еще одни двери, стеклянные, а за ними сидел на табуретке дневальный юнкер в белой, будничной косоворотке, с голубыми, будничными погонами. Он докладывал о нашем появлении дежурному офицеру, и нас впускали в приемную, где Амалия оставляла сидеть и дожидаться, а для меня как для маленького мальчика, сына преподавателя, делали исключение и разрешали пройти в очень широкий коридор, где дежурный трубач уже трубил отбой. Начиналась большая перемена, и, окруженный юнкерами, из класса выходил оживленный папа с указкой в руке и свернутой географической картой под мышкой. Я приближался к нему, протягивал завтрак в салфетке, а он, в новом сюртучке, разительно отличаясь от всего военного своим мирным, штатским видом, принимал из моих рук приготовленный мамой завтрак, затем поднимал меня и целовал, щекоча мое лицо своими усами и бородой.

Юнкера со штыками в кожаных ножнах, привешанных сзади к поясу с ярко начищенной орленой бляхой, щекотали меня, делали мне козу и бодали своими крепкими щетинистыми головами, а я отбивался от них и хохотал так громко и заразительно в этом огромном угрюмом военном коридоре-зале, что даже полковник в парадной форме с эполетами и орденom на тугой шее, инспектор классов, проходя строевым шагом мимо вдруг окаменевших юнкеров и поводя своими длинными стреловидными усами, снисходительно улыбнулся сквозь золотое пенсне, ущипнувшее его толстую переносицу. Он как бы хотя и не одобрял, но и не запрещал игру своих юнкеров с ребенком, принесшим сюда домашние котлеты своему штатскому папе

Пока папа, устроившись перед подоконником, с благоговением ел приготовленный милыми маминими руками еще теплый завтрак, стараясь не уронить ни одной крошки, я со страхом рассматривал окружающие меня предметы: развешанные по стенам какие-то военные таблицы и мишени, учебную винтовку на специальном станке, наконец, особенно поражавшую и пугавшую меня полевую трехдюймовую пушку на зеленых колесах, подоткнутых деревянными треугольниками, чтобы пушка не скользила по паркету. Рядом с ней находился набор настоящих артиллерийских снарядов, угрюмо отливших гладко выточенной сталью, блестящих медью боевых головок и центрующих поясков, как мне объяснил один из усатых юнкеров с плоско-щетиистой головой.

В соединении с устойчивыми военными, казарменными запахами натертых мастикой полов, армейского сукна, ваксы, кожи, щей, гречневой каши, светильного газа и оружейного масла все это угнетало меня предчувствием какой-то отдаленной, но неизбежной беды, подстерегающей всех нас, штатских людей, мирно и тихо живущих на свете за пределами этого казенного, военного здания.

Я заметил, что другие преподаватели, военные, завтракая на ходу булками с колбасой, не без зависти смотрели на моего папу, евшего такие вкусные домашние котлеты, постелив на широкий подоконник безукоризненно белую, туго накрахмаленную салфетку, свисающую вниз одним углом с нашей меткой гладью.

...но вот раздавался надтреснутый, трагический вопль медной трубы, возвещавшей конец большой перемены.

Забрав с собой салфетку, с чувством хорошо выполненного долга мы с Амалией, раскрасневшейся после игривых разговоров с дежурным офицером, выходили на пустырь, где нас подхватывал сухой жесткий ветер, задиравший крахмальные юбки Амалии и крутящий вокруг нас бурые облака пыли, такие мрачные под пасмурным небом поздней осени или же очень ранней южнорусской весны...

Постное масло.

В квартире никого не было. Я остался один. Кто не испытывал в детстве чудесного чувства безграничной свободы и вместе с тем страха, когда его ненадолго оставляли в пустой квартире среди непривычной, ошеломляющей тишины, шумящей в ушах как водопад, изредка нарушаемой таинственным потрескиванием мебели или звуком упавшей в кухне из крана звонкой капли?

Я ходил по тихим, пустым комнатам среди мебели и разных других вещей, чувствуя себя полным хозяином: что хочу, то и сделаю!

...захочу — подставлю стул и полезу на верхнюю полку буфета, где стоят туго завязанные бумагой банки варенья, присланные бабушкой из Екатеринослава; захочу — попытаюсь открыть верхний ящик папиного комода; захочу — понюхаю в тетиной комнате духи, вынув стеклянно-матовую пробку причудливого флакона; захочу — открою крышку пианино и одним пальчиком выстукаю «Чижика»; захочу — пойду в кухню и осмотрю там все полки и ящики, в которых всегда можно найти множество интересных предметов, а то загляну в таинственный сундучок кухарки и узнаю, что она там прячет...

Дело было в послеобеденное время, и уже довольно низкое, но все еще яркое солнце по диагонали пронизывало всю нашу квартиру своим желтым светом.

В кухне было особенно солнечно, тепло и тихо. Я еще не решил, что мне предпринять, как вдруг взгляд мой остановился на чайном стакане на подоконнике рядом с куском недоеденного хлеба. Стакан был наполовину недопит, и чай в нем, пронизанный солнечными лучами, светился, как янтарь. Он уже, по-видимому, успел остыть, а я ужасно любил остывший сладкий чай, который всегда напоминал мне поездки по железной дороге в Екатеринослав к бабушке, потому что тетя поила меня в вагоне таким заранее приготовленным сладким чаем, наливая его из специальной бутылки в свою жеваховскую чашку.

У меня потекли слюнки, и, несмотря на то, что мне было строго-настрого приказано не ходить в кухню и ничего там не трогать, я взял в руки стакан, показавшийся мне слишком тяжелым, и, предвкушая наслаждение, с жадной торопливостью его выпил до дна и в ту же секунду понял, что произошла ужасная ошибка: вместо чая в стакане оказалось подсолнечное масло и я вместо сладкого, холодного, душистого чая залпом проглотил жирную жидкость, чувствуя на языке ее какой-то пресный и вместе с тем своеобразно-пахучий вкус.

Вся полость моего рта, зубы, язык, гортань были покрыты пленкой растительного жира. Меня едва не стошнило. Я выронил стакан, он разбился. Я бросился к кухонному крану и пытался прополоскать рот, но рот не прополаскивался; не так-то было легко избавиться от налета подсолнечного масла. Мой подбородок, щеки, руки, даже почему-то уши были покрыты подсолнечным маслом. Я стал мылить руки стирочным, кухонным, так называемым казанским мылом — серым с синими прожилками, но мыло плохо мылилось и постное масло не смывалось.

В это время в кухню вошла вернувшаяся из города тетя, ведя за ручку маленького Женю. Еще не переступив порога кухни, она сказала:

— Я же говорила, что этого скверного мальчишку нельзя оставлять в квартире одного. Он выпил подсолнечное масло. Когда-нибудь он напьется уксусной эссенции, и тогда придется вызывать карету скорой помощи. У тебя,— сказала она, обращаясь уже прямо ко мне,— глаза завидующие и руки загребущие: что ни увидят, то и хватают. Ох, ты у меня когда-нибудь докрутишься!

— Ах, тетя, вы ничего не понимаете! — с тоской сказал я.

А Женька захохотал...

Стоило ли им объяснять мою ошибку? Все равно они бы не поверили.

Мерцание рождественских снегов.

В доме одного мальчика я увидел рождественскую елку, поразившую меня тем, что она стояла на как бы настоящем сугробе мерцающего снега и ее ветви были так же покрыты как бы самым настоящим мерцающим снегом.

Дело оказалось очень простым: елку обложили обыкновенной ватой, посыпанной сверху борной кислотой. Пластиночки борной кислоты блестели, как поверхность снега, прихваченная рождественским морозцем, с кристалликами крупных снежинок.

Освещенный елочными свечами, этот искусственный парчово-белый снег вспыхивал разноцветными огоньками и был несказанно прекрасен.

Пожираемый завистью, я решил на следующий год устроить у нас на елке такой же снег. Разумеется, я тут же забыл о своем решении и вспомнил о нем лишь в сочельник, когда елка уже стояла в гостиной, воткнутая в деревянный крест, который тут же вырубил топором и связал, повертев в середине коловоротом дырку, дворник Петр, мастер на все руки.

...крепко смерзшиеся ветви елки, постепенно согреваясь в нагретой комнате, распускались красивой сквозной темно-зеленой пирамидой и наполняли воздух особым смолистым, лесным, рождественским запахом — каким-то крепким, очень русским..

На столе уже были разложены прошлогодние елочные украшения — тончайшие, почти невесомые стеклянные шары, бумажные цепи, золоченые и серебряные орехи, подсвечники на пружинных защипках, пачки разноцветных парафиновых свечек, мотки серебряной канители, мигающие при свете вечерней лампы, облитые белым сахаром, ржаные звездообразные пряники с цветными гарусными петельками и множество других украшений и картонажей, вызывавших в душе острое ощущение наступающего праздника.

Я тотчас забрал с буфета сдачу, оставленную кухаркой после базара, и побежал в аптеку за гигроскопической ватой, и купил ее на все деньги — несколько синих бумажных свертков, перевязанных накрест тонким, очень крепким аптекарским шпагатом, припечатанным на месте скрещения бумажным кружком со знаком Красного Креста.

Борную кислоту я решил не покупать, так как у нас в доме она всегда водилась для полоскания горла в случае ангины или инфлюэнцы.

Когда я вернулся домой с ватой, уборка елки была во всем разгаре и тетя, стоя на скамеечке, поставленной на стул, забрасывала на верхние ветки веревочку с гирляндой бумажных флажков разных наций, из которых мне особенно запомнился флажок Сиам с белым слонем на алом поле.

Я принялся вместе со всеми — с тетей, маленьким Женькой и папой — украшать елку, ничего им не говоря о блестящем снеге, который решил устроить сам в виде приятного рождественского сюрприза.

Когда елку наконец нарядили сверху донизу, было уже поздно, все валились с ног от усталости, а Женька даже заснул на полу под нижними ветками с шуршащей бумажной цепью, провисшей до паркета. Тетя взяла его на руки, и мы все отправились спать, но рано утром, когда лапчато-замерзшие стекла окон еще с трудом пропускали синий рассветный свет, я пробрался босиком по холодному полу в гостиную к темной, почти не различимой в утренних сумерках, мерцающей стеклянными шарами и серебряной канителью елке и приступил к делу.

Я обложил крест, в который была воткнута елка, пластами гигроскопической ваты, расстелил ее в виде снежной пелены на полу под елкой, а на ветки набросал белоснежные клочки, как у Пушкина:

«...Пришла, рассыпалась; клоками повисла на суках дубов...»

Полюбовавшись на устроенные мною пушкинские клоки и великолепный ковер, я отправился за борной кислотой, которая всегда хранилась в буфете на нижней полке. Но борной кислоты там не оказалось. Я потихоньку обшарил всю еще спящую квартиру, побывал в кухне, где заспанная кухарка уже совала пучок подожженных лучин в тесное горло самовара, откуда валил зеленоватый дым, заглянул в чулан.

Борной кислоты нигде не было; вероятно, ее уже всю истратили на полосканья, а новой не успели купить.

Что делать?

Тут я заметил в кухонном коридоре на подоконнике коробку с нафталином, и меня осенила мысль, что, в сущности, нафталин мало чем отличается от борной кислоты: такой же белый, пластинчатый, блестящий, морозно-мерцающий, даже, может быть, еще больше похож на снежную пелену, чем борная кислота. Торопясь посыпать елочный снег мерцающим порошком, я пошелел в гостиную и густо посыпал гигроскопическую вату нафталином.

Уже рассвело, и в гостиную заглядывала сквозь обледеневшие окна розовая заря, при свете которой вата, посыпанная пластинками нафталина, волшебным сверкала, вспыхивая разноцветными огоньками, ничем не уступая сверканию настоящих рождественских снегов, озаренных ранним ярко-ледяным солнцем.

Полюбовавшись на дело рук своих, я пробрался в нашу комнату, тихонько влез под одеяло, притворился сладко спящим и с нетерпением стал ждать того мига, когда все встанут, выйдут в гостиную и вдруг увидят елку, сверкающую снегом.

...Мне не пришлось слишком долго ждать...

Я услышал, как проснулся рядом с моей кроватью папа и стал одеваться, все время производя носом какие-то странные звуки. Приоткрыв глаза, я увидел, что папа принюхивается к чему-то, с недоумением поворачивая во все стороны голову. Потом он вышел из комнаты; слышались его шаги в коридоре: он направлялся в гостиную, куда вело его на редкость тонкое обоняние. Папа всегда раньше всех распознавал самые отдаленные, слабые запахи. Он первый замечал, например, что где-то начинает коптить лампа.

Через некоторое время я услышал его сердитое бормотанье, к которому вскоре присоединился полный возмущения звонкий голос тети, вышедшей из своей комнаты. Очевидно, тетя и папа стояли возле елки.

— Ну, ты наделал! — сказал проснувшийся Женька, глядя на меня своими шоколадными зеркальными глазками из-за прутьев кровати.

Однако я не обратил внимания на его странное замечание. Мне даже показалось, что тетя и папа восхищаются в гостиной елкой, ее блистательным снежным убором. Я стал быстро одеваться, ожидая похвал моей изобретательности и художественному вкусу, но я не успел зашнуровать первого ботинка, как вошел багровый от гнева папа и закричал высоким петушиным голосом:

— Это ты сделал подобное свинство? Молчи! Можешь не отвечать! Это бог наказал нас за то, что мы так плохо тебя воспитываем. Ну, объясни мне, как тебе могла прийти в голову идиотская мысль высыпать на елку два фунта нафталина? Ты понимаешь, что ты наделал? Ты провонял всю квартиру, ты отравил воздух, теперь нам нечем дышать, я задыхаюсь от этой вонищи! Ты испортил нам весь праздник!

Я начал объяснять ему свой блестящий замысел, привел в доказательство стихи Пушкина насчет великолепных ковров, но папа заревел на всю квартиру:

— Не смей кощунствовать, упоминая имя Пушкина! И скажи спасибо, что в силу своих убеждений я не могу тебя выдрать как сидорову козу.

При сих словах папа крепко схватил меня за плечи, выставил вперед нижнюю челюсть и стал трясти, повторяя:

— Я тебе покажу Пушкина!

И тряс до тех пор, пока я не понял своей глупости и не залился горькими слезами раскаяния, на чем все дело и кончилось.

...но елка, которая у нас устраивалась для гостей на третий день праздника, была наполовину испорчена, так как в доме стоял тяжелый, совсем не рождественский запах нафталина. Этот запах никак не мог выветриться до самой пасхи, так что и пасха была отчасти испорчена...

Окончательно запах нафталина выветрился только летом.

Ватрушки с изюмом.

Лет до двадцати или даже больше, до самой гражданской войны, даже до смерти папы, мне никогда не приходила в голову мысль, что я уже когда-то был на Кавказе. Я был уверен, что никогда не был на Кавказе и если имел о нем какое-то яркое представление, то лишь потому, что читал Лермонтова, вселившего в мое воображение видение голубоватых гор с облачками над их вершинами.

И вдруг в один прекрасный день совершенно неожиданно я вспомнил, что когда-то — баснословно давно — я уже побывал на Кавказе.

Множество раз слышал я слово «Ессентуки», и оно вызывало в моем воображении всего лишь бутылку минеральной воды — я очень хорошо видел эту бутылку во всех подробностях, с горами и черным орлом на этикетке, — но лишь один раз при слове «Ессентуки» передо мной возникла не вполне законченная, но очень яркая — как в волшебном фонаре, — неподвижная, строго ограниченная во времени и пространстве картина широкой тенистой аллеи, усыпанной желтым песком, на котором лежали лиловые кружевные тени каких-то еще тогда неизвестных мне деревьев и решетчатых скамеек под ними. Где-то в отдалении угадывались бледно-зеленые, голубоватые от летнего воздуха долины, за ними сиреневые пологие холмы, голубые горы и редкие легкие облачка в горном небе.

Туда и обратно по аллее ходили дамы, и господа, и офицеры в белоснежных крахмальных сюртуках с двумя рядами золоченых пуговиц и фуражках в белых чехлах.

...изредка мимо нас катили в кресле какого-нибудь немощного старика с ногами, покрытыми шотландским пледом, и меня пугала смертная белизна его безжизненного лица и беззубого рта...

Бегали, высунув языки, породистые собаки в ошейниках. Где-то стоял, как зеленый столб дыма, пирамидальный тополь, похожий на те тополя, которые впоследствии я видел так красиво нарисованные Лермонтовым и воспроизведенные в его сочинениях. И все это вместе называлось воды.

Папа, мама и я, оказывается, некогда все вместе «ездили на воды». Мне, наверное, тогда было года два, и я помню посередине аллеи большую, выкрашенную желтой масляной краской будку, называвшуюся киоском, где на две стороны продавалась зельтерская вода с сиропом, пирожные и ватрушки.

Ватрушки я увидел первый раз в жизни именно на Кавказе, в Ессентуках, посередине аллеи, казавшейся мне без начала и конца, как вечность.

Что лежало на откинутых прилавках будки, казавшейся мне громадной, я не мог видеть, стоя на песке. Но когда папа в своей войлочной курортной осетинской шляпе и в малороссийской вышитой рубаше поднял меня за локти и посадил себе на горячее плечо, я прежде всего увидел ватрушки, поразившие меня своим аппетитным видом.

С тех пор многое в мире изменилось, но ватрушки не изменились. Они лишь стали ровно настолько меньше, насколько я стал больше. Тогда же они мне, крошечному мальчику с узкими китайскими глазами, представлялись громадными.

Помню их пухлые, бубликообразные края и середину, заполненную даже на вид сочным, сладким, с темными изюминками творогом, обмазанным сверху еще чем-то сладким, прозрачно-желтым, лаковым, что вызывало во мне особенно сильное вожделение.

Я протянул руки к ватрушке.

Папа, смеясь, достал из портмоне две копейки с темноватым двуглавым орлом — так называемый «семишник», — бросил монету на цинковый прилавок, наклонил меня, и я схватил ватрушку.

До сих пор чувствую сочный, сдобный вкус этой первой в моей жизни ватрушки, в которую я вгрызался своими еще молочными зубками. Кажется, мама под своим кружевным зонтиком была недовольна, что папа купил мне ватрушку. Помню также, но смутно, как у меня потом заболел живот, начался понос, как папа и мама боялись, что это «кروавый понос», но все обошлось благополучно, а на горизонте по-прежнему голубели холмы, а за холмами горы, а за горами еще горы, а на переднем плане стоял стройный лермонтовский тополь с кудряво очерченным контуром.

Деревянное масло для лампадки.

Иногда в субботу вечером, после всенощной, мы ходили с папой за деревянным маслом для лампадки, которая всегда горела в нашей комнате перед иконой спасителя как неугасимая память по покойной маме.

Хождение за деревянным маслом почему-то связано для меня с темными, очень туманными вечерами поздней осени или совсем ранней весны. Чаще всего это происходило в канун какого-нибудь двенадцатого праздника, когда в конце длинной всенощной священник, подставляя к губам подходящих к нему прихожан крест, мазал кисточкой их лбы особым, священным душистым маслом, так называемым «миром», от которого и произошло слово «миропомазание».

...Помню, как папа, выходя из церкви, растирал масло по своему высокому лбу, который от этого казался еще более скульптурным и благоухающим...

Мы шли с папой по вечерней улице, умиротворенные тихими, как бы приглушенными звуками церковного хора, стройными аккордами голосов, постепенно затихающих в сумерках отдаленных углов и закоулков храма, где кротко светились две или три разноцветных лампадки перед совсем темными иконами с неразличимыми во тьме ликами угодников и великомучеников. Мы продолжали растирать на лбах миро, распространявшее в туманном воздухе бальзамический запах казанлыкского розового масла, одна капля которого, как говорили, ценилась на вес золота.

Я любил смотреть на папин лоб, лоснившийся от растертого масла, на его кроткие глаза за стеклами пенсне, на его влажную от черней сырости бороду.

Мы входили в лавку церковных принадлежностей, находящуюся в здании Афонского подворья, где в особой гостинице жили паломники по святым местам, дожидавшиеся парохода «Русского общества пароходства и торговли», который раз или два раза в месяц совершал рейсы в Афон и Яффу, откуда уже было рукой подать до Иерусалима с Голгофой, Гефсиманским садом и всеми его прочими святынями, в которые я тогда так глубоко веровал.

Папа говорил, что Гоголь тоже некогда совершил паломничество в Иерусалим и возвращался оттуда вместе с паломниками через Одессу, на пароходе или же на паруснике — уже не помню. Было только известно, что в это время в Одессу ждали чуму и Гоголь просидел в одесском карантине чуть ли не целый месяц.

Я отчетливо представлял себе сумасшедшего Гоголя в развевающейся крылатке, с длинным птичьим носом на борту парусника, огибающего наш белый портовый маяк, а потом сидящего в мрачном здании одесского карантина. О чем он там думал, измученный темным язычеством православия?

Магазин церковных принадлежностей, куда надо было подняться по нескольким чугунным узорчатым ступеням, совсем не походил на обыкновенное торговое предприятие. Скорее он напоминал тихий церковный придел, где возле большой новой иконы горела неугасимая лампада. Прилавки поражали своей опрятностью, и трудно было поверить, что в них хранятся не священные предметы, а товары, которые можно купить за деньги: киевские и афонские крестики, кипарисовые ложки с черенком, вырезанным в виде кисти человеческой руки с пальцами, сложенными для крестного знамения.

Монах-продавец, высокий, рыжебородый, с конопатым от оспы лицом, со впалой грудью и узкой, рыбьей спиной, с лживо-низким поклоном неслышными шагами входил и выходил из как бы тоже кипарисовых дверей с ярко начищенными медными ручками и вырезанными крестами и наконец вынес папе узкую бутылочку с афонским деревянным маслом, то есть с оливковым маслом, но добытым не из мякоти оливок, а выжатым из их твердых косточек. Такое масло не давало копоти и было прозрачно как слеза.

...этим маслом, налитым в блюдечко, папа растирал меня своей большой доброй ладонью, когда я заболел простудой...

Папа с некоторым благоговением платил деньги в подставленную ковшиком руку монаха и прятал бутылочку во внутренний боковой карман своего демисезонного пальто, уже пропитавшегося влагой тумана.

Иногда, кроме деревянного масла, он покупал для нашей лампадки новый пробковый поплавок с жестяной серединкой, куда в дырочку обычно вставлялся маленький вощеный фитилек. Фитильки эти продавались тут же, и раза два в год папа покупал коробочку таких фитильков, в которых, как мне тогда казалось, было тоже нечто священное, божественное.

Дома папа с благоговением доливал в лампадку деревянного масла, осторожно менял пальцами старый, выгоревший фитилек на новый, после чего лампадка, вставленная перед образом спасителя в свое круглое гнездо, горела особенно ясно и по-субботному весело, как бы чувствуя, что завтра воскресенье и не надо идти в гимназию.

...тень от засохшей пальмовой ветки, сложенной, как китайский пластинчатый веер, за образом, в его застекленной коробке, мягко и красиво ложилась на обои и на потолок комнаты, где стояли три железные кровати — папина, моя и Женькина, всегда напоминая мне «Ветку Палестины» Лермонтова.

«Прозрачный сумрак, луч лампы, кивот и крест — символ святой... Всё полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой»...

Если это все лишь куски разбитой временем на части картины моей жизни, то, может быть, рог Оберона обладает волшебной силой не только вызывать эльфов, но также соединять разъединенные и разбросанные в беспорядке осколки в единое целое, прекрасное, как византийская мозаика?

Как знать?

Парафиновый гусь.

Тетя купила для своего любимца Жени на Дерибасовской улице парафинового гуся.

На Дерибасовской всегда шла бойкая торговля с рук. Вдоль сверкающих витрин дорогих магазинов ходили босяки в рваных лортках, предлагая прохожим господам и дамам маленьких вислоухих щенков, которых они выдавали за породистых собак, оказывавшихся через три месяца обыкновенными дворнягами — как их иногда не без некоторой иронии называли, «надворными советниками», что меня очень обижало, так как папа был надворный советник.

Топали на морозе аккуратными лаптями, стоя у дверей гастрономических магазинов, белорусские крестьяне с льяными волосами, на которых еле держалась рваная заячья шапчонка, и предлагали прохожим пучки ярко-темно-зеленой травы зубровки, растущей, как говорили, «только в Беловежской пуще»; на этой траве любители настаивали водку; в предрождественские дни какие-то оборванцы торговали особого вида золотым дождем для елок — проволочными витыми стерженьками, обмазанными до половины тяжелым серым веществом вроде цемента, который обладал способностью гореть странным огнем, рассыпающим вокруг себя белые искры, длинные, как вязальные спицы, со вспыхивающими и быстро гаснущими звездочками на концах; эти пунктирные звезды загорались то тут, то там вдоль Дерибасовской улицы: оборванцы зажигали свой товар для привлечения покупателей, и эти звезды, гаснущие в морозном предрождественском воздухе, всегда напоминали мне девочку из сказки Андерсена, замерзшую в сочельник среди веселого датского города с освещенными окнами и шпилями на готических крышах.

Молодые нервные евреи в куцых лапсердаках, подпоясанных веревкой, бегали в толпе с книжками в руках, выкрикивая:

— Что делает жена, когда мужа дома нема, сто пикантных анекдотов или «Живой труп» и «Крейцера соната» — запрещенные сочинения графа Льва Толстого, за обе книжки всего двадцать копеек, студентам и гимназистам скидка!

Тут же сидела на маленькой скамеечке толстая женщина в теплом шерстяном платке и продавала маленьких парафиновых гусей с ярко-желтыми клювами и лапками, которые, повинувшись мановению ее руки, как бы сами собой плавали перед ней в синей эмалированной миске. Она управляла своими парафиновыми гусями, как волшебница, держа в руке небольшую палочку, оклеенную пестрой бумажкой.

Теперь один из этих парафиновых гусей плавал в полоскательнице с водой у нас в столовой на столе, покрытом клеенкой, при теплом свете висячей лампы: белый абажур отражался и покачивался в воде, где туда и сюда, тревожно поворачиваясь и кружась, плавал парафиновый гусь, повинуюсь велению волшебной магнитной палочки, в то время как тетя играла на пианино без перерыва один за другим вальсы Шопена, рассыпая из-под своих бегающих по клавишам пальцев бриллиантовые брызги, неиссякаемые ручьи звуков, наполнявших комнату миндальной горечью весеннего ливня, лепетом мокрых листьев, пеной, бьющей из водосточных труб и скопляющейся возле узких решеток городских канализационных люков.

Я понимал, что парафиновый гусь движется по воде, повинуюсь таинственной силе магнита. Воздушно покачиваясь на воде — на самой ее поверхности, — как пустая яичная скорлупа, парафиновый гусь тянулся своим желтым клювом к магнитной палочке, но я не понимал: каким образом может магнит притягивать парафин?

Женя тоже недоумевал: как это получается? Ведь магнит притягивает только железные предметы: кнопки, иголки, булавки, обойные гвоздики и прочую железную или стальную мелочь, которая могла повисать на магните целыми гирляндами. Каким же образом магнит заставляет повиноваться своей воле гуся, сделанного из парафина, вещества, не подвластного магниту?

В конце концов мы решили, что в пустой, почти невесомой полупрозрачной оболочке гуся скрыта тайна, которую во что бы то ни стало необходимо раскрыть.

И мы с Женькой сделали то, что не могли не сделать.

Блудливо переглянувшись, мы оба нажали пальцами на хрупкое тело парафинового гуся. Оно лопнуло по шву и распалось на две половинки, из которых состояло, на две скорлупки, не содержащих в себе ничего, кроме пустоты, или, вернее, воздуха, позволявшего парафиновому гусю так легко держаться на самой поверхности воды.

Мы были удивлены.

Там, где мы мечтали открыть тайну, найти какой-то секрет, оказалась пустота. Мы напрасно сломали это прелестное белоснежное полупрозрачное тело, так горделиво покачивавшееся на воде в полоскательнице.

Но тут нам пришла в голову мысль тщательно исследовать остатки гуся, и мы, разламывая его на мелкие кусочки, обнаружили в половине желтого клюва крошечный железный стерженек. Так вот почему магнит притягивал гуся! Мы открыли его тайну. Но зато мы навсегда утратили самого гуся, и его остатки пришлось выбросить в мусорное ведро.

У нас в руках осталась лишь магнитная палочка, оклеенная бумажкой с магическими знаками, и весь остаток вечера мы заставляли ее поднимать гирлянды иголок, булавок, кнопок. Это было довольно забавно, но никак не могло заменить нам парафинового гуся, который так легко, как кораблик, держался на воде и совсем как живой плыл вперед, повернув свой желтый клюв в сторону волшебной палочки, обладающей тайной притяжения, до сих пор еще, кажется, не вполне объясненной учеными.

Папин комод.

...было два комода: один мамин, другой папин. Мамин комод был обыкновенной вещью рыночной работы и ничего особенного не пред-

ставлял, кроме того, что именно на нем по ночам горел красный ночничок. Папин же комод был дорогой, старинный, сделанный по особому заказу из лучших сортов цельного палисандрового дерева, и передняя стенка его верхнего ящика, сделанная на особых винтах и механизмах, при нажатии боковой еле заметной кнопки откидывалась, превращаясь в столешницу, оклеенную зеленым сукном и способную заменить конторку. При этом в глубине верхнего ящика обнаруживались частью потайные, а частью открытые узкие вертикальные ящички, набитые всякой всячиной, особенно привлекавшие меня к папиному комоду...

Он действительно был красив, этот надежно, прочно отполированный желтовато-красный необыкновенный, очень дорогой комод, подаренный папе моим бабушкой — маминым папой — на свадьбу вместе с пианино, предназначавшимся для мамы как для музыкантши, учившейся после окончания епархиального училища в музыкальной школе — ныне одесской консерватории.

У папиного комода были крепкие, хорошо врезанные стальные замки, открывавшиеся ключом, не похожим на обычные, рыночные ключи. Ключ от папиного комода был крупный, стальной, с затейливой бородкой и несколько пузатой верхней частью, похожей на греческую букву «омега».

Отпирался и запирался замок на два поворота с музыкальным щелканьем, слышимым на всю квартиру. Ключ от комода папа чаще всего носил при себе, но, случалось, забывал по своей рассеянности на столе, и тогда если я оставался дома один, то для меня не было лучшего наслаждения, чем открыть папин комод для того, чтобы, отогнув столешницу, поиграть и полюбоваться вещами, хранящимися в его недрах с незапамятных времен.

...чего только не находил я в папином комодe!..

Например, складной шелковый цилиндр, так называемый шапокляк — непременная принадлежность жениха. В сложенном виде он представлял собою как бы одно лишь овальное дно с твердыми загнутыми полями вокруг белой атласной подкладки с золотой маркой шляпного магазина. Папа его никогда не раскрывал и не надевал, а во время венчания с мамой лишь держал в руке в сложенном виде как дань свадебной традиции того времени — обязательно быть в белом галстуке, во фраке, в белых лайковых перчатках, в шелковом черном цилиндре. Фрака у папы никогда не было, и он венчался в чем-то чужом фраке, а белый шелковый галстук хранился в комодe. Так же, как и шапокляк, свадебный галстук удивительно хорошо сохранился; можно было бы сказать, что они были как новенькие, если бы подкладка шапокляка и галстук слегка не пожелтели от времени, вызывая у меня всегда горькую мысль, что человеческая жизнь со всеми ее радостями и праздниками, в сущности, так недолговечна и медленное старение даже самых прочных дорогих вещей, их материальное воплощение, подвержено необратимому процессу медленного уничтожения или, во всяком случае, превращения во что-то другое — например, в пыль, которую старые поэты любили называть прахом.

Сохранились также папины свадебные перчатки. Они лежали в комодe рядом с мамиными длинными, по локоть, белыми лайковыми перчатками. Эти перчатки тоже пожелтели, а главное, как-то сохли, пожухли, стали безжизненными, навсегда утратив теплоту рук, которые они некогда, в день венчания, так красиво, гладко облевали.

Они даже утратили свой волнующий лайковый запах, уменьшились в объеме, и я с трудом натягивал их на свои детские руки с обкусанными ногтями и цыпками попеременно: то папины короткие, то мамины длинные. Я пытался надеть себе на шею папин галстук, но его резинка потеряла способность растягиваться.

...галстук был мертв...

Тут же в комодке хранились две венчальные свечи моих родителей с обгорелыми фитилями и восковыми слезами, застывшими на свечных стволах, увитых полоской сусального золота, потерявшего свою былую яркость, помертвевшего так же, как и золотая печатная надпись на подкладке папиного шапокляка.

Обычно вдовцы носили на пальце два обручальных кольца — одно свое, другое покойной жены. Но папа не мог этого сделать, так как мамино колечко не налезало на его палец. По-видимому, у мамы была маленькая ручка.

Я иногда вынимал из коробочки мамино обручальное колечко и легко надевал его на мизинец. Я раскрывал шапокляк легким щелчком пальцев по его дну; соскочив с каких-то скрытых стальных пружинок, оно вдруг вытягивало за собой с упругим хлопанием черную шелковую трубу, превращая плоский шапокляк в туго натянутый, блестящий, легкий — почти невесомый — цилиндр, который я надевал на свою коротко стриженную голову. Цилиндр для меня был слишком велик и садился мне на уши. Я надевал мамино обручальное колечко, но папиных перчаток не надевал, так как у них не хватало нескольких пальцев, отрезанных для лечебных целей: их надевали на порезанный палец.

Представляя себя женихом, я отправлялся в переднюю, где висело зеркало. Я любовался собой, делая разнообразные выражения лица, но на жениха походил мало, а скорее на трубочиста.

Кстати, о трубочистах.

В папином комодке я нашел новогоднюю поздравительную афишку с грубым изображением трубочиста в полной своей традиционной форме: в высоком черном цилиндре, с лесенкой за плечами, с веревкой, свернутой кольцом, на конце которой висела чугунная бомбочка для опускания ее в засорившуюся печную трубу, с куриным крылом за поясом, необходимым для выметания печной сажи.

Этот напечатанный трубочист имел очень нарядный, почти жениховский вид, хотя настоящий живой трубочист, приносивший поздравительную афишку на первый день нового года, значительно уступал своему изображению в красоте, несмотря на цилиндр и куриное крыло за кожаным поясом.

У напечатанного трубочиста было немецкое веселое лицо с закрученными усами, а у нашего живого трубочиста был довольно унылый русский вид, и он сидел на табуретке в кухне, ожидая, когда ему вынесут из комнат традиционный новогодний полтинник.

Афишка была напечатана в немецкой типографии смешанной сине-красно-черной краской и содержала поздравительное стихотворение на двух языках: слева, колонкой, по-немецки, справа по-русски. Не помню уже самого стихотворения; помню, что оно было написано короткими строчками, бойким хореем с глагольными рифмами; в нем проводилась та мысль, что пока люди спокойно спят в своих теплых постелях, трубочисты бодрствуют и с опасностью для жизни чистят печные трубы, тем самым спасая обывателей от пожара вследствие загоревшейся сажи, а все это заканчивалось поздравлением с Новым годом и просьбой не забывать своего друга — трубочиста.

По-видимому, эти традиционные афишки со стихами были завезены к нам из Германии, где еще в средние века существовала гильдия трубочистов; отсюда же к нам перекочевал и традиционный костюм трубочиста, его высокий бюргерский цилиндр, узкие брюки и остроносые ботинки.

Помню, в комод в узком потайном ящичке хранилась засохшая веточка дикого грушевого дерева с несколькими засохшими недоразвившимися плодами. Папа рассказал мне, что эта веточка была сорвана в Пятигорске возле знаменитого провала на площадке, где был убит на дуэли Лермонтов. Мама и папа обожали Лермонтова; это была их свадебная поездка на Кавказ, и они сорвали на память о своем медовом месяце и о своем любимом поэте веточку дикой груши с места его гибели; веточка эта со временем ссохлась, стала маленькой, некрасивой, но неразвившиеся ее плоды — две крошечных груши — окаменели, так что время, казалось, не посмело их коснуться.

Рядом с «лермонтовской веточкой», завернутой в папиросную бумагу, сохранилась и другая семейная реликвия — искусственный букетик флердоранжа с восковыми каплеобразными бутонами. Во время венчания один букетик был воткнут под туманно-белой фатой в машины черные волосы, а другой в лацкан папиного фрака.

Не без труда представлял я венчание мамы и папы где-то под Екатеринославом, в неизвестном мне Новомосковске, в походной полковой церкви, так как в это время дедушка командовал полком, а полк стоял лагерем под Новомосковском и свадьбу папы и мамы сыграли именно там.

В особенности мне трудно было представить своих будущих родителей женихом и невестой и как они стоят посередине походной, палаточной церкви, обмениваются кольцами, а потом при всех целуются.

...там были еще атласные венчальные тужельки мамы, совсем как бы еще новые, да тоже пожелтевшие от времени; но они почему-то не возбуждали во мне интереса...

Зато мамин кружевной веер доставлял мне большое удовольствие своим треском, с которым он раскрывался и закрывался, и я любил обмахиваться им, ощущая легкую струю воздуха, насыщенного еле слышными запахами маминых, не вполне до сих пор выветрившихся духов.

Рядом с этими прелестными, отжившими свою жизнь предметами соседствовали вещи грубые, некрасивые, неинтересные вроде большой стеклянной кружки Эйсмарха с гуттаперчевой потрескавшейся кишкой, имеющей странный изогнутый эбонитовый наконечник со множеством дырочек, или красной резиновой груши — спринцовки — с желтым от времени костяным наконечником для клизм, или старые очки с синими стеклами, которые одно время, еще до моего рождения, носил папа, когда у него была какая-то глазная болезнь, и мне страшно было представить — одному, в пустой квартире — своего молодого папу с больными глазами, в очках какого-то зловещего, синего, аптекарского цвета.

Еще более трудно было представить себе папу бреющегося бритвой, которая уже очень давно, до моего рождения, лежала в своем черном футляре. Со всякими предосторожностями я вынимал ее из футляра и, открыв — даже не открыв, а как бы распахнув, — со страхом рассматривал ее суставчатое тело — стальную рукоятку и вывихнутое зеркальное лезвие, такое острое, что если на него сверху

уронить волос, то он на лету рассекался пополам. Бритва меня пугала, и я поскорее задвигал ее в футляр, представляя себе при этом человеческое горло, молниеносно перерезанное от уха до уха каким-то сумасшедшим цирюльником, и потоки — до рези в глазах — алой крови, бьющей из открытой месяцеобразной раны.

Сломанный лорнет, обнаруженный мною среди прочей рухляди, вдруг заменял в моем воображении нежный образ мамы — невесты, девушки, молодой матери, строгим образом мамы — дамы с черным муаровым мешочком на руке.

Но вдруг мама-дама снова превращалась в юную девушку с японским овалом лица, епархиалку, а потом ученицу музыкального училища с шифром на груди, полученным за блестящие способности и успехи в музыке. Этот нагрудный знак — шифр — в виде лиры, выгнутой из медной ленты, прикрепленный к красному муаровому банту, находился тут же в комод, и его вид всегда вызывал во мне представление об именах Чайковского, Антона Рубинштейна, и где-то, как бы всплывая из таинственных глубин детского сна, слышались мощные, но удивительно гармоничные аккорды, удары маминых растянутых и в то же время крепко согнутых пальцев — от мизинчика до большого — по клавишам и вслед за тем быстро бегущие, ритмично хромашущие звуки хроматической гаммы, ее внезапная остановка и еще долго гудящие струны в тишине ошеломленной комнаты, освещенной слабым язычком красного ночника на мамином комод.

В одном из потайных ящичков лежал тот самый загадочный шестигранник артиллерийского пороха, оставшийся после дяди Миши.

В комод хранились также две тетради: одна уже знакомая нам, с наклеенными картинками, предназначавшаяся некогда для меня, другая — папина речь на каком-то торжественном заседании по случаю столетия со дня рождения Пушкина, исписанная бисерным педантичным почерком папы, уже слегка порыжевшими от времени чернилами. Семейная легенда гласила, что речь папы произвела большое впечатление своими глубокими мыслями о свободе художника и в то же время о его долге перед народом и государством. За эту речь папа получил большую серебряную памятную медаль, выбитую по случаю юбилея великого поэта. Эта медаль, очень красивая и тяжелая, находилась тут же в папином комод в особой плоской коробочке. Я открывал эту коробочку, где на бархатной синей подушечке с круглым углублением покоилась пушкинская медаль. Для того чтобы ее достать из углубления, надо было потянуть за шелковую ленточку, кончик которой выглядывал из-под края медали. Я любил держать медаль в руках, разглядывая вдохновенное лицо Пушкина в три четверти с мастерски отчеканенными бакенбардами и прелестным, устремленным вдаль взглядом, похожим на опрокинутую заглавную букву А.

...солнце русской поэзии...

Лежали в комод также другие семейные реликвии; среди них особенно глубокое впечатление производили на меня военные наперсные кресты, которыми в давнее время вместо боевых орденов награждались военные священники. Эти кресты принадлежали моему прадедушке и моему прапрадедушке, существование которого казалось мне просто невероятным. Однако мои прадедушка и прапрадедушка несомненно когда-то существовали, были военными священниками и даже получили боевые награды — медные наперсные кресты: прадедушка за Отечественную войну двенадцатого года на анненской

ленте, а прапрадедушка за какую-то русско-турецкую войну, кажется, еще при императрице Екатерине, на владимирской черно-красной ленте. Этот последний крест был от времени почти черен, даже изъеден какими-то раковинами, и я брал его в руки с особым уважением, даже с суеверным страхом, но и с гордостью за своих предков-героев.

У папы тоже были награды, два ордена: один Анны третьей степени, другой Станислава, тоже, кажется, какой-то небольшой степени. Они лежали в красных коробочках, но папа их никогда не надевал, считая ордена, чины и прочие знаки отличия чепухой, недостойной уважающего себя человека, который должен трудиться на благо общества и государства не ради наград, а бескорыстно.

Я открывал красные коробочки и любовался еще не успевшими постареть, почти новенькими вишнево-красными эмалевыми крестиками с ободками чистого золота и маленькими золотыми двуглавыми орлами между сторонами крестика святого Станислава.

Иногда я прищипливал ордена к своей гимназической куртке и стоял перед зеркалом в передней, удивляясь, что папа их никогда не носит и презирует. Я на месте папы, наверное, носил бы их всегда. Папа же говорил, что ордена ничего, кроме убитка, человеку не приносят, так как их надо выписывать на свой счет из Санкт-Петербурга или покупать в ювелирном магазине, что стоило еще дороже.

Семейная легенда гласила, что с этими орденами произошел следующий случай, или даже, как его некоторые называли, скандал.

В нашу епархию был назначен новый архиерей, и папа в числе других преподавателей епархиального училища должен был ему представиться.

К тому времени у папы уже были два упомянутых ордена. Однако не признавая ни чинов, ни орденов, ни мундиров, папа отправился представляться новому архиерею в своем обычном сюртуке, без орденов. Новый архиерей ужасно рассердился, назвав папу нигилистом и даже, кажется, анархистом, устроил ему публичную головомойку, и так как ордена были получены папой по духовному ведомству, то новый архиерей своей властью лишил папу орденов. Самое же любопытное заключалось в том, что, узнавши об этом случае, военное начальство, которое всегда, по старой традиции, было на ногах с духовенством, в течение короткого времени вернуло папе два злосчастных ордена по военному министерству как преподавателю юнкерского училища.

Таким образом начальник юнкерского училища насолил архиерею, которого терпеть не мог.

Говорили, что одно время это происшествие широко обсуждалось в местных педагогических кругах и папа даже снискал себе славу либерала, что, с одной стороны, было приятно, а с другой, не очень. Во всяком случае, в истории с орденами папа держал себя молодцом, хотя, говорят, мама не очень одобрила его поведение. Но я этого не знаю. Это было до моего рождения.

Примерно в таких же красных коробках хранились в вате наши с Женей золотые крестильные кресты на голубых атласных лентах. Если бы мы были девочками, ленты были бы розовые. Мы этих парадных золотых крестов никогда не носили, а носили на шее на шелковых шнурах распространенные киевские серебряные крестики с синей финифтью.

...Особые чувства вызывала маленькая бронзовая фигурка ребенка с поднятой ножкой, валявшаяся среди поломанных запонок, шпилек, каких-то облаток, разнокалиберных пуговиц в длинной желтой деревянной шкатулке с медными наугольниками, где покойная мама

хранила свои перчатки для выхода в театр или в концерт, крошечный театральный бинокль и длинные афишки концертов Антона Рубинштейна.

Бронзовый ребенок был найден под Аккерманом при раскопке скифского кургана, и папа купил его за двадцать копеек у какого-то молдаванского мальчика. Так как на приподнятой ножке бронзового ребенка виднелось сквозное отверстие — дырочка, — можно было предположить, что эта фигурка являлась украшением какого-нибудь скифского предмета и была приделана к его краю — веселая, танцующая фигурка божка вроде амурчика, только без крыльев. По крайней мере, так казалось мне.

Мое воображение было поражено представлением о том древнем времени, когда у берегов Черного моря еще жили какие-то скифы, а главное, что с тех времен уцелел бронзовый ребенок, совсем небольшая статуэтка грубой работы, величиной с мой мизинчик. Лицо бронзового ребенка стерлось, как бы смылилось в течение многих тысячелетий, оплыли и смылились раскинутые ручки и танцующие ножки, но столько веселого движения, столько неуклюжей грации было во всем этом изделии скорее кузнечного, чем ювелирного мастерства, что я замирал, рассматривая этого выходца из глубины тех веков, когда по степям будущей Новороссии носились табуны диких длинногривых коней и коренастые всадники с дротиками в руках мчались с гиканьем, почти полностью скрытые в высоких травах, волнующихся, как море, и жарко веющих своими полынными и ковьельными запахами, в то время как громадное языческое солнце склонялось за край Буджакской степи, заливая все вокруг расплавленной красной медью.

Меня поражала мысль, что, может быть, эти скифы были моими предками.

Я придавал скифскому ребенку разные позы, ставил его на четвереньки, и он как бы ползал передо мной — ребенок и в то же время предок.

Я бросал скифского мальчика в мамину лакированную шкатулку с медными наугольниками, и волшебная картина скифской степи исчезала одновременно с твердым звуком захлопнувшейся выпуклой крышки шкатулки некогда ярко-лимонного, а теперь побледневшего дерева.

...а может быть, бронзовый ребенок был не скифского происхождения, а его сюда завезли вместе с плоской чашей для вина, которую он украшал, а был купидон, завезенный из древней Греции в наши новороссийские степи, где некогда по всему побережью были построены греческие или генуэзские крепости, от которых теперь остались только развалины, поросшие полынью и будяками...

Продолжая рыться в папином комодe, я не довольствовался всеми реликвиями и драгоценностями, которые там обнаруживал. Мне казалось, что где-то в самых потайных, еще не обнаруженных мною ящичках спрятана какая-то неслыханная драгоценность; я чувствовал ее присутствие, но никак не мог обнаружить.

Вероятно, это был плод моего воображения, потому что в руки мне попадались самые простые, давно уже мертвые вещи: догоревшая до половины, оплывшая сургучная палочка, которую я иногда зажигал, и она пылала дымным пламенем, роняя раскаленные капли цве-

та бычьей крови, и наполняла квартиру запахом почтовой конторы; пестрые коробочки и пузырьки с выветрившимися, высохшими лекарствами, пробочки, сожженные до черноты, почти уже уничтоженные парами йода; кристаллики перекиси марганца, до сих пор не потерявшие способность с невероятной быстротой окрашивать воду в стакане во все оттенки фиолетового цвета, начиная с очень слабых, почти аквамариновых, и кончая густо-фиолетовыми, а потом ржавыми; старая папина сберегательная книжка, откуда папа выбрал все свои сбережения во время маминой болезни и смерти; мамина сухая вуаль с мушками, орлиное перо из ее шляпы, множество однообразно-зловещих аптекарских рецептов с двуглавыми орлами на их расширяющихся шлейфах — следы маминой болезни и смерти, — и наконец множество старых писем, сложенных в пачки, перевязанных шнурками и ленточками; ими были забиты все ящички и углы комода.

Как сейчас вижу множество конвертов с большими синими сепикопеечными орлеными марками и штемпелями разных городов России — узеньких, белоснежных, изящных конвертов девятнадцатого века: в них вкладывалось письмо, сложенное по ширине почтовой бумаги втрое.

Это была переписка папы и мамы, когда они еще были женихом и невестой, а также переписка мамы и папы со своими родными, знакомыми, соучениками, товарищами по семинарии и университету, папиными учениками и ученицами, со многими из которых папа не терял связи.

Можно себе представить, сколько в этой переписке заключалось важных мыслей, философских споров, взглядов на жизнь общества и государства, обсуждения различных морально-политических вопросов, горячих споров по поводу романов Тургенева, Толстого, Достоевского и начавшейся идейной борьбы между марксистами и народниками; сколько было в этих письмах задушевных слов и пламенных выражений любви и дружбы; сколько семейных забот и радостных сообщений о появлении на свет новых детей.

...По своей нелюбви к чтению, а также потому, что мне с детства было привито священное правило не подслушивать, не подсматривать, не читать чужих писем, я никогда не читал писем, хранившихся в папином комодке... и теперь очень сожалею об этом, потому что в них, быть может, заключалась большая часть духовной жизни не только моих родителей, но и всего тогдашнего русского образованного общества, о чем я уже никогда ничего не узнаю из первоисточника...

Количество писем странно уменьшалось, и однажды — незадолго до первой мировой войны, — придя домой, я застал папу за уничтожением писем. Он стоял возле открытого комода и одно за другим перечитывал письма, а затем разрывал их на мелкие кусочки, и клочками порванных писем был усеян весь пол, а папа, не замечая меня, все продолжал и продолжал их бегом прочитывать и автоматическим движением рук разрывать на мелкие части и ронять на пол, причем глаза его были в слезах, и он часто снимал с носа пенсне и протирал его полой сюртука.

Все еще продолжая меня не замечать, он собрал охапку рваной бумаги, клочков конвертов с синими марками и штемпелями, отнес их быстрыми, легкими шагами в кухню и стал бросать в горящую плиту.

Лишь после этого, испачкав сажей свои манжеты, он обернулся и вдруг, заметив меня, улыбнулся какой-то безвольной, жалкой улыбкой, как бы прося у меня за что-то прощения.

И, сам не зная почему, я заплакал.

Я уже писал здесь, что одна книжка, некогда подаренная мне вятской бабушкой — папиной мамой, — называлась «Волшебный рог Оберона», а другая бесследно исчезла из моей памяти и вдруг только что, сию минуту, более чем через семьдесят лет, я вспомнил ее:

«Спящая красавица».

На яркой лубочной обложке — разноцветная картинка, представляющая замок, заросший розовым шиповником, и среди колючих цветущих ветвей лежит спящая красавица, а над ней наклонился прекрасный юноша в бархатном камзоле и берете с фазаньим пером. Он касается губами румяной щечки спящей красавицы, и вдруг она просыпается, глядя на мир восхищенными глазами.

...Ах, как долго я спала!..

И все вокруг оживает.

Содержание этой сказки общеизвестно, но тогда я узнал ее впервые. Иногда мне кажется, что это сказка о моей душе: в ранней юности, быть может в детстве, она укололась о веретено злой волшебницы и заснула. И спала до тех пор, пока кто-то не пробрался к ней сквозь колючую, непроходимую чащу шиповника и не коснулся ее губами.

И моя душа проснулась...

...в половине второго утра разбудили меня соловьи. Полно спать, подымайся, пора. Ты забыл, что рожден для любви. Ты забыл, что над люлькой твоей зеленел упоительный рай, а тебе говорили: убей! Ненавидь! Не люби! Презирай! И покуда я спал не дыша, без желаний, без чувств и без слов, — как слепая бродила душа по обугленным улицам снов. Как слепая шаталась она, оступаясь на каждом шагу: я была для любви рождена, не могу убивать, не могу! Я проснулся и тихо лежал, на ладони щеку положив. О, как долго, как страшно я спал и как странно, что я еще жив! И как странно, что я не сражен, что над миром царят соловьи и что мир не для смерти рожден, а для счастья, добра и любви... И в слезах я лежал в полусне, и дрожали в лесу янтари, и сквозь сосны тянулись ко мне розоватые пальцы зари...

...она меня поцеловала...

Бомба.

Несмотря на распространившиеся по городу слухи, что анархисты собираются на рождество бросить бомбу в епархиальное училище, мы отправились туда на елку — папа, тетя и я, — а маленького Женю оставили дома с няней.

Рождественскую елку в епархиальном училище стали устраивать сравнительно недавно, так как считалось, что елка — это древнегерманский языческий праздник, несвойственный православному христианству. До этого на рождестве в епархиальном училище устраивали нечто вроде рождественского народного вертепа.

Но теперь решили ввести в обиход рождественского праздника елку, хотя и считали ее немецкой затеей.

Мы решились идти на елку после некоторых колебаний. Тетя считала, что лучше не ходить, папа же решительно заявил, что слухи о бомбе не больше чем фантазия перепуганных обывателей и он не верит, чтобы какой-нибудь — пусть даже самый крайний анархист-социалист — решился бросить бомбу в такое мирное учреждение, как епархиальное училище, да еще на рождество, когда больше половины епархиалок разъехалось на каникулы в приходы своих родителей — уездных или деревенских священников, а в училище остались только сироты, которым некуда ехать на каникулы.

— Но на елке будет присутствовать архиерей,— многозначительно сказала тетя.

— Ну и что же из этого следует? — спросил папа.

— Они захотят его хлопнуть,— сказала тетя.

— Глупости, они архиереев не убивают. Они убивают губернаторов,— сказал папа с такой уверенностью, как будто ему было досконально известно, кого именно убивают анархисты.

Мне расхотелось идти на елку, хотя я с большим нетерпением ждал этого вечера, сулившего мне волнуемый рождественский чай из толстых епархиальных кружек в обществе молодых девушек-епархиалочек, среди которых попадались удивительно миловидные, не смотря на плохо скроенную и грубо сшитую форму из голубого швиота, мужские башмаки на резинках, с белыми ушками и волосы, спрятанные на затылке в особые сетки какого-то темного, мушиного цвета, прикрепленные к круглым гребешкам, открывавшие гладкие девичьи лобики.

В холодной столовой, куда надо было спускаться парами по железной лестнице, в полуподвале на длинных столах без скатертей рядом с каждой кружкой сладкого чая лежал ситцевый мешочек со сладостями, пастилой, крымскими румяными яблоками и мандаринами, шкурки которых при нажиме пальцами так хорошо брызгались мельчайшими капельками душистого эфирного масла...

После некоторых колебаний было решено идти, оставив Женю дома.

Тетя надела свое лучшее синее шелковое платье, отделанное валансьенскими кружевами, распространявшими нежный запах выветрившихся французских духов и цветущей бузины.

Папа надел парадный сюртук, а я в твердо накрахмаленных манжетах и крахмальном воротничке с отогнутыми уголками, который так волнующе охлаждал мою хорошо вымытую шею, с носовым платком, опрыснутым цветочным одеколоном, позабыв об опасности, грозившей нам, чувствуя приятное головокружение, нетерпеливо ждал, когда часы в темной столовой, где уже холодно блестел на паркете зеленый лунный свет, музыкально пробьют семь раз.

...ночь была чудная, снежная, в черном небе над трубами домов поднимались прямые столбы дыма, бросая летучие тени на крыши, покрытые шапками пухлого снега; в черном небе играли, переливаясь, рождественские звезды, а месяц был такой ясный, волшебно светящийся, как будто бы сошел со страниц гоголевской «Ночи перед рождеством»...

Вкусно хрустел снег под калошами прохожих, целыми семьями отправлявшихся на елки к знакомым; изредка визжа полозьями, мягко, почти неслышно проносились извозчицы санки, и в остром морозном воздухе, слегка пощипывающем уши, звенели их как бы стеклянные колокольцы и слышался музыкальный шорох крупных бубенцов, нашитых на хомуты бойких извозчицких лошадок.

Однако иногда в глубине какого-нибудь темного переулочка, ведущего к морю, мне мерещились тени бомбистов, и тогда меня охватывал страх и я жалел, что мы не остались дома.

В этот вечер все было как всегда: сначала ожидание приезда почетных гостей в квартире начальницы училища, высокомерной сановитой дамы, за цвет своего носа и за выпуклую грудь, обтянутую темно-лиловым шелком, получившую прозвище «индюшка».

Мое самолюбие, как всегда, страдало оттого, что в этой роскошной гостиной с мягкими шелковыми креслами, элегантными пуфиками,

диванами и торшером в кружевных абажурах, среди именитых гостей, приехавших с опозданием, рядом с архиереем с овальной панагией на груди, осыпанной драгоценными камнями, особенно ярко блиставшими на черной легкой рясе, рядом с толстым генералом с жирными эполетами и красной анненской лентой через плечо, рядом с дамами в шляпах и боа из страусовых перьев папа и тетя выглядели бедными гостями, которых пригласили сюда по снисходительности ради праздника.

Я то и дело должен был шаркать новыми ботинками с еще нестершимися твердыми каблуками и кланяться на все стороны и даже, подойдя под благословение, поцеловал пухлую руку архиерея, который с деланной лаской посмотрел на меня, на мои жесткие волосы, насаленные фиксатуаром и разобранные на косой пробор, и сказал:

— Надеюсь, что в эти смутные дни из тебя вырастет верный слуга государя и православной церкви.

В ответ на что я еще раз шаркнул ногами по толстому ковру и боком отошел в сторону, чувствуя на губах запах душистого глицеринового мыла.

Начальница пригласила нас всех в большой белый актовый зал, где до самого потолка возвышалась скромно убранная, еще не зажженная елка, вдоль стен стояли в белых передниках и пелеринках епархиалки и зловеще чернели три громадных высоких окна, закругленных сверху. Они выходили в сад епархиального училища, где смутно поблескивали в месячном свете деревья, превращенные морозцем в некое подобие белых ветвистых кораллов.

Увидев эти три черных окна с неспущенными шторами, начальница покраснела от негодования, причем нос у нее и вправду стал багрово-сизым, как у индюшки. Властным мановением маленькой руки она подозвала к себе дежурную пепиньерку и прошипела в подставленное ухо:

— Разве вы не знаете, что они хотят бросить сюда бомбу? Сейчас же опустите шторы.

Побледневшая, с пылающими ушками, скользя по паркету, как на коньках, пепиньерка бросилась опускать шторы, и белые батистовые воланы с шуршанием своих колечек по проволоке опустились на окна, отделив белый мир холодного актового зала от черного мира, обступившего со всех сторон епархиальное училище.

Начальница, усевшись в кресло между архиереем и генералом, махнула кружевным платочком, и в тот же миг епархиальный сторож с волосами, густо смазанными лампадным маслом, поджег конец порохового шнура; в мгновение ока огонь обежал елку снизу вверх по спирали, и сотни свечек озарили актовый зал костром мерцающего света; холодный воздух сразу нагрелся, грянул хор высоких девичьих голосов, и начался праздничный вечер, заставив всех позабыть о бомбе.

Самая маленькая епархиалочка вышла из рядов и, сцепив руки ладошка в ладошку, громким мальчишеским дискантом отбарабанила традиционное рождественское стихотворение:

«Снегом улица покрылась; вот уж и сама в гости к нам заторопилась матушка-зима. Вся под белой пеленою елочку несет и, качая голову, песенку поет»...

Теперь уже не помню, как дальше.

И все повторилось как в прошлом году: беготня по слабо освещенным коридорам, заглядыванье в темные, пустые и холодные классы, где замороженные окна таинственно мерцали в месячном свете, потом чай в толстых кружках и ситцевые мешочки с гостинцами, и

блаженная неловкость, испытываемая мною, когда я сидел между двух смазливых епархиалочек со вспотевшими подмышками, и мы брызгались друг в друга, нажимая мандариновые корки, и маленькая бойкая епархиалочка быстро проговорила по окончании чаепития молитву:

«...благодарю тебя создателю, еже сподобил еси нас»... и так далее...

В этот вечер, бегая по чугунным лестницам епархиального училища, я забрался в канцелярию, где тетя по совместительству исполняла также должность письмоводителя, и еще раз полюбовался на письменном столе старинным канцелярским чернильным прибором из обожженной глины, как теперь говорят — керамики, где меня особенно привлекала песочница, из дырочек которой некогда, когда еще не была изобретена промокательная бумага, засыпали исписанный свежими чернилами лист бумаги очень мелким золотистым песком, а потом ссыпали этот песок обратно в песочницу, и лист бумаги оказывался совершенно высушенным.

(Впрочем, иногда исписанную бумагу сушили другим способом, вода им над стеклом горячей лампы.)

Здесь же в ящике валялось несколько очиненных гусиных перьев, какими уже со времен Гоголя никто не пользовался. Расщепленные головки этих ободранных, обкусанных перьев хранили следы черных, как тушь, канцелярских чернил прошлого века, сделанных из чернильных орешков, и это вызывало в моем воображении мир гоголевских чиновников, скрипящих своими гусиными перьями среди ясеневых шкафов со связками старых дел, распространивших вокруг себя какой-то сургучный и в то же время мышиный, архивный запах дореформенных присутственных мест.

...все обошлось благополучно...

Бомбу не бросили. И возвращаясь с папой и тетей по морозной улице домой, я украдкой нюхал свою руку, которая после тайного пожатия чьей-то нежной девичьей руки вся пропахла цветочным одеколоном.

А звезды в черном, уже вполне ночном небе разыгрались вовсю, и мороз не на шутку кусался.

Свиное сало.

Семейная легенда гласила, что когда мне было не больше двух лет, я вошел в кухню, где мама собиралась делать хрустики, или, как они теперь называются, хворост, и на жарко растопленной плите в чугунном казанке кипело расплавленное свиное сало.

Неизвестно каким образом мне удалось дотянуться до казанка, опрокинуть его, и кипящее свиное сало вылилось прямо на меня. При этом я так пронзительно завизжал, что вдоль всей нашей Базарной улицы тревожно распахнулись окна, как всегда при каком-нибудь происшествии.

Я кричал безостановочно в течение по крайней мере пяти минут, и мама потеряв голову обливала меня водой, посыпала тальком, мазала вазелином и сдирала с меня платице, покрытое потеками расплавленного свиного сала.

Казалось, для меня уже нет спасения.

Мама и кухарка, видевшие, как полный казанок кипящей жидкости сверху опрокинулся на меня, были уверены, что все кончено.

Однако произошло чудо. Каким-то образом все сало вылилось мимо моей головы, одна лишь капля попала на мое тело — на горло, — причинив адскую боль, которая, впрочем, быстро прошла. Но на горле на всю жизнь осталась отметина.

С тех пор как я начал бриться, кожа на этом давнем шраме сдирается от малейшего неосторожного прикосновения бритвы, так что приходится прикладывать ватку или прижигать квасцами.

Когда мама поняла, что я цел и невредим, она поцеловала мое обоженное горло, смазала его вазелином, присыпала рисовой пудрой и со свойственным ей украинским юмором сказала:

— Теперь ты у меня меченый, а бог шельму метит.

Мама приписала мое чудесное спасение двум макушкам на моей голове.

Считалось, что две макушки бывают только у редких счастливицков. Я не думаю, чтобы моя жизнь сложилась как-то особенно счастливо. Бывали в ней, конечно, и неудачи, но в основном я прожил свою жизнь, как сказал некогда один мой ныне покойный, незабвенный друг, в счастливым дыму.

Во всяком случае, я был несколько раз на волосок от смерти и всегда по счастливой случайности оставался жив: например, во время первой мировой войны, на румынском фронте, в предгорьях Карпат немецкий снаряд разорвался буквально у меня под ногами; меня подбросило вверх, потом швырнуло на землю; вокруг лежали пятеро убитых солдат; непромокаемое пальто, бывшее на мне, оказалось разорвано и продырявлено десятком осколков, каска на моей голове во многих местах была поцарапана и вмята, а сам я был целехонек, если не считать небольшого сквозного ранения осколком в верхнюю треть бедра правой ноги, причем даже кость не была задета.

Меня спасли от верной смерти две макушки.

Когда же я находился в лазарете в Одессе, недалеко от Базарной улицы, то я, лежа на балконе в пестрой тени акаций, вспоминал свой пороссячий неистовый крик, а также искаженное ужасом мамино лицо, в то время как кипящее сало лилось на меня из казанка, но лишь одна капелька попала на мое горло и оставила на всю жизнь метку, подобную метке на верхней трети моего правого бедра...

Боборыкин.

Иногда к нам на целый день привозили моего двоюродного брата Сашу, сына папиного старшего брата, дяди Николая Васильевича.

Саша был годом старше меня и годом раньше меня стал носить вместо платица настоящие штанишки, которые как бы сразу, по волшебству, превратили его в мальчика. Я целый год завидовал Саше, его штанишкам, его коротко остриженной под машинку голове, но вот наконец мне стукнуло четыре года, с меня сняли платице, делавшее меня похожим на девчонку, коротко остригли и надели штанишки.

Теперь у Саши не было основания передо мной задаваться и мы как бы сравнялись в возрасте. Штанишки сблизили нас.

Саша был приветливый, добрый мальчик с нашей фамильной иронической улыбкой. Он не был шалуном, как я, но не был и слишком скромным, скучно-послушным ребенком. Ему было пять, мне четыре. Целый день мы играли, то есть бегали по квартире из комнаты в комнату, с хохотом переворачивали мебель, прыгали кто дальше, брызга-

лись в кухне водой, залезали под диван в гостиной и, наконец, нарисовав себе самоварным углем усы и бородки, устраивали театр: что-то быстро представляли, быстро жестикулируя и бегая друг за другом.

Помню, как мы нарочно разбили градусник и долго возились на полу с ртутной каплей, то разбивая ее на множество маленьких блестящих шариков, которые раскатывались, как бисеринки, во все стороны по полу, а мы, ползая по всей комнате, сгоняли их в одну крупную, слегка сплюснутую каплю, и нас безмерно удивляла способность ртути разбиваться на части, не терявшие своей сферической формы, и вновь сливаться в один большой шарик.

Ртуть казалась нам волшебной жидкостью, и когда нам сказали, что это не жидкость, а металл, мы долго не могли этому поверить.

...а я, откровенно говоря, и до сих пор не верю...

Нечего и говорить, что за разбитый градусник нам сильно нагорело, но мы мужественно перенесли нагоняй, чувствуя себя как бы приобщившимися к тайнам науки.

Хорошо помню одну нашу игру, которая называлась «делать Боборыкина». Мы слышали, как взрослые в гостиной, споря о современной литературе, довольно часто произносили это смешное слово «Боборыкин».

Мы с Сашей понятия не имели, что это фамилия известного в то время писателя Боборыкина. Слово «Боборыкин» в силу своей фонетики имело для нас значение звука опрокинутой гнутой венской качалки, стоявшей в нашей гостиной рядом с фикусом.

На этой качалке любил сидеть, покачиваясь, папа и читать книгу или газету. Для взрослых качалка была частью обстановки. Для нас же с Сашей качалка с ее желтым плетеным сиденьем и такой же спинкой, с ее выгнутыми ручками, с ее полозьями, на которых она так легко покачивалась, была в одно и то же время и качелями, и частью какой-то упругой деревянной машины, и лодкой, и даже беседкой, если ее перевернуть вверх полозьями.

Мы любили опрокидывать качалку потертыми полозьями кверху, причем, стучаясь об пол своими упругими буковыми ручками, она несколько раз подпрыгивала, издавая звуки «бо-бо-бо», вследствие чего мы и назвали нашу игру с качалкой «боборыкин».

Игра «боборыкин» заключалась в том, что опрокинутую качалку мы покрывали поверх полозьев ковриком, так что между сиденьем и ковриком образовывался таинственный лаз, через который надо было проползти на животе в полутьме, чихая от пыли, сыпавшейся на нас с ковровой дорожки.

Обычно мы пролезали таким образом один за другим, хохоча и толкаясь, выбравшись на свет божий, катились кубарем по полу, громко крича в каком-то непонятном, неистовом восторге:

— Боборыкин! Боборыкин!

...теперь давно уже и милого Саши нет на свете, и качалка давным-давно исчезла вместе с прочей мебелью моего детства, но до сих пор при виде подобной качалки что-то восклицает в таинственных глубинах моего сознания:

— Боборыкин! Боборыкин!

Неудачное катанье на осле.

Каждое утро, раздвинув желтую бархатную штору и подняв решетчатые жалюзи, мы видели слева теплое октябрьское солнце, толь-

ко что взошедшее над Средиземным морем. Оно поднялось из моря где-то против итальянской границы и теперь, начав свой дневной обход, висело в мутноватой, золотистом, но совершенно безоблачном небе рядом с растрепанными макушками нескольких старых африканских пальм, росших на Английском променаде,— и море под солнцем сияло металлически-розовым столбом от горизонта до набережной, еще пустынной в этот ранний час.

Обойдя небосвод, но не выходя из поля зрения, солнце садилось справа от нас, если стать лицом к морю, далеко за песчаной косой аэродрома, где время от времени круто поднимались и полого садились пассажирские самолеты с уже освещенными иллюминаторами.

Угрюмо-красное солнце опускалось за мыс Антиб, за его черный силуэт, всегда вызывавший в моем воображении яхту «Бель ами» Мопассана и его самого, усатого, в капитанской фуражке, сумрачно наблюдающего за грядой Приморских Альп, за багровым небом над ежеминутно меняющей свою окраску снежной вершиной Эстерель, откуда обычно приходила на Лазурный берег зима.

Мне запомнился один из таких счастливых, безмятежных дней. Это было совсем недавно, несколько лет назад.

С утра до вечера, пока солнце совершало свой путь от Вентимильи до мыса Антиб, мы ходили по террасам, на которых расположена Ницца, снизу вверх, по ее тенистым, горизонтально расположенным улицам и по ее другим, крутым вертикальным улицам, начав свою прогулку от набережной с ее роскошными, хотя и несколько старомодными отелями, пальмами, магнолиями, цветными зонтиками открытых кафе — вплоть до самого верха, до той части города, где были во множестве выстроены роскошные белоснежные санатории, где среди горного воздуха, среди вечнозеленых растений, фонтанов, розариумов, безукоризненно чистых и ярких газонов за чугунными оградями незаметно и благопристойно умирали богачи, для спокойствия которых туберкулезные санатории назывались просто отелями, ничем не выдавая своего зловещего назначения.

Мы полюбовались древнеримскими развалинами, посетили музей Матисса, позавтракали на открытой террасе маленького студенческого ресторанчика, а день между тем все еще продолжался и продолжался — нежный золотистый день поздней средиземноморской осени в курортном городе, уже заметно пустовавшем, так как летний сезон кончился, а зимний еще не начался и все подешевело.

Под ногами иногда сухо шелестели опавшие листья диких каштанов.

Мы взобрались по нескольким довольно крутым лестницам на кладбище и не без труда разыскали в этом белом, аккуратно подметенном, чистеньком городке мертвых бронзовый памятник Герцену, приземистая, коренастая фигура которого, его русская борода и длинные волосы, лежащие сзади на воротнике, так не подходили к беломраморным надгробьям с иностранными надписями.

...о, как много произошло событий с того времени, когда тело Герцена привезли из Парижа и похоронили здесь, под высоким черным кипарисом с маленькими коричневыми шишечками... Кипариса этого уже давно нет. На его месте теперь растет другой кипарис, гораздо моложе и зеленее того, первого кипариса. Герцен не дожид до Парижской коммуны, до Ленина, до Октябрьской революции... Мало кто знает в Ницце о Герцене. Мы долго искали его могилу, и если бы не рабочий, поливавший из пластикового тонкого ярко-салатного шланга кусты кладбищенской герани, может быть, мы ее так бы и не нашли.

Но рабочий в широких штанах и летней каскетке показал нам дорогу к памятнику и прибавил:

— Я знаю, это был ваш великий революционер, ненавидевший самодержавие и желавший России свободы и независимости. Каждый русский должен гордиться своим Герценом.

Мы постояли в глубокой задумчивости перед бронзовым Герценом и медленно спустились вниз, в итальянскую, нищую часть Ниццы, представляющую разительный контраст с роскошной Ниццей Английского променада, казино, отеля Негреско, приморского сквера, усаженного какими-то диковинными деревьями вроде зонтичных пиний, столетних велингтоний и выложенного цветными фаянсовыми плитками, как громадная ванная комната...

Оркестр только что кончил играть Вагнера, музыканты в морской форме расходились со своими инструментами в футлярах, и в музыкальном открытом павильоне остались только пустые пюпитры, все вместе составлявшие как бы чертеж или даже скелет только что оконченной увертюры — всех ее только что отзвучавших музыкальных фраз.

Красное солнце уже заканчивало свой путь и готово было кануть за мыс Антиб, золотя Английский променад, по которому, мне представлялось, некогда шел своей широкой походкой Маяковский — тень Маяковского, — время от времени вынимая из кармана штанов маленькую записную книжку и вписывая в нее, на минуту остановившись и поставив ногу в толстом башмаке на обочину газона, какие-нибудь строчки вроде:

...«любить — это значит вглубь двора вбежать и до ночи грачей, блестя топором, рубить дрова, силой своей играючи»...

Я так задумался, запутавшись в прямом и обратном движении времени, что не заметил, как мы дошли до середины приморского парка, и тут я вдруг увидел картину, поразившую меня чем-то очень знакомым, но очень давним, давным-давно позабытым.

У обочины тротуара стоял осел, окруженный нарядными, богатыми детьми — мальчиками и девочками в ковбойских джинсах, красивых курточках, полосатых фуфайках, пуловерах коль-рулэ, в миниюбочках, с белыми игрушечными пистолетами и механическими куклами на полупроводниках, которые умели не только открывать и закрывать глаза и произносить «папа» и «мама», но даже могли спеть коротенькую английскую песенку про Мери и ее овецку.

Дети по очереди садились на осла и под наблюдением своих бабушек, дедушек или же чопорных бонн в мантиях, как вдовствующие императрицы, совершали небольшую прогулку верхом вокруг парка, где уже загорелись неоновые светильники на концах стеблеобразно выгнутых подставок.

Владелец нарядно разубранного осла — с бубенчиками, колокольчиками и кисточками — то и дело клал деньги в большой кожаный кошелек, повешенный у него через плечо, точно так же как у нас в Александровском парке, в детстве, делал старик — поводырь козликов.

... и тут же я вдруг как бы стал медленно погружаться в глубину времени...

...я вышел погулять и увидел на одной из полянок Отрады осла, окруженного детьми. Оказалось, осла отдавали напрокат: пять копеек на поездку вокруг полянки. Здесь были уже все мои друзья: Женька Дубастый, красавица Надя Заря-Заряницкая, Мишка Галий, Жорка Мельников по прозвищу Кавунчик, Васька Овсянников по прозвищу Пончик, Джульетта Арнери, щеголь Стасик Сологуб, младшая сестренка Дубастого Тася, младший брат Стасика Янек, правда не такой шикарный, как его брат Стасик, но тоже ничего себе, наш Женька и не помню уже кто еще.

Старик то и дело открывал свой кожаный кошель и бережно клал в него пятаки. После каждой пробежки он поглаживал осла по серой бархатной морде.

Уже почти вся наша компания успела покататься. Я видел, как Женька Дубастый, заплатив пятак, взгромоздился на осла и лихо промчался по кругу, болтая ногами и делая приветственные жесты в сторону Нади Заря-Заряницкой, которая, повернувшись в профиль, лишь снисходительно посмеивалась. Я предвкушал, как изящно вскочу верхом на осла и промчусь настоящим кавалерийским карьером вокруг полянки, весь собранный, стройный, неустрашимый и уж, конечно, не буду расслабленно, как мешок, трястись на спине осла, болтая ногами, как Дубастый, а, надвинув козырек своей гимназической фуражки на глаза, как Печорин, даже не взгляну на Надьку Заря-Заряницкую, пусть знает, что мою любовь надо еще заслужить.

Так как у меня не было в кармане ни копыя, а осла уже собирались увести в другое место, я попросил хозяина подождать меня одну минуточку и побежал домой.

— Папа! — закричал я с порога. — Пожалуйста! Дай мне как можно скорее пятак, а то он уведет осла!

Папа молчал.

— Уже все покатались, один я еще не покатался, — сказал я переводя дух.

Я не сомневался, что папа очень обрадуется такому счастливому стечению обстоятельств, что в Отраду привели осла, на котором можно покататься, и без разговоров даст мне пятак: ведь я знал, что папа меня очень любит и с удовольствием доставит мне эту радость, тем более что катание на осле имело также несколько спортивный характер, а папа любил повторять, что в здоровом теле здоровый дух.

Но посмотрев на папу, на его недоброжелательно застывшее лицо со строгими глазами, я понял, что он уже просмотрел мой дневник с тремя двойками, который я так неосмотрительно не успел запрятать куда-нибудь подальше.

— Ну, папочка, — сказал я жалобно.

— И после всех этих двоек у тебя еще хватает совести кататься на осле? — спросил папа, и его борода задрожала, что не предвещало ничего хорошего.

— Папочка! — взмолился я. — Даю тебе честное благородное слово, святой истинный крест, что больше у меня никогда в жизни не будет ни одной двойки!

— Нет! — твердо, грубо отрезал папа.

Я не узнавал его. Он был всегда такой добрый.

— Папочка, умоляю тебя, — закричал я, — неужели тебе жалко дать мне пять копеек? Ну, пожалуйста... А то осла уведут, и тогда... Я представил себе ужасную картину увода осла, и слезы хлынули из моих глаз.

— Нет! — еще более сурово отрезал папа.

— Ну почему же, почему же? — рыдая, спрашивал я, отлично понимая, что во всем виноваты двойки. — Клянусь тебе, я исправлюсь!

— Я сказал,— холодно произнес папа.

...я понял, что все погибло...

Когда папа произносил роковые слова «я сказал», то, значит, уже никакая сила в мире не заставит его переменить свое решение.

Папа был очень добрый человек, я его очень любил, но изредка его охватывало упрямство, упорнее которого я еще никогда и ни у кого не встречал: тогда папа делался как каменный. Я понял, что он ни за что не даст мне пятак, и все мои мечты проскакать на осле мимо Нади Заря-Заряницкой бесповоротно рухнули.

И все же я продолжал рыдать, хватая папу за рукава со зловеще твердыми, какими-то «непреклонными» манжетами.

— Я сказал! — повторил папа.— И ступай от меня прочь, двоечник!

Я продолжал рыдать, клялся и божился, что исправлюсь, пускал из носа пузыри, но ничто не помогало. Папа был неумолим. Недаром его имя было Петр, что значит камень.

Тогда я побежал обратно на полянку, надеясь, что мне удастся уговорить хозяина осла поверить мне в долг. В крайнем случае заложить у него свой гимназический пояс.

Однако я опоздал. Осла уже увели в другое место, а вся наша голота уже играла в перебежки между деревьями.

Посмотрев на мое заплаканное лицо, Надя Заря-Заряницкая, тряхнув своими английскими локонами, с иронией спросила:

— Что, не достал денег?

— Ничего подобного,— сказал я.

— А почему ж ты такой зареванный?

— Просто я упал с лестницы и ушиб колено,— сказал я и с этими словами прошел мимо Нади Заря-Заряницкой с жалкой улыбкой, притворно прихрамывая и делая вид, будто у меня действительно очень болит колено.

Но Надя Заря-Заряницкая мне не поверила.

Потом я долго одиноко бродил, прихрамывая, над морем, над нашим Черным морем, которое, как гласит энциклопедический словарь, есть всего лишь залив Средиземного моря с мысом Антиб, за которым спускалось медно-красное осеннее солнце...

Черный месяц март.

...едва мы дошли до Александровской колонны и мама уселась на скамейку возле розариума, а я побежал вверх по горке и стал взбираться по скользким розовым гранитным ступеням к лабрадоровому полированному цоколю колонны для того, чтобы с высоты взглянуть на море, как погода резко изменилась: солнце скрылось в набежавших тучах, подул северный ветер, море покрылось барашками, Дофиновка потонула в тумане.

Мне сразу расхотелось влезать на цоколь и оттуда, как обычно, лежа на животе, съезжать вниз по скользким гранитным архитектурным деталям вроде толстых перил — не знаю, как они называются.

Я видел, как мама схватилась рукой за шляпу, готовую улететь вместе с вуалью; вихрь холодной пыли ударил мне в лицо. Когда я подбежал к маме, она сидела, как-то сиротливо согнувшись в своем черном демисезонном жакете с перламутровыми пуговицами, и ветер трепал шлейф ее длинной юбки, который она сжимала коленями. На коленях лежал ее муаровый мешочек с запасной парой моих нижних штанишек, аккуратно сложенных вчетверо.

Я уже был большой мальчик, мне шел шестой год, но предусмотрительная мама знала, что во время прогулки со мной всякое может

случиться и тогда легко будет заменить мои мокрые штанишки сухими, что уже не раз случалось со мной в Александровском парке.

Со дня рождения моего братика Женечки, прозванного Кувасиком, мама, поглощенная заботами о своем новом ребенке, перестала водить меня гулять. Теперь же, когда Кувасик немного подрос и окреп и его кормила грудью специально нанятая кормилица, мама решила снова водить меня гулять в Александровский парк, чтобы я дышал свежим морским воздухом.

Она выбрала солнечный день, но март оказался коварным месяцем. Погода резко изменилась, а мама была слишком легко одета, без теплой ротонды, в одном костюме.

В парке было пусто и неприветливо, даже знаменитый дуб, огороженный чугунной решеткой, посаженный здесь императором Александром, ветвистый и голый, казался как бы еще больше почерневшим от холодного ветра, и у его подножия сиротливо лежали в пожелтевшей прошлогодней траве желуди.

Я озяб в своем маленьком матросском пальтишке. Мне стало скучно и захотелось вернуться домой, но мама решила немного подождать, надеясь, что погода исправится.

...У нас в черном месяце марте погода менялась по нескольку раз в день...

Однако март оказался коварным месяцем. Пока мама ждала улучшения погоды, я бегал вокруг розариума, где штамбовые розы были еще по-зимнему пригнуты дугой к земле и на их тонких коралловых стволах висели оловянные ленточки с выбитыми названиями сортов.

Черные голые деревья, черная земля, темные тучи, которые низко нес над сердитым морем северный дофиновский ветер,— все это нагнало уныние, и черная согнутая фигура мамы с орлиным пером, трепещущим на шляпе, ее пепельные губы, серевшие сквозь вуаль, усугубляли в моей душе предчувствие чего-то зловещего, что должно случиться в нашей семье.

Посидев некоторое время на скамейке и не дождавшись улучшения погоды, мама переменяла мне мокрые штанишки на сухие, и мы пошли домой, стараясь поворачиваться спиной к острому мартовскому ветру.

Ночью я проснулся оттого, что в доме началась какая-то суета и ставили самовар. Папа, одетый, сидел на стуле возле маминой кровати, держа маму за руку, и, поминутно прикладывая к ее щекам ладонь, говорил:

— Боже мой, Женечка, ты горишь... ты вся горишь...

Он встряхивал термометр, ставил его маме под мышку, через некоторое время вынимал, подносил к глазам, хватался за голову, и снова стряхивал ртуть, и снова всовывал термометр маме под мышку.

Мама лежала, разметавшись на кровати, и папа подсовывал ей под ноги сползающее одеяло. Потом он укрыл маму поверх одеяла своим драповым зимним пальто, но мама продолжала дрожать. Ее бил озноб, и я слышал, как у нее стучат зубы.

...заваривали сухую малину, и свет зеленого абажура папиной лампы, принесенной из столовой в спальню и поставленной на мамин комод, смешивался с красным цветом светящегося в ночном сумраке спальни стакана, наполненного огненно-малиновым чаем. Дымящееся блюдечко дрожало в папиной руке...

Папа подложил маме под спину подушку, и она, сидя в своей ноч-

ной рубашке и валясь назад обессиленной головой, пила с ложечки воспаленными губами пылающую жидкость.

Я засыпал и часто просыпался то разбуженный плачем маленького братика Женечки, то чьими-то осторожно-тревожными шагами, то сухим, раздирающим кашлем мамы, то передвижением по комнате настольной лампы или багрового языка ночной свечи. Однажды я слышал, как часы пробили два раза.

Утром маме стало еще хуже.

В доме все пошло вкривь и вкось. Но все же папа пошел на уроки, хотя и вернулся раньше обычного.

— Женя горит!.. — с отчаянием повторял папа как заклинание, не зная, что предпринять. — Женя горит! Женя горит!..

Поздно ночью, когда я уже спал, сестра милосердия, вызванная из Стурдзовской общины, ставила маме банки, и я проснулся в тот самый миг, когда эта сестра в белой наколке на голове, засучив рукава, манипулировала маленьким факелом, пылающим зловещим спиртовым пламенем, бросающим на обои странные летучие тени.

Я видел, как спиртовое пламя вылизывало внутренность круглых стеклянных баночек и потом эти баночки как бы сами собой прилипали к маминой смуглой обнаженной спине, и как они всасывали в себя коричневую плоть маминой спины и боков, полностью заполнявшую круглую пустоту баночек.

Банки усеивали сначала всю мамину спину, потом сестра милосердия отрывала их с пробочным хлопаньем от маминой спины, которая оказалась вся покрыта багровыми кружочками, а мама стонала, и ее переворачивали грудью вверх и ставили банки на грудь и на бока, и странные летучие тени горящего спирта снова металась по обоям, по их потертым коричневым букетам.

Папа надеялся, что после банок маме полегчает, но ей по-прежнему было худо. Она лежала, полузакрыв глаза, с распущенными волосами, укутанная двумя одеялами, а сверху них своей ротондой и папиным пальто.

...из ее сухих, потрескавшихся губ вылетало тяжелое дыхание...

Ночь сменялась днем, день сменялся вечером, из комнаты в комнату переходили огни свечей и настольных ламп; папа делал маме спиртовой компресс, и я видел, как мама нежно с усилием улыбнулась папе, как бы желая его подбодрить, и как ее губы почти беззвучно произнесли:

— Не волнуйся, Пьер. Я просто остыла на этом коварном мартовском ветру. Кажется, мне уже лучше.

Но ей делалось все хуже и хуже.

В доме появились доктора. Кухарка то и дело бегала в аптеку и приносила оттуда все новые и новые лекарства. Я совсем перестал ощущать время.

...сначала один доктор, потом другой, потом я услышал страшное слово «консилиум»...

Мою кроватку перекатили из спальни в столовую и поставили к стене против коричневой ширмы, за которой жила бабушка. Здесь же на диване, перенесенном из гостиной, пеленали маленького Женечку и промывали его закисшие глазки борной кислотой. Я видел, как его кормилица расстегивала свой корсаж, доставала большую, похожую на вымя грудь и совала Кувасику в его крошечный горестный ротик

коралловый сосок, как бы растущий из коричневого кружка грубоватой кожи.

Потом были кем-то чужим произнесены слова:

— Воспаление легких.

Я услышал их из-за двери, оттуда, где на керосинке в медном тазу для варенья все время что-то кипятилось.

Никто в доме, кроме меня, не ложился спать. Не помню уже, обедали мы или не обедали. Кажется, ели урывками на кухне: вся квартира была отдана в распоряжение докторов. На столах и на комодах, даже на стульях — всюду были расставлены какие-то тарелки, стаканы, блюдечки, в которых кисла вата. Все время вносили и выносили тазы. Появилась круглая фаянсовая посуда с ручкой, называвшаяся «подсов». Куда его подсовывали, я мог только догадываться.

Папа не умывался и не переодевался. Он все время был в своем новом сюртуке, который на моих глазах как бы ветшал — мялся, пылился, становился поношенным. Папины манжеты, всегда такие чистые, белые, слегка загрязнились, папины волосы были нечесаны, борода сбилась набок, пенсне все время сваливалось с носа и болталось на шнурке, как маятник, поблескивая стеклами, отражавшими огненное слюдяное окошечко керосинки.

Доктора все время то уезжали, то приезжали, привозя свои докторские саквояжи, в которых слышалось позванивание хирургических инструментов.

С мамой все время что-то делали, но я не знал и не понимал что именно.

Доктора, сняв сюртуки и засучив рукава, мыли над тазом руки, а папа сливал их из кувшина, обливая при этом свои брюки и ботинки.

Помню вечер, гостиную, превращенную в нечто вроде операционной, где на альбомном столике горела стеариновая свеча в медном подсвечнике с зелеными потеками и на тарелке рядом с пинцетом и скальпелем лежали очень хорошенькие маленькие стеклянные ампулы — вроде крошечных шприцев — с медными доньшками и стальными жалами.

...я услышал, что это замораживающее средство со страшным, почти волшебным названием:

хлорэтил...

Молодой доктор поманил меня пальцем и, очевидно, пожалев и желая развлечь, надавил медную кнопку, и хлорэтил брызнул в пламя свечи, причем его мелкие, как роса, капельки вспыхнули туманной радугой и затрещали, напоминая мне мандариновую кожуру, из которой я любил брызгать на елочные свечи.

Эфирный запах распространился в гостиной.

Молодой доктор дал мне шпричик с остатками хлорэтила, и я некоторое время забавлялся, брызгая в пламя свечи, сразу же окружавшееся трескучим радужным ореолом, делавшим нашу гостиную с переставленной мебелью еще более празднично-зловещей.

Впоследствии я узнал, что доктора обнаружили у мамы в грудной или брюшной полости или еще где-то нарыв, который во что бы то ни стало надо было вскрыть и выпустить гной наружу, они делали один прокол за другим, но никак не могли обнаружить гнойник. Маме сделали одиннадцать глубоких хирургических проколов, но гнойника так и не нашли.

...с тех пор слово «одиннадцать» до сих пор имеет для меня зловещий смысл...

Не знаю когда, рано утром или поздно вечером, в дверь спальни внесли две черно-серых кислородных подушки. За ними посылали несколько раз на извозчике, хотя до аптеки было рукой подать.

Папа то и дело открывал свой комод и доставал из него деньги, давая докторам, сестрам милосердия, извозчикам, кухарке — на лекарства, на подушки с кислородом, на их доставку из аптеки.

Я услышал в спальне, куда маму перенесли обратно из гостиной, странное храпение. Я подошел к двери и со страхом посмотрел на маму. Ее хрипящий рот был прижат к черному каучуковому респиратору кислородной подушки, которую с противоположной стороны скатывала в трубу сестра милосердия, как бы выдавливая из кислородной подушки остатки спасительного кислорода, в то время как кухарка вносила в дверь новую туго раздутую кислородную подушку.

Из маминого рта продолжало исходить хрипящее сухое дыхание. Свет лампы на комодке был заставлен томом энциклопедии Брокгауза и Ефрона, и тень лежала на мамином лице, сливаясь с черными распущенными волосами. Я свято верил в целебную силу так безумно дорого стоившего кислорода, темных, почти невесомых подушек, в которых его двое суток подряд днем и ночью возили на извозчиках.

Я был уверен, что мама скоро выздоровеет, тем более что доктора разъехались, держа в руках свои позванивающие саквояжи.

В доме уже не было суеты, и я сам разделся и лег спать, некоторое время все еще слыша доносящееся из спальни в столовую тяжелое дыхание мамы и храпение каучукового респиратора кислородной подушки.

Я проснулся поздно. Ставни в столовой, где я спал, были уже открыты. В окна светило мартовское, предпасхальное солнце. В квартире стояла удивительная, противостественная тишина. Из кухни в столовую вышла празднично причесанная, одетая в новую кофту кухарка, велела мне вставать, натянула на мои ноги длинные шерстяные чулки и помогла мне застегнуть крючком мои ботинки на пуговицах. Затем она поправила на мне блузочку, недавно сшитую из остатка шерстяной материи от маминой зимней юбки. Я был удивлен, что кухарка не ведет меня в кухню умываться.

Меня тревожила необычайная, какая-то воскресная тишина в квартире. Кухарка грустно посмотрела на меня, перекрестилась и сказала:

— Бог взял к себе твою мать. Умерла твоя мамочка. Пойдем.

Она взяла меня за руку и ввела в тихую, прибранную спальню, где в изголовье маминой кровати на тумбочке горела лампадка. Мама с закрытыми глазами и гладко причесанной головой, слегка склонившейся набок, с еле заметной неподвижной улыбкой на губах, почерневших от лекарств, лежала на кровати со сложенными на груди руками, и ее лоб маслянисто блестел, отражая кроткий, совершенно неподвижный, удивительно прозрачный язычок горячей лампадки.

Папа стоял рядом с маминой кроватью без пенсне, с утомленными глазами и грустно смотрел на маму. Я подошел к нему, слыша, как твердо стучат по полу еще не сбившиеся каблуки моих новых башмаков.

Папа положил руку на мое плечо и сказал:

— Вот и нет больше у тебя мамочки.

Я смотрел на маму, на ее неподвижное, с закрытыми глазами, немного японское лицо, на сомкнутые черные ресницы с еще не высохшей последней слезинкой, на красную лампадку в ее изголовье, на ее покрытое одеялом до пояса тело, уже как бы не причастное ни к чему земному и в то же время такое обычное, ничем не замечательное, земное, что я хотя и отлично понимал, что мама умерла, все же не

мог постичь, что это состояние смерти будет уже присуще маме навсегда.

Я не испытывал ни ужаса, ни горя, моя душа еще не была приготовлена для настоящего, глубокого страдания, я чувствовал лишь, что в нашей семье произошло нечто ужасное, хотя и обыденное.

Помню, как папа, не зная еще, как надо вести себя в эти первые часы бездействия и тишины, сидел, покачиваясь в качалке, устремив глаза куда-то вдаль, туда, где за окнами так непостижимо обычно простиралась и жила своей будничной жизнью наша улица со всем своим тархтенем извозчиков, шагами пешеходов, криками старьевщиков, скрипом тачек.

Я понимал, что мама умерла, но еще не вполне понимал, что это навсегда: ведь мама была все еще тут, рядом с нами, наша, со своим смугло-блестящим лбом и едва уловимой, скользкой и в то же время неподвижной кроткой улыбкой.

К тому времени мне уже кто-то из взрослых рассказал — может быть, даже сама мама — про опыты с мертвой лягушкой, которую можно заставить двигать лапками, если воздействовать на ее мускулы электрическим током. Я даже знал, что подобные движения мертвой лягушки называются гальваническими.

Я сел папе на колени и, качаясь вместе с ним в качалке, спросил. нельзя ли как-нибудь оживить маму. Неужели нет такого средства?

С улыбкой, способной перевернуть душу, папа погладил меня ледяной рукой по голове и с глубоким вздохом сказал, что, увы, такого способа нет.

— А электричество? — спросил я, не понимая, какие страшные душевные раны я наношу ему.

— Увы,— ответил папа.

Но я не унимался.

— А почему же мертвые лягушки могут делать гальванические движения? Папочка, пожалуйста! — с жаром сказал я.— Попроси, чтобы у мамочки сделали гальванические движения. Она откроет глаза и снова будет живая.

— Увы,— повторил папа, продолжая гладить мне голову рукой, на которой я чувствовал присутствие обручального кольца.— Если она даже и откроет глаза,— сказал папа,— то совсем ненадолго и не перестанет быть мертвой.

— И теперь она навсегда будет мертвой? — почти с ужасом спросил я, впервые начиная понимать всю непоправимость того, что случилось с мамой.

— К сожалению,— совсем тихо сказал папа,— против смерти электричество бессильно.

Он продолжал неподвижно смотреть куда-то вдаль, по его лицу проходили слабые судороги, и я понял, что он делает усилия, чтобы заплакать, но плакать не мог, и это разрывало ему сердце.

...о, если бы он мог плакать, рыдать!..

Но он только смотрел вдаль покрасневшими, остановившимися глазами.

Я думал, что мама на своей кровати, и лампадка, и папа в качалке, и Кувасик на руках у кормилицы, и я, и тишина в квартире — все это так и останется навсегда и с этим еще можно как-то примириться, привыкнуть.

Но скоро все изменилось.

Квартиру наполнили разные знакомые и незнакомые люди. Каких-то два семинариста в тужурках, знакомые или даже родственники

папы, сидя в гостиной, свесив вниз свои длинные волосы, сочиняли платное похоронное объявление в «Одесский листок». Сначала объявление было большое и длинное, потом в целях экономии его стали сокращать, сокращать, сокращать, как обычно сокращают телеграмму, так что в конце концов на другой день в газете в тоненькой траурной рамке появилось совсем коротенькое, совсем незаметное среди других больших, многословных похоронных объявлений богатей крошечное объявление под тонким крестиком, где мама не была даже названа полным именем, а как-то по-сиротски: «Е. И. Катаева».

В кухне все время ставили самовар, пили чай и ели бутерброды с колбасой, приходил гробовщик, снимал мерку, и как-то само собой в этой сутолоке появилась модистка Фани Марковна, которая тут же, обливаясь слезами, стала метать на живую нитку для мамы платье, белое, как для невесты.

Каким образом укладывали маму в гроб и когда этот гроб появился в доме, я не помню, наверное, я уже тогда спал, но проснувшись на другое утро, я увидел в спальне пустую мамину кровать, застланную марсельским одеялом, и на тумбочке уже не было лампы, а на мраморной доске остался от нее только масляный кружок. Это меня успокоило. Я подумал, что все уже обошлось, но, пройдя из столовой через пустынную, начисто выметенную, вымытую и прибранную спальню, где в воздухе еще держался эфирный запах хлорэтила и каких-то других лекарств, я переступил порог гостиной, и первое, что я увидел там, — был угол белого гроба и церковный стоячий подсвечник с толстой горящей свечой.

Гроб стоял наискось комнаты на каком-то возвышении, в том углу рядом с фикусом в зеленой кадке, где недавно я уже видел другой гроб, но не белый, а коричневый, с умершим дядей Мишей.

Мамин гроб был деревянный, хорошо посеребренный, и вокруг его краев выступали бумажные кружева, что делало его отдаленно похожим на открытую коробку шоколадных конфет.

По углам гроба горели четыре церковных свечи.

Мама лежала в белом, на скорую руку сметанном платье, сложив высоко на груди руки с неизвестно откуда взявшейся маленькой иконкой.

Дверь из передней, где зеркало было закрыто простыней, была настежь открыта на лестницу, пол посыпан ельником, рядом с дверью стояла крышка гроба; мимо нее все время входили и выходили знакомые и незнакомые люди, родственники, соседи, просто любопытные с Базарной улицы. Я затерялся в этой толпе и чувствовал себя одиноким, все еще не вполне понимая, что мама умерла навсегда. Мне все еще казалось, что люди разойдутся, гроб унесут, из глубины квартиры выйдет мама с Куvasиком на руках, улыбнется мне — и жизнь будет продолжаться по-прежнему радостно и дружно.

Потом начались панихиды.

Появились священники, которые надевали в передней через голову свои траурные газетовые ризы и бархатные лиловые камилавки. Раздался бас дьякона, из-под серебряной крышечки кадила повалил душистый дым росного ладана, душно обволакивая все комнаты нашей маленькой квартиры, все закоулки ее, и сквозь эти пепельно-сиреневые клубы я видел колеблющиеся язычки восковых свечек и как бы смазанный священным маслом, позолоченный лоб мамы с тенью темных ресниц на похудевших и еще более побелевших за ночь щеках.

Это продолжалось два дня, а на третий я увидел в окно, как возле нашего парадного на мостовой остановился высокий белый катафалк на черных колесах и в квартиру вошли так называемые «мортусы» —

в черных узких пальто с большими серебряными пуговицами, в черных адмиральских треуголках, обшитых траурным позументом.

Гроб подняли и понесли вниз по лестнице, причем папа и ближайšie родственники норовили поддерживать его подставленными плечами и поддерживали особенно бережно на поворотах парадной лестницы.

...пел высокими голосами хор певчих в своих синих балахонах с кистями...

В руках у мортусов дымились черные смоляные факелы. Лошади, покрытые белыми сетками, с черными шорами на глазах, отчего они казались слепыми, со страусовыми перьями над головами, стояли смирно, ожидая, когда гроб с моей мамой наконец вдвинут в колесницу и со всех сторон обвешат венками из бумажных и фарфоровых искусственных цветов, украшенных белыми муаровыми лентами с надписями, составленными из крупных печатных букв, вырезанных из золотой, серебряной или черной лакированной бумаги.

Несколько позади катафалка стояли три или четыре старых кареты на тот случай, если по дороге на кладбище кто-нибудь из провожающих устанет и тогда он сможет сесть в карету.

Похоронная процессия двинулась вниз по Базарной улице мимо аптеки, где в окнах зловеще светились графины с разноцветной жидкостью; где-то сбоку проплыл магазин Карликов, на пороге которого стояли, провожая мамин гроб испуганными глазами, мадам Карлик в накладной прическе и сам Карлик, держа в руке свой старый суконный котелок на белой шелковой, сильно порыжевшей подкладке.

Папа вел меня за руку по мостовой за катафалком, и я все время видел два больших черных колеса, медлительно, неотвратимо поворачивающихся по правую и по левую сторону от нас.

Похоронная процессия двигалась утомительно медленно; священник с небольшими равными промежутками взмахивал кадилом, в котором как бы сквозь зубы тлели угли, и в воздухе таяли облака ладана, а погода вокруг стояла холодная, коварная, черная, мартовская.

Скоро я устал, и меня вместе с Сашей посадили в карету со стенами, обитыми старым солдатским сукном. Нам очень нравилось ехать в карете, нюхая ее затхлый воздух.

Потом катафалк, покачиваясь на ухабах, въехал под арку кладбищенских ворот с иконой, украшенной розовыми бумажными цветами. Маму должны были довести до паперти кладбищенской церкви, куда вела пустынная, безрадостная аллея, внести в церковь, там отпеть ее, а затем отнести к приготовленной уже могиле и похоронить.

Правду сказать, все так измучились, что втайне всем хотелось, чтобы церемония поскорее закончилась и можно было бы вздохнуть свободно.

Однако перед самым выносом знакомый телеграфист принес в своей кожаной сумочке на поясе телеграмму из Екатеринослава, где сообщалось, что две мамыны сестры — тетя Наташа и тетя Маргарита — выезжают поездом в Одессу, приедут завтра и умоляют не хоронить без них Женю.

Таким образом похороны оттягивались еще на один мучительно тягостный день.

Мамин гроб выдвинули из катафалка и отнесли на руках в кладбищенскую часовню — вернее, мертвецкую, — выстроенную специально для подобных экстренных случаев рядом с кладбищенскими воро-

тами. Здесь маму, закрыв крышкой, оставили одну, и мы с папой вернулись на извозчике домой, где было уже все прибрано, вымыто, проветрено и слышалось лишь чмокание и куваканье маленького Женечки, которого кормила грудью мамка, сидя в гостиной в кресле под фикусом, на том самом месте, где на двух составленных ломберных столах еще совсем недавно стоял гроб с мамой.

...В эту ночь я плохо спал, все время представляя себе маму одну, в закрытом гробу лежащую в часовне, а старая монашка при свете пятикопеечной свечи читает псалтырь, бормоча и проглатывая слова и крестясь, и, поскоблив морщинистые пальцы, одну за другой листает ветхие страницы черной книги в кожаном переплете, изъеденном червями...

Мне было жалко маму, и вместе с тем я боялся думать о ней, представляя, как она вдруг сбрасывает крышку гроба, открывает глаза и садится на подушке, набитой стружками. Эти мысли, смешанные с тягостными снами, так измучили меня, что я с трудом встал со своей кровати, которую уже успели перекатить на ее постоянное место между папиной и маминой постелями.

...начался последний день пребывания маминого тела на земле...

Поезд из Екатеринослава опаздывал. Дольше ждать было невозможно. Мы опять поехали с папой на кладбище и по дороге проезжали мимо Чумки, громадного зловещего холма, образовавшегося на том месте, где в какой-то далекий черный год хоронили умерших от чумы в одной братской могиле, заливая трупы кипящей смолой, засыпая негашеной известью и лишь потом забрасывая землей. Вырос громадный земляной холм, почти гора. На ней появилась трава, бурьян, чертополох, и она стала грозным воспоминанием об ужасном годе, когда по улицам ездили телеги, нагруженные мертвыми телами, и всюду горели костры, на которых сжигали пожитки и постели из вымерших домов, вытаскивая их крючьями и обливая дома карболкой.

Ходили темные слухи, что в Чумке хранятся сказочные богатства — перстни, бриллианты, ожерелья, которые в тот страшный год не решались снимать с покойников и закапывали их в землю вместе со всеми драгоценностями. Предприимчивые дельцы предлагали городской управе большие деньги за то, чтобы им разрешили произвести раскопку Чумки, но им неизменно отказывали, опасаясь, что Черная Смерть вырвется из-под земли и снова начнет тысячами косить жителей города. Проезжая с папой на извозчике мимо Чумки, я представлял себе чуму в нашем городе, на Базарной улице, и закрывал глаза, чтобы не видеть высокий, уже слегка начинающий зеленеть холм, моля бога, чтобы мы скорее проехали мимо и не заразились чумой.

Когда мы вошли в кладбищенскую часовню, уже полную людей, я увидел открытый гроб, заваленный розовыми и лиловыми гиацинтами, и под ними белое платье покойницы мамы. За ночь ее закрытые глаза ввалились, но слегка наклонившаяся к подушке голова по-прежнему однообразно улыбалась, и в углу совсем уже почерневших губ я рассмотрел белую капелюку гноя. На лбу у мамы появилась кем-то положенная бумажная полоска с печатной молитвой, и какой-то студент, расставив деревянный коленчатый штатив своего фотографического аппарата, наводил объектив на мамино лицо, а затем поднял руку с какой-то металлической штучкой, и в ней ослепительно вспыхнул магний, пустив вверх белое облачко дыма и навсегда запечатлев

гроб, покойницу в белом платье, венки, ленты, ризы священников, папу в изголовье гроба и, может быть, меня рядом с папой.

...а мамыны сестры до сих пор еще не приехали из Екатеринослава и ждать их дольше было невозможно...

Сводящие с ума своими однообразными повторениями похоронные колокола не переставали звонить с колокольни кладбищенской церкви; у меня кружилась голова от их бемолей, бьющих как молоток по вискам; я терял сознание от духоты и гнилостного, сладкого запаха увядающих гиацинтов.

Несколько семинаристов стали медленно закрывать гроб крышкой; вот уже лицо мамы скрылось из глаз; но в эту самую минуту в часовню вбежали мамыны сестры — тетя Наташа и тетя Маргарита, — только что приехавшие с опоздавшим поездом из Екатеринослава. Они были в дорожных пальто, в новых траурных шляпках с крепом, с саквояжами в руках — прямо с вокзала.

С окаменевшими лицами они подошли к гробу, и семинаристы снова сняли с него крышку.

— Женья! — в отчаянии закричала тетя Маргарита, увидев мамино склонившееся осунувшееся лицо.

Тетя Маргарита была похожа на маму, в таком же пенсне, такая же чернобровая, но только гораздо моложе, только что кончившая гимназию. Тетя Маргарита стала целовать лоб и руки покойницы мамы.

Тетя же Наташа упала на колени перед гробом, опустила голову, ее шляпка сбилась набок, и слезы полились из ее добрых глаз.

Но кладбищенские колокола продолжали долбить свои бемоли, и гроб снова закрыли крышкой, на этот раз навсегда, хотя я этого все еще не в состоянии был понять: в моем представлении мама все еще была жива, хотя и неподвижна.

Лишь когда я очутился перед глубокой свежей могилой, со dna которой два могильщика выбрасывали вверх последние лопаты глины, и гроб с мамой поставили на краю могилы, и я увидел срез почвы, переходящей сверху вниз от черного слоя сначала к коричневому, а потом к светло-желтому, песчаному, сырому, и рабочий стал забивать молотком гвозди в крышку гроба, и потом стали — не на полотенцах, а, по нашему обычаю, на канатах опускать гроб в глубину суживающейся могилы, и со стен ее побежали струйки сухой глины, перемешанные с какими-то растительными корешками, и опускали до тех пор, пока гроб вдруг не остановился всеми своими четырьмя ножками на дне, и запели певчие, и папа поднял комок глины и каким-то лунатическим движением бросил его вниз, так что он стукнулся о полу высокую крышку мамино гроба, и потом рабочие взялись за лопаты и с непонятной поспешностью стали закидывать гроб землей, так что скоро на месте могилы вырос высокий острый холм, очертаниями своими отдаленно напоминая гроб, — тут только я очнулся от странного сна, в который была все это время погружена моя душа, и понял со всей ясностью, что только что закопали глубоко в землю мою маму, что я ее уже больше никогда не увижу, и горячие, неудержимые, горькие, обильные, блаженные слезы хлынули из моих глаз, а папа, держа меня за плечи руками, бормотал:

— Вот и все. Вот и нет больше нашей мамочки. Ах, если бы я мог так же плакать, выплакаться, как ты. Но у меня нет слез... Меня наказал бог: я не умею плакать...

Я поднял лицо и высоко над собой увидел его сухие глаза и понял, какую боль, какую муку испытывает он, лишенный способности плакать.

Какая-то женщина, кажется Акилина Саввишна, в черном платке развязала полотенце и вынула из него большое блюдо с белой горкой колева — сладкой рисовой каши, густо посыпанной сахарной пудрой и крестообразно выложенной разноцветными дешевыми мармеладками фабрики братьев Крахмальниковых, и стала одевать кладбищенских нищих, подставлявших руки ковшиком или свои рваные арестантские шапки.

Когда мы вернулись домой, я первый с облегчением взбежал по лестнице на наш второй этаж и стал дергать за проволоку колокольчика. Я был переполнен впечатлениями последних дней и торопился поделиться ими с мамой.

— Мамочка! — возбужденно крикнул я, стучась в запертую дверь ногами. — Мамочка!

Дверь отворилась, и я увидел кормилицу, державшую на руках братика Женечку. Я почувствовал приторный запах пасхальных гиацинтов и вдруг вспомнил, что мама умерла, что ее только что похоронили и уже никогда в жизни не будет у меня мамы.

И я, сразу как-то повзрослевший на несколько лет, не торопясь вошел в нашу опустевшую квартиру.

Гололедица.

Почему-то придавалось особое значение тому, что я родился в гололедицу.

В этом не было ничего особенного. В нашем городе зимой, особенно в январе, весьма часто случаются гололедицы. Так называемые «морские сирень» — туманы — шли с юга на город, погружая его в молочно-серую рыхлую мглу, и если затем с севера начинал дуть крещенский ветер, то все вокруг обледеневало.

При ярком зимнем солнце или же ночью при блеске звезд это представляло волшебную картину, но ходить по скользким тротуарам было почти невозможно, и акушерка, которая спешила меня принимать, вероятно, несколько раз по дороге падала и шла со своим саквояжем, хватаясь за стены и за стволы акаций, покрытые толстой коркой льда.

Однажды в комплекте старой «Нивы» за год моего рождения я нашел фотографию под заголовком «Небывалая гололедица в Одессе» или что-то в этом роде: полуповаленный телефонный столб, подпертый другим столбом, и перекладина между ними, так что получалось как бы большое печатное А, утонувшее в обледеневшем сугробе.

С телефонного столба висели оборванные провода, обросшие льдом, а впереди по колено в сугробе стояли городской в башлыке и дворник с деревянной лопатой в руке, в тулупе и белом фартуке с бляхой на груди.

Жмурясь на солнце, они стояли — руки по швам, — позируя неизвестному фотографу-любителю, добровольному корреспонденту «Нивы», вероятно, какому-нибудь студенту или гимназисту, делавшему снимок с большой выдержкой, покрыв свой неуклюжий деревянный фотографический аппарат на треноге и свою голову в башлыке черным покрывалом, что делало его похожим на одноглазого циклопа (его тень вышла на переднем плане фотографии), а позади можно было заметить размытое изображение нашей Базарной улицы с двухэтажными домами и санного извозчика.

...может быть, в это время уже начались роды, и мама кричала на своей кровати, в то время как Акилина Саввишна держала ее руки и время от времени вытирала пот с ее смуглого лба...

Первая любовь.

Была поздняя осень, и в пустынном Александровском парке деревья стояли уже голые, черные, но было еще тепло, и я пришел на свидание без шинели.

Она показалась в конце аллеи, длиной как жизнь, усыпанной мелкими желтыми листьями акаций.

Она тоже была без пальто, в будничной гимназической форме, в черном саржевом фартучке со скрещенными на спине бретельками.

На всю жизнь запомнил я ее еще детские башмачки на пуговицах, ее клеенчатую книгоноску с пеналом, на котором виднелось несколько полублезших переводных картинок. На среднем пальчике ее правой руки была вдавленка от ручки и небольшое чернильное пятнышко.

Ей было лет четырнадцать, мне — пятнадцать.

Я назначил ей свидание, хотя никакой надобности в этом не было: мы могли видеться с ней хоть каждый день у нее в доме или в гостях у ее подруг.

...но мне казалось необходимо, чтобы это было свидание; одно лишь слово «свидание» сводило меня с ума и обещало рай...

О, как я боялся, что она не придет! Но она аккуратно явилась ровно в назначенное время, в три часа дня после уроков. В этой ее аккуратности, граничившей с равнодушием, я почувствовал уже тогда что-то безнадежное.

У нее были густые каштановые волосы, носик с веснушечками, маленький упрямый подбородок, карие, уже по-женски влажные глаза с выпуклыми веками и миниатюрная, стройная фигурка, к которой так шло ее будничное, хорошо скроенное темно-зеленое гимназическое платье с узкими рукавами без кружевных манжет. Свою форменную черную касторовую шляпу с салатным бантом и круглым гербом она сняла и держала за резинку вместе с книгоноской, а другой рукой поправляла волосы.

Мы стояли друг против друга одни среди громадного, пугающе-пустынного пространства осеннего парка: худой гимназист и маленькая гимназистка, еще почти девочка.

...Я вижу эти две маленькие фигурки, стоящие рядом, но не сливающиеся, где-то в страшном отдалении осенней аллеи, как бы не имеющей ни начала, ни конца...

Пахло подсыхающими, только что подстриженными шпалерами вечнозеленого мирта, туями и южной сосной. Розы в розариуме уже были укрыты соломенными чехлами, небо над нами мягко светилось — теплое, чистое, нежное, немного туманное и такое грустное, что я готов был заплакать.

— Я получила вашу секретку,— сказала она без выражения.

Мы пошли рядом и долго молчали, так как я не находил слов для того, чтобы объяснить ей, зачем мне понадобилось назначать ей свидание. Она терпеливо ждала, а я, чувствуя... (далее зачеркнуто восемнадцать строчек)... и такая безвыходная грусть охватила мою душу, что... (вычеркнуто шесть строк)...

«Полюбить можно раз, только раз всей душой, и любовь эта будет чиста, как лазурное небо на юге весной, как росинка в изгибе листа»...

Я знал, что это любовь на всю жизнь...

Затмение солнца.

Я забрался на чердак нового четырехэтажного дома общества квартировладельцев по Пироговской улице, номер три, куда мы недавно переехали, а затем вылез через люк на крышу, лег там на розовую горячую черепицу и стал дожидаться начала солнечного затмения. Пространство вокруг меня было ограничено черепицей — однообразно повторяющийся рисунок плиток, в желобках которых уже чуть заметно серела летняя пыль, принесенная сюда с Французского бульвара, где, кроме извозчиков и экипажей, довольно часто пробегали автомобили, оставляя за собой облака синего бензинового чада, с громом и звоном мчался электрический трамвай.

Это было через некоторое время после начала первой мировой войны и всеобщей мобилизации, когда в нашем городе все успокоилось и бабушка — мамина мама, — которая так весело проводила у нас лето, играя на пианино вальс Джульетты или марш Фауста, вдруг спешно уехала обратно к себе в Екатеринослав, опасаясь, как бы турецкий флот не стал обстреливать Одессу... И в мире воцарилась знойная августовская тишина, такая глубокая и такая зловещая...

...И такая «чреватая»...

Отсюда, с крыши, я ничего не видел, ни бульвара, ни моря, хотя знал, что оно где-то скрытно синее за дачными садами.

Я знал, что дальше тянутся обрывы, белый маяк и поля поспевающей кукурузы с метелками сухих соцветий и с зелеными наливающимися кочанчиками, а за ними — чужие страны, и где-то там идущая война, в существование которой мне как-то не верилось.

Вокруг себя я видел только ограниченное пространство серо-розовой черепицы, ее склоны, обесцвеченное зноем небо и слепополуденное солнце, на которое больно было смотреть невооруженным глазом. Я смотрел на солнце сквозь густо закопченное стекло и видел сквозь дымчатую серо-коричневую поверхность ярко-белый блестящий кружочек солнца.

...странно, что солнце казалось таким маленьким...

Кружочек солнца был такой четкий, точный, вечный, что не верилось в возможность его затмения, тем более предсказанного заранее за сотни лет вперед.

Между тем я отлично понимал, что где-то в мировом пространстве уже несется черный конус холодной лунной тени и где-то он уже коснулся земного шара и приближается ко мне. Я знал, что внизу, во дворе, уже неподвижно стоят люди, приложив к глазам закопченные стеклышки.

Весь город был наполнен людьми с черными стеклышками у глаз, как бы слепыми.

Но я был один, ограниченный пространством черепичной крыши со столбами розовых кирпичных труб.

...В природе наступила тишина, обычно предшествующая солнечному затмению...

Все же я не верил в то, что наступит затмение. Белый, как бы магниевый кружок солнца был по-прежнему безукоризненно геометричен. четок и недосыгаем.

Я не отрывал глаз от закопченного стекла, повернутого к солнцу своей бархатисто-черной, с коричневыми подпалинами поверхностью. Это был старый неудавшийся фотографический негатив, законченный на свечке. На нем еще можно было заметить какие-то неудавшиеся фигуры людей, очертания деревьев, скал, плоскодонок.

Среди этого странного дымчатого мира отчужденно белел резкий кружок солнца.

И вдруг я заметил на его краю сначала какую-то неровность, нарушившую геометрическую законченность небесного тела, потом шербинку, постепенно превратившуюся в пробойну, черную, овальную, как бы сделанную компостерными щипцами, потом ослепительно-белый диск солнца превратился в полумесяц, и я почувствовал на своих волосах дуновение звездного холода.

...тень Луны промчалась по полям сражений...

1969—1972 гг.
Переделкино.



ЛЕВ ОЗЕРОВ

★

ОРУЖЕЙНАЯ БАЛЛАДА

Сама Екатерина на Тульский оружейный
Приехала в карете.
Прием благоговейный.

Пришла сама Фелица,
Всея Руси царица,
А с нею приближенные влиятельные лица.

Те лица просияли:
Из красного чехла
Царица молоточек пальчиками взяла.

Взяла его, как ящерка, брезгливо и спесиво,
Но лица приближенные
Подумали: «Красиво!»

Потом тем молоточком,
Приблизившись к столу,
Ударила по новому ружейному стволу.

На том ружье — сиятельная надпись на века
Гласит: его коснулась
Фелицина рука.

...Спрошу, на надпись глядя
С высот иного дня:
Где имена умельцев, что, стоя у огня,

По правилам науки,
Из самой прочной стали
России в руки ружья проверенные дали?

Те ружья быстро старились и нарождались снова
По разуменью Мосина,
По мысли Дегтярева.

Гляжу на эти ружья в зарубках огневых.
Рабочие династии
Не названы на них.

Не названы — впрессованы в ружейные стволы,
Что забраны заботливо
В защитные чехлы.



ПУБЛИЦИСТИКА

Н. МАТЧАНОВ,
*Председатель Президиума
Верховного Совета Узбекской ССР*

★

ТАШКЕНТСКИЙ ХАШАР

Вскоре после XXIV съезда партии я побывал на Ташкентском заводе электронной техники. Естественно, что, готовясь к выступлению на заводском партийном собрании, мне хотелось познакомиться с людьми, поближе узнать условия, в которых трудится коллектив,— словом, окунуться в его атмосферу. Большое впечатление производит высокий уровень этого предприятия, оно принадлежит к одной из тех отраслей индустрии, что связаны решительно со всеми сторонами хозяйственной и культурной жизни страны.

На собрании выступали рабочие, мастера, начальники цехов, говорили о досрочном выполнении восьмой пятилетки, о новаторах, чей рационализаторский поиск принес три миллиона рублей экономии, о техническом переоснащении. В ближайшие годы здесь намерены внедрить комплексную механизацию производства, вычислительные и управляющие машины, основные подсистемы АСУП...

Этот завод далеко не исключение. Он один из многих сотен в современном Узбекистане. Ничего подобного наш край не знал в прошлом: единственной целью царского самодержавия на закабаленных окраинах страны было выколачивание сырья...

Только Октябрь, только ленинская партия коммунистов вывели народ наш на светлую дорогу исторического созидания, сделали его полноправным хозяином и творцом своей судьбы.

И есть глубокий смысл в том, что один из крупнейших заводов Ташкента, завод электронной техники, носит имя Ленина. Весьма символично и то, что на этом заводе плечом к плечу трудятся сыны и дочери многих народов нашей страны — русские и узбеки, украинцы и татары, белорусы и армяне, грузины и таджики...

И когда я думаю о том, каким был и каким стал Узбекистан, я неизменно обращаюсь к такому животворному источнику нашей силы и мощи, как дружба народов.

«Советский Союз олицетворяет собой небывалые ранее в истории отношения единства и дружбы свободных народов,— сказано в постановлении ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик».— Эта дружба — одно из величайших завоеваний социализма, могучая движущая сила советского общества, неиссякаемый источник творческого созидания грядущих всех национальностей СССР во имя самой благородной цели — построения коммунизма».

Тысячи примеров убедительно иллюстрируют этот закономерный вывод актуального партийного документа.

Все, чем богат и знатен Узбекистан — его мощная индустрия и высокомеханизированное сельское хозяйство с хлопководством во главе, его социалистическая культура, его новые города и кишлаки,— все это возросло на щедрой почве дружбы и сотрудничества советских народов.

кент и ташкентцы не пали духом. Перед лицом разбушевавшейся стихии вполне осязаемый, осязаемый смысл обрели слова: один за всех и все за одного.

Уже через несколько часов после землетрясения в Ташкент прибыли Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев и Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин. Прямо из аэропорта они выехали в наиболее пострадавшие районы города, беседовали с жителями, знакомились с обстановкой, с характером и размерами разрушений.

И снова заседание бюро ЦК компартии Узбекистана. Доклад директора сейсмической станции В. И. Уломова. Выступления геологов, архитекторов, строителей. О первых шагах республиканской правительственной комиссии рассказывает ее председатель М. М. Мусаханов. Начинают вырисовываться контуры небывалых по размаху восстановительных работ. А город один за другим продолжают сотрясать подземные толчки. Помнится, во время этого заседания их было шесть — здание качалось, как корабль в море.

Утром 27 апреля о горе Ташкента узнала вся страна:

«По предварительным данным, в Ташкенте разрушено значительное количество жилых домов, главным образом старого типа. Разрушено также несколько больниц, школ, зданий государственных и общественных учреждений. Серьезно пострадали две фабрики.

Зарегистрировано четыре случая смерти и госпитализировано около 150 пострадавших.

Принимаются меры по ликвидации последствий землетрясения. ЦК КПСС и Совет Министров СССР образовали правительственную комиссию в составе товарищей Новикова И. Т.— заместителя Председателя Совета Министров СССР, Бирюкова А. Е.— заведующего отделом строительства ЦК КПСС, Мартынова Н. В.— первого заместителя председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению, Посохина М. В.— председателя Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР».

«Мы с тобой, Ташкент!» Эта формула братской солидарности с каждым часом впитывала в себя все больше конкретного, делового проявления заботы партии, народа, всей страны.

28 апреля 1966 года на собрании партийного актива Узбекистана выступил Леонид Ильич Брежнев. Он говорил о том, что положение необычное, ситуация сложная и что в этих условиях необходимо наладить как следует разъяснительную политическую работу. «Землетрясение — слепая сила. Толчок произошел ночью. Несмотря на стойкость и мужество, проявленные при этом ташкентцами, многие все же находятся под впечатлением страха. Нужно, чтобы они пришли в себя, овладели собой и чувствовали себя увереннее. Поэтому я подчеркнул, прежде всего, важность работы с людьми. Надо провести партийные собрания на предприятиях, в учреждениях и организациях, совещания, индивидуальные и групповые беседы, разъяснить обстановку, рассказать о тех мерах, которые принимаются для нормализации положения».

Никогда не забуду, с каким воодушевлением участники собрания встретили слова Леонида Ильича о том, что главное направление в решении кардинальной проблемы Ташкента определилось, что оно становится общим делом, ибо опирается на мощь Советского Союза, на силу дружбы наших народов — силу, которая победит любые трудности и невзгоды. Эта дружба — одно из самых дорогих завоеваний советского строя, советских людей. Через два года, говорил тогда Л. И. Брежнев, мы надеемся увидеть Ташкент преображенным, таким, который задаст архитектурный тон крупному городу будущего.

Бушевала стихия, уже не десятки, а сотни толчков перенес Ташкент. Целые кварталы рухнувших глинобитных домов на глазах уходили в небытие. Старый Ташкент уходил в историю. Танки штурмовали полуобрушенные стены. На пустырях, прямо на мостовых поднимались палаточные городки, бессменную вахту несли милиционеры и солдаты, добровольные народные дружины, медики, пиццерики, работники всех служб городского хозяйства. Раненый город жил, работал, боролся, и каждый его шаг был началом нового Ташкента, которому никакие землетрясения в будущем уже не страшны...

* * *

Говорят, что статистика суха, невыразительна. Но какой подчас подлинной силой жизни наделены бывают цифры, как они способны ободрять и радовать, огорчать и причинять боль. Своя статистика и у ташкентского землетрясения.

Горечь утраты. В различной степени в городе разрушено и повреждено 37 тысяч зданий, 95 тысяч квартир, 259 детских, 149 медицинских учреждений, 148 школ, 689 магазинов и столовых, 323 предприятия коммунального и бытового обслуживания. Вышли из строя 245 производственных помещений на промышленных предприятиях. 78 тысяч семей потеряли жилье.

Масштабы помощи. Правительство СССР выделило на первоочередные нужды пострадавшему Ташкенту 72 миллиона рублей. Совет Министров республики также разрешил министерствам и ведомствам направить на ремонтно-восстановительные работы в Ташкент восемь миллионов рублей. Правительство Узбекистана из своего резервного фонда ассигновало для оказания единовременной помощи ташкентцам два миллиона рублей.

В Ташкент прибыли строительные отряды из Москвы, Ленинграда и всех братских советских республик. Москвичи взяли своими силами, за счет своих средств и материально-технических ресурсов построить в столице Узбекистана 230 тысяч квадратных метров жилья, ленинградцы — 100 тысяч, края и области Российской Федерации — 330 тысяч, Украина — 160 тысяч, Белоруссия — 25 тысяч, Казахстан — 28 тысяч, Грузия — свыше 22 тысяч, Азербайджан — 35 тысяч, Литва — 10 тысяч, Молдавия — 6 тысяч, Латвия — более 7 тысяч, Киргизия — свыше 11 тысяч, Таджикистан — 8 тысяч, Армения — 15 тысяч, Туркмения — 9 тысяч, Эстония — более 5 тысяч квадратных метров жилья.

14 июня 1966 года Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР принял постановление «Об оказании помощи Узбекской ССР в ликвидации последствий землетрясения в г. Ташкенте». Перед ЦК компартии Узбекистана, правительством республики, партийными, советскими, профсоюзными, комсомольскими и хозяйственными организациями была поставлена первоочередная задача: в короткие сроки, до наступления зимы 1966 года, создать при активном участии и братской помощи союзных республик необходимые жилищные условия для жителей, пострадавших от стихийного бедствия. В примечании к постановлению указывалось: «Строительство жилых домов в Ташкенте осуществляется в комплексе со строительством школ, детских дошкольных учреждений, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и работами по инженерному оборудованию и благоустройству застраиваемых территорий в соответствии с действующими нормативами».

Щедрые сердца. Счет № 170064 в Ташкентской конторе Государственного банка СССР. Он был открыт в связи с многочисленными пожеланиями трудящихся страны оказать личную материальную помощь Ташкенту. Десять миллионов рублей поступило на этот счет.

Некоторые итоги. Строительные отряды Москвы, Ленинграда, союзных республик, Советской Армии и Флота, министерств и ведомств СССР своими силами и на свои средства за три с половиной года возвели в Ташкенте более миллиона 300 тысяч квадратных метров жилой площади, 46 школ и детских дошкольных учреждений на 27 тысяч мест, магазины и столовые, поликлиники и больницы, общественные центры и другие объекты. Вместе с посланцами братских республик, со строителями других областей Узбекистана самоотверженно трудился коллектив Главташкентстроя: за то же время он сдал в эксплуатацию около миллиона 400 тысяч квадратных метров жилья, более 230 объектов промышленного, культурного и бытового назначения, десятки школ, возвел крупные административные и учебные корпуса, восстановил и отремонтировал 26 тысяч квартир, 159 школ, детских садов и яслей, 48 медицинских учреждений.

Нет, язык статистики не сух и не черств. Ему по праву принадлежит виднейшее место в пропаганде фактами.

Сегодня все сделанное в Ташкенте кажется почти сказочным. С запада на восток и с севера на юг в обрамлении многоэтажных зданий протянулись многоверстые широкие, светлые проспекты. И самое дорогое и близкое сердцу каждого ташкентца — Ленинский проспект с одним из прекраснейших в городе зданий — филиалом Центрального музея В. И. Ленина. В его залах у ленинских документов, волнующих страниц исто-

рии жизни вождя во всей полноте осознаешь, где истоки этих чудесных преобразований, в чем главное богатство и сила советских людей.

С балюстрады ленинского музея видны дома, построенные Россией, Украиной. А чуть дальше за ними угадываются кварталы домов, воздвигнутых тружениками других союзных республик — белорусами, казахами, армянами, грузинами, таджиками и туркменами...

Но сейчас, когда я пишу эти строки, когда перед глазами эти красавцы дома, эти красавицы улицы, память возвращает меня к тем дням, когда здесь, как журавли, вытянулись над котлованами башенные краны. И я вновь как бы слышу тревожные сводки того времени:

«В ночь на 14 мая в Ташкенте отмечено семь подземных толчков различной силы. Как сообщили на сейсмической станции «Ташкент», первый толчок в 4—5 баллов был зарегистрирован в 21 час 30 минут. Через десять минут последовали слабые колебания почвы в два балла, а в 22 часа 21 минуту — менее двух баллов. Через пять минут после этого произошел четырехбалльный подземный толчок... Седьмой подземный толчок в три балла отмечен утром в 5 часов 8 минут».

Город трясло, дома раскачивались, вздрагивали. И такая напряженная обстановка держалась уже почти три недели. Столица Узбекистана не знала ни минуты покоя. Но жизнь шла своим чередом. Люди не ощущали одиночества. К середине мая в Ташкент прибыли десятки строительно-монтажных поездов. Первыми к закладке домов города-спутника Сергели приступили военные строители.

Выше я не случайно привел сообщение сейсмической станции «Ташкент». В ту пору эти сообщения воспринимались как фронтовые сводки. И город действительно жил фронтовой жизнью. Ночь на 14 мая прошла особенно беспокойно — еще не улеглись волнения в связи с сильнейшими подземными толчками 9 и 10 мая. Но по-прежнему ташкентцы не поддавались панике. Утром 14 мая вся республика услышала слово Центрального Комитета компартии Узбекистана, Президиума Верховного Совета и Совета Министров Узбекской ССР:

«Дорогие товарищи! В эти тяжелые для населения столицы республики дни вся наша партия, весь советский народ встали рядом, плечом к плечу, рука об руку с ташкентцами, мужественно преодолевающими последствия стихийного бедствия.

Трудящиеся Узбекистана никогда не забудут великодушия своих братьев — всех народов нашей великой многонациональной Родины, предложивших свою помощь...»

Иной раз слова о дружбе и взаимовыручке казались нам слишком громкими, падающими. Не всегда уловишь глубинный смысл этого явления. Но в трудный час все видишь гораздо яснее. Помню, как сразу же после землетрясения в Ташкент хлынул поток писем. Право же, перечень их обратных адресов составил бы подробный список географических наименований всего Союза. А каждое письмо было искренним, взволнованным и волнующим человеческим документом. И одно общее желание диктовало эти письма: оказаться хоть чем-то полезным, что-то предпринять, сделать, какой-то долей своего участия помочь Ташкенту. Никогда раньше мне не приходилось читать такой трогательной почты.

Сердце зовет. «Я, полковник запаса, Ортынский Николай Игнатьевич, рождения 1914 года, пенсионер, в настоящее время проживаю на Украине, в городе Белая Церковь Киевской области по ул. Росевая, 30. В 1936 году я закончил Объединенную среднеазиатскую краснознаменную военную школу имени Ленина. Это были мои лучшие военные годы. В стенах военной школы и в среде ташкентской молодежи я получил то воспитание, которое помогло мне в дальнейшей службе на благо родины, получил закалку, которая очень пригодилась в военное время... Я украинец, и на мою долю выпала честь вместе с другими гнать фашистов с украинской земли. В полку, которым я командовал, было немало узбеков. Не щадя своей жизни, они сражались плечом к плечу с украинцами, русскими и другими сынами нашего Советского Союза. Мы вместе одержали победу над врагом. Сейчас, когда население Ташкента в связи с землетрясением претерпело бедствие, я, как и тысячи наших людей, хочу включиться в активную помощь ташкентцам. До службы в армии мне удалось закончить в Москве строительное училище. Хочу применить свои небольшие знания и умение в восстановлении города Ташкента. Хочу быть хоть сколько-нибудь полезным жителям Ташкента, отблагодарить

их. По сути, я их воспитанник и им обязан присвоением мне высокого звания Героя Советского Союза. С уважением. Н. Ортынский».

Мог ли этот человек, повидавший много горя и страданий, не рвануться всем сердцем в Ташкент? И он приехал, работал сначала бригадиром, а затем партийным руководителем Харьковского строительного поезда.

Не могу не привести еще некоторые письма.

Из Мурманска: «Мы, воины-строители, желаем оказать практическую помощь нашим землякам в восстановлении Ташкента. Просим вашего ходатайства о посылке нас на период восстановления в столицу Узбекистана. Воины — узбеки и мордвини Бердыев, Филиппов, Кириллов, Шарипов, Каримов. Халиков, Ашрапов, Кушаев, Байжанов, Эшбаев, Наврузов».

Из Сумгаита: «В июне мне будут давать двухкомнатную квартиру со всеми удобствами. Готов передать ее пострадавшей семье из Ташкента. Сам проживу пока в общежитии. Пусть эта маленькая помощь станет еще одним свидетельством, что все мы, советские люди,— одна большая семья. В. Шафиев, инженер химического комбината».

Из Душанбе: «Прошу дать согласие на мой приезд для оказания помощи. Знаю монтажные работы, сантехническое дело. Согласен жить в палатке. В. А. Никифоров».

Из Темир-Тау: «Я старший бухгалтер треста Казметаллургострой. Но согласна на любую тяжелую работу, чтобы помочь нашим людям в тяжелый момент. Клавдия Федоровна Хованская».

Из Тбилиси: «Обращаюсь к вам с этим письмом как член ленинской партии. Прошу принять мое предложение и предоставить работу там, где вы считаете нужным. Вызов можно сделать по телеграфу. С коммунистическим приветом, В. Цхададзе».

Таких писем, во всей красоте раскрывающих человеческую душу, прибывало тысячи и тысячи. Они могут составить целую книгу, которая, право же, под стать народному эпосу.

Поэтому позволю себе привести еще несколько документов.

Телеграмма: «Мы, старатели бригады Владимира Кузьмина Колымского прииска Среднекан, просим принять для детей Ташкента стоимость одного килограмма золота. Постройте для них что-нибудь. Между нами тысячи километров, но друзья всегда рядом. Деньги шлем переводом...»

Деньги, присланные бригадой Владимира Кузьмина, пошли на строительство детского сада. Его возводили молодые узбекские строители.

«Землетрясение в Ташкенте нас с мужем очень встревожило. Ведь это большое бедствие. Я жительница Крыма, мне пришлось пережить в 1927 году землетрясение. Думали, что вот-вот земля провалится вместе с нами. Очень многое пережила я и в период Отечественной войны. Мой муж погиб в крымских лесах, четыре моих брата отдали сердца в борьбе за родину. Второй муж — бывший узник Освенцима и Бухенвальда. Мы обращаемся к вам с просьбой, а именно: хотим участвовать в помощи вашим жителям, нашим братьям и сестрам. Живем мы у Черного моря, поселок Фрунзенский, Алуштинский район. Выделяем комнату на несколько человек. Пришлите к нам семью, которая пострадала от землетрясения. Кроме жилья, можем ежедневно выделять по два-три литра молока для них бесплатно. Просим, примите нашу скромную помощь. Ждем приезда ваших людей. Пишу от своего имени и от имени своего мужа. Уважающая вас М. Н. Литюк».

Да, каждый старался хоть чем-нибудь помочь Ташкенту. В поселке Фрунзенском у Марии Николаевны и Ивана Петровича в течение нескольких месяцев жили Карима Адылова с внучкой Розитой, семья Ждановых и другие ташкентцы. Дом Литюков стал своеобразной здравницей для людей, пострадавших от землетрясения. Эта семья стала для многих узбекистанцев семьей родной и близкой. В дни пятидесятилетия Октября Мария Николаевна и Иван Петрович были гостями Ташкента, здесь их принимали с глубочайшим уважением и благодарностью

...В новом жилом массиве Октябрь на улице Ильича стоит внешне неприметный одноэтажный домик. Но за этой внешней неприметностью — ярчайшая картина человеческой солидарности. У этого обыкновенного дома необыкновенная история.

В первые же дни после землетрясения жительница Севастополя Феодосия Геннадиевна Максимова писала в Ташкент: «...не знаю, как к вам обратиться, извините, по-

жалуйста. Я персональная пенсионерка, мне 70 лет. Тяжело переживая бедствие, которое постигло Ташкент, хотела бы тоже помочь». Далее Максимова и ее дочь Нина Анатольевна выразили готовность помочь ташкентцам домашними вещами, предложили в своей квартире комнату для ташкентских детей. А спустя некоторое время в Ташкент прибыли детали сборно-щитового дома, который Максимовы купили в рассрочку и направили его в дар ташкентцам. Феодосия Геннадиевна и Нина Анатольевна просили передать этот дом «человеку, любящему землю и сад». Ташкентский горисполком постановил передать этот дом Азимходже Исламходжаеву. Дело в том, что сын его гвардии старшина Тухта Азимов пал смертью храбрых в боях за Севастополь. Погиб на войне и другой его сын — Абид. Максимовым сообщили, кто будет жить в их доме, и они одобрили выбор. Их особенно тронуло, что дом передается отцу человека, отдавшего жизнь за свободу Севастополя. А кто же построит дом? И вот уже у воинов-строителей идет собрание с повесткой дня: «Необыкновенный дом и наши задачи». Выписка из решения собрания: «Мы, военные строители, берем на себя торжественное обязательство безвозмездно построить присланный Максимовыми дарственный дом ветерану труда, отцу трех сыновей — участников Великой Отечественной войны, пенсионеру Азимходже Исламходжаеву». Когда дом был построен, Максимовы написали солдатам: «Спасибо, друзья, за ваш труд. Не скроем, мы волновались, беспокоились, думали, как будет построен дом. А все получилось очень просто. Просто потому, что мы живем в Советской стране, потому, что мы идем по пути Ильича. И как хорошо получилось: дом ожил в ваших руках на улице Ильича».

Эта история шагнула из жизни на киноэкран. Документальный фильм «Необыкновенный дом», созданный Ташкентской телестудией, показал миллионам людей наше понимание дружбы в ее живом, конкретном воплощении. Хочется напомнить и о более значительном по объему документальном киноповествовании — картине «Ташкент, землетрясение», обобщенной чуть ли не все экраны мира.

«...Все меньше и меньше следов землетрясения в Ташкенте. И все-таки они есть. Вот разрушенное здание бывшего универмага на улице Карла Маркса. Вот опоясанное швеллерами министерское здание на улице Тараса Шевченко. Вот дома с подпорками из кирпича на Хорезмской улице. Непосвященному эти детали ни о чем не говорят. Но те, кто знает, как они появились, еще и сейчас снова и снова переживают события тех дней, когда город противоборствовал стихии».

Бывало, приедешь на завод и видишь, что станки установлены прямо во дворе; помещение участка или цеха признано аварийным. Собственно, в первые недели после землетрясения в наиболее пострадавших районах города работа, быт, торговля, общественное питание, сфера отдыха — все это перешло под открытое небо, под брезент палаток. Весной и летом с таким положением еще можно было мириться. Но вот уже осень, а скоро зима. Центральный Комитет компартии и правительство республики, местные партийные, советские и общественные организации возглавили работу под лозунгом «Каждому — кров».

По ускоренному графику давали жилье ташкентские строители. Поднялись первые украинские дома. Заселялись первые кварталы в городе-спутнике, сооружаемом военными строителями. Тысячи ташкентских семей получили квартиры во многих городах Узбекистана и всех братских республик. Но проблема крова еще не одну неделю и месяц оставалась острейшей. И здесь я хочу представить читателям ташкентского кузнеца Шаахмеда Шамахмудова, его благородный гражданский пример.

19 июля 1966 года со страниц «Правды Востока» Шаахмед-ака обратился с призывным словом ко всем ташкентцам. Он говорил: «Мы с вами всегда знали, что самое прочное, самое надежное на свете — это сама земля... Земля кормит нас и одевает, мы строим на ней дома, вырастаем, живем, оставляем на ней свой след и гордимся людьми, чей след на земле так же вечен и непоколебим. Но настал день, когда земля оказалась недоброй к своим детям, опасной и грозной. Она разрушила дома у многих из нас, она вселила страх в сердца некоторых, и у меня не повернется язык осудить их за это, потому что мы всегда знали, что нет ничего надежнее земли. А теперь я спрашиваю вас: когда предают сама земля — что надежнее и крепче ее? Ответ один: Человек. Мы с вами, товарищи ташкентцы... Я призываю вас, миллион сто тысяч земляков, призываю всех и каждого: если у **тебя** четыре комнаты — отдай две, если три — отдай одну, если две —

подумай, как потесниться, чтобы помочь земляку. Прикинь, как это лучше сделать, и поспеши в исполком». Сам Шаахмед к этому времени уже побывал в исполкоме. Он отнес туда заявление: «Просим вас направить в нашу квартиру какую-нибудь из семей, лишившуюся жилья. Мы отвели для этих людей две комнаты».

Из постановления бюро Ташкентского горкома партии: «Семья Шаахмеда и Бахри Шаахмудовых взяла к себе пятерых пострадавших от землетрясения земляков и обратилась с призывом ко всем ташкентцам — принять самое активное участие в восстановлении и строительстве родного города. В этом ярко проявились черты советских людей... Бюро Ташкентского горкома партии одобряет почин семьи Шаахмудовых, распахнувших двери своего дома перед пострадавшими от стихийного бедствия». Слово знатного кузнеца всколыхнуло тысячи людей. Собственно, то, к чему он призывал, уже многократно осуществлялось на десятках и сотнях улиц города. Но в жизни ведь всегда бывает так, что по-настоящему масштабным явление становится лишь тогда, когда оно охватывает широкие массы. Тем и привлекло слово Шаахмеда, что оно отразило мысли и чувства сотен тысяч людей. Разве они не видели, не ощущали того же, что Шаахмед-ака? Разве не думали они так же, как он, слыша разноязычную речь на улицах Ташкента, видя людей, которые оставили свой дом и свою работу, чтобы приехать сюда и сделать для ташкентцев все что смогут. «Видимо, пословица о том, что тебе может быть хорошо только тогда, когда хорошо твоему брату, есть у всех советских народов, — писал ташкентский кузнец. — И, видно, это уже не просто пословица, а люди не могут иначе. Не могут потому, что они — советские».

Помню, с каким волнением читали мы по утрам сообщения правительственной комиссии. Радовало то, что день ото дня растет армия строителей, что в город поступает много кирпича, цемента, леса. С болью воспринимались цифры о количестве разрушенных и сносившихся домов. Как суровая необходимость поднималось число палаточных городков. Но были и другие — обнадеживающие цифры, росло количество закладываемых домов, московских, ленинградских, киевских, челябинских, горьковских, чимкентских, фрунзенских, душанбинских, ашхабадских... И все меньше людей оставалось без крова. 15 тысяч семей приняло в свои квартиры население Октябрьского района, более 7 тысяч — Ленинского района, более 13 тысяч — Куйбышевского, около 7 тысяч — Фрунзенского, 15 700 — Кировского, 6740 — Чиланзарского районов Ташкента. Беда породила тысячи семей. И я бы даже сказал, что весь Ташкент жил одной семьей.

Говорят: большое видится на расстоянии. И многое убеждает, что это действительно так. В конце апреля — начале мая 1966 года сотни самолетов, десятки поездов, тысячи автобусов увозили из города детей. Они уезжали в Крым, на Украину, в Подмоскovie, в Казахстан, Прибалтику, Закавказье, Молдавию... В этом было много трогательного, но казалось само собой разумеющимся. Сейчас, и опять-таки с помощью цифр, понимаешь масштабы этой помощи. 125 тысяч ташкентских детей провели летние месяцы в пионерских лагерях, санаториях и других здравницах страны. А в эти месяцы в нашем городе произошло 195 подземных толчков. Сопоставьте эти цифры и вы поймете, сколько родительских сердец было ограждено от переживаний за детей, сколько заботы было проявлено о здоровье ташкентских ребят!

А как измерить значение такого факта: более двух тысяч юных ташкентцев были приняты на два учебных года в школы-интернаты Москвы, Ленинграда, Чимкента и Джамбула! Тот факт, что страна на многие месяцы приютила у себя ташкентских ребят, уже сам по себе есть глубокое проявление дружбы и братской солидарности. И какую силу приобретает этот жизненный урок в сердцах детей! Воспоминания об этом навсегда сохраняются в их душе как неугасающее тепло нашего многонационального дома.

Советский Ташкент давно уже стал городом самых широких международных связей. У нас бывают гости со всей планеты. Нам не раз приходилось и приходится показывать им город. С особой гордостью мы делаем это сейчас, когда можем на каждом шагу еще ярче продемонстрировать миру великую силу и славу советского строя, силу братства и дружбы наших народов. Сегодняшний Ташкент — убедительнейший пример этой силы. Вот дом с надписью: «Ташкентцам на счастье от белорусского народа». Вот школа, воздвигнутая украинскими строителями. Вот детский сад — творение молодых ленинградцев. Вот общественный центр — сооружение москвичей...

И когда мы говорим о том общем, что всех нас, советских людей, родниг и сближает, перед мысленным моим взором вновь и вновь встает картина всесоюзного хашара в Ташкенте. Хашар — это наш замечательный народный обычай: односельчане, соседи собираются, чтобы сообща помочь человеку построить дом, заложить сад, прорыть арык. Этот обычай по праву можно назвать в ряду традиций, которые вызвали к жизни такие общественные явления, как субботники и воскресники. Но за всю многовековую историю Ташкент, конечно, не видел такого хашара, какой собрала недавно постигшая этот город беда. И в этом еще раз с небывалой силой во всей своей глубине раскрылись дружба народов, необыкновенные черты советских людей — самоотверженных и трудолюбивых, по-настоящему скромных и в то же время по-настоящему героических.

Друзьям, которые приехали к нам в ту пору, было нелегко. Буквально с колес приходилось браться за дело в совершенно непривычных условиях, работать под палящим солнцем, нередко в сорокаградусную жару, жить в бараках, привыкать к подземным толчкам. Это ведь совсем не просто — укладывать кирпичи на пятиэтажной высоте при пятибальном толчке.

Подвиг восстановления Ташкента... Он не только в том, что вся страна прислала сюда свои строительные отряды, что днем и ночью трудились они на ташкентской земле. Он и в том, что сотни производственных коллективов, тысячи и тысячи людей за многие километры от Ташкента готовили проекты, металлоческие и железобетонные конструкции, санитарно-техническое и электрооборудование, цемент, кирпич, облицовочные плитки... Он и в том, что авиаторы, моряки, автомобилисты, железнодорожники по зеленой улице, без промедления доставляли все необходимое на ташкентскую стройку. В середине лета посланцы союзных республик уже полным ходом сооружали более сотни многоэтажных зданий.

На одном из первых готовых корпусов появилась надпись: «Дорогие ташкентцы, получайте подарок москвичей — уютный, красивый, сейсмостойкий дом. Он был построен за три месяца». А потом москвичи сдавали такие дома за два месяца и даже в еще более сжатые сроки.

В канун сорок девятой годовщины Октября 50 ташкентских семей праздновали новоселье в доме, построенном ворошиловградцами. А потом буквально одно за другим последовали новоселья в ленинградских, харьковских, челябинских, казанских домах... А города-спутник Сергели? Он был построен за пять месяцев. Правда, дома там в один и два этажа. Но разве не подвиг возвести двухэтажный дом за двадцать четыре, за восемнадцать, за двенадцать дней! А именно такие темпы показали военные строители. В фундаменте первого жилого дома, который они заложили, в капсуле замуровано обращение к потомкам: «Пусть в ваших сердцах, в сердцах будущих поколений, которым выпадет честь жить в этом чудесном городе-спутнике, навечно сохранится благодарность Коммунистической партии и Советскому правительству, проявившим о вас отеческую заботу».

Пройдут годы и десятилетия, но ташкентцы никогда не забудут славных героев восстановления города. Все мы встречались с фронтовиками, которые, бывало, с гордостью говорили: «Этот орден я получил в боях под Москвой, а этот за освобождение Минска. Эту медаль мне вручили в Варшаве, а эту в Судетах...» Верится, что и сейчас во многих городах нашей необъятной родины люди с такой же гордостью говорят: «Этот орден я получил на восстановлении Ташкента», «Эта медаль и этот значок у меня за ташкентскую стройку».

Хотелось бы с благодарностью назвать здесь имя каждого, кто в той или иной мере участвовал в строительстве нашего города. Но таких имен — многие тысячи. И все они с честью и достоинством представляли свои республики на всесоюзном хашаре в Ташкенте. И если я сегодня называю имена москвички Натальи Лагутевой и ленинградца Павла Данилова, киевлянина Николая Бархаленко и Виктора Буговича из Белоруссии, алмаатинца Ерика Мухамедгалиева и Шакро Табагари из Грузии, бакинца Федаи Наби оглы Байрамова и Алфредаса Антано Янкунаса из Литвы, кишиневца Валентина Жилко и Яниса Ставро из Латвии, Тахтахан Егорову из Киргизии и Мансура Норова из Таджикистана, Арзумана Акоюна из Армении и Салихмурада Чагабалиева из Туркмении, Малле Вильясте из Эстонии и ташкентца Кадыра Исакова, то я хочу этими именами, олицетворяющими братскую семью советских республик, воздать должное бес-

корыстию, мужеству, героизму сынов и дочерей всех наций и народностей нашей страны, пришедших на помощь Ташкенту.

Еще более прекрасным, помолодевшим, в крепком бетонном наряде восстал Ташкент из руин землетрясения. Пройдитесь сегодня по проспектам Ленина, Горького, Науои, Дружбы народов, по новым кварталам центра, Чиланзара, Каракамыша, Северовосточного и Высоковольтного массивов — и перед вами откроется яркая, впечатляющая картина преобразенного города. Весь его современный облик, новая планировка и архитектура — это живое воплощение богатого и разностороннего опыта всех народов нашей страны. Это гимн нашему советскому знамени, нашему советскому гербу.

Каждый день Ташкент принимает гостей. И кто бы это ни был — государственный деятель или ученый, хозяйственник или работник искусства, турист-иностранец или соотечественник — все они восторгаются городом, который пережил тяжелейшую драму, устоял в схватке с подземной стихией и вместе со всей страной совершил беспрецедентный подвиг. Он еще крепче поднялся как немеркнувший символ дружбы и братства советских людей. Шесть лет назад земля под Ташкентом бунтовала, а сегодня уже с глубокой верой в успех приступают к прокладке подземной трассы ташкентские метростроевцы. Земля может взбунтоваться, но хозяином на ней остается человек.

«Ташкент — это город, который привлек к себе внимание и вызвал восхищение всего мира благодаря стойкости и энергии, с которой он вел работы по ликвидации результатов разрушительного землетрясения. Успех в возрождении Ташкента, мужество и выносливость, проявленные его жителями, вдохновляют всех». Это сказал премьер-министр Канады П. Э. Трюдо.

«Я не мог представить себе, как велико по широте масштабов строительство в этом городе и с какой быстротой отстраивается Ташкент. Когда я видел широкие проспекты и дома Ташкента, я понял, что вы работаете с перспективой XXI столетия». Так выразил свои впечатления президент Французской Республики Жорж Помпиду.

Таких отзывов множество.

Да, новый Ташкент изумляет, восхищает, вызывает гордость людскими деяниями, людской дружбой. Новый Ташкент — это живая иллюстрация сил и могущества новой исторической общности людей — советского народа. В новом Ташкенте весь мир видит пример того массового героизма, который свойствен нашему народу — созидателю, патриоту, интернационалисту.

* * *

Картина, которая открывается приезжему в новом Ташкенте, так разительна потому, что грандиозные перемены, плоды великой дружбы народов здесь очень наглядны, сконцентрированы на территории одного города.

Труднее охватить взглядом картину всего Узбекистана, в сущности, не менее яркую и разительную. Тут опять-таки могут помочь только цифры и сопоставления.

Сегодня индустрию Узбекистана представляют 1300 современных предприятий. Это сто отраслей промышленности, их продукцию экспортируют во многие страны мира. Сейчас за каждые три дня производится столько промышленной продукции, сколько было произведено в Узбекистане за весь 1924 год.

Не только пятьдесят, а может быть, и двадцать лет назад сказочными показались бы цифры нашего прошлогоднего урожая хлопка. Четыре с половиной миллиона тонн! Что видится за этими цифрами? Тысячи гектаров освоенных земель в Голодной и Каршинской степях, в Центральной Фергане и Сурхан-Ширабадской долине, в низовьях Амударьи и в других районах. Тысячи километров ирригационных сооружений. Сотни тысяч тракторов. Тысячи хлопкоуборочных машин, которые дореволюционному дехканину показались бы чудом. И главное — новая жизнь кишлака, новый быт, новые условия труда, новые человеческие отношения.

Около полумиллиона специалистов с высшим и средним образованием трудятся в сегодняшнем Узбекистане — это в три раза больше, чем насчитывала вся дореволюционная Россия. Крупные проблемы решаются в научных учреждениях, объединяющих более 26 тысяч людей науки. В стране, где некогда насчитывалось два процента грамотных, сегодня учится каждый третий житель, ежегодно издается более 30 миллионов экземпляров книг свыше двух тысяч наименований, выпускаются десятки новых худо-

жественных и документальных фильмов, ставится до ста новых спектаклей. Край, где в прошлом свирепствовали страшные губительные болезни, где на 4 миллиона 334 тысячи человек было всего 139 врачей, в настоящее время по уровню здравоохранения достиг значительного прогресса.

Октябрь преобразил не только нашу землю — он призвал к новой жизни миллионы людей, сделал эту жизнь по-настоящему радостной. Сегодня Советский Узбекистан стал примером для многих стран мира. Своими знаниями, своим опытом трудящиеся нашей республики участвуют не только в строительстве нового общества в родной Стране Советов, но и помогают другим. Сегодня среди посланцев Советского Союза мы видим узбека на большой Джалалабадской стройке в Афганистане. Вместе с египтянином он возводил Асуан. В молодых африканских государствах он помогает развивать здравоохранение, просвещение, культуру. Сегодня узбекский ученый выступает с трибуны университетских кафедр и международных симпозиумов в Берлине и Праге, в Лондоне, Париже, Нью-Йорке...

Край наш богат солнцем, хлопком, золотом. Но самое большое его богатство — человек, сын великой социалистической родины. У него счастливое сегодня, прекрасное завтра. Для этого завтра он сегодня работает вместе со всей многонациональной советской семьей.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

*Дважды Герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза*

Н. И. КРЫЛОВ

★

ОГНЕННЫЙ БАСТИОН*

8. ОСАДА ОСТАЕТСЯ ОСАДОЙ

Освобождение Керчи и Феодосии резко меняло обстановку в Крыму. Все мы видели в этом начало полного и, казалось, скорого очищения его от фашистских захватчиков.

Да и само немецкое командование, как теперь известно, довольно пессимистически оценивало ситуацию, в которой оказались тут его силы. «Судьба 11-й армии висела на волоске», — писал впоследствии Манштейн. Он опасался, что советские войска, наступающие с Керченского полуострова, быстро отрежут его армию от перешейка. Да так оно и должно было бы быть.

Но все это происходило на том этапе войны, когда нашим военачальникам и штабам, в том числе и фронтового масштаба, еще недоставало опыта крупных наступательных операций. Глядя на минувшее из другого времени, видишь и упущенные возможности, и то, как иной раз желаемое принималось за совершившийся факт...

Впрочем, и тогда, в начале января сорок второго года, сева­стопольцев удивляло, почему после блестящего успеха смелой десантной операции и имея перед собой, особенно на первых порах, относительно немного войск противника, армии Кавказского фронта (Закавказский фронт 30 декабря 1941 года был переименован в Кавказский) вдруг задержались у Владиславовки и Коктебеля и не продвигаются дальше в глубь Крыма.

В то же время чувствовалось, что в штабе фронта представляют в слишком уж радужном свете положение сева­стопольского плацдарма после отражения декабрьского штурма. Из донесений воздушной разведки, отмечавшей передвижение немецких войск в сторону Керчи, или по каким-то еще данным делались поспешные, не соответствовавшие действительности выводы, будто из-под Севастополя отходят основные силы штурмовавшей его неприятельской группировки. И от нас стали требовать «решительного наступления на всем фронте СОР».

Признаться, я тогда радовался, что приморцы подчинены кавказскому начальству все-таки не непосредственно, а через командование Севастопольского оборонительного района. Ему и досталась нелегкая миссия объяснять далекому штабу фронта истинное положение вещей и наши реальные возможности.

Приморская армия, доносил на Кавказ командующий СОР Ф. С. Октябрьский, понесла в декабрьских боях тяжелые потери и в данный момент перейти в решительное наступление не может. «В 79-й стрелковой бригаде, — уточнял он, — осталось около 1200 бойцов, а в 345-й стрелковой дивизии — до двух тысяч...»

40-ю кавдивизию мы вывели из боев в составе 540 человек. В 8-й бригаде морской пехоты не насчитывалось и этого, и вопрос мог стоять не о доукомплек-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 4, 5, 7 с. г.

товании ее, а лишь о формировании заново. В двух наших танковых батальонах имелось семь исправных машин. Вдобавок опять стало туго с боеприпасами: почти все доставленные за последнее время снаряды армия израсходовала, отражая двухнедельный штурм.

Прошло сколько-то дней, прежде чем наконец подтвердили: основной задачей приморцев остается пока оборона главной базы Черноморского флота. Вместе с тем надлежало готовиться к последующему наступлению, к участию вместе с армиями Кавказского фронта в освобождении Крыма.

Должен сказать, что и в те дни, когда фронт требовал от приморцев невыполнимого, а командование СОР старалось доказать это фронту, мы вели — прежде всего на северном направлении — наступательные действия, стремясь вернуть где можно рубежи, с которых враг оттеснил нас в декабре. Но восстановить сева-стопольский плацдарм в прежних границах сил не хватало.

Дивизии Капитохина и Ласкина (последняя была переброшена 1—2 января из Второго сектора в Четвертый) достигли Бельбека, а местами и пересекли долину, проложенную этой мелкой, но бурливой в зимнее время рекой, закрепившись на некоторых высотах ее правого, северного берега.

Позиции на Бельбеке вообще-то неплохи. В этом я лишний раз убедился, побывав на «новоселье» у полковника Ласкина. Обрывистый южный склон долины представлял выгодный естественный рубеж. Редко где под Севастополем имели такой, как отсюда, обзор артиллерийские наблюдатели. И отрадно было сознавать, что все-таки это Бельбек. А станция Мекензиевы Горы, где меньше недели назад сидели немцы, позади, опять у нас в тылу, на таком же примерно расстоянии от сегодняшнего переднего края, как от нее до бухты.

Однако бывший наш главный оборонительный рубеж, не говоря уж о передовом, на котором войска левого фланга встретили декабрьский штурм, лежал далеко впереди. У немцев оставались и Мамашай, и Аранчи, и гора Азиз-Оба... Селение Бельбек, раскинувшееся посреди долины, оказалось в ничейной полосе. Ласкин рассказал, что там живут в подвалах несколько стариков и красноармейцы из боевого охранения, заходя в селение ночью, делятся с ними харчем и табаком.

На правом фланге фронт Севастопольской обороны проходил почти как прежде. В центральной части обвода он тоже сдвинулся ненамного, продолжая опираться на главный рубеж. А здесь, на северном фланге, стал на шесть-семь километров ближе к городу, чем было до 17 декабря. И хочешь не хочешь, приходилось на какое-то время — так тогда думалось — принять это как неприятный, но непреложный факт.

Шок, хвативший гитлеровцев под Новый год, когда они надорвались в своей последней, отчаянной попытке пробиться к бухте и заметно дрогнули, прошел. Перейдя к обороне, противник интенсивно вел инженерные работы, ставил минные и проволочные заграждения, строил доты, а кое-где восстанавливал полуразрушенные наши.

С иллюзиями насчет того, будто немцы теперь сами уберутся из-под Севастополя, оставив лишь небольшие заслоны (греха таить нечего — так представлялось в определенный момент не только некоторым товарищам на Кавказе, а и кое-кому у нас), пора было расстаться.

На фронте СОР, сократившемся с сорока шести до тридцати пяти — тридцати шести километров, нам противостояло не меньше четырех немецких дивизий — это мы уже знали точно, не будучи пока уверены лишь в присутствии пятой. Эти дивизии по-прежнему имели очень много огневых средств, что подтверждалось каждым соприкосновением с врагом, каждой разведкой.

Никуда не делась и неприятельская дальнобойная артиллерия — об этом напоминала она сама, методически обстреливая дороги в наших тылах и город.

И хотя никто тогда не думал, что оборонять Севастополь потребуются еще долго, хотя из штаба Кавказского фронта поступали новые директивы о подготовке к наступлению (уже не всей армией, а частью сил и с ограниченными целями, в порядке поддержки наступления с Керченского полуострова, которое все откла-

дывалось), надо было браться за укрепление тех позиций, которые наши войска фактически занимали.

Что севастопольские оборонительные рубежи еще могут понадобиться и их следует усиливать, дало нам понять и Верховное Главнокомандование.

Причем не директивой, не телеграммой, а практической помощью в этом деле: в Севастополь прибыла из Москвы особая оперативная группа по инженерным заграждениям во главе с генерал-майором Иваном Павловичем Галицким, начальником штаба инженерных войск Красной Армии.

Мы очень обрадовались этим московским гостям. Тем более что группа, состоявшая из 60 военных инженеров и курсантов, прибыла не с пустыми руками. Она привезла с собой около 45 тысяч противотанковых и противопехотных мин (примерно столько было уже поставлено под Севастополем с начала обороны) и 200 тонн дефицитной у нас взрывчатки.

Все это погрузили под Москвой в специальный эшелон, который по зеленой улице за три или четыре дня — с высокой для дорог того времени скоростью — дошел до Новороссийска. А там состав со взрывоопасным грузом уже ожидал готовый к рейсу в Севастополь крейсер.

Как мы узнали, группа Галицкого в том же составе занималась оборудованием инженерных заграждений на Западном фронте, на подступах к столице. Это коллектив энтузиастов своего дела, умевших работать целеустремленно, напористо. Они и в дороге не теряли времени даром, успев детально изучить местность вокруг Севастополя по генштабовским картам.

Получив от меня последние данные о том, как проходит линия фронта, генерал Галицкий и начальник штаба группы полковник Е. В. Леошня к исходу того же дня представили Военному совету план первоочередных работ по укреплению позиций армии взрывными заграждениями.

При обсуждении плана немного поспорили, надо ли минировать сейчас те участки обороны в Четвертом и Третьем секторах, где мы надеялись в ближайшее время продвинуться вперед, восстановить прежние позиции. Однако решили — надо: продвинемся — будем минировать дальше, а эти заграждения останутся запасными, второй линией.

Когда план утверждали, командарм спросил, скоро ли можно приступить к его реализации.

— Сегодня же ночью, — доложил начинш армии полковник Г. П. Кедринский. — Инструкторский состав московской группы распределен по участкам и ознакомился с ними, команды саперов выделены. Подвезти необходимое количество мин успеем.

Работы велись из ночи в ночь, нередко под вражеским огнем, силами армейских саперов, только что вернувшихся к своему прямому делу (еще несколько дней назад, в декабрьских боях, они сражались в боевом строю пехоты). Руководили инструкторы-москвичи. Одновременно Галицкий, Хренов, Леошня, Кедринский и их помощники готовили план инженерно-заградительных мероприятий второй и третьей очереди. Он предусматривал создание плотных минных полей на всех танкоопасных направлениях и прикрытие противопехотными препятствиями всего переднего края, кроме участков, которые сама природа защитила крутыми каменными откосами. Намечалось также поставить взрывные заграждения перед ключевыми позициями в глубине обороны — на Инкерманских высотах, у Сапун-горы.

Этот расширенный план, правда, уже не обеспечивался имевшимися минами и другими инженерными средствами и зависел от дальнейшего поступления их с Большой земли или увеличения местного производства. (Забегая вперед, добавлю, что значительно раньше, чем все намеченное могло быть осуществлено, московская группа из Севастополя отбыла — штаб фронта добился переброски ее на Керченский полуостров для укрепления Ак-Монайских позиций.)

Приезд группы Галицкого, помимо всего прочего, помог поддержать в наших войсках рвение к оборудованию новых позиций. Отрывать окопы полного профиля и ходы сообщения в твердой крымской земле — труд нелегкий. А что он так уж

необходим после побед под Керчью и Феодосией, бойцам, да и многим командирам не очень верилось: теперь, мол, сидеть в обороне недолго! Однако само появление на переднем крае специалистов по оборонительным заграждениям и развернутая ими работа, которую все видели, заставляли людей призадуматься, вспомнить, что на войне бывает всяко.

Руководители групп очень загружены: ночью — с саперами на передовой, днем — там же на рекогносцировках или за расчетами над картой. В штарме они появлялись ненадолго, и все же крупные военные инженеры, многое видевшие и знавшие, вносили в жизнь на армейском КП заметную свежую струйку.

На наш изолированный плацдарм не скоро доходила информация о подробностях боевых действий на главных фронтах. А эти товарищи только что участвовали в организации обороны Москвы. Послушать их даже накоротке было интересно и полезно.

Иногда командарм специально отводил на это минут тридцать—сорок после очередного, происходившего обычно в начале ночи доклада генерала Галицкого о работах по постановке заграждений. Иван Ефимович задавал много вопросов, очевидно накопившихся у него постепенно, в том числе и сугубо инженерных.

Впоследствии генерал Е. В. Леошня (тогда полковник, начштаба московской группы) написал воспоминания о своих встречах с И. Е. Петровым, где отмечал: «Широта его инженерных познаний казалась просто удивительной для общевойсковой командира. Он прекрасно знал и отечественную и немецкую инженерную технику, был весьма эрудирован в вопросах фортификации. Сперва я просто не мог себе представить, когда и как успел он все это изучить...»

О чем бы, однако, ни заходила речь, возвращались к своему, севастопольскому. Из услышанного о боях на других фронтах генерал Петров быстро делал выводы для нас.

Однажды Иван Павлович Галицкий рассказал, как под Москвой взаимоусиливали друг друга минные заграждения и соответствующим образом расставленная противотанковая артиллерия.

— Здесь у нас в большинстве случаев выгоднее прикрывать минные поля дотами, — сказал, подумав, Иван Ефимович.

Этот разговор вылился в обсуждение дополнительных мер по защите Инкерманской долины. Стало выяснять, можно ли расширить налаженное к тому времени в Севастополе производство бетонных блоков для сборных дотов, которые монтировались в нужном месте за одну ночь.

Общение с москвичами доставляло большое удовольствие Василию Фроловичу Воробьеву: и Галицкого и Леошню он знал по военным академиям, а вопросами инженерного обеспечения боя немало занимался сам.

Генерал-майор Воробьев теперь жил в каземате армейского КП рядом со мной, будучи назначен начальником оперативного отдела штарма. Майор Ковтун, исполнявший последнее время эту должность, стал его заместителем.

Сурово проверяя все в человеке, а особенно в командире, война способна открыть в ином такие качества, о каких тот и не подозревал. Но она беспощадно развеивает ошибочные представления — собственные или чьи-то еще, все равно — о том, где каждому из нас место. Из лучших побуждений добиваясь перевода из штаба в строй, Василий Фролович стремился, как оказалось, не туда, где мог принести наибольшую пользу.

Но освобожденный по решению Военного совета от командования дивизией, он не искал возможностей получить назначение вне Севастополя, заявив, что хотел бы в любом качестве остаться здесь. Это было искренне, и я порадовался в душе за старого товарища.

Его вернули на ту же работу, с которой он ушел в дивизию. Для него знакомую, привычную, а в штабе, как ни говори, самую ответственную. И то, что у начопера к большому штабному опыту прибавился фронтовой командный, здесь не могло не пригодиться.

А уж о порядке в оперативной документации при нем можно было не беспокоиться. Зная, что бумаги Василия Фроловича не угнетают, я подкладывал ему и

приходившие теперь с каждой морской оказией циркуляры, и запросы из штаба фронта. Каких только сведений не требовали его отделы о нашей армии!

Командарм часто наведывался к заменившему Воробьева в 95-й дивизии Капитохину. Утром спрашивал:

— С Александром Григорьевичем давно говорили? Что там у него?

Капитохина выдвинули в горячее время, когда долго раздумывать некогда, и, как бывает в таких случаях, порой тревожились: не ошиблись ли в выборе? Как-никак, вверили дивизию и сектор полковнику из запаса, который с гражданской войны до июля сорок первого видел армию только на сборах. А северное направление, хотя противник сейчас не наступал, а оборонялся, оставалось самым боевым.

Но претензий к Капитохину набиралось не так уж много, и поправлять его, когда требовалось, оказалось легко. Спокойный и рассудительный, с достаточно твердым характером, но не страдающий самонадеянностью, он обычно сам чувствовал, о чем следует посоветоваться, прежде чем действовать. Причем советы усваивал накрепко. Вот уж кому не приходилось ни о чем говорить дважды.

8 января 1942 года на фронте под Севастополем не происходило крупных событий. Но все совершавшееся вокруг меня осталось в памяти вплоть до мелочей очень отчетливым, не слилось со вчерашним, не заслонило завтрашним. Так запоминается самый обычный день, если на нем внезапно прервется для тебя цепь привычных дел и забот.

Утром позвонил корреспондент «Красной звезды» Лев Иш: ему стало известно, что еще 4-го напечатана моя статья, написанная под его активным нажимом и не без прямой помощи и переданная в редакцию радиотелеграфом.

Статья называлась «Два месяца обороны Севастополя», но речь в ней шла главным образом об отражении декабрьского штурма. Раз уж пришлось об этом писать, хотелось прежде всего показать активный характер обороны — как-никак, за две недели, несмотря на трудности с резервами, только контратак силами от батальона до дивизии и больше было 48 (цифра, впрочем, в газету тогда не попала). Хотелось также отметить особую роль, сыгранную артиллерией, рассказать, как помогало срывать вражеские планы теснейшее боевое содружество армии и флота.

Не знаю, насколько все это удалось. Та статья явилась моим первым в жизни выступлением в печати. А услышав о ее выходе в свет, я вновь, как и после получения генеральского звания, с надеждой подумал: может, хоть эта газета где-то попала в руки Насте, жене... Тогда она и ребята уже знают, что я жив и нахожусь в Севастополе!

С флагманского командного пункта флота приехал переговорить по разным текущим делам легкий на подъем капитан 2-го ранга Жуковский. Вид у него мрачный.

— В Евпатории все кончено, — тихо сказал он. — Разведчики, высаженные с подводной лодки, подтверждают...

Речь шла о небольшом десанте, о котором в армии мало кто знал, — одна из высадок, предпринятых флотом, оперативно подчиненным Кавказскому фронту, для отвлечения сил противника от Керченского полуострова и захвата в Крыму новых плацдармов. Если бы евпаторийский десант удался, туда, очевидно, направили бы войска для наступления на Симферополь с запада, по ровной степи, а может быть, и для удара прямо на Ишунь.

Сперва все шло как будто успешно. Высадившийся с тральщика и катеров батальон морской пехоты захватил причалы и завязал бои в городе. По поступившим сведениям, к десантникам присоединились скрывавшиеся в оккупированной Евпатории бойцы из остатков 321-й дивизии, которая осенью в стадии формирования попала там в окружение. Мы с командармом, стоя у карты, переживали, что не можем (этого никто от нас и не требовал) быстро соединиться с десантом. Для приморцев оставался очень трудной задачей выход на Качу, а от Качи до Евпатории — еще десятки километров.

Тем временем, как установили разведчики, Манштейн повернул к Евпатории полк, который на машинах двигался из-под Балаклавы в сторону Феодосии. А на море разыгрался шторм, как назло затяжной, и высадка подкреплений на евпаторийский берег стала невозможной. Новый десантный батальон, дважды выходивший в море и дважды возвращавшийся, возглавлял знакомый читателю майор Н. Н. Таран. Как знать — быть может, разбушевавшаяся стихия сберегла нам этого смелого командира полка...

В тот же день, о котором я рассказываю, 8 января, Москва сообщила командованию СОР радиоперехват официальной берлинской сводки: «В Крыму уничтожены силы противника, высадившиеся на побережье Евпатории. Эти силы уничтожены в упорной борьбе за каждый дом».

Шторм, отрезавший первый бросок десанта, нагрянул неожиданно. Но я не мог отделаться от мысли, что Кавказский фронт, раз у него задерживается решительное наступление, напрасно торопит моряков с отвлекающими десантами. Противник перед нами не такой, чтобы сокрушить его разобценными ударами, растопыренной пятерней...

Командарм, вызванный на флагманский КП, вернулся от командующего СОР с выписками из новой директивы фронта. В ней подтверждалась задача, уже поставленная Приморской армии раньше: одновременно с наступлением 51-й и 44-й армий с Керченского полуострова наносить нашим левым флангом удар в направлении Дуванкоя, а в дальнейшем на Бахчисарай. Общее наступление в Крыму назначалось на 12 января (потом фронт опять его отложил), нам планировалось к исходу третьего дня выйти на Качу.

Войска, которым предстояло наступать, за последние два дня вновь улучшили свои позиции. Сейчас им приказано закрепиться на достигнутых рубежах, пополнить боевые подразделения за счет собственных тылов, привести все у себя в порядок. И — на это штаб армии особенно нажимал — активно вести разведку. Мы далеко не все знали о том, как расставил перешедший к обороне противник свои огневые средства, какие успел создать опорные пункты, где вероятнее всего может нас контратаковать.

В соединениях работали все направленные, но я испытывал потребность и самому увидеть перед новыми боями наш передний край: если не представляешь его в натуре, трудно думать над картой.

У Капитохина, Ласкина, Гузя я за последние дни побывал, а в тот день командарм разрешил съездить после обеда к Потапову и чапаевцам. Там мне, помимо прочего, хотелось удостовериться в надежности стыков: на этом самом «ди-ком» по рельефу участке Мекензиевых гор немцы не раз находили для себя лазейки.

— Да, — вспомнил Петров, когда я уже собрался ехать, — Харлашкин-то у нас в войсках. Возьмите Кохарова, он мне сейчас не понадобится.

Иван Ефимович не любил отпускать меня одного. С тех пор, как заболел Белоусов, со мной чаще всего ездил капитан Харлашкин, а иногда адъютант командующего Кохаров.

День стоял хоть и пасмурный, но не сумрачный, светлый. А может быть, просто так казалось после нашего подземного каземата. Снег, которого столько навалило в декабре, уже исчез, и сразу стало похоже на весну.

— В Ташкенте, наверное, совсем тепло, только ночью мороз. Скоро урюк цвести будет... — мечтательно, с усилившимся от этого акцентом произнес Кохаров, устраиваясь на заднем сиденье «эмки» у меня за спиной.

Почему-то захотелось побольше проехать городом, и перед кольцом центральных улиц, откуда нам предстояло повернуть на спуск к Южной бухте, я сказал водителю Володе Ковтуну:

— Давай через центр, крюк невелик... И не гони, посмотрим, как тут теперь.

Разрушенных и поврежденных зданий прибавилось... Впрочем, не так уж много, могло быть хуже (всего за ноябрь и декабрь бомбы и снаряды разрушили в Севастополе 235 домов). И главные перемены заключались не в этом. Больше

стало на улицах людей, гораздо больше — вот что бросалось в глаза! Город сделался оживленнее, как-то веселее.

Он оставался под артиллерийским обстрелом. Даже за самые спокойные сутки в городской черте падали десятки снарядов. Линия фронта, хоть и отодвинулась по сравнению с недавними критическими днями, проходила за Северной бухтой ближе, чем месяц назад. Но севастопольцы уже не прятались от вражеского обстрела, как раньше.

Вспомнилось, как приезжавший накануне на КП Борис Алексеевич Борисов говорил, что многие семьи возвращаются из убежищ в свои квартиры.

— Готовим, — увлеченно рассказывал секретарь горкома, — развернутое решение о восстановлении промышленных предприятий, городского хозяйства, культурных учреждений. Будем, разумеется, прежде всего расширять военное производство, но пора заняться и многим другим. Нужно больше магазинов, нужен трамвай на Корабельной стороне. Открываем центральную библиотеку, думаем открыть и кинотеатр «Ударник»...

На стенах домов рядом с лозунгами, призывавшими к отпору врагу, уже появились новые: «Восстановим родной город!»

А у Приморского бульвара, перед площадью, где с памятника простер к городу руку Ильич, на меня вдруг глянуло знакомое художное лицо Николая Васильевича Богданова, командира нашего знаменитого артполка, — огромный его портрет возвышался на щите над тротуаром. Дальше — другие портреты: армейцы, моряки, летчики, прославившиеся в декабрьских боях. Появись кто из них здесь — каждый узнает героя. Что ж, по делам и чести!

Когда мы пересекали площадь, в бухту, синееющую за колоннами Графской пристани, плюхнулся, взметнув высокие всплески, немецкий снаряд. И еще один... Несколько прохожих — почти всё женщины — оглянулись на звук разрыва, ускорили шаг. Никто не шарахнулся, не побежал. Снаряды ложились в стороне, в нескольких сотнях метров, и люди на улице уже понимали — им эти разрывы не страшны. Мирные жители города стали вести себя как бывалые, обстрелянные солдаты, которые умеют мгновенно оценить степень конкретной опасности, не кланяются каждому снаряду...

Это вызывало и уважение к ним и одновременно чувство горечи. Сколько же надо испытать осадного лиха, чтобы в родном доме, на своей улице стар и млад приобретали фронтовые привычки!..

В бригаде Потапова я выполнил свой план — обойти по первой траншее весь передний край. И, как водится, чем дальше шел, тем больше накапливалось замечаний к разговору с комбригом и начальником штаба.

Народ в бригаде золотой. После тяжелых боев и немалых потерь потаповцы держались такими же орлами, какими сошли в трудный для Севастополя час на его причалы. Но вот надежно окапываться, оборудовать занятые позиции так, чтобы были хороши не только как исходные для движения вперед, а и для упорной обороны, этих удалцов все еще не приучили. А ведь случалось уже в декабре некоторым их батальонам оставлять рубежи, ради которых ходили в геройские контратаки...

«Взять бы да сводить, будь на это время, весь начсостав вплоть до отделенных в бригаду Жидилова, — размышлял я в сердцах. — Уж те умеют зарыться в землю! Побывали под Ишунью и там, в степи, наверное, навсегда поняли, что значит окопаться или не окопаться по-настоящему».

У потаповцев, начиная с самого комбрига, хоть он и отличился под Одессой, да и тут показал себя неплохо, еще чувствовался недостаток военного опыта. Сейчас они слишком полагались на природные защитные свойства гористой местности. И слишком уповали на то, что «все равно не засидимся». Я и сам надеялся — не засидимся, однако готовиться-то следовало ко всему. Кстати, также и к тому, что на новых рубежах, которые займем, опять понадобятся, каким бы там ни оказался грунт, хорошие окопы.

И стыки тревожили не зря — с ними оказалось не все ладно. Тут уж я не успокоился, пока при мне не сомкнулись теснее подразделения смежных батальонов, пока правый фланг бригады и ее сосед — чапаевцы не подали друг другу огонь, подтвердив локтевой контакт.

Удовлетворенный тем, что успел сделать, и заключительным разговором на бригадном КП, я не жалел, что задержался у Потапова несколько дольше намеренного. Пора было, однако, пока не начало темнеть, двигаться к чапаевцам.

По пути, еще на участке 79-й бригады, но уже отдалившись от переднего края, завернул на заросшую кустарником высотку — хотелось взглянуть на отрог Камышловского оврага, плохо просматривавшийся из траншей. Со мной шли Кохаров и командир-моряк из штаба Потапова. Внизу, на дороге, остался Володя Ковтун с машиной.

Высотка оказалась что надо: видны и интересовавший меня отрог и главная выемка Камышловского оврага (кто только окрестил оврагом эту живописную, резко очерченную долину!) на всю километровую ширь. Косые лучи предзанатного солнца, пробившиеся сквозь облака, хорошо освещали восточный, занятый противником склон.

Но осматриваться довелось недолго. Провизжав у нас над головами, разорвалась где-то позади крупнокалиберная мина. А через несколько секунд другая — впереди. Вот тебе на, попали в вилку!..

Следующая мина упала совсем близко. Меня обдало сзади жаром и сильно ударило под лопатку — будто горячим кирпичом (в голове мелькнуло: «Отскочил камень»). Устояв на ногах, я обернулся и увидел неподвижно лежащего Кохарова. Моряк из штаба тоже упал, но шевелился, старался встать и не мог.

Откуда-то мгновенно появились несколько бойцов. Я приказал им нести моряка и Кохарова к машине и передать водителю, чтобы вез в медсанбат, меня не ждал.

Выбираясь следом за ними из кустарника, услышал чьи-то слова:

— Старший лейтенант мертвый.

Понял, что это про Кохарова. Как в тумане увидел уходящую «эмку».

«Контузило меня, что ли? — с досадой думал я, чувствуя нарастающую противную слабость. — Сейчас это должно пройти...»

Однако передвигать ноги становилось все тяжелее. На мое счастье, на дороге показалась полуторка — очевидно, доставлявшая боеприпасы.

Сев в кабину, вновь попытался дать себе отчет в своем состоянии, но разобраться в нем почему-то не удавалось. Попробовал закурить — не получилось и это, что-то мешало. Когда въехали в город, уже сознавал, что в наше подземелье по крутой лестнице, пожалуй, не спущусь, и велел шоферу повернуть к домику, где «стоял на квартире» и иногда отдыхал, — там телефон.

И только вылезая из машины, заметил на себе кровь — она текла из рукава бекеши и по ноге. Сил хватило ровно на то, чтобы войти в свою комнату, опуститься на диванчик, снять трубку и соединиться со штабом. Услышав голос майора Ковтуна, попросил его подняться ко мне наверх. Положить трубку на аппарат, как потом выяснилось, уже не сумел.

К сознанию меня вернули Ковтун и начсанарм Соколовский, когда стаскивали намокшую бекешу.

— Счастлив ваш бог! — воскликнул Давид Григорьевич, ощупывая мою спину.

Поняв это в том смысле, что ранение легкое, и услышав затем что-то про госпиталь, я невпопад возразил:

— Может быть, ограничимся перевязкой?

В следующий раз очнулся под ярким светом направленных на меня ламп — уже на операционном столе...

Подробности происшедшего в тот день стали известны мне значительно позже.

В меня попали три осколка разорвавшейся сзади мины. Самый крупный, с половину спичечного коробка (сперва врачи только им и занимались), пробив лопатку и раздробив ребро, не дошел одного сантиметра до сердца. А слова Соколовского «счастлив ваш бог!» относились к тому, что в рану втянуло ткань и вату, вырванные из бекеши. Случайный гампон предотвратил слишком большую потерю крови. Очевидно, благодаря ему я и смог даже без перевязки некоторое время оставаться на ногах.

Чтобы добраться до этого осколка, пришлось делать разрезы между ребрами. И одной операцией не ограничилось. Возникли осложнения, понадобилась вторая — давал о себе знать другой осколок, который сразу не то не нашли, не то решили пока не трогать.

Но это уже потом. А сколько-то дней я провел совсем выключенным из окружающей жизни. Приходя время от времени в полусознание, плохо представлял, где нахожусь: как и куда везли, не помнил.

Заметив как-то, что я приоткрыл глаза и всматриваюсь в темноватое окно (его закрывала глухая стена соседнего здания), дежурная сестра успокаивающе зашептала:

— В Севастополе вы, товарищ генерал, в Севастополе. В самом центре, на горе... Тут первая Совбольница помещалась, а теперь наш госпиталь — пэ-пэ-ге двести шестьдесят восемь...

Когда смог наконец сознательно познакомиться со своим лечащим врачом Семеном Давыдовичем Литваком — главным хирургом госпиталя, — услышал от него, что сюда каждый день приезжает командарм. Ко мне генерала Петрова не пускали, но он все равно ездил, чтобы поговорить с врачами.

Я считался пока нетранспортабельным, однако по всем медицинским показателям подлежал, как только немного окрепну, эвакуации на Большую землю. Но командующий, как я потом узнал, заранее распорядился куда меня не отправлять. В штаб фронта немного погодя сообщили: «Оставлен на излечение при армии и в ближайшее время, видимо, возвратится к исполнению службы».

...Когда врачи позволили меня навещать, первыми приехали командарм Иван Ефимович Петров и член Военного совета Михаил Георгиевич Кузнецов. Они посидели пять-шесть минут, улыбались, рассказывали о каких-то пустяках. У меня светлело на душе от одного того, что снова вижу их лица. Но, конечно, очень хотелось что-нибудь услышать о фронтовых делах. Однако говорить со мной об этом им, как видно, не разрешили.

— За Приморскую армию можете быть спокойны, — сказал на прощанье Иван Ефимович. — А познакомиться с деталями обстановки успеете.

Еще раньше, перед повторной операцией, судьба одарила меня великим, неоценимым подарком: отыскались живыми и невредимыми жена и вся моя семья — два сына и дочь, о которых я не имел вестей с первого дня войны.

Белоусов выяснил-таки, что из Болграда они попали на Волгу, в Камышин, разузнал у кого-то, что жена поступила там на работу в госпиталь, сообщил адрес. Но не успел я распорядиться о высылке туда денежного аттестата (семья уехала без него), как из штаба доставили письмо Насти, оказавшейся с ребятами уже в новом месте — в Джамбуле. В письме пришла даже фотография Борьки, моего младшего, семилетнего сына...

Ко мне стали «прорываться» Рыжи, Моргунов, Глотов, Ковтун... По их рассказам, сперва вынужденно кратким — засиживаться им не давали, — постепенно складывалось представление о том, что успешно произошло без меня. Правда, до некоторых пор картина получалась довольно однобокой: мне старались сообщать только хорошие новости.

Лишь в середине февраля я узнал, что опять в руках немцев Феодосия (они вновь овладели ею 13 января). Еще позже — о том, что через неделю после меня при схожих обстоятельствах и тоже на Мекензиевых горах ранен осколком мины и прожил после этого всего несколько часов Гавриил Павлович Кедринский, наш

боевой начинж (по введенной незадолго до того новой организации инженерных войск, он стал также заместителем командующего армией). Похоронили его на Малаховом, рядом с Кудюровым...

Фронт наш назывался уже не Кавказским, а Крымским, штаб находился в Керчи. Командовать фронтом продолжал генерал-лейтенант Д. Т. Козлов, при котором находился в качестве представителя Ставки Л. З. Мехлис.

А две армии, сосредоточенные на Керченском полуострове, оказывается, так и не вышли за его пределы. Как получилось, что войска, переправившиеся через пролив ради решительного наступления в глубь Крыма, все еще не развернули это наступление, я долго не мог взять в толк.

— Не ломайте, Николай Иванович, над этим голову — на войне чего не бывает! — уговаривали мои гости. Они уже не рады были, что нарушили, пока вышел врач, его запрет разговаривать на «служебные» темы.

Раз не приближался к нам фронт, созданный на востоке Крыма, было естественно, что особенно не продвинулись и приморцы: наступление с Севастопольского плацдарма могло быть только вспомогательным. На ряде участков северного направления наши части вернули еще кое-что из оставленного в декабре. Однако до Качи по-прежнему далеко.

— Кажется, мне легко будет возвращаться к работе, — пошутил я при очередной встрече с Иваном Ефимовичем. — Изменений как будто немного...

— К сожалению, немного, — согласился Петров. — Все зависит от Керчи, от того, когда там начнут по-настоящему. Пока наша задача — прочно удерживать занимаемые рубежи и быть в готовности наступать в направлении Бахчисарая частью сил. Словом, задача вам знакомая.

Севастополь оставался в осаде. И если в первые дни января казалось, что это уже ненадолго, что оборона города в основном позади, то теперь, чувствовалось, многие смотрели на положение в Крыму иначе.

Несколько позже меня навестил генерал Воробьев (он вступил во временное исполнение обязанностей начальника штаба армии, и, как я знал по себе, отлучаться с командного пункта ему нелегко).

— Что Севастополь придется оборонять еще долго и упорно, — сказал, помню, Василий Фролович, — мне стало ясно после того, как немцам удалось снова занять Феодосию. А наши бойцы, которые, кстати, про Феодосию пока не знают — об ее оставлении широко не объявлялось, — поняли это, думается, уже по тому, как ожесточенно сопротивляется противник, когда мы пытаемся где-либо его потеснить. Так что из госпиталя можете не спешить — к наступлению, полагаю, не опоздаете и обороны на вас еще хватит...

В этих своих прогнозах Воробьев, увы, оказался прав.

В один из февральских дней в палату неожиданно ввалился почти весь оперативный отдел с Ковтуном и Костенко во главе.

Оказывается, товарищи пришли поздравить меня с награждением орденом Красного Знамени — первым моим орденом в жизни.

А я, как выяснилось, мог поздравить с такой же наградой Андрея Игнатьевича Ковтуна. И передать поздравления многим-многим другим. В указах Президиума Верховного Совета, занявших не одну страницу в центральных газетах, стояли фамилии более чем двух тысяч приморцев.

Это награждение еще за оборону Одессы. В Севастополе представления на отличившихся бойцов и командиров стали рассматриваться на месте, и дело пошло быстрее. А одесские награжденные листы посылались в наркомат, причем мы долго не знали, дошли ли они туда. Но, как видно, всему свой срок.

Оставшись один, я долго перечитывал столбцы указов, находя новые и новые знакомые имена, вспоминая связанные с ними события, бои.

Четырнадцать приморцев стали Героями Советского Союза. Про большинство их, правда, уже следовало сказать — бывших приморцев. Двенадцать — летчики, живые и погибшие, 69-го истребительного авиаполка майора Льва Львовича Шестакова (сам он тоже получил Героя), который после переброски в Крым вы-

был из состава нашей армии и действовал теперь где-то на Кавказе. А молодой комбат из 95-й дивизии Яков Бреус, представленный к Золотой Звезде после памятного августовского боя у станции Карпово, когда его батальон остановил полк вражеской пехоты с танками, эвакуировался из Одессы раненым и в Приморскую армию не вернулся.

Только один из этих четырнадцати оставался у нас — командир минометной роты 31-го стрелкового полка Чапаевской дивизии лейтенант Владимир Поликарпович Симонок. К его одесским заслугам успели прибавиться новые. При отражении декабрьского штурма его минометная рота мастерски отсекала неприятельскую пехоту от танков и, как считал командир полка К. М. Мухомедьяров, сорвала не меньше десятка фашистских атак.

Симонок из запаса, до войны руководил колхозом на Украине. И вот стал гордостью прославленной дивизии, первым приморцем, которому командарм или командующий СОР вручит Золотую Звезду. Я представлял, как рады за него чапаевцы.

Среди удостоенных ордена Ленина — главный одесский и севастопольский фортификатор генерал-майор инженерных войск А. Ф. Хренов, полковник С. И. Серебров — геройский командир 161-го стрелкового, отправленный после тяжелого ранения в тыловые госпитали, знакомый читателю подполковник А. О. Кургинян, для которого награда оказалась посмертной...

Многие из новых орденосцев с тех пор, как на них послали в Москву награжденные листы, изрядно выросли. Старший лейтенант И. П. Дацко и капитан В. И. Петраш представлялись к ордену Красного Знамени, когда первый был оператором штадива, а второй комбатом. Теперь оба командовали полками. А Николай Кирьякович Рыжи, также награжденный Красным Знаменем, вслед за тем узнал, что он генерал-майор артиллерии, и в следующий раз явился ко мне в генеральской форме.

Артиллеристы, помимо многих личных наград, получили почетную для всей армии коллективную: арtpолк майора Богданова стал Краснознаменным. Это было уже не только за Одессу — также и за Севастополь!

Представлять жизнь армии и положение на фронте из госпитальной палаты мне пришлось еще долго.

В описаниях обороны Севастополя первые месяцы 1942 года обычно называют периодом затишья, и, в общем, это правильно. Но частные наступательные операции, предпринимавшиеся с Севастопольского плацдарма и в январе, и в феврале, и в марте, стоили приморцам большого напряжения сил.

Каждый из этих ударов тщательно готовился. Все участвующие полки проверял сам командарм, а направленные штарма не пропускали ни одной роты. На узких участках фронта сосредоточивался огонь многих десятков орудий («За Корабельной прямо гул стоит! — сообщали мне сестры. — Опять, наверно, большой бой...»). Если позволяла погода, наступающие части поддерживала и авиация.

А видимые результаты оказывались скромными, сводились к улучшению позиций, к занятию отдельных высот. За 27 февраля — день самых ожесточенных боев — дивизия Ласкина продвинулась на триста — четыреста метров, захватив передовые немецкие окопы, дивизия Капитохина — на сто — двести... Сопrotивление противника возрастало, часто он переходил в контратаки.

— Немцы укрепились, имеют много огневых средств, — говорил Иван Ефимович. — Чтобы проломить их оборону, нужно гораздо больше боеприпасов, чем мы в состоянии расходовать...

Положение с артиллерийскими снарядами оставалось трудным. Почти все черноморские суда перевозили военные грузы с Кавказа в Керчь. Для снабжения Севастополя выделили четыре транспорта, но иногда и их брали на керченскую линию.

Конечно, общий итог активных действий Приморской армии, возобновлявшихся по требованию фронта каждые полторы-две недели, измерялся не только

отбитыми у врага высотами. Приморцы продвинулись мало, свой плацдарм существенно не расширили, однако крупная неприятельская группировка сковывалась под Севастополем прочно и Манштейн не мог ничего больше взять отсюда на керченское направление. А там должно же было когда-то начаться решительное наступление Крымского фронта.

Но чем дальше оно не развертывалось, тем сильнее тревожило командарма, что наши отвлекающие удары обходятся дорого. После них армейские запасы снарядов снижались до опасного в нашем положении предела. Атакующие части несли немалые потери.

Бои охватывали лесистый лабиринт Мекензиевых гор, пересеченных извилистыми расщелинами и балками. Иногда какое-нибудь подразделение прорывалось по одной из этих теснин в глубину обороны противника, но он перекрывал узкую брешь, а продвинуться вперед по всему фронту атак не удавалось. Отрезанные от своих бойцы заносились в число пропавших без вести...

Именно к этим боям имеет отношение история, которую я много лет спустя узнал от Н. Е. Ехлакова, бывшего военкома 7-й бригады морской пехоты. Ныне полковник в отставке, он навсегда поселился в Севастополе и отдает весь жар своей нестареющей комиссарской души пропаганде славных традиций города-героя.

В 1964 году, рассказывал Николай Евдокимович, в Бахчисарайском районе, в местах, отстоявших в сорок втором примерно на десять километров от нашего переднего края, школьники из селения Фронтное (в войну Бюк-Отаркой) обнаружили последнюю позицию взвода приморцев. Как дошел сюда взвод и сколько врагов уничтожил на своем пути, теперь уже не выяснить. Вероятно, он, не имея возможности соединиться со своей частью, пытался пробиться дальше в горы, к партизанам. А по тому, как лежали останки бойцов у краев небольшой котловинки, успевшей зарости молодым леском, было видно, что им пришлось занять круговую оборону. И каждый остался там, где дрался до конца...

По обрывкам документов и полуистлевшим предсмертным запискам, найденным в винтовочных гильзах, юные следопыты с помощью работников Музея обороны и освобождения Севастополя установили время боя, номер части, фамилии некоторых бойцов. Героев похоронили с воинскими почестями на высоте над селением. И ко многим памятникам, стоящим у севастопольских рубежей, прибавился скромный обелиск, надпись на котором гласит:

«Железковский И. А., Сидоров Ф. Д., Вегров М. Х., Кунинов Айтколи, Абдулов и 45 неизвестных воинов из 345-й стрелковой дивизии, погибших при обороне Севастополя в феврале 1942 года».

Ехлаков, бывавший там много раз, говорил, что ребята Фронтного обсадили обелиск цветами, носят на крутую гору воду, чтобы их поливать. А 23 февраля и 9 мая, какая бы ни была погода, с утра до вечерней зари стоят у братской могилы пятидесяти приморцев в почетном карауле. Здесь, как и у других памятников Севастопольской обороны, вручаются пионерские галстуки, комсомольские билеты.

10. ГОРОД БЕССМЕРТНОЙ СЛАВЫ

...Третий штурм Севастополя известен как июньский.

Но мы ждали его со дня на день уже в последних числах мая. 25-го начали поступать донесения о том, что противник ночами проделывает проходы в своих проволочных заграждениях и минных полях. Отмечалась повышенная активность неприятельской войсковой разведки. То на одном, то на другом направлении обнаруживались немецкие офицеры, ведущие рекогносцировку нашего переднего края.

Конечно, попытки гитлеровцев высовываться из ближних траншей быстро пресекали снайперы (на ряде участков они перешли на двухсменную, круглосуточную вахту — у нас были уже снайперы-ночники). Рекогносцировщиков, появившихся подальше, иногда удавалось накрывать артиллеристам.

В один из этих дней начальник штадива 172-й стрелковой М. Ю. Лернер доложил по телефону: только что уничтожена офицерская наблюдательная группа в районе станции Бельбек. Оказывается, командир артиллерийской батареи, находясь на своем НП, сам увидел, как фашистские офицеры нахально вылезли из кустов с развернутой картой, и сумел покончить с ними двумя или тремя точно направленными выстрелами. Тут уж не приходилось ругать за отступление от строгого правила: на мелкие группы противника снаряды не тратить.

Батарея принадлежала к 134-му гаубичному артполку майора И. Ф. Шмелькова. Этот полк, приданный дивизии Ласкина, сперва частично (один дивизион действовал в другом секторе), а затем в полном составе, вообще отличался весьма точной боевой работой. Его гаубицы (122- и 152-миллиметровые) в трудные дни обороны не раз ставили перед атакующим врагом непреодолимый огневой вал. У Шмелькова были опытнейшие, закаленные в боях командиры батарей, дивизионов. Одному из них — майору Н. И. Шарову — весной вверили новый артиллерийский полк.

На то, что штурм близится, указывали также резко усилившиеся с 20 мая бомбежки, да и огневые налеты дальнбойной артиллерии. Враг нацеливал эти удары пока главным образом на наши войсковые тылы, аэродромы, батареи, порт. И особенно на город. Группы в 20—40 бомбардировщиков стали появляться над Севастополем по нескольку раз за сутки.

В донесении штаба МПВО о первом дне усиленных бомбежек значилось: из гражданского населения убито 42 человека, ранено 106... В следующие дни жертв в городе было меньше — жители Севастополя опять перебрались в подземные убежища. Там были созданы запасы воды, выдан вперед продовольственный паек. Городской комитет обороны постановил прервать занятия в школах.

Сознавать, что в Севастополе еще находятся школьники, дети, было тяжело. Правда, уже не столько, как месяц-полтора назад. Эвакуацию на Кавказ населения, не связанного с обороной, и в первую очередь женщин с маленькими детьми, в мае старались всемерно форсировать. Однако уговорить многих уехать, как рассказывали городские руководители, все еще стоило большого труда. Люди верили — Севастополь выстоит, а осадные опасности и невзгоды их не страшили. Не все, конечно, представляли, насколько серьезнее, сложнее сейчас положение, чем полгода назад, в декабре.

На рассвете 2 июня вражеская артиллерия открыла массированный огонь почти по всему фронту обороны. Телефонные доклады об этом поступали из дивизий один за другим. Кто-то из докладывавших добавил:

— Такого огня еще не бывало!..

А с КП ПВО предупредили: приближаются большие группы немецких самолетов, общее число — до двухсот.

Уже накануне воздушные налеты усилились по сравнению с предшествовавшими днями — за сутки над городом появилось до ста самолетов. Теперь шло сразу вдвое больше.

Позвонил начальник штаба СОР капитан 1-го ранга А. Г. Васильев. На флагманском командном пункте считали возможной высадку парашютного десанта и требовали немедленно принимать предусмотренные на такой случай меры.

Десант не десант (предположение о нем быстро отпало), но на непосредственную подготовку общей атаки действия противника были похожи. Тем более что интенсивнее всего обстреливались Четвертый и Третий сектора и их стык — наиболее вероятное направление главного удара.

«Значит, началось?» Наверное, так подумалось каждому из нас. С этой мыслью приходило, пожалуй, даже какое-то облегчение. Что штурм будет, давно стало ясно. Мы как смогли приготозились его встретить. А затягивающееся ожидание неизбежного боя всегда томительно.

Но за сильнейшим огневым налетом, длившимся тридцать минут, атак не последовало. Только на отдельных участках небольшие группы немецкой пехоты

предприняли разведку боем. Артподготовка, оказывается, была еще предварительной...

Из более подробных донесений, поступивших вслед за краткими первыми, явствовало: артиллерия была прежде всего по командным и наблюдательным пунктам соединений и частей, по нашим батареям. Вернее сказать, по тем пристрелянным противником местам, где они находились еще несколько дней назад. Вовремя перенесли мы почти все КП и НП и передвинули полевые батареи на запасные позиции!

А фашистские самолеты бомбили — не только утром, но и в течение всего дня — и боевые порядки войск и город. Наши истребители и зенитчики сражались самоотверженно, сбили 14 бомбардировщиков. Но рассеять, отогнать всю навалившуюся воздушную армаду они, конечно, не могли.

И если рубежи обороны пострадали от бомбежки мало, а потери в людях на переднем крае исчислялись единицами, то в городе разрушения были велики.

По подсчетам наблюдателей МПВО — скорее неполным, чем преувеличенным, — на жилые кварталы и порт упало 2 июня свыше трех тысяч фугасных бомб. Зажигательные никто не считал. Я несколько раз выходил из штольни на пригорок, откуда еще недавно открывалась величественная панорама Севастополя, и смотрел теперь на него, стиснув зубы от боли и злости.

Город горел — не отдельные здания или кварталы, а весь город... Так, во всяком случае, выглядело это со стороны. В безветрии июньского дня, заслоняя все, вздымались к небу зловещие клубы густого дыма.

Еще утром стало известно: бомбы перебили в разных местах водопровод и пожары стало нечем тушить. Команды МПВО едва справлялись с расчисткой завалов на важнейших транспортных магистралях.

Но в первую очередь из городского комитета обороны сообщали о другом. О том, что спецкомбинаты в штольнях продолжают работать на полный ход и отправят, как обычно, продукцию фронту, а СевГРЭС бесперебойно дает энергию. О том, что боевые дружины севастопольцев готовы выполнять приказы армейского командования и, если потребуется, влиться в войска.

На следующий день все повторилось: и очень сильные огневые налеты артиллерии по фронту обороны, и яростная, теперь уже почти круглосуточная бомбежка наших рубежей и города.

Продолжалось это и 4 июня, и 5-го, и 6-го...

Мы не знали, что по плану операции «Шторфанг» («Лов осетра») — так закодировало гитлеровское командование июньское наступление на Севастополь — на артиллерийскую подготовку отведено пять дней (а на авиационную, которая началась, постепенно усиливаясь, еще 20 мая, больше двух недель). Ясно было одно: после провала прошлых наступлений противник стремится обеспечить успех небывалой еще обработкой огнем всего нашего плацдарма.

Расчет врага состоял, конечно, не только в том, чтобы заранее, до ввода в бой пехоты и танков, нанести максимальный урон нашей оборонительной системе. Фашисты надеялись и, судя по многому, считали это особенно важным — сломить многодневным огневым смерчем дух защитников Севастополя, измотать и деморализовать наших людей.

Не ту ли цель преследовали и «психические бомбежки»!

На какие-то немецкие аэродромы в Крыму, вероятно, не успевали подвозить бомбы, и часть самолетов загружали чем попало. Вперемежку с бомбами падали куски рельсов, бочки, железный лом. А некоторые самолеты — для них, должно быть, не хватило и этого хлама — не сбрасывали ничего, но пикировали с особенным ревом и свистом: к их плоскостям прикрепили сирены.

Потом Манштейн счел нужным отметить в своих мемуарах, что в июне 1942 года под Севастополем было достигнуто такое массирование артиллерии, какое не достигалось в гитлеровской армии больше нигде за всю вторую мировую войну. Верно ли это, судить не берусь. Но два немецких корпуса и румынские, стоявшие перед тридцатикилометровым фронтом нашей обороны, имели

(пользуюсь тут данными из штабных документов противника, сделавшихся доступными в свое время) 181 артиллерийскую батарею — более 1300 орудий. А сверх того еще три дивизиона самоходок и несколько сот крупнокалиберных минометов. Причем недостатка в снарядах и минах Манштейн явно не испытывал.

Половину стянутых к Севастополю батарей — 93 из 181 — составляли тяжелые. Были и сверхтяжелые, «осадные». До июня мы знали о гаубицах и мортирах калибра 305, 350, 420 миллиметров, уже обнаруживавших себя.

Но теперь немцы ввели в действие и более крупный калибр.

Случайно мне довелось самому это наблюдать. Выйдя под вечер наверх и не успев еще осмотреться вокруг, я услышал, как в стороне пролетело что-то непонятное: размеренный kloкочущий звук походил скорее на скрежет трамвайного вагона, чем на полет тяжелого снаряда.

Лишь когда звук повторился, я понял — это снаряд, но необычайно большой. Показалось даже, что на мгновение я его увидел. Упал он далеко, и разрыв слился с гулом других.

Я быстро вернулся в штольню. Оперативный дежурный доложил: как сообщили с КП генерала Моргунова, 30-я береговая батарея обстреливается громадными снарядами, до сих пор не применявшимися противником; прямым попаданием поврежден верх орудийной башни.

Вскоре мы узнали, что один из упавших снарядов не разорвался.

— Длина два метра сорок, калибр шестьсот пятнадцать миллиметров... — передали с батареи. Цифры выглядели несколько фантастическими. О двадцатичетырехдюймовых орудиях никто из нас еще не слышал. Майор Харлашкин вызвался съездить на 30-ю, чтобы сфотографировать и еще раз обмерить снаряд. Через час он доложил оттуда по телефону:

— Все точно, калибр шестьсот пятнадцать.

Когда мы послали донесение об этом в Москву и в штаб фронта, помню, радиограмму требовали повторить — вероятно, указанная в ней цифра вызвала сомнения.

Наши артиллеристы определили, что 615-миллиметровыми снарядами стреляет мортира (как стало известно впоследствии, экспериментальная, именовавшаяся «Карл»). По-видимому, немцы имели в Крыму всего два таких орудия и, возможно, доставили их под Севастополь для испытания в боевой обстановке, а также радио «психологического эффекта», которому придавали столько значения.

Мортиры открывали огонь не часто: очевидно, их стволы могли выдержать весьма ограниченное количество выстрелов. Начальная скорость снаряда была невелика — потому и удавалось иногда разглядеть его в полете, — и, соответственно этому, не так уж велика разрушительная сила, хотя вес — что-то около двух тонн... Довольно много снарядов не взрывалось. После войны мне рассказывали в Севастополе, как разоружали 615-миллиметровый снаряд, пролежавший в земле до 50-х годов.

Засечь позиции сверхмощных орудий оказалось не просто (мортиры способны бить, например, из-за отвесной скалы), и быстро выяснить, где они стоят, не удалось. А через день-два обстановка была такая, что это сделалось еще сложнее. Да и не имело большого практического значения — пара запрятанных где-то мортир не играла особо существенной роли в развернувшихся событиях.

Некоторые наши товарищи предполагали, что у противника, возможно, есть орудие даже большей мощности, чем 24-дюймовые мортиры. Но основывалось это, кроме противоречивых показаний отдельных пленных, лишь на обнаружении очень крупных, весом в 50—60 килограммов, осколков, которые как будто не соответствовали известным типам немецких снарядов.

Признался, и после опубликования мемуаров Манштейна, утверждающего, что в его распоряжение поступила пресловутая «Дора» — уникальная 800-миллиметровая пушка, созданная на заводах Круппа для разрушения долговременных укреплений «линии Мажино», штурмовать которые немцам не пришлось, — я не уверился в том, что она действительно побывала под Севастополем.

Все же было бы трудно, даже если одновременно ведут огонь сотни других орудий, не заметить действия пушки, стреляющей семитонными снарядами! Как трудно остаться необнаруженной и ей самой, если для перевозки этой громадины в разобранном виде требовался целый состав, а потом ее надо было где-то собирать, прокладывать под нее железнодорожную ветку, обслуживать специальным энергопоездом... Кстати, ни в одном из известных мне официальных документов немецкого командования, как и на немецких штабных картах, оказавшихся потом в наших руках, никаких указаний на присутствие «Доры» в Крыму нет.

Не упоминает об этом в своих дневниках и педантичный Гальдер, не премирующийся зафиксировать (3 марта 1942 года) распоряжение об отправке в район Севастополя мортир «Карл». О «Доре» у Гальдера есть лишь запись конца сорок первого года — основные данные пушки и заключение: «Настоящее произведение искусства, однако бесполезное». Это суждение начальника германского генштаба сухопутных войск невольно вспоминается, когда задумываешься, имело ли смысл тащить невероятно громоздкую артиллерийскую установку под Севастополь, где и укрепления вроде «линии Мажино» все-таки не было.

Но суть не в том, участвовала «Дора» или нет в подготовке июньского штурма. Одна пушка, пусть даже такая, тут погоды не делала. Суть в том, что вся эта многодневная подготовка (и артиллерийская — сотнями тяжелых орудий, и авиационная — сотнями бомбардировщиков) не дала тех результатов, на которые враг рассчитывал.

В ночь на 6 июня командование Севастопольского оборонительного района доносило в Краснодар и Москву:

«В течение четырех суток противник продолжал непрерывно наносить удары авиацией, артиллерией боевым порядкам войск, городу. За это время, по неполным данным, противник произвел 2377 налетов, сбросив до 16 тысяч бомб, и выпустил не менее 38 тысяч снарядов, главным образом 150-мм, 210-мм калибров и выше. Всего за четыре дня всеми средствами уничтожено 80 самолетов противника... Боевая техника, матчасть, войска СОР понесли незначительные потери. Незначительные потери объясняются хорошим укрытием...»

Ссылаюсь на это донесение не ради приводимых в нем цифр, которые тогда еще не успели уточнить, проверить. Неприятельских самолетов было сбито меньше. А бомб и снарядов сброшено и выпущено значительно больше, и пока донесение составлялось и передавалось, происходили новые бомбежки и огневые налеты, так что любой итог быстро устаревал. Но наши потери — в людях, в оружии, в технике — оставались небольшими.

Когда отгремел первый из этих предштурмовых дней, из штаба Чапаевской дивизии докладывали:

— У Матусевича убиты трое, ранены двое, у Антипина — трое ранены...

В двух стрелковых полках на передовом рубеже вышло из строя меньше десяти бойцов? Сперва этому даже не верилось — ведь и в оборонное затишье суточные потери иногда бывали больше.

А за другой день Третий сектор в целом потерял восемь человек убитыми и семь ранеными, причем все убитые — в одном взводе: прямое попадание авиабомбы в блиндаж.

Из штарма переспрашивали: «Точно ли? Полные ли сведения?» Требовали проверить. И получали подтверждения — все точно. Затем поступала не расхожая с данными штадивов рапортчика начсанарма.

В течение 4 июня, когда на рубежах обороны и в войсковых тылах разорвалось 8—9 тысяч снарядов и крупнокалиберных мин и не менее 1200 авиабомб. Все медсанбаты приняли 178 раненых, а 5-го — 265, причем значительная часть из тылового района.

Помню, начальник политотдела армии Леонид Порфирьевич Бочаров, проматривая сводки, сказал, что такие цифры потерь превращаются сейчас в агитационный материал, в убедительное свидетельство того, как надежно защищены от ударов противника наши люди, как крепок фронт обороны. Ко второму утру вражеской артподготовки в войска доставили листовку поарма, построенную на фак-

тах вчерашнего дня. Выводом из них был заголовок — «Наша оборона несокрушима!»

Севастопольские рубежи, укрепленные великим солдатским трудом, держали суровое испытание. Держали и выдерживали.

Горел город. Инженерные подразделения и стройбаты восстанавливали разбитые бомбами дороги. С некоторыми дивизиями прерывалась проводная связь, и мы переключались на радио. Но глубокие траншеи и закрытые ходы сообщения передового рубежа имели очень немного повреждений — как правило, только от прямых попаданий. Ничего похожего на декабрь, когда сильная артподготовка, случилось, кое-где сравнивала мелкие окопы с землей... Крепкие блиндажи и «лисий норы» — специальные убежища, защищенные несколькими метрами грунта, — берегли бойцов.

Совсем немного при такой интенсивности вражеского огня теряли мы боевой техники. За 4 июня на всем фронте оказались разбитыми три миномета, два пулемета. Со 2 июня были повреждены отдельные орудия только на трех полевых батареях. Полсотни «юнкерсов» пикировали на флотскую батарею № 14 и вывели из строя одно тяжелое орудие. Расчет его погиб, но пушку за сутки отремонтировали.

В мае тыловики рассредоточили по всей территории плацдарма наличные запасы снарядов и продовольствия, оборудовав до трех десятков новых замаскированных складов в штольнях, убежищах, специальных траншеях. И лишь одно из этих хранилищ пострадало от попадания крупной бомбы.

Противник особенно стремился дезорганизовать нашу систему боевого управления, однако не смог за все эти дни вывести из строя ни один дивизионный, бригадный или полковой командный пункт. Нового их расположения он явно еще не раскрыл.

А Чапаевская дивизия управлялась с прежнего КП, давно уже находившегося под выступом скалы в Мартьяновском овраге. Генерал Коломиец убедил нас с командармом, что переносить его КП нецелесообразно: артиллерией это место не простреливается, авиацию же должна обмануть прикрывая скалу маскировочная сеть. Дело в том, что недалеко нависала над оврагом другая скала примерно такой же величины и формы. Расчет Трофима Калиновича оправдался: на ту скалу и обрушились бомбовые удары.

И все же одна крупная бомба упала, по-видимому случайно, у замаскированной скалы. Осколками были ранены стоявшие рядом военком дивизии Н. И. Расников и начальник штадива П. Г. Неустроев. И оба серьезно, так что подлежали эвакуации на Большую землю.

Полковой комиссар Расников прибыл в Севастополь и в Чапаевскую не особенно давно — когда я лежал в госпитале, но успел хорошо сработаться со своеобразным по характеру Коломийцем и много вместе с ним сделал, чтобы достойно подготовить дивизию к новым боям. А Парфентий Григорьевич Неустроев возглавлял штадив с первых дней обороны, великолепно знал сложный по рельефу Третий сектор, да и вообще был одним из опытейших в нашей армии штабистов.

Расникова заменил начальник политотдела дивизии батальонный комиссар А. С. Блохин, Неустроева — начопер штаба майор С. А. Ганиев. Люди бывалые, подготовленные, но очень уж не вовремя происходила замена — перед самыми боями.

Единственное, что врагу перед штурмом вполне удалось, это разрушить город. Севастополя, такого, каким мы привыкли его видеть и представлять, каким он оставался после двух прошлых штурмов и семи месяцев осады, теперь не стало. Он превратился в руины, особенно центральные улицы, обращенные к морю, самые красивые. Одни здания рухнули, на месте других стояли обгорелые каменные коробки. Лишь на окраинах, застроенных небольшими домиками, были еще не тронутые бомбами кварталы. словно чудом сохранились зеленые массивы Приморского и Исторического бульваров, но они выглядели как прежде, конечно, только издали — и деревья покорежило осколками, опалило огнем.

Из городского комитета обороны сообщали: с конца мая по 5 июня в Севастополе разрушено свыше 4600 зданий и три тысячи повреждено...

В другой стороне от армейского КП, на мысу, разделяющем соседние бухты, виднелись древние развалины крохотного Херсонеса, который, наверно, уместился бы весь на севастопольской площади Парадов. И невольно приходило на ум: за четыре-пять дней фашистские варвары сделали с большим городом то, что с этим маленьким и давно необитаемым сделалось за много-много веков.

«Жизнь города парализована». Такие слова есть в наших документах тех дней — в донесениях, в журнале боевых действий. Там, где нет места подробностям, как иначе сказать о положении в городе, если в нем замерло движение на улицах, не поступает вода в уцелевшие дома и колонки, остановился хлебозавод?

Однако просто повторить здесь эти слова я не могу. Тем более что о происшедшем в городе, о внутренней его жизни постепенно узнал гораздо больше, чем знал, когда мы с часу на час ждали штурма и все внимание поглощал непосредственно фронт.

Да, Севастополь был разрушен и продолжал разрушаться бессмысленно и безжалостно. После воздушной тревоги, которую возвестили сирены утром 2 июня, штаб МПВО так и не дал отбоя ни в тот день, ни на следующий. Бомбардировщики Рихтгофена налетали группами за группой, не делая длительных пауз даже ночью. В городе стало тяжелее, чем на многих участках передового рубежа, где бойцы могли пока находиться в укрытиях. И было больше, чем на переднем крае, потерь: за несколько дней почти 800 убитых... Полевые госпитали, расположенные в городской черте, заполнялись ранеными из гражданского населения. В подвале 1-й Совбольницы, в центре Севастополя, Соколовский развернул крупную операционную, в подземном кинотеатре на улице Карла Маркса — перевязочный пункт.

Но, разрушая каменные стены, враг не в состоянии был подавить дух людей, сломить боевую организованность севастопольцев, их решимость бороться.

Водопровод, магистрали которого оказались перебитыми 2 июня в пятнадцати местах, был ночью восстановлен. Через несколько часов снова выведен из строя и опять восстановлен. И так еще не раз. Пытались отремонтировать и сильно поврежденные печи хлебозавода, а тем временем заработала запасная механизированная пекарня, оборудованная в Инкерманских штольнях. Рухнули стены оставшегося на поверхности заводика «Молот» (там делали минометы, детали гранат), но станки уцелели, и их за одну ночь перенесли в Троицкую балку, на спецкомбинат. Туда же перешли рабочие.

А рыбаки с Северной стороны — «стариковская» бригада Котко и Евтушенко, о которой я рассказывал, — продолжали, держась под берегом, добывать для горожан и для бойцов свежую рыбу. Закидывать сети им почти не приходилось: подбирали камбалу, оглушенную упавшими на рейде бомбами. Другая, балаклавская, артель уже не рыбачила — она влилась в один из оборонявшихся на этом участке батальонов.

Городская телефонная сеть не действовала. Комитет обороны сообщался с КП трех районов, с предприятиями, службами, убежищами через связных. Потом Борис Алексеевич Борисов рассказывал: если надо передать что-то очень важное, посылали двоих-троих, и они пробирались по городу, не теряя друг друга из виду, но так, чтобы не попасть под разрыв одной бомбы или снаряда.

Несмотря ни на что, разносили по убежищам прибывавшую с Большой земли почту. Доставлялась и городская газета «Маяк Коммуны». Типография ее погибла, газета перешла на формат чуть больше листка школьной тетради. Но вместила, кроме сообщений Совинформбюро и местной сводки «На подступах к Севастополю», также городские новости. В том числе такие: «Женщины бомбоубежища № 2 вчера сдали Н-ской части 2500 штук выстиранного белья, приняли в ремонт и стирку 3500 комплектов...»

«Фронтвые хозяйки» были на посту, и их материнская забота стала еще во сто крат дороже бойцам.

Из разрушенного Севастополя фронт получал очередные партии гранат и мин, новенькие минометы, свежий хлеб. И вот еще и белье: выстиранное в подва-

лах, когда там удавалось запастись водой, отнимаемой врагом, ненадолго прорывавшейся в трубы.

А с фашистских самолетов сыпались на наши позиции вместе с бомбами бесчисленные листовки о том, что Севастополь «снесен с лица земли», что он «пуст и мертв» и «защищать там больше некого»...

Не знаю, в ответ ли на эти немецкие листовки, падавшие и в городе, или просто от желания порадовать фронтовиков перед боями, было сделано то, о чем рассказал приехавший на КП из войск запыленный член Военного совета Иван Филиппович Чухнов:

— В бригаде Горпищенко всё как вчера, потерь почти нет. Только все оглушенные, охрипшие — часто грохочет кругом так, что едва слышат друг друга. А в блиндажах стоят в оружейных гильзах роскошные розы. Потрогал, понюхал — настоящие. Говорят, прямо с Приморского бульвара! Оказывается, городские комсомолки решили срезать, пока целы, и послать бойцам. У Горпищенко связь с городом как ни у кого, вот ему и привезли ночью с боеприпасами... О таком вообще-то стихи писать надо, товарищи!..

У дивизионного комиссара Чухнова есть в душе поэтическая струнка. Она дает о себе знать и в самой трудной обстановке.

...Все эти дни порт, как ни бомбили его немцы, принимал корабли с Кавказа. Но не каждый вышедший оттуда дошел до Севастополя: одновременно с массированными ударами по нашему плацдарму враг усилил блокаду на море. Не дойдя совсем немного, погиб от атаки торпедоносцев танкер «Громов» — он вез авиационный бензин.

С боем прорвались к нам крейсер «Красный Крым», лидер «Ташкент», три эсминца. Высадили маршевое пополнение, выгрузили снаряды, еще одну партию противотанковых ружей, продовольствие.

Разгрузка — в стремительном темпе: стоянка сокращена до полутора-двух часов и для этого выбирается самое темное время ночи. Чтобы не было никаких задержек, эвакуаторы нашего санотдела заранее доставляют в укрытия вблизи причалов подлежащих отправке раненых, а городские эвакуаторы (главный из них секретарь горкома комсомола Александр Багрий, или просто Саша Багрий, как его все называют) — женщин и детей.

Только крейсер принял на борт почти две тысячи человек. Лишь бы благополучно дошел!

С 4 июня считаем наиболее вероятным, что Манштейн начнет наступление 6-го или 7-го. Так ориентирует нас командование СОР, исходя из данных, которыми располагает разведотдел флота. Новые «языки» — недостатка в них теперь нет, так как немцы каждый день затевают где-нибудь разведку боем, — все чаще называют 7-е, однако это еще нуждается в подтверждении.

В принципе заранее решено упредить «окончательную» артиллерийскую подготовку противника — ту, что будет непосредственно предшествовать атакам, — своей контрподготовкой, подобно тому как это удалось сделать полгода назад, 31 декабря. Но нельзя позволить врагу спровоцировать нас на преждевременный мощный огневой налет: наши ресурсы боеприпасов не позволили бы его повторить. Нельзя, однако, и опоздать. Словом, приходится каждую ночь, взвешивая и перевзвешивая все что известно, ломать голову над одним и тем же: а не завтра ли?

Неотступно стоит и второй вопрос: где все-таки главный удар? Повторится ли он с севера? Более сильный из двух немецких корпусов, стянутых к Севастополю — 54-й, — сосредоточивается пока именно там. Но переброска одной-двух пехотных дивизий, и тем более танков, на юг, к нашему правому флангу, не заняла бы много времени и может быть осуществлена достаточно скрытно.

Генерал Петров сам тщательно анализирует, как распределяет противник свой артиллерийский огонь и бомбовые удары. Был день, когда они до такой степени сконцентрировались на боевых порядках и тылах дивизии Ласкина и бригады Потапова (только сюда — три с половиной тысячи снарядов, полторы тысячи

мин, более ста самолето-вылетов!), что отпадали как будто все сомнения: основное направление штурма — смежные фланги Третьего и Четвертого секторов. Однако в другое время подвергались очень сильной обработке, особенно с воздуха, ключевые участки обороны у Ялтинского шоссе. А активность неприятельской разведки на севере и на юге нашего плацдарма примерно одинакова.

В конечном счете сходимся на том, что ожидать главного удара следует опять из района Бельбек — Камышлы на станцию Мекензиевы Горы и дальше к Северной бухте. Но направление Камары — Сапун-гора с Ялтинским шоссе в центре также требует неослабного внимания, ибо может сделаться главным в зависимости от обстановки.

В соответствии с этим передовой армейский КП — в Сухарной балке. Там обосновалась оперативная группа штаба и наведывается готовый в любой момент туда перебраться командарм. Мое место — на основном командном пункте.

Пока можно, выезжаю накоротке в дивизию. В резервную 345-ю к Николаю Олимпиаевичу Гузю — убедиться, что правильно усвоены все указания, связанные с выдвиганием к переднему краю, вероятно уже скорым. В остальные больше затем, чтобы лишний раз удостовериться, что сумеем — с комдивами, начальниками штабов, начоперами — понимать друг друга с полуслова по проводу или через эфир, когда все начнется.

В войсках — та степень готовности, когда все до мелочей проверено уже не раз. Полки, батальоны подготовлены и к тому, что враг может вклиниться, рассечь, окружить. Рассредоточены запасы патронов, гранат, а также и пищи, воды. Продуманы, проработаны всякие резервные варианты действий.

Беспокоит, не слишком ли изматываются люди, еще не вступив в бой? На армейском КП я начал на вторые сутки ожидания штурма отправлять кое-кого спать в приказном порядке. Но тут, в штольне, все-таки тихо, а на переднем крае можно оглохнуть от адского грохота разрывов. Командиры, однако, уверяют: уже и новички засыпают под этот тарарам.

6-го штурм не начался. Значит, завтра. С этим мы и жили весь день, убеждаясь все больше, что так оно и будет, поскольку данных о других сроках не поступало.

В городе вдруг стало потише. После полудня штаб МПВО сообщил: «Пока меньше четырехсот фугасных, считая и сотню ночных». Наползающие облака осадили, прижали к земле и бухтам дым недогоревших пожаров.

А удары по фронту усиливаются. «Сверхтяжелые» бьют по позициям береговых батарей. По оценке сдержанного генерала Новикова, огонь по его переднему краю — ураганный. Во второй половине дня к правому флангу обороны волна за волной идут бомбардировщики. За Северной бухтой бомбят тоже, но не так.

— Нет, это уже подвох, — вслух размышляет Иван Ефимович над картой. — Хотят, чтобы мы в последний момент стали перестраиваться. Не выйдет!..

«Подвоху» не верим. Дивизия Гузя остается на прежнем месте — с расчетом на выдвигание к северу. Но где-то на втором плане мыслей видишь, как повернем ее, если понадобится, на юг.

Все, что происходит до вечера и особенно с наступлением темноты, подтверждает: до штурма считанные часы. Перед фронтом обороны, особенно на участках Ласкина и Потапова, отмечается выдвигание вражеской пехоты в передовые траншеи.

Тем временем благополучно прибывает с Кавказа по воздуху небольшое подкрепление нашей авиагруппы — десять «Яков», шесть «И-16», один «ИЛ». На подходах к севастопольским фарватерам — транспорт «Грузия» с маршевиками, боеприпасами и даже бензином. Опасный рейс!..

На исходе суток ко мне является без вызова подполковник Потапов. Уже по лицу Василия Семеновича можно понять, что с чем-то важным.

— Взят тот «язык», который сейчас нужен, — говорит он. — Подтверждает, что штурм завтра утром. Подробности смогу доложить через несколько минут. Мои ребята принимают сейчас по телефону...

Пленный, захваченный разведчиками, оказался артиллерийским наблюдателем. Он сообщил, что о переходе в наступление утром 7-го объявлено официально. Но точного часа атаки и артподготовки, по его словам, не знал.

На коротком совещании у командарма было решено: контрподготовку начнем в 2.55. Это должно сработать, если даже противник намерен начать в 3.00.

Сильная, крепкая рука легла мне на плечо, отрывая от тяжелого раздумья над рабочей картой.

— Пойдем, Николай Иванович, на волю, покурим. Ты спал сегодня хоть сколько-нибудь? Пойдем, голова свежее станет.

Это Иван Филиппович Чухнов. Я и не заметил, как он вошел.

Оказывается, уже совсем стемнело. Часы у меня постоянно перед глазами, но когда засидишься в штольне, время воспринимается как-то отвлеченно.

Заканчивалось 8 июня. Командарм и Чухнов недавно вернулись с вечернего совещания на флагманском командном пункте СОР — докладывали о втором дне боев. Отдав распоряжения и подписав донесение, генерал Петров уехал в войска. Оттуда — на передовой КП. А член Военного совета сейчас поедет в другие дивизии.

Мы стоим на пригорке над штольной и молчим. В городе все еще что-то горит. Над фронтом, за Северной бухтой, — расплывчатое зарево от оружейных выстрелов и разрывов снарядов: с обеих сторон ведется методический огонь. Слышно, как от мыса Херсонес прошли на небольшой высоте к переднему краю наши самолеты — одна группа, вторая...

Глядя на отсветы приутихшего к ночи боя, я продолжаю видеть перед собой оставленную на столе карту. Там обозначился на северном направлении пока еще неширокий, но опасный вражеский клин.

— Опять станция Мекензиевы Горы... — говорю я, забыв, что Чухнова не было с нами в декабре, когда это ничем не примечательное место — низинка с поселком у железнодорожного гуннеля и невысокими холмами вокруг — уже становилось самым тревожным участком фронта.

Но Ивану Филипповичу давно известно и то, что происходило под Севастополем без него.

— Да, опять всего горячее там, — откликается он. — Как у Малахова кургана в первую оборону...

К станции Мекензиевы Горы на рубеж, памятный ветеранам по декабрю, снова выдвигается 345-я дивизия Гузя — основной армейский резерв. Завтра она вступит там в бой.

Но этого может оказаться недостаточно, чтобы восстановить положение, ликвидировать клин. А перебросить туда 9-ю бригаду морской пехоты, которая пока прикрывает береговую черту, адмирал Октябрьский не согласен — опасается десанта.

— Эх, я бы все-таки рискнул снять бригаду морской пехоты с побережья! — вырывается у Чухнова.

Чувствуется, он все еще переживает совещание на флагманском КП, где поднимался, как я знаю, этот вопрос. И выходит, мы думали сейчас об одном и том же. Однако вдаваться в это не время, и Иван Филиппович решительно заканчивает наш недолгий разговор:

— Ну, перекур окончен? Тогда пошли, пора!

...Первые двое суток июньского сражения за Севастополь были так насыщены событиями, вместили столько грозного и героического, что обо всем мне, конечно, не рассказать. Возвращаясь к утру 7-го (понимаю, читатель этого ждет), постараюсь дать представление хотя бы о главном.

С артиллерийской контрподготовкой мы не просчитались. Немцы действительно назначили свою на 3.00, и наш удар, начатый на пять минут раньше, оказался сразу же: огонь противника сперва был каким-то беспорядочным, местами просто слабым.

Наша контрподготовка длилась двадцать минут. Большого расхода снарядов мы не могли себе позволить, и потому не рассчитывали подавить особенно много

неприятельских батарей. Однако некоторые молчали и на какое-то время, как видно, нарушилось управление огнем.

Только к четырем утра вражеская артподготовка набрала силу. К ней прибавилась яростная бомбежка с воздуха. Над рубежами обороны кружило одновременно до двух с половиной сот самолетов, на смену отбомбившимся прилетали новые. «Передний край не просматривается из-за дыма и пыли», — докладывали с дивизионных НП. Наступивший рассвет угас, черный дым заслонил взошедшее солнце.

В такой обстановке враг двинул в атаку пехоту и танки. Там, где можно было это разглядеть, увидели цепи фашистских солдат, поднявшихся во весь рост. После всей той обработки, какой подверглись наши позиции в этот день и за пять предшествовавших, гитлеровцы, должно быть, считали, что если там и остался кто живой, то серьезного сопротивления быть уж не может. Разумеется, пребывать в подобном заблуждении им пришлось недолго.

«Пехота противника при поддержке танков и большого количества авиации перешла в наступление по всему фронту обороны...» Так зафиксировали штабные документы начало штурма по первым донесениям из войск. Но атаки атакам рознь. Прошло еще некоторое время, пока окончательно определилось, где главная опасность, главный удар.

Он, как и ожидалось, наносился за Северной бухтой, от Бельбека и Камышлы. Наступление там началось позже, чем на других направлениях, и это надо отнести за счет нашей контрподготовки: из показаний пленных выяснилось, что в первом эшелоне противнику пришлось заменить до шести батальонов, понесших большие потери еще на исходном рубеже. Однако задержался лишь первый натиск врага. Затем на пятикилометровом участке фронта вступили в бой части трех немецких пехотных дивизий и около ста танков.

Удар этого кулака, предназначенного пробить в нашей обороне брешь, проложить армии Манштейна дорогу к Северной бухте, приняли на себя дивизия Ласкина и бригада Потапова.

Позиции 172-й стрелковой дивизии, как и 79-й курсантской бригады, и подступы к ним были укреплены всеми имевшимися в нашем распоряжении инженерными средствами. Расчетливо использовались естественные рубежи — и обрыв Бельбекской долины, и Камышловский овраг с его отрогами. Но система заграждений, в том числе минные поля и фугасы (хотя на них и подорвался не один танк), не могла остаться невредимой после стольких дней артиллерийской и авиационной подготовки штурма. Бомбежка и обстрел, особенно утром 7-го, достигли такой плотности, что перестали быть редкостью прямые попадания в траншеи. Разбит был хорошо оборудованный НП полковника Ласкина, откуда он за несколько часов до того перешел на запасный.

Словом, пройдут или не пройдут немцы — это решали сейчас не укрепления и заграждения, а люди. Решала дивизия, которая не дала врагу прорвать свою оборону у Ялтинского шоссе в ноябре и декабре, но под такими ударами еще не бывала, а также 79-я бригада, которая предотвратила прорыв врага к Северной бухте 22 декабря 1941 года.

Со 172-й нас связывало только радио. Многие детали обстановки становились известными не сразу. Подолгу оставалось невыясненным, насколько велики потери, в каком составе действуют полки, батальоны. В полках раций не было, а телефонные провода, даже проложенные по дну траншей, перебивались так часто и в стольких местах, что соединять их стало бесполезно. Боевое управление перешло на живую связь. Ласкин и сам — иначе он не мог — пробирался со своим адъютантом по разрушенным ходам сообщения то в один полк, то в другой. Уже позже я узнал, как комдив, добравшись до наблюдательного пункта 747-го стрелкового, откапывал заваленного там землей командира полка Шашло...

Помню, начальник поарма Бочаров зашел с только что принятым донесением комиссара 172-й Солонцова. Оно не содержало таких фактов, о которых еще не радировал штадив, но за каждой строкой (потому, наверное, и принес его мне Леонид Порфирьевич) так и чувствовалось: дивизия, несмотря ни на что, держится!

Извлеченное из архива, донесение снова передо мной и по-прежнему дышит жаром боя:

«Личный состав героически сражается с врагом... Вся долина Бельбека устлана трупами немецких солдат и офицеров... Только первый батальон 747-го сп истребил около тысячи гитлеровцев...»

Это происходило уже после полудня 8-го. Потеряв со вчерашнего утра тысячи солдат и десятки танков, противник продолжал неистово упорные атаки. Ласкин влил в поредевшие стрелковые батальоны саперов, красноармейцев из тыловых служб и наконец последний свой резерв — курсантов дивизионной школы. Штабисты и политотдельцы дивизии заменили убитых и раненых командиров и политработников подразделений.

Но под непрекращающимися бомбежками и огневыми налетами, в жестоких рукопашных схватках батальоны редели вновь. И там, где не оставалось уже ничего, враг продвигался. Так была постепенно захвачена гитлеровцами первая траншея 172-й дивизии, а на некоторых участках и вторая.

Не все видели за этим в тот момент, что уже сорван расчет врага — натиском ударной группировки сокрушить за день-два нашу оборону на достаточно широком участке фронта перед Северной бухтой. Дорогой ценой, но сорван.

И полковник Ласкин, сделавший для этого все, что он мог, не знал, как встретит его командующий армией, когда получил поздно вечером 8 июня приказание генерала Петрова явиться вместе с комиссаром Солонцовым в «домик Потапова».

Предоставлю, впрочем, тут слово самому Ивану Андреевичу Ласкину, передавшему мне страничку своих воспоминаний:

«Мы шли с беспокойством, так как надо было докладывать командарму о потерянных дивизией окопах... Войдя в маленький каменный домик, где тускло горела свеча, сперва не разглядели генерала Петрова, сидящего в группе командиров. А он узнал нас обоих сразу.

Командарм выслушал доклад об обстановке, уточнил, где и на сколько продвинулся противник, расспросил о потерях. Не кривя душой, мы смогли сказать, что ни один боец не оставил своего окопа без приказа.

Иван Ефимович глубоко вздохнул, как-то весь выпрямился и тихо произнес: — Ведь мы думали, что из вашей дивизии уже никого в живых не осталось под таким огнем. А вы еще фронт держите. Вот это дивизия!

Он подошел ко мне, крепко обнял и расцеловал.

Выйдя из домика, мы с Солонцовым, гордые за нашу дивизию, от избытка чувств расцеловались сами...»

Ласкину было сообщено, что к переднему краю подтягивается этой ночью армейский резерв — 345-я дивизия Гузя. Но о том, что ей предстоит не поддерживать 172-ю, а сменить, вопрос пока не вставал: потери последней не были еще полностью учтены.

А вражеский клин, о котором я упомянул выше, начал образовываться на левом фланге 79-й бригады, где к 10 часам 7 июня ее бойцов потеснил на несколько сот метров полк немецкой пехоты с танками.

Потаповцы, ведя оба дня тяжелые бои (на ряде участков не менее тяжелые, чем дивизия Ласкина, их левый сосед), в основном удерживали остальные свои позиции. Но восстановить стык со 172-й дивизией сил не хватало, а Ласкин помочь им тоже не мог. Контратаки — в них участвовал и переброшенный сюда батальон Перекопского полка — результатов не дали. Тем временем осложнилось положение и на правом фланге потаповской бригады: противник начал вклиниваться между нею и чапаевцами.

Так обозначились на северном направлении первые успехи врага — не такие, какие он рассчитывал к этому времени иметь, но тем не менее представлявшие для нас серьезную опасность.

С остального фронта обороны известия поступали утешительные. Там все неприятельские атаки, предпринятые, правда, не очень большими силами, отра-

жались вполне успешно. Под Балаклавой и у Чоргуня роты гитлеровцев, пытавшиеся вклиниться в наши позиции, попали в окружение. Полк Рубцова, бригады Жидилова и Горпищенко имели пленных и трофеи.

Еще три дня, до 12 июня, положение на всем правом крыле передового рубежа от балаклавских высот до центральной части обвода оставалось если не спокойным, то, во всяком случае, стабильным.

Противник и там держал наши войска в напряжении сильными огневыми налетами. Но из трех немецких пехотных дивизий, сосредоточенных, как мы знали, на южном направлении, проявляла себя активными действиями пока одна 28-я. Атаки у селения Камары и в районе Итальянского кладбища носили отвлекающий характер и неизменно заканчивались тем, что гитлеровцы отбрасывались назад, неся основательные потери. Унтер-офицер из 28-й дивизии, взятый в плен 10 июня, показал на допросе, что за последние три дня через полковые медпункты прошло до 1300 раненых.

А в долине Кара-Коба, где против одного из полков Скутельника стояли румынские горнострелковые части, была предпринята «психическая атака» в том стиле, с каким мы познакомились под Одессой. — длинными шеренгами, под барабан... Возможно, этот спектакль рассчитывался на то, что дрогнут необстрелянные подразделения нашей 386-й дивизии. Но батальон, маршировавший к их позициям, встретили оттуда дружным огнем, и далеко он не дошагал. На поле боя собрали потом немало винтовок, автоматов, гранат. От групповых горных стрелков разлило спиртом...

Все это было второстепенным и просто принималось к сведению. Решающее же происходило за Северной бухтой. Не считаясь с потерями, немцы стремились расширить свой клинья, чтобы рассечь фронт обороны глубоким прорывом.

Во второй половине дня 9-го командарм ввел в бой на направлении главного удара дивизию «старого русского солдата» Николая Олимпиевича Гузя. Ее стрелковыми полками командовали подполковники И. Ф. Мажуло и В. В. Бибилов, майор И. П. Оголь, артиллерийским — майор А. А. Молоткин.

Полгода назад, в конце декабря, эта дивизия, тогда голько что прибывшая, вместе с 79-й бригадой преградила здесь врагу путь к бухте. Задача сводилась к тому же и теперь, но в июне стала гораздо труднее.

Противник бросал в наступление свежие силы, в том числе много танков. Были сведения — потом, правда, не подтвердившиеся, — что в районе станции Мекензиевы Горы появилась 22-я немецкая танковая дивизия. Не в том, однако, суть, входили ли танки в отдельное соединение или придавались крупными группами пехотным частям. Они лезли везде, где голько позволял им пройти рельеф местности, и никогда еще не использовались на северном направлении такой массой.

Передо мною документ, подписанный начартом 345-й дивизии В. И. Мукиным. В нем уточняется лишь один эпизод боев, но это дает представление о том, с каким количеством вражеских бронированных машин встречались на своих участках даже небольшие подразделения.

9 июня, говорится в справке начарта, огневой взвод зендива под командой старшего лейтенанта Глущенко принял бой с 12 танками. Зенитчики выдвигались на передний край в качестве противотанкового заслона и имели на вооружении также ПТР. По обстановке они применили в данном случае именно это оружие. Шесть танков взвод уничтожил, остальные не пропустил. Два подбил из ПТР лично командир взвода. Как свидетельствует начарт, потом тот же Николай Саввич Глущенко, комсомолец двадцати двух лет, полтавчанин родом, вывел из строя еще три немецких танка.

А на соседнем участке уничтожили пять танков несколько бронебойщиков во главе с воентехником 1-го ранга Анатолием Рожко...

345-я стрелковая сменяла дивизию Ласкина. Стало ясно: то, что от нее осталось, необходимо отвести с передовой и перестроить. Но до середины дня 9-го

героическая 172-я продолжала сдерживать натиск врага еще во всей своей первоначальной полосе обороны.

Есть такие слова «Стоять насмерть». Они служили под Севастополем и призывом и клятвой, иногда — суровым приказом. А сейчас эти слова необходимы просто для того, чтобы точно передать, как вели себя бойцы и командиры соединения, на которое пришлось первый натиск основной ударной группировки врага. Они действительно стояли насмерть — иначе об этом не скажешь.

На левом фланге дивизии оборонялся 514-й стрелковый полк Ивана Филипповича Устинова. Какой было радостью, когда этот командир, тяжело раненный в начале обороны, вернулся в Севастополь с Большой земли! Подполковник Устинов, скромный и твердый характером, беспредельно правдивый, о чем бы ни приходилось докладывать, прекрасный организатор («Строевая душа» — говорил о нем комдив, и в устах Ласкина это означало едва ли не самую высокую похвалу), и военком батальонный комиссар Осман Асанович Караев, горячий, темпераментный, всегда готовый сам возглавить контратаку, отлично подготовили своих людей к жестоким июньским боям.

Перед третьим штурмом мы считали 172-ю дивизию — по организованности, сплоченности, выучке — лучшей в Приморской армии. А полк Устинова и Караева был лучшим ее полком. И в наступившие грозные дни он оправдывал эту репутацию не только в целом, но и каждой своей частицей, каждым подразделением.

Уже в самом начале штурма тяжело пришлось батальону лейтенанта Доценко. Его вторая рота полегла вся до последнего бойца, и лишь после этого гитлеровцы ворвались в ее окопы. Когда комбат, сам раненный, получил приказ отойти на запасный рубеж, батальон насчитывал 30 штыков...

После того как дивизию Ласкина сменила 345-я, во всем 514-м полку оставалось в строю полтора человека. И среди них не было ни Устинова, ни Караева. Командир и комиссар пали в бою с танками у полкового НП.

Еще раньше мы потеряли, тоже в ближнем бою, командира 747-го стрелкового полка Василия Васильевича Шашло, бывшего крымского пограничника, не расстававшегося с дорогой ему зеленой фуражкой.

Шашло пришел о чем-то договориться на командно-наблюдательный пункт поддерживавшего его батальона 134-го гаубичного артполка. Им уже командовал начальник штаба К. Я. Чернявский: раненого майора Шмелькова отправили перед тем в медсанбат. И как раз в это время высоту 64,4, где находился КНП артиллеристов, обошла большая группа фашистских автоматчиков.

Наших вместе с Шашло и Чернявским там было семь человек, причем они оказались без связи, не могли вызвать ни подмогу, ни огонь. Однако высоту не сдали. Потом вокруг окопов и блиндажей КНП насчитали больше 60 убитых гитлеровцев. Но из семи приморцев остался в живых один комзвезда артрязведки Николай Лугин. От него и стало известно, как сражались до последнего дыхания, истребляя фашистов гранатами, подполковники Шашло и Чернявский и их боевые товарищи.

Подразделениями 747-го стрелкового, пока они находились на переднем крае, командовал военком полка батальонный комиссар В. Т. Швец. Гаубичный полк (он сохранил большую часть орудий и переходил в подчинение комдиву 345-й) временно возглавил один из штабников, капитан Яценко.

Некоторое время мы ничего не знали о судьбе Ласкина, Солонцова и начальника штаба 172-й Лернера: когда остатки дивизии начали выводиться из боя, связь с ее командованием оборвалась. Как затем выяснилось, подполковник Михаил Юльевич Лернер, в недавнем прошлом начопер штарма, один из ближайших моих сослуживцев в Одесскую оборону и в первые недели Севастопольской, был убит... А Ласкин и Солонцов дали о себе знать из медсанбата.

Оказалось, танки и автоматчики прорвались-таки и к дивизионному наблюдательному пункту, уже свертываемому (Гузь развернул свой в другом месте). И все, кто там был, с комдивом во главе взялись за гранаты вместе с прикрывавшими НП бойцами разведоты.

В этой схватке было и такое, что, пожалуй, можно представить лишь в той

обстановке и на той местности. Танки встречали не только гранатами. Пошли в ход и противотанковые мины, но не врытые в землю, а «управляемые» — на длинных шнурах, позволявших выбрасывать их из окопа, из-за камня или куста, а потом подтягивать под гусеницу. Столь необычный способ использования мин подсказало дивизионным разведчикам, ребятам отважным и изобретательным, само поле боя — заросший мелким дубняком скат, где танку нельзя двигаться быстро, а человеку нетрудно замаскироваться на его пути.

Именно так, подводя под гусеницы проходящего мимо танка привязанную к обыкновенной веревке мину, подорвал одну за другой две вражеские бронированные машины ефрейтор из разведроты Павел Линник. А на выползший из кустов третий танк он сумел взобраться (немецкие автоматчики отстали или были уже перебиты его товарищами). И когда фашистские танкисты, должно быть потеряв в кустарнике ориентировку, застопорили мотор и приоткрыли люк, сидевший на броне советский боец мгновенно просунул в щель взведенную гранату...

Имя ефрейтора, уничтожившего три танка (сам он при этом остался невредим), через несколько дней появилось в Указе Президиума Верховного Совета СССР: в числе других особенно отличившихся севастопольцев Павел Дмитриевич Линник был удостоен звания Героя Советского Союза.

Но это было еще впереди, и я возвращаюсь к 9 июня.

К исходу дня остатки всех частей 172-й дивизии (некоторые ее подразделения выходили из окружения) свели в двухбатальонный полк. И 10-го он снова вышел на передний край, заняв оборону на нешироком, но «горячем» участке фронта между дивизиями Гузя и Капитохина, вблизи станции Мекензиевы Горы. Приказов об этом переформировании не отдавалось, и потому полк называли в сводках по-прежнему — 172-й стрелковой дивизией. Исключить ее из состава армии могло только высшее начальство.

Командовать дивизией, или фактически отрядом в несколько сот штыков, продолжал полковник Ласкин. Раненный пулей в плечо (потом Иван Андреевич рассказывал, как, еще не успев почувствовать боли, сам уложил гитлеровца, стрелявшего в него метров с двадцати), он пробыл в медсанбате не дольше, чем потребовалось, чтобы обработать рану и сделать хорошую перевязку, и вернулся к своим бойцам. Вместе с комдивом вернулся в строй и комиссар Петр Ефимович Солонцов, хотя при раненой ноге не мог обходиться без костыля.

Никто, понятно, не понуждал их уходить из медсанбата, но никто и не запрещал им этого. В той обстановке становилось естественным, что если ранение непосредственно не угрожает жизни и командир чувствует себя в силах воевать дальше, он остается на своем посту.

О том, как воевали Ласкин и Солонцов в последующие дни, следовало бы, наверное, написать им самим. Многие подробности действий их отряда до меня просто не доходили. Скажу, однако, что и 10 июня и потом на их участок приходилась немалая доля все усиливавшихся вражеских атак, но прорвать здесь нашу оборону противник не мог.

12 июня армейская газета «За Родину» посвятила людям 172-й дивизии один из основных материалов номера — «Так перемалывать технику и живую силу противника». В подзаголовке к статье сообщалось: «За два дня бойцы тов. Ласкина подбили 48 немецких танков и истребили до 2-х батальонов вражеской пехоты».

Быть может, эти цифры, хотя они и не расходятся с данными боевых донесений, не безошибочны — совершенно точно учесть наносимый врагу урон было трудно. Но то, что оставшиеся от дивизии батальоны, стойко обороняясь, перемалывали неприятельские силы, намного превосходящие их собственные, не подлежит сомнению.

«Слава героям! Слава вам, бойцы, командиры и политработники соединения полковника Ласкина!» Такими словами начиналась листовка, выпущенная в те дни поармом. В ней говорилось о доблести молодого комбата Доценко из устиновского полка, о политруке Филиппове, который, будучи трижды ранен, взорвал фашистский танк, об отличившихся бронебойщиках, пулеметчиках, артиллеристах. Не многим из тех, кто встретил в рядах 172-й стрелковой начало июньского штур-

ма, довелось прочесть все это про свою дивизию. Но о массовом подвиге ее личного состава узнавала вся армия.

Вспоминается, как Ласкин — это было уже несколько позже — приезжал с докладом на армейский КП. С автоматом на груди и рукой на зеленой, немаркой перевязи, осунувшийся, внутренне напряженный... Командарм, сам очень беспокойный в тот час (оснований для этого хватало), тем не менее сразу почувствовал, как тяжело Ласкину. Выслушав его краткий деловой доклад, Иван Ефимович усадил комдива пить чай, заговорил тепло и сердечно, как бы отвечая на невысказанное:

— Мучаешься, что сам жив, а дивизии больше нет? «Не уберег...» Все понимаю, Иван Андреевич. Самому погибнуть — это легче. Но винить себя тебе не надо. Дивизия полегла, уничтожив, считай, вдесятеро больше немцев!.. Если бы каждая часть умела так драться, знаешь, где бы мы сейчас были..

Потом командарм отпустил Ласкина ко мне. Глядя на его лежащую на перевязи руку, я представлял, как Иван Андреевич, готовясь к утреннему бою, ходит ночью по траншеям (допустить, что он сидит все время на НП, было невозможно — не такая натура) и обязательно на что-нибудь натывается, берedit рану. Но когда спросил, как все-таки его рана, подживает ли, он не захотел в это вдаваться, ответил коротко:

— Воевать еще могу.

Ласкина не беспокоила неопределенность собственного служебного положения: комдив, у которого двести с небольшим штыков... Но ему, конечно, хотелось узнать, есть ли какие-нибудь виды на пополнение. Я сказал прямо, что обещать не могу ничего — ни людей, ни оружия. Пополнять надо было дивизии, оставшиеся таковыми не только по названию. Посоветовал беречь по возможности уцелевшие командные кадры — не исключено, что фронт затребует их вместе с комдивом к себе, если решат возродить 172-ю стрелковую на Большой земле.

Кажется, тогда же решили у командарма вопрос о военкоме дивизии Солонцове. При всем уважении к мужеству Петра Ефимовича, ему, неспособному пока передвигаться без костыля, было не место на передовой. Бригадному комиссару Солонцову оформили месячный отпуск для лечения с выездом на Кавказ. В отпускном билете, который я подписал, указывалась, как положено, дата возвращения к месту службы — в Севастополь...

Полковнику Ласкину я пожелал на прощанье боевой удачи. Что это означало, он понимал: держаться на своем, по существу батальонном, участке так же стойко, держаться во что бы то ни стало и столько, сколько понадобится, истребляя как можно больше врагов.

Как бы хотелось заверить Ивана Андреевича, что это не последний рубеж в его военной судьбе! Тогда он, пожалуй, не смог бы представить, что следующей весной, уже генералом и начальником штаба фронта, будет вместе с командующим Иваном Ефимовичем Петровым планировать наступательные операции нескольких армий...

Да и вообще не время было загадывать далеко наперед. Шел штурм, и мы жили сегодняшним днем.

О событиях 9—10 июня я не сказал еще много важного.

При всем своем бешеном натиске, при небывалом под Севастополем массировании и артиллерийского огня, и ударов с воздуха, и танковых атак, противник оказывался пока не в состоянии осуществить широкий прорыв к бухте. Но он понемногу — в лучшем для него случае на сотни метров за день — теснил нас на центральных участках северного направления. Линия фронта там медленно вдавалась в глубину плацдарма, образуя изогнутую суживающуюся выемку.

По краям ее слева и справа, на флангах главного неприятельского удара, нам пришлось переразвернуть боевые порядки — одного полка дивизии Капитохи на фронтом на восток, а одного полка Чапаевской дивизии на северо-запад.

Со стороны чапаевцев это был 287-й стрелковый полк, вверенный в мае майору Михаилу Степановичу Антипину. Тому самому Антипину, который семь месяцев назад, тогда еще капитан, привел на Мекензиевы горы шедший в авангар-

де армии отдельный разведбатальон — самую первую часть приморцев, вступившую здесь в бои. Сейчас, в июне, его полк сделал все, чтобы помешать врагу вклиниться между ним и бригадой Потапова, не раз контратаками отбрасывал немцев назад. Но они имели слишком большой перевес и все-таки вклинились, потеснив и батальоны Антипина. Командир полка был тяжело ранен. Заменить его генерал Коломиец приказал майору Чередниченко из оперативного отделения штадива.

Комдив Чапаевской сам находился на этом участке, стянул сюда свои скромные резервы, стараясь не дать вражескому клину разрастись. Через некоторое время он передал, что 287-й полк частично отбил свои прежние позиции, и просил побыстрее известить об этом наших летчиков-штурмовиков.

Докладывая по телефону обстановку, Трофим Калинович добавил:

— Люди ведут себя просто героически. Танков не боятся. Пехоту подпускают на тридцать—сорок метров и расстреливают в упор. Где нет окопов, закрепляют в воронках — они тут сплошь...

Комендант Третьего сектора переживал, что ему нечем больше подкрепить свой левый фланг. Не располагал и штаб армии свободной резервной частью, которую можно было бы сюда выдвинуть. Между тем бригада полковника Потапова после потерь, понесенных за первые дни штурма, могла считаться бригадой уже только условно.

Своими тремя батальонами — к началу боев полнокровными, но всего тремя! — потаповцы четвертые сутки сдерживали натиск по меньшей мере целой пехотной дивизии с большим количеством танков. И это под таким артиллерийским обстрелом, под такими ударами с воздуха (без поддержки наступающей пехоты сотнями бомбардировщиков немцы вообще не продвинулись бы ни на шаг), что метрами и самые глубокие траншеи в конце концов сравнивались с землей.

Бригада не дрогнула, оказавшись обойденной с флангов. Отдельные роты вели бои в окружении. И уже не один комбат вызывал огонь артиллерии на район своего командного пункта — только это помогало отбить очередные атаки и еще сколько-то продержаться на занимаемом рубеже.

Потапов заранее позаботился о том, чтобы при всех условиях противник не смог использовать выход из Камышловской долины — дорогу, ведущую оттуда вверх и затем к кордону Мекензи. На прежней второй позиции бригады был создан заслон под началом майора-артиллериста И. И. Кохно: дивизион противотанковых «сорокапятков», рота бронебойщиков и еще кое-какие подразделения. Вскоре сам этот заслон оказался в окружении, однако на своей позиции продолжал держаться и дорога оставалась для немцев закрытой.

В такой сложной обстановке очень тревожили растущие потери командного и политсостава, особенно в ротах. Выходили из строя и штабники, политотдельцы — большинство их находилось на переднем крае. Был эвакуирован тяжело раненный военком бригады И. А. Слесарев. Его заменил начальник политотдела старший батальонный комиссар С. И. Костяхин, старый приморец, в прошлом военком нашего автобронетанкового отдела.

К 10 июня командный пункт 79-й бригады размещался в недавних ее тылах — снова в «домике Потапова», сохранившем это название с декабрьских боев. Командарм приказал перенести его туда, чтобы комбриг не потерял управления своими батальонами. Но и в этот район прорвалась группа вражеских танков. Начальнику штаба майору В. П. Сахарову, только что установившему связь с нами с нового КП, тут же пришлось возглавить его оборону.

Весь этот день дивизия Гузя и бригада Потапова, а на флангах полки Капитохина и чапаевцы вели напряженнейшие бои за станцию Мекензиевы Горы и кордон Мекензи № 1, за окружающие их высоты. В неприятельских атаках участвовало немало танков, и около 25 из них было сожжено и подбито. Используя все возможности нашей артиллерии, мы дошли до предела допустимого расхода снарядов. На штурмовку немецких войск вылетали все уцелевшие «ИЛы» и большая часть истребителей.

Низинка со станционной платформой и развалинами железнодорожного поселка трижды переходила из рук в руки. К исходу дня станция была у противни-

ка. Немцев остановили в районе кордона Мекензи № 1, в километре южнее приметной высоты 90. Вогнутая выемка на линии фронта за день углубилась, приблизившись к краю Северной бухты.

— И все-таки они выдыхаются,— говорил еще накануне генерал Петров, приехав ненадолго с передового КП.— К вечеру это особенно заметно...

Пленные немцы, взятые 7-го, утверждали: на овладение Севастополем дано пять дней. Что наступление идет не так, как намечено гитлеровским командованием, было очевидно. Мы имели уже сведения об отводе с северного направления нескольких разгромленных полков и как будто даже всей 132-й пехотной дивизии, вместо которых противнику приходилось подтягивать другие войска.

А затем командарм привез с флагманского командного пункта СОР небезынтересный документ, добытый, не знаю уж каким путем, начальником разведотдела флота полковником Д. Б. Намгаладзе,— копию донесения из штаба Манштейна в вышестоящие инстанции вермахта. В нем, между прочим, говорилось:

«Наше наступление наталкивается на планомерно оборудованную, сильно минированную и с большевистским упорством защищаемую систему позиций. Артиллерия противника непрерывно ведет по немецким позициям губительный огонь... Первые дни наступления показывают, что под таким адским артиллерийским огнем наступление вести дальше невозможно».

Перехваченное признание из стана врага было достаточно красноречиво. С особенным удовольствием прочел его, конечно, Николай Кирьякович Рыжи. Вот что значило сбересть перед штурмом нашу артиллерию, запутав немцев системой ложных и запасных позиций, и потом расчетливо, продуманно использовать огневую мощь оставшихся в строю 600 орудий всех калибров и тысячи минометов!

За первые три дня июньского штурма наши артполки и батареи (включая противотанковые, но без зенитных, часть которых также вела огонь по наземным целям) выпустили 55 тысяч снарядов. И это еще не учитывая артиллерию береговой обороны, а она, хотя и произвела не так много выстрелов по сравнению с полевой, имела самые крупные калибры.

До тех пор такая или близкая к этой плотность огня создавалась перед севастопольскими рубежами только в последние дни декабря, решившие исход второго штурма. Но в то время еще не возникало особых тревог за подвоз боеприпасов: сообщение с Большой землей было надежным. Знали ли немцы, что теперь долго вести такой огонь мы не в состоянии?

Так или иначе, перед противником, сосредоточившим для захвата Севастополя двухсоттысячную армию с тридцатью артиллерийскими полками, поддерживаемую сотнями самолетов, оказывается, уже после трех-четырёх дней наступления, натолкнувшегося на непредвиденно сильный отпор, вставал вопрос, может ли операция «Шторфанг» продолжаться. Потом Манштейн подтвердил это и в своих мемуарах.

Но и независимо от дошедшего до нас штабного документа противника мы тогда верили, что еще заставим его прекратить начатое наступление. И думается, в тот момент это было вполне реальным. Иметь бы только вдвоем снарядов!

Объявив севастопольцам благодарность за первые успехи в отражении нового штурма, командующий Северо-Кавказским фронтом С. М. Буденный обещал перебросить к нам свежую стрелковую бригаду. Однако прибыть она могла суток через двое, не раньше. Между тем шансы изменить положение в свою пользу представлялись, как мы считали, именно сейчас, пока на направлении главного удара немцы заменяют потрепанные части и не развернули крупных действий в других секторах.

К 10 июня у командарма созрела идея нанести по флангам основного вражеского клина контрудар наличными силами, взяв несколько батальонов с других, относительно спокойных участков. Проверя себя, генерал Петров поделился этим замыслом с Чухновым, Рыжи, Моргуновым, мною. Все мы его поддержали — ждать более благоприятных обстоятельств не приходилось. А если бы удалось срезать мекензийский выступ, окружить ближайшие к бухте части немцев, все, чего они добились за четыре дня ценою огромных потерь, свелось бы на нет.

Командующий СОР дал «добро» на контрудар, и я сел за разработку плана, стараясь учесть вероятные изменения обстановки к исходу дня и завтрашнему утру. В штабе артиллерии «колдовали» над схемой огня.

Время — на рассвете 11-го — было выбрано удачно. В то утро несколько возросла активность противника в южных секторах, но за Северной бухтой впервые с 7 июня неприятельские атаки не возобновились. Бой здесь начали мы по своему плану.

Командарм уехал на НП богдановского артполка — оттуда дальше просматривалась местность. Там же находился командующий артиллерией генерал Рыжи. Две ударные группы, разделенные несколькими километрами, пошли в концентрическую контратаку — друг другу навстречу.

Слева от 30-й береговой батареи наступала группа полковника Е. И. Жидилова (на исходе ночи он с тысячей своих морских пехотинцев, с легкими орудиями и минометами переправился через бухту и принял под начало еще батальон из 95-й дивизии). Группу, двинувшуюся справа, из-за кордона Мекензи № 1 — ее возглавил подполковник Н. М. Матусевич, — составили стрелковые батальоны из полков 25-й Чапаевской дивизии и сводный танковый, куда собрали большую часть исправных «Т-26». Здесь же наступали батальоны 79-й бригады. Остальные войска за Северной бухтой должны были сковывать противника на своих участках и включаться в контрудар по обстановке.

Не буду пересказывать всех событий этого долгого знойного июньского дня, прошедшего в упорных, кровопролитных боях. Полностью выполнить задачу сомкнуть наши «клещи» не удалось — контратакующие группы не встретились. Только левая, жидиловская, значительно продвинулась вперед. Правая же смогла продвигаться всего на километр — сломить отчаянное сопротивление врага не хватило сил. Как постепенно выяснилось, он успел подтянуть сюда значительные подкрепления. С горечью читал я в донесениях, что у противника замечено несколько тяжелых танков типа «КВ», очевидно, захваченных в мае под Керчью...

И все-таки к ночи на КП поступил — хотя и не от того, от кого ожидался по первоначальному плану, — доклад о том, что станция Мекензиевы Горы снова в наших руках.

Гитлеровцы, весь день вынужденные обороняться на флангах своего клина, под вечер предприняли первую за сутки попытку продвинуть его дальше, в сторону Сухарной балки. Кроме пехоты и танков, они, не знаю уж на что рассчитывая, бросили в атаку кавалерийский эскадрон. Отбив эту атаку при поддержке армейской и береговой артиллерии, части нашей 345-й дивизии начали преследовать врага. И вторично за последние тридцать часов овладели станцией, закрепившись в двухстах—трехстах метрах за нею. Правда, как показало дальнейшее, ненадолго.

По суммированным данным штадивов, за 11 июня было уничтожено 42 немецких танка. Даже с поправкой на то, что сколько-то из них могли посчитать «своими» и артиллеристы и бронбойщики, итог получался весомый. На северном направлении подверглись разгрому до трех полков фашистской пехоты. От кавалерии, разметанной артогнем, не осталось, по-видимому, вообще ничего. Но и наши потери за день составили до тысячи человек убитыми, почти полторы тысячи ранеными.

В сводке о потерях боевой техники значилось: орудий — 11... Сюда вошла целиком 704-я батарея старшего лейтенанта В. Г. Павлова, одна из тех, что была вооружена пушками с «Червоной Украины». Три дня она билась по танкам и пехоте прямой наводкой, оказавшись на переднем крае, под непрерывными вражескими ударами. Погибли командир и большая часть личного состава, получали повреждения орудия, но ночью их ремонтировали, и утром батарея опять открывала огонь. Когда она умолкла окончательно, в живых оставались восемь артиллеристов. Заняв круговую оборону, они корректировали огонь других батарей, пока не легли все до единого.

Вспоминая этот пример беззаветной верности долгу, не могу не добавить: он был не чем-то исключительным, а, наоборот, характерным, типичным для тех дней. Такой вот стойкостью и держались севастопольские рубежи!

От дальнейших попыток срезать вражеский клин за Северной бухтой, как было задумано, пришлось отказаться. Нам не только нечем было усилить группу Матусевича, но и пришлось вернуть во Второй сектор полковника Жидилова с одним из батальонов его бригады: на следующее утро немцы начали наступать с юга — на всем правом крыле фронта обороны от Балаклавы до Итальянского кладбища. (Другой переброшенный на Северную сторону батальон 7-й бригады остался там под командой капитана А. С. Гегешидзе, будущего Героя Советского Союза, вместе с артиллерийской батареей. Батальон поредел от потерь, но стойко держался на рубеже, выгодном для новых контратак во фланг противнику, для которых мы еще надеялись накопить силы.)

Контрудар 11 июня, тяжело нам давшийся и не доведенный до конца, не был напрасным. Хотя мы и не смогли удержать станцию Мекензиевы Горы (12-го гитлеровцы заняли ее опять), а также и кордон Мекензи № 1, кратковременный перехват инициативы на главном направлении штурма оттянул продолжение крупных наступательных действий немцев за Северной бухтой по крайней мере на двое суток.

Что значил в то трудное время каждый выигранный под Севастополем день для всего Юга, а может быть и не только для Юга, осозналось по-настоящему позже. Но как следят за положением на нашем маленьком, отрезанном от остального фронта плацдарме в далекой Москве, как надеются там на севастопольцев — это мы с огромной силой ощутили, взволнованно читая в ночь на 13 июня неожиданную и необычную телеграмму из Ставки, подписанную Верховным Главнокомандующим. Вот ее текст:

«Вице-адмиралу т. Октябрьскому.
Генерал-майору т. Петрову.

Горячо приветствую доблестных защитников Севастополя — красноармейцев, краснофлотцев, командиров и комиссаров, мужественно отстаивающих каждую пядь советской земли и наносящих удары немецким захватчикам и их румынским прихвостням.

Самоотверженная борьба севастопольцев служит примером героизма для всей Красной Армии и советского народа.

Уверен, что славные защитники Севастополя с достоинством и честью выполнят свой долг перед Родиной.

И. Сталин».

Телеграмму сразу же стали передавать на командные пункты дивизий и во все части, с которыми армейский КП имел прямую связь. К утру, отпечатанная типографским способом, она была доставлена во все подразделения, в окопы переднего края.

«...служит примером героизма для всей Красной Армии и советского народа». Наверное, эти слова западали в сердце каждому. Приветствие Верховного Главнокомандующего явилось для всех нас большой моральной поддержкой. Оно поднимало и чувство гордости, и сознание ответственности за то, чтобы оправдать сегодня, завтра ту высокую оценку, которая давалась боевым делам севастопольцев. Ответом на это приветствие стали новые подвиги защитников города.

И наперекор осложнявшейся обстановке крепла вера в то, что, как ни силен враг, мы и в этот раз можем выстоять. Ведь сроки, назначенные гитлеровским командованием для взятия Севастополя, уже опять срывались. А с Большой землей шла нам подмога.

Много лет спустя мне довелось раскрыть тетрадь, где делал краткие дневниковые записи член Военного совета дивизионный комиссар Чухнов. 13 июня Иван Филиппович написал:

«Не знаю, где еще были до сих пор такие бои, какие идут сейчас здесь... Нам надо продержаться еще два-три дня, и думаю, что наступательный порыв немцев будет сломлен. А как хочется сломить этих гадов!»

Я не вел дневников, не записывал своих мыслей, но думал так же.

* * *

На этом мы заканчиваем публикацию севастопольских мемуаров Николая Ивановича Крылова.

В журнальный, сокращенный, их вариант («Огненный бастион» выпускается отдельной книгой Военным издательством) не вошли воспоминания автора о самых последних неделях обороны, как и глава, посвященная подготовке к отражению июньского штурма.

30 июня 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение оставить Севастополь: все возможности удерживать город, блокированный и с суши и с моря, были исчерпаны. В ночь на 1 июля Н. И. Крылову было приказано отбыть на Большую землю на подводной лодке «Щ-209», которая с трудом прорвалась в Новороссийск.

Оборона Севастополя, длившаяся более восьми месяцев, вошла в историю Великой Отечественной войны одной из ярчайших ее страниц. Нанеся врагу огромные потери и надолго сковав крупные его силы, севастопольцы серьезно нарушили планы гитлеровского командования на всем южном крыле фронта. Своей железной стойкостью защитники города-героя внесли весомый вклад в дело конечной победы над фашистскими захватчиками.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. МЯСНИКОВ

★

КРИТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

В январском постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» дан глубокий анализ современного состояния критики и литературоведения. Стала особенно видна неразработанность некоторых вопросов теоретического и методологического характера. Я остановлюсь на некоторых из проблем, акцентируя преимущественное внимание не столько на том, что сделано, сколько на том, что, на мой взгляд, еще предстоит сделать.

I

Партия учит нас постоянно соотносить явления искусства с жизнью, с действительностью, год от года все более усложняющейся. Во второй половине XX века в мире укрепился великий союз трех основных сил современности: возросла роль системы социализма; все новые успехи делает международное рабочее движение; на земле идет героическая национально-освободительная борьба. За годы социалистического строительства в нашей стране возникла новая историческая общность людей — советский народ. Происходит дальнейшее взаимодействие и взаимообогащение культур социалистических наций, их постепенное сближение. «Сегодняшний мир социализма,— сказано в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии,— с его успехами и перспективами, со всеми его проблемами — это еще молодой, растущий социальный организм, в котором не все устоялось, многое несет на себе отпечаток прошлых исторических эпох. Мир социализма весь в движении, он непрерывно совершенствуется. Его развитие, естественно, идет через борьбу нового со старым, через разрешение внутренних противоречий».

XX век — это век невиданной по масштабам научно-технической революции.

Некоторые буржуазные ученые пытаются доказать, что человечество вступает в эпоху «постиндустриального общества», где будто бы стираются социальные различия между капитализмом и социализмом,— человечество может жить в некоем технократическом раю, не зная социальных потрясений. Нельзя не заметить, что этот рай в изображении его защитников очень похож на идеализированный капитализм и очень далек от социализма.

Свои споры, связанные с процессами научно-технической революции, знает и наше общество. У всех на памяти дискуссия о физиках и лириках. «Наука и техника создают лицо сегодняшней эпохи...— писал один из ее инициаторов.— Это наша эпоха. Она требует всего человека без остатка, и некогда нам восклицать: ах, Бах! ах, Блок!..

Хотим мы этого или нет, но поэты все меньше владеют нашими душами и все меньше учат нас... Искусство отходит на второй план — в отдых, в досуг...

Оставим же искусство для любителей, для желающих...» Жизнь не подтвердила этого предсказания кандидата технических наук. Его высказывания сейчас кажутся драчливо-наивными. Однако сами проблемы соотносительности научного знания и поэтического творчества, духовного творчества и работы кибернетических машин продолжают волновать умы.

Сегодня советские ученые филологи и философы в оценке научно-технической революции ведут борьбу на два фронта. С одной стороны, против теории «всеобщей деидеологизации», с теми, кто, как Белл, автор книги с вызывающим названием «Ко-

нец идеологии», утверждает, что эпоха гуманистического образования канула в прошлое, что технология стала идеологией современного общества. С другой стороны, с теми, кто, подобно «новым левым», видит в техницизме всего только уродства капиталистического мира. При этом мы ясно понимаем, что в условиях современного советского общества дальнейший прогресс науки и техники есть главный рычаг создания материальной базы коммунизма. Органическое соединение достижений научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства Л. И. Брежнев назвал задачей исторической важности.

Какое отношение имеют эти большие философски-социальные вопросы к проблемам развития литературы и художественной критики? Полагаю, что самое непосредственное. Ведь именно они формируют сознание тех героев, о которых пишет современный писатель. Огромное влияние они оказывают и на самого писателя. Под действием этих процессов формируется структура сознания и психологии современного человека, ибо он не сторонний их созерцатель, а активный участник.

Знают ли обо всем этом наши критики? Несомненно. Не только знают, но и пишут. Но как пишут?

Одним из серьезных недостатков литературно-художественной критики является преобладание в статьях и даже книгах информационно-описательного материала. В постановлении совершенно справедливо сказано, что многие работы критиков отличаются невысоким философским и эстетическим уровнем. В них есть определенная информация, дано описание явлений, но отсутствует аналитический подход к художественному произведению. В результате читатель остается неудовлетворенным: критик не помог ему узнать больше того, что он знал сам, читая газеты и художественные произведения.

Нашей критике предстоит глубже осознать и еще одно важное положение, выдвинутое XXIV съездом партии. Речь идет о соотносении материальной и духовной культуры социалистического общества. Великое дело строительства коммунизма невозможно двигать вперед как без соответствующей материально-технической базы, так и без воспитания всесторонне развитого человека. Эти две задачи неотделимы друг от друга. Выступая на XXIV съезде, това-

рищ Гэс Холл подчеркнул, что преимущества социализма не могут быть ограничены только показателями промышленного роста. «Сейчас,— говорил Гэс Холл,— на чашу весов брошена вся качественная сторона жизни. Уровень материального достатка при этом играет очень важную роль, но масштабы измерения стали сейчас гораздо шире. Они включают весь спектр человеческих ценностей, их сравнительную значимость которая определяется внутренними законами каждой системы. Они включают концепции морали, культуры и философии, присущие этим системам. Многие из этих новых компонентов, которые влияют на качественную сторону жизни, не измеришь никакими цифровыми показателями».

Величие и значимость происходящих в нашей стране социальных процессов не могут быть в полной мере осознаны без сопоставления их с некоторыми процессами в развитии мировой истории. Только при этом можно понять, какие задачи огромной исторической важности решает наш народ.

Оглянемся на полтора-два столетия назад. Молодая, полная исторического оптимизма буржуазия штурмовала основы старого, феодального мира. Она обещала народам счастье и процветание. Буржуазия рвалась к власти. На ее знаменах были начертаны священные слова: «Свобода. Равенство. Братство».

И в эти же годы Ф. Шиллер с удивительной социальной проницательностью говорил о всестороннем кризисе, охватившем культуру Германии, о невозможности всестороннего и гармонического развития человека, обличал пагубное влияние разделения труда. В «Письмах об эстетическом воспитании человека» Шиллер с тревогой и ужасом писал о всеобщей разобщенности людей в современном ему обществе, которое поощряет одностороннее развитие одной из способностей человека. «Вечно прикованный к отдельному малому обломку целого, человек сам становится обломком». «Можем ли мы удивляться пренебрежению,— продолжал рассуждать мыслитель,— с которым относятся к прочим душевным способностям, если общество делает должность мерилом человека, если оно чит в одном из своих граждан лишь память, в другом лишь рассудок, способный к счету, в третьем лишь механическую ловкость; если оно здесь, оставаясь равнодушным к характеру, ищет лишь знания, а там, напротив, прощает величайшее омрачение рассудка ради духа

порядка и законного образа действий». Шиллер писал о Германии, но все это относилось не к ней одной. История подтвердила, как далеко смотрел вперед немецкий философ и поэт. Капитализму нужны были не всесторонне развитые люди, а физические и моральные уроды, забывающие о своих индивидуальных склонностях, способные обслуживать нужды промышленности, сельского хозяйства, капиталистического государственного аппарата.

В начале XIX века Гегель пришел к выводу, что героическое состояние мира с его гармонией ушло в далекое прошлое, что наступило новое состояние, состояние прозаическое, отнюдь не благоприятствующее развитию искусства.

Гениальное открытие Маркса заключалось в том, что он раскрыл анатомию общественного организма, дал такой анализ его особенностей, который намечал реальный, научно выверенный, хотя, как показала дальнейшая история, отнюдь не легкий выход из тупика, куда завел человечество капитализм.

Маркс и Энгельс писали о том, что буржуазное общество — реально существующий социальный организм, но в нем господствуют почти фантастические законы. Государство, созданное людьми, для большинства трудящихся выступает как вне его и над ним стоящая сила. Отчужден труд. Отчуждены мысли и чувства человека. Продукты труда принадлежат не тем, кто их производит. Вспыхивают кризисы, войны и другие социальные катаклизмы. Людям кажется, что над ними тяготеют какие-то неведомые, почти сверхъестественные силы.

Это общество, конечно, не может содействовать формированию всесторонне развитой личности, расцвету литературы и искусства. На одном полюсе такого общества — нуждающийся, обремененный заботами человек, невосприимчивый к самому прекрасному зрелищу, говорил Маркс. На другом полюсе — хозяин богатства капиталистического мира... Но торговец минералами видит только стоимость их, а не красоту и своеобразие драгоценных камней, он лишен минералогического чувства

Для того чтобы создать условия для расцвета общества и искусства, необходимо было изменить социальные отношения, установить власть человека над законами природы и общественными отношениями. В «Коммунистическом манифесте» об этом

сказано так: «На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». Разворачивается тот процесс, который Ленин называл «историческим творчеством масс». Трудящийся человек, человек-деятель, человек — творец истории выступает на первый план.

В статье «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», написанной в первые годы Советской власти, Ленин говорил о том, что задача коммунизма заключается в воспитании и обучении «всесторонне развитых и всесторонне подготовленных людей, людей, которые умеют все делать». К этому коммунизм идет, должен идти и придет, но только через долгий ряд лет».

Ленин не обещал скорой победы: он говорил о «долгом ряде лет», когда можно будет постепенно решать задачу всемирно-исторической важности. Нужно преодолеть не только сопротивление врагов, хозяйственную разруху, но и перестроить структуру человеческой личности, изжить, в частности, те привычки, которые веками воспитывало собственническое общество в интересах укрепления этого общества. «Сила привычки миллионов и десятков миллионов,— писал Ленин,— самая страшная сила». Нужно создать новую структуру общества и новую структуру человеческого сознания. И еще: «Мы будем работать, чтобы внедрить в сознание, в привычку, в повседневный обиход масс правило: «все за одного и один за всех». Это — новые законы жизни, новые координаты, по которым советский человек может выверить свое поведение, свои поступки.

В статье «Лучше меньше, да лучше» Ленин обращал внимание на одну из очень важных сторон массовой перестройки человеческого сознания. Ленин подчеркивал необходимость добиться такого положения, чтобы «наука у нас не оставалась мертвой буквой или модной фразой (а это, нечего греха таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом». Сегодня это уже не программа будущего, а требование эпохи.

Мы еще недостаточно осмыслили значение для современности многих важных положений, высказанных Лениным в те годы, имеющих значение на «долгий ряд лет».

В наш век в условиях ускоренного развития истории особое значение приобрела проблема социальной активности личности, ее роль в прогрессе. Вокруг этого вопроса идут острые дискуссии.

Понятие «деяния» иногда трактуют слишком суженно и даже извращенно. Так, например, прагматисты придерживаются лозунга, выдвинутого в 70-х годах прошлого века Пирсом: «Существовать — значит быть полезным». Прагматики много говорят о практике как критерии познания, о гуманистической направленности философии и других важных проблемах. Некоторые теоретики даже склонны видеть в этом близость прагматизма к марксизму, забывая о том, что прагматики понимают жизнь лишь как неопределенный материал, некий хаос, который человек может по-своему организовать в своих интересах. При этом, отождествляя истину с полезным, они оправдывают любой произвол.

К близким выводам приходили некоторые вульгаризаторы марксизма в 20-е годы. Например, в журнале «Новый Леф» можно было прочитать такую тираду: «Нужно поставить перед литературой задачу: давать не людей, а дело, описывать не людей, а дело, заинтересовывать не людьми, а делами. Мы ценим человека не по тому, что он переживает, а по той роли, которую он играет в нашем деле». Односторонность и ошибочность таких заключений в наше время очевидны для каждого. Особенно после дискуссий вокруг так называемого «производственного романа». Авторы книг этого «жанра» занимались преимущественно производственной проблематикой, и их всерьез приходилось убеждать, что героя следует рисовать не только за станком, но и в семье, среди родственников и друзей, — в жизни.

Сейчас много говорят и пишут об усилении внимания современной литературы к нравственным проблемам, к анализу духовной жизни человека. Это справедливо. Только не следует забывать, что в условиях жизни современного общества сами эти нравственные проблемы очень усложнились.

Теперь писатель обязан, напомины снова удачно выражение Гэса Холла, рассматривать «весь спектр человеческих ценностей»: проанализировать соотношенность материальных и духовных начал, проблему детерминизма и свободы, роль социальных и биологических, сознательных и бессозна-

тельных факторов, проблему выбора и многое, многое другое. Главное, писатель (и не только писатель!) должен чувствовать, что в мире произошли невиданные изменения.

Сошлюсь на один факт, меня порадовавший и, мне думается, очень характерный. 16 января сего года «Правда» опубликовала статью «Ключевая форма». Статья написана Николаем Годиноф, машинистом экскаватора, членом Союза писателей СССР. Еще недавно бытовало представление о том, что грамота и культура нужны рабочему для того, чтобы «выйти в люди», то есть стать инженером, врачом, учителем. Теперь положение изменилось. Научно-техническая революция, усложнение производственного процесса потребовали от рабочего новых знаний, необходимых для работы у станка с программным управлением или на автоматической линии. Из рассуждений машиниста экскаватора можно сделать вывод огромной социальной важности. В былое время знания нужны были рабочему для того, чтобы перестать быть рабочим и заниматься другим, так называемым интеллигентным трудом. В наше время знания, интеллигентность нужны рабочему для того, чтобы быть настоящим рабочим, творчески выполняющим свое дело. Таким образом, современный рабочий свидетельствует о том, какой сложной и многогранной стала его деятельность.

Послушаем теперь прозаика. Недавно журнал «Вопросы литературы» устроил обсуждение повестей Ю. Трифонова «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание». Рецензенты спорили о том, какие образы в этих повестях положительные, какие отрицательные. Автору такое толкование справедливо показалось упрощенным. «Человек, — подчеркнул он, — есть сплетение множества тончайших нитей а не кусок голого провода под током то ли положительного, то ли отрицательного заряда». Поэтому, рассуждал Трифонов, писатель осуждает не героя в целом, а некоторые черты героя, которые присущи не только данному герою. Нужно помочь человеку меняться к лучшему, а не схематизировать его.

Ни разностная, ни комплиментарная критика не способна дать анализ тех сложных новых явлений, которые происходят сегодня в жизни и в литературе. Только профессионально подготовленная, научная критика, доброжелательная и требовательная, может выполнить эту задачу.

II

Январское постановление ЦК КПСС о критике обязывает литературоведов глубже анализировать явления, тенденции и закономерности современного художественного процесса, серьезно исследовать движение эстетической мысли.

Напомню одно замечательное высказывание В. Г. Белинского, относящееся к 1842 году: «...искусство и литература идут об руку с критикою и оказывают взаимное действие друг на друга. Если новый гений открывает миру новую сферу в искусстве и оставляет за собою господствующую критику, нанося ей тем смертельный удар, то, в свою очередь, и движение мысли, совершающееся в критике, приготовляет новое искусство, опереживая и убивая старое». Процесс взаимовлияния и взаимодействия критики и литературы все еще недостаточно глубоко изучен, а без этого не будет полной картина современного литературного процесса. Возникла острая необходимость более обстоятельно изучить процесс развития социалистического реализма у нас в стране, в других странах социализма, в капиталистических странах; более глубоко исследовать мировой литературный процесс. Особое значение при этом имеет анализ движения современной эстетической и критической мысли в различных странах.

Новаторская сущность социалистического реализма, развивающегося в эпоху социализма и коммунизма, в полной мере может быть выявлена, если социалистическое искусство рассматривать на фоне и в связи с развитием всего мирового искусства, развития философской, социологической и эстетической мысли. Социалистический реализм и мировой литературный процесс — это одна из самых актуальных проблем современной науки о литературе.

Видимо, пора говорить о создании хотя бы контурной карты современной мировой литературы, эстетической мысли, литературоведения и критики, карты концептуальной, а не описательной.

Было бы глубоким заблуждением утверждать, что в этой области нами ничего не делается или ничего не сделано. Опубликованы солидные труды по истории русской советской литературы и истории многонациональной советской литературы, истории литератур народов СССР и истории современной литературы стран социализма и ка-

питалистического мира. Вопрос о закономерностях и тенденциях литературного процесса рассматривается в ряде трудов, посвященных социалистическому реализму, историческому развитию реализма, творческой индивидуальности писателя, методологии литературоведческих исследований, в книгах, анализирующих отдельные этапы развития советской литературы, в монографиях о творчестве видных советских писателей, в статьях и исследованиях о важнейших проблемах советской литературы — партийности, народности, жанрового и стилового ее многообразия и т. д.

В работах, опубликованных за последние два десятилетия, немало ценных наблюдений, которые объясняют особенности современного литературного процесса и тенденции его развития. Однако во многих работах — в книгах и журнальных статьях — все еще встречаются серьезные недостатки. Полагаю, что наиболее существенным из них является преобладание тематически-описательного метода над аналитическим, когда художественные произведения «сортируются» по определенным темам или жанрам вне зависимости от их художественных особенностей. В таких работах художественное своеобразие произведения рассматривается в лучшем случае параллельно с его идейно-тематическим анализом, чаще же как простое дополнение к этому анализу.

Какие же звенья художественного процесса требуют дополнительного исследования?

Вопрос о зарождении и формировании социалистического реализма привлекал многих исследователей. Все еще дискутируется вопрос о так называемом кризисе критического реализма в конце XIX века. Все реже встречается популярное в 30-х годах прямое противопоставление социалистического реализма критическому, все чаще пишут о том, как критический реализм, условно говоря, подготовлял рождение реализма социалистического, разумеется, не будучи в состоянии решить его задачи. В работах последних лет поставлены и успешно решаются сложнейшие проблемы переходов некоторых писателей критического реализма и модернистских школ на позиции социалистического реализма. Эти переходы всегда очень своеобразны и индивидуально неповторимы, связаны с находками, а бывает, и потерями. В творчестве таких писателей часто прихотливо со-

чаются художественные открытия разных методов.

Чрезвычайно важно для современной науки исследование этапов развития социалистического реализма. Нельзя забывать о том, что этот художественный метод существует более семи десятилетий, что сменилось несколько поколений писателей, создавших значительные произведения социалистического реализма. Очевидно, что этапы развития этого метода синхронно не совпадают с этапами движения гражданской истории, хотя, бесспорно, испытывают на себе заметное ее влияние. Принятая схема развития социалистического реализма по десятилетиям очень приблизительно определяет своеобразие его истории. Нужна более точная и научная классификация.

С конца 60-х годов идут дискуссии по поводу терминологических определений, таких, как «литература советской эпохи» и «советская литература», об объеме их содержания, о возможности вхождения в советскую литературу писателей критического реализма или художников модернистских школ, чувствующих социальную ограниченность своих методов. Решение этих вопросов очень важно для анализа состояния литературы в странах, только что вступивших на путь социалистического развития, для изучения проблемы функционального значения отдельных художественных приемов, включаемых в новую художественную структуру.

Январское постановление ЦК КПСС о критике ориентирует нас на анализ тенденций и закономерностей современного художественного процесса.

В нашем литературоведении и критике сложилась устойчивая традиция: при исследовании любых проблем социалистического реализма обращаться к творчеству Горького и к классическим произведениям советской литературы 20—30-х годов. Разумеется, здесь можно найти много важного и поучительного. Но не следует полагать, что этими масштабами можно определять и объяснять в с е явления литературы сегодняшнего дня. Нельзя подходить к анализу произведений современной литературы только с мерками явлений литературы 20—30-х годов. За последние два десятилетия появилось немало новых художественных произведений, которые прочно вошли в современный художественный процесс. Мы можем выражать неудовольствие по поводу того, что эти произведения не в полной ме-

ре отражают особенности нашей духовной жизни, не с должной глубиной показывают изменения, которые произошли в этот интереснейший период, и предъявлять какие-то другие претензии. Не следует только забывать, что литература 50—60-х годов существует! Исследователь должен исходить из факта и в реальном литературном процессе этих лет находить ответы на вопросы об его особенностях и тенденциях дальнейшего развития.

Здесь уместно вспомнить о том, как решался у нас вопрос о традициях и новаторстве. Было время, когда социалистический реализм прямолинейно противопоставлялся всему предшествующему реализму. Затем стали изучать не только традиции прошлого — и это было очень плодотворно! — но и традиции советского искусства. Полагаю, что, продолжая это изучение, нельзя забывать, что социалистическому реализму не противопоказано и новаторство внутри самого метода, что если какое-нибудь произведение 50—60-х годов не похоже на «Дело Артамоновых», «Чапаева», «Железный поток», на поэму «Хорошо!» или на какое-нибудь другое замечательное произведение прошлых лет, то это еще не причина считать новое произведение плохим. Известно, что только тот писатель творчески развивает традицию своих предшественников, который не повторяет их открытий, — опираясь на то, что уже сделано, совершает новые открытия. Есть, несомненно есть и новаторские открытия в литературе 50—60-х годов! Они еще недостаточно нами осознаны. Только при тщательном изучении можно понять своеобразие современного этапа развития социалистического реализма и направление его дальнейшего пути.

Процесс движения литературы 50—70-х годов сопровождался процессом движения эстетической и литературоведческой мысли. Это получило отражение, в частности, в ряде дискуссий. Напомню в хронологическом порядке только некоторые из них. В начале 50-х годов развернулась дискуссия об особенностях героя нашего времени, о так называемом «идеальном» герое; затем о самовыражении в поэзии; наконец, о правильном понимании ленинского принципа партийности литературы. В середине 50-х годов много спорили о кризисе критического реализма и особенностях современного критического реализма. В 1957 году была проведена дискуссия о реализме в мировой литературе, которая имела большое значе-

ние для решения важнейших проблем литературоведения. В конце 50-х годов началась шумная дискуссия о физиках и лириках, о соотношении научного и художественного познания мира. В начале 60-х годов была проведена дискуссия о гуманизме в современной литературе. В 1963 году литераторы вели спор о судьбах романа и реализма на Ленинградской сессии Всевропейского сообщества писателей. В 1964 году состоялась дискуссия о современных проблемах реализма и модернизма, в 1966 году — об актуальных проблемах социалистического реализма. В 1967 году прошли юбилейные сессии, посвященные опыту развития советской литературы и литературоведения за первые полвека Советского государства. К столетнему юбилею со дня рождения Ленина были по-новому осмыслены некоторые важнейшие проблемы ленинского наследия, его значение для развития мировой литературы. За два десятилетия были проведены четыре съезда Союза писателей СССР, на которых обсуждались существенные проблемы развития советской литературы и литературоведения.

Перед нами стоит двоякая исследовательская задача. Во-первых, осмыслить прошедшие дискуссии не просто как последовательно, в хронологическом порядке описанные факты литературной жизни, а как процесс творческих исканий. Во-вторых, показать, как эти дискуссии были связаны с литературным процессом 50—60-х годов, порождались им и в какой-то мере определяли путь его дальнейшего развития. Этот концептуальный подход позволит дать ответ на ряд теоретических вопросов, важных не только для литературоведов, но и для писателей.

Многие сложные особенности советской литературы и литературы стран социализма не могут быть полностью поняты без сопоставления с направлением развития литературы капиталистического мира, ибо литература социалистического лагеря должна рассматриваться как звено, и очень важное звено, мирового литературного процесса. Не ставя перед собой задачи осветить хотя бы в общей форме этот самый сложный вопрос, останавливаясь только на одной его стороне.

Утверждение высоких революционных гуманистических идеалов советского искусства связывается в постановлении ЦК КПСС о критике с еще одной задачей — задачей разоблачения реакционной сущности буржуазной «массовой культуры» и борьбы с

различного рода немарксистскими взглядами на литературу и искусство, ревизионистскими эстетическими концепциями. По существу, это единая задача, определяющая многогранную деятельность советской литературоведческой мысли.

Нужно признаться, что мы явно недостаточно знали буржуазные эстетические и литературоведческие концепции. В начале 50-х годов появились первые значительные статьи, посвященные этим темам. Авторы работ преимущественно описывали разные эстетические теории и, комментируя их с помощью важнейших высказываний классиков марксизма-ленинизма, стремились таким путем доказать реакционную сущность этих концепций. Несколько позже стали появляться отдельные статьи и сборники, где рассказывалось о важнейших течениях буржуазной эстетической мысли XX века, о бергсонизме, крочеанстве, позитивизме, фрейдизме, экзистенциализме, «новой критике» и т. д., об эстетических системах крупнейших искусствоведов XX века. В работах, написанных преимущественно специалистами по философии, ощущались и свои недостатки. Во-первых, очень редко и скупо говорилось о том, как то или иное направление или тот или иной мыслитель конкретно анализировали художественное произведение, какие при этом исследования были успехи и просчеты. Во-вторых, рассматриваемое течение эстетической мысли или концепция отдельного мыслителя почти не связывались с общими процессами движения эстетической мысли XX века. В-третьих, информационная сторона явно преобладала над аналитической. Рассказывая о тех или иных конкретных проблемах теории литературы, поднятых нашими противниками, советские исследователи часто противопоставляли им совершенно правильные, но слишком общие положения нашей науки. Мы стали привыкать к тому, что преимущественно ведем спор по проблемам, выдвинутым нашими противниками, то есть, условно говоря, на том идеологическом плацдарме, который нам предлагают. Опираясь на завоевания марксистско-ленинской эстетики, на весь опыт советского искусства, мы должны смелее выдвигать важнейшие проблемы эстетики и литературоведения, которые заставили бы противников принять бой на позициях, нами предложенных!

Для решения этих задач нужны, видимо, крупномасштабные выводы, которые опре-

делили бы основные тенденции развития буржуазной эстетической мысли современности. И такие выводы делаются. Например, в кажущемся хаосе буржуазных эстетических концепций последних двух десятилетий при внимательном анализе вычлениаются определенные направления. В 50-х и начале 60-х годов центральное место в буржуазной эстетике занимали экзистенциализм, мифологизм и другие направленные против позитивизма теории. С середины 60-х годов на первое место выдвигается структурализм, который обещает дать будто бы самое точное определение законов развития искусства, математически выверенных счетными машинами и подкрепленных кибернетическими изысканиями.

Выявляется одна очень характерная закономерность. Буржуазные эстетические системы, претендующие на универсальное объяснение всеобщих законов жизни и искусства, не выдерживают испытания временем и, сменяя друг друга, уходят на периферию эстетической карты мира. Советское литературоведение, опирающееся на принципы марксистско-ленинской философии и эстетики, непрерывно совершенствуется. Этот вывод подтверждается анализом истории мирового литературоведения XX века.

III

Литературно-художественная критика, говорится в постановлении ЦК КПСС, призвана способствовать расширению идейного кругозора художника и совершенствованию его мастерства, должна сочетать точность идейных оценок, глубину социального анализа с эстетической взыскательностью, бережным отношением к таланту, к плодотворным творческим поискам.

Здесь уместно вспомнить об одной особенностях литературной жизни 50—60-х годов. В эти годы многие писатели опубликовали книги, в которых были собраны их статьи и письма, посвященные писательскому труду, освещению ряда важных теоретических вопросов литературоведения и критики. Среди этих книг, отчасти мемуарных, отчасти теоретических, нужно вспомнить книги А. Толстого, А. Фадеева, К. Федина, Л. Леонова, М. Шолохова, Н. Асеева, Ф. Гладкова, П. Антокольского, В. Инбер и других крупных мастеров художественного слова.

Большое место в этих очень разных трудах занимают размышления писателей об

отношении искусства к действительности, о месте искусства среди других форм общественного сознания, о соотносительности искусства и политики, искусства и морали, о художественном мастерстве. Читатель с большим интересом отнесся к рассуждениям об искусстве тех, кто творит художественные произведения, к голосу мастеров, говоривших о мастерстве.

Одно из центральных мест в этих трудах занимает старый-престарый и вечно новый вопрос о соотношении содержания и формы в искусстве. Известно, что эту проблему не смогли решить разные школы формалистов, замкнувшихся внутри имманентных законов искусства, будто бы не связанных с реальной жизнью и читателем. Не смогли ее решить и разные направления вульгарной социологии, которые пренебрежительно относились к форме, полагая, что могут анализировать содержание, минуя ее.

В писательских высказываниях, приведенных в упомянутых сборниках, остро чувствуется неприятие такого примитивного противопоставления содержания и формы. «Я думаю,— пишет К. А. Федин,— мастерство художника — это прежде всего мастерство наблюдения и понимания жизни и только вместе с тем мастерство воплощения жизни в художественном образе. Искусство писателя,— поясняет мастер,— его технологическое умение может быть применено лишь к наблюдаемому и понятию материалу. Жизнь диктует форму» Под напором такого рода размышлений рушится наивное представление о том, что творчество состоит из двух актов — акта собирания и обобщения материала и акта воплощения в художественную форму, нейтральную по отношению к тому содержательному материалу, который собрал художник. «Мастерство,— писал Федин в другой работе,— это искусство передать правду жизни. Нельзя думать, что если писатель обладает высокой техникой, то описанное им ложное положение станет правдивым. Ложь остается ложью и у мастера и у подмастерья».

С высоты этих требований поучительно еще раз вспомнить о некоторых дискуссиях последних десятилетий.

Ошеломленные невиданными успехами научно-технической революции, проникновением в мир атома и в космические дали, открытиями кибернетики, некоторые литераторы начали говорить о создании этакого «единого стиля», стиля эпохи, которому-де

свойственны лаконичность, стремительность, фрагментарность, раскованность композиции, «свободная» передача потока сознания и т. д. Наша критика выступила против такой концепции, утверждая, что характер стиля искусства не может определяться непосредственно техническими процессами, копировать их. что защитники единого современного стиля обрекают искусство на однообразие форм, на исключение из сферы искусства творческих поисков.

Большое место в развернувшихся дискуссиях занимали, и отчасти еще занимают, споры о документальной и исповедальной прозе. Иной раз в этих спорах обнаруживаются полярные точки зрения. Документальная проза опирается на предмет изображения, исповедальная — на субъективное мироощущение писателя. Представители того и другого течения уверяют, что только ими избранными путями можно пробиться к подлинной жизненной правде. Спор о документальной и исповедальной прозе привел к постановке важного вопроса о соотносительности жизненной правды и художественного вымысла в искусстве, об особенностях метода изображения жизни.

Документалисты ставят под подозрение все виды художественного вымысла, все виды условности, недооценивают возможность смелых творческих обобщений. Некоторые из документалистов признают только так называемую «правду факта», которую иногда они склонны противопоставлять «правде века». Теория документалистов имеет тенденцию развития к натуралистическому описательству, к бескрылому объективизму.

Исповедальная же проза с ее вниманием к внутреннему миру человека, с ее противопоставлением правды переживания правде реального мира имеет тенденцию к субъективистским искажениям, тенденцию к оправданию «потока сознания».

Опыт развития литературы показывает, что исследователи неизбежно приходят к ошибочным выводам, когда они абсолютизируют какую-нибудь одну сферу жизни, вырывая ее из сложной системы социального бытия, или когда абсолютизируют какой-нибудь один художественный прием. Так случилось, например, с некоторыми прозаиками и поэтами, которые увидели подлинную народность только в изображении самобытных характеров, патриархальных нравов и обычаев, будто бы сохранившихся в современной деревне вопреки но-

вым социальным отношениям, новой машинной технике. Авторы таких произведений и защищающие их критики, видимо, полагают, что ими открыт некий новый «пласт» народа, хранящего неизменные в течение веков моральные и духовные ценности, противостоящие интеллектуалам современности. Критика уже отмечала, что эти литераторы страдают внеисторическим, внесоциальным, внеклассовым подходом к действительности. Они не могут дать точного социального анализа жизни современной деревни, воспевая патриархальные пережитки и не обращая должного внимания на те сокровища, которые действительно поднимает нравственный уровень нашего народа.

Устаревшими, несправедливыми представляются и высказывания некоторых литераторов о том, что советский роман 30—40-х годов будто бы был романом панорамным, событийным, что в нем не раскрывалась индивидуальная психология человека, что должна наступить новая эра — эра психологического романа.

При этом едва ли можно согласиться и с представлением отдельных критиков о том, что внутренний монолог будто бы размывает эпическую природу романа, является признаком кризиса этого жанра.

Число примеров односторонних, ошибочных суждений можно еще расширить. Важно подчеркнуть, что наша критика в прошедших дискуссиях сумела раскрыть научную несостоятельность подобных высказываний.

Постановление о критике обязывает бережно относиться к таланту, к плодотворным творческим поискам.

В свое время Ленин говорил, что правильность всяких теорий определяется их соотносительностью с «живой жизнью». Значимость художественных произведений тоже определяется соотносительностью с «живой жизнью», но эта соотносительность гораздо более сложна, чем можно предположить с первого взгляда.

Известно, что невиданные социальные изменения и научно-техническая революция середины XX века перекроили облик современной «живой жизни». Открывая в 1959 году Третий съезд писателей СССР, К. А. Федин говорил: «Новый материал жизни рвет былые каноны литературной формы, требует себе новой одежды. Проблема новаторства не может считаться изжитой, — наоборот, она не сходит с повест-

ки рабочего дня писателя». Об усложнении «живой жизни» много размышлял Л. М. Леонов. События в сегодняшнем мире, с присущей ему экспрессией говорил он, опираются на сто миллиардов координат, а даже Лев Толстой нащупывал их только двадцать. «Квадратный сантиметр полезной площади прежнего искусства не выдерживает давления величайших событий нашего века». Поэтому художник должен найти, условно говоря, «форму события». Найти новую «форму событий», адекватную сложной современной жизни, — нелегкая задача. Эта «форма события» должна, по мнению Леонова, напоминать семя, в котором заключен и будущий ствол дерева, и крона, и листья. Произведение художника должно заставить читателя размышлять и делать самостоятельные выводы.

Все более многообразные формы изображения жизни — закон развития социалистического реализма. «Нам нужно предпринимать новые, более смелые творческие поиски...» — говорил О. Гончар. — Нам нужны и довшенковский титанизм с его могучей символикой и ярчайшей выпуклостью образов, и литая, классически точная фединская проза». Изменяется сама структура художественного произведения. Происходит своеобразное синтезирование жанров. По-новому отражается время и пространство. Жизнь изображается в формах самой жизни и в условных формах. Повышается роль метафорического изображения. В ином виде, чем раньше, выступает повествователь в прозе и лирический герой в поэзии. Повышается роль документа в литературе. Происходит взаимовлияние и взаимообогащение национальных литератур.

При этом нельзя забывать, опять обратимся к определению Леонова, что «истинное произведение искусства, произведение слова — в особенности, есть всегда изобретение по форме и открытие по содержанию».

Анализ художественных произведений не ограничивается эмпирическим сопоставлением того, что написано в произведении, со знакомой критикой действительностью. Критик должен чутко уловить внутреннюю логику развития жизни в более широких масштабах. Содержание произведения искусства не может быть раскрыто помимо его жанровых особенностей, композиционного строя, системы конфликтов, системы образов, стиля и языка. Поэтому, думаю мне, нельзя противопоставлять внутрилите-

ратурные законы художественного произведения неким «внешним» законам. Известно, что такое разделение эстетических и внеэстетических категорий характерно для формалистических школ. Они различают внутренние имманентные законы — сюда относятся особенности жанра, композиции, сюжета, конфликта, системы образов, языка; и некие внешние — связь произведения с действительностью, с талантом и мировоззрением художника, выяснение его социального и эстетического значения для читателя. Думается, что на какой-то стадии исследования, может, и целесообразно вычленять эти группы, но их противопоставление противоречит самому духу искусства. Понять значение произведения, его связь с жизнью можно только через законы искусства, а не помимо них!

Западные ученые в последние десятилетия предлагают нам свои координаты для изучения особенностей художественного произведения. Систему интерпретаций. Изучение замкнутой структуры. Выделение и анализ различных слоев художественного целого, расположенных иерархически. Проблеме интенции. Бинарности. Амбивалентности. Пограничной ситуации. Соотнесенности индивидуальности с социальной маской.

Как ко всему этому относиться? Что мы должны решительно отвергнуть, что можем использовать и, переосмыслив, включить в свою систему эстетических координат?

Нам еще, видимо, придется серьезно разобраться в сложных проблемах современного структурализма в литературоведении. Это нелегкая задача. Многие советские искусствоведы выступают и против абсолютизации его как единственного методологического принципа анализа всех явлений природы и общества, и против пренебрежительного отрицания всех его положений. Для отрицательного отношения к структурализму большой материал дают некоторые отечественные структуралисты, которые без достаточной филологической углубленности спешат сделать глобальные выводы (часто поражающие своей азбучной очевидностью или невероятной усложненностью).

Структуралисты ошибаются, когда пытаются возвести структурализм в ранг философской концепции и перенести чуть ли не механически законы математических наук на филологические дисциплины, забывая, что художественное произведение — многозначная, а не однозначная система.

Большое место в трудах структуралистов занимает проблема моделирования художественного текста. В нашей печати уже высказывалось сомнение в том, можно ли вообще моделировать, то есть в какой-то мере формализовать художественное произведение, живой организм, всегда многозначный и не поддающийся исчерпывающему логическому толкованию. Западногерманский литератор Зигфрид Ленц, сопоставляя научное постижение мира с художественным, остроумно заметил: «Химик находит и исследует формулу нового отравляющего вещества; писатель исследует страх, исходящий из этой формулы». Встает закономерный вопрос: а поддается ли этот самый в данном случае страх (в других случаях — радость или восторг, которые изображают писатели) моделированию? Не остается ли за пределами модели нечто такое, что составляет живую душу искусства?

Когда структуралисты — и не только структуралисты — говорят о моделировании, они подчеркивают, что произведение искусства не копирует реальную жизнь, не воспроизводит ее натуралистически точно. Мысль эта вполне справедливая и важная для понимания особенностей искусства. Однако при конкретных анализах структуралисты, односторонне подчеркивая черты несходства модели и реальности, мало уделяют внимания вопросу о том, что художественное произведение отражает и исследует именно реальную жизнь, а не нечто другое. В работах структуралистов — и это отмечалось в нашей критике — на первый план выдвигается не художественно-познавательная, а мифологизирующая роль модели в искусстве. Структурализм тяготеет к имманентному анализу произведений искусства. Он не в состоянии решить вопрос о соотношении так называемых внутренних законов искусства (о которых мы говорили несколько раньше) с «внешними» законами (их часто называют внеэстетическими категориями) — другими словами, о соотношении внутритекстовых и внетекстовых элементов.

К каким выводам приводит порой структуралистский метод исследования, наглядно свидетельствует книга французского ученого А. Моля «Теория информации и эстетическое восприятие».

А. Моль попытался выразить числовой величиной содержание понятия эстетической оригинальности. Он сравнивал искусство XX века с искусством конца XIX века

и пришел к выводу, что современное искусство дает гораздо больший объем информации, чем искусство прошлого. Такой вывод А. Моль пытается подкрепить анализом произведений сюрреализма и абстрактной живописи. Известно, что в этих эстетических течениях нормальные связи с внешним миром сократились или сошли на нет. Сюрреализм разрушил перспективу и традиционные связи между предметами и их частями. Абстракционизм разрушил традиционные связи между цветами. Так, по мнению Моля, преодолеваются каноны бытового сознания. На первый план выдвигается проблема количества информации в искусстве, но ничего не говорится о ее качестве, о том, в какой мере она помогает понять и исследовать реальный мир, какие чувства и мысли она возбуждает в читателе и зрителе.

Все эти замечания не снимают вопроса о необходимости изучения структуры художественного произведения с использованием некоторых открытий, сделанных структуралистами.

Современный этап развития литературоведения выдвигает и другие важные проблемы.

Например, есть основание полагать, что тщательное и углубленное изучение советской литературы, литературы стран социализма и литературы капиталистического мира даст возможность выявить и такие особенности их, которые пока еще не имеют специальных названий. Для этого требуется исследовательская смелость, то есть умение рассматривать явления в их внутренней самобытности, отказ от измерения новых явлений лишь масштабами пройденных этапов развития.

Плодотворным исследовательским поискам литературоведения, о которых сказано в постановлении ЦК КПСС, должно способствовать и решение некоторых сложных проблем творческого метода советской литературы.

Прежде всего речь идет о судьбе романтизма в советской литературе. В последние годы вокруг этого вопроса развернулись острые дискуссии. Определены следующие три точки зрения. Первая — традиционная: социалистический реализм, являясь ведущим методом искусства, включает в себя романтизм или как органическую часть метода, или как творческое течение. Вторая: революционный романтизм формируется как переходная форма к социалистическо-

му реализму. Третья: социалистический романтизм существует рядом с методом социалистического реализма. Последняя точка зрения вызвала серьезные возражения со стороны ряда критиков.

Надо полагать, что дальнейшее углубленное изучение литературного процесса 50—60-х годов, связанное с конкретным анализом структуры многообразных художественных произведений искусства социалистических стран в соотноении с развитием всего мирового искусства, приведет к серьезным типологическим обобщениям, которые помогут углубить наше понятие о методе, о творческих течениях внутри него и индивидуальном облике крупных мастеров художественного слова.

IV

Центральный Комитет КПСС указывает, что успехи советской литературы и искусства были бы значительнее, если бы литературно-художественная критика более активно соединяла взыскательность с тактом, изгоняла бы из своего обихода субъективизм, неоправданную комплиментарность, приятельские и групповые пристрастия.

Успешному решению этих задач может содействовать дальнейшее повышение теоретического уровня самой критики. Однако время от времени на страницах нашей периодики появляются выступления, которые едва ли способствуют этому процессу.

Приблизительно год тому назад в «Вопросах литературы» было опубликовано сенсационное выступление Л. Аннинского. Критика, заявил он, от литературы не зависит. В идеале, по его мнению, она не зависит и от эмпирической действительности. Парадоксальность подобных суждений оглушает, но ничего не дает для лучшего понимания особенностей художественной критики.

Едва ли плодотворно для развития науки и выступление литературоведа Вл. Орлова на страницах «Литературной газеты» (26 января с. г.). Автор статьи затрагивает сложный вопрос о соотносительности критики и литературоведения. Он полагает, что призыв к критике подняться до высокого уровня современного литературоведения бьет мимо цели, ибо у критики своя специфика, у литературоведения своя. В чем же автор видит различие между литературоведением и критикой? По мнению Вл. Орлова, в про-

цессе литературоведческого исследования литературовед «может уклониться от непосредственной эстетической оценки тех литературных явлений, которые легли в основу его построения. Для критика же прямая эстетическая оценка обязательна во всех случаях. И тут без собственного художественного чутья, без проверенного эстетического вкуса обойтись никак невозможно». Есть основание утверждать, что лучшие литературоведческие работы, в частности и автора цитированной статьи, построены совсем по другому принципу.

Известно, что литературно-художественная критика — один из разделов литературоведения, куда вместе с критикой входят методология и теория литературы, история литературы и ряд вспомогательных дисциплин. Вся сложная система современного литературоведения связана с философией, социологией, историей, эстетикой. Углубленное изучение особенностей этих связей и взаимодействия литературоведения с другими смежными гуманитарными науками — одна из важнейших задач современной науки о литературе. Она имеет первостепенное значение и для совершенствования художественной критики. Ведь не случайно постановление ЦК КПСС в ряду других недостатков современной критики указывает и на ее невысокий философский и эстетический уровень.

Критик должен много знать, чтобы иметь право судить о художественном произведении. Он обязан тщательно изучать те изменения, которые происходят в обществе, уметь анализировать социальные процессы, развивающиеся в условиях научно-технической революции, чувствовать своеобразие этих процессов и показывать, как они влияют на современное искусство. Перед ним — горы книг и статей, в которых его предшественники и современники исследовали пути развития мирового искусства и важнейшие теоретические проблемы. Чтобы глубоко анализировать жизнь и произведения искусства, современный критик должен решительно повысить уровень своей профессиональной подготовки. Для нашего времени примечателен тот факт, что крупнейшие литературоведы стали все чаще и чаще выступать в роли критиков современной литературы. Такого явления не было еще в 50-е годы, когда с трибуны Второго съезда писателей ораторы призывали литературоведов выступать со статьями по современной литературе.

Важная задача критики — иметь четкие позиции в современной сложной и нелегкой идеологической борьбе. Для этого нужно не только много знать, иметь хорошую профессиональную подготовку, но и обладать мужеством и стойкостью, уметь говорить, если это нужно, горькие истины в глаза даже своим товарищам по перу. Останьтесь на одном примере из русской литературы прошлого. Таких примеров можно было бы привести немало.

16 ноября 1911 года Александр Блок сделал в дневнике запись о «студентике», которому он считал необходимым сказать горькие, но очень важные вещи. О том, как воспитывал «студентика» А. А. Блок, свидетельствует письмо поэта, написанное 17 ноября 1911 года. Письмо правдиво, резко, мужественно. Великий поэт говорит горькие истины, исходя из интересов развития родной литературы. Он должен защищать ее честь, оберегать от вторжения тех, кто не обладает настоящим талантом. Блок пишет, что прочтенные им произведения поэта не обладают никакой ценностью, что все это устарело, лучше сказать, было всегда старо и ненужно. Затем он делает очень важный, не потерявший значения и в наши дни вывод. «Кто прозорлив хоть немного, должен знать, — говорит Блок, — что в трудный писательский путь нельзя пускаться налегке, а нужно иметь хоть в зачатке «Во Имя», которое бы освещало путь и питало творчество. У Вас я не увидел этого «Во Имя», этой незаменимой ценности. Потому, я думаю, не стоит говорить о частностях... Искренне желаю Вам добра, — заканчивал поэт свое письмо, — желаю, чтобы тревоги Ваши стали глубже и открыли Вам пути к воплощению».

Вся великая литература создавалась «Во Имя» любви к родной стране, «Во Имя» счастья народа, «Во Имя» торжества светлых начал человеческой жизни. Эту традицию по-своему развил родоначальник социалистического реализма А. М. Горький.

Некоторые его высказывания могут показаться парадоксально противоречивыми, если их рассматривать отдельно, вне системы его эстетических взглядов. Так, например, Горький много раз цитировал афоризм Бальзака «глупо как факт». Он не советовал писателям растворяться в жизни, предостерегал их от опасности ее бездумного, натуралистического копирования. В то же время Горький настойчиво советовал каждому писателю внимательно изучать жизнь

и осуждал тех из них, которые пытались занять позицию вне жизни. «Художник должен жить не в действительности и, конечно, не в стороне от нее, а над нею», — писал Горький. Это необходимо, чтобы, изучая действительность, переделывать ее «Во Имя» идеала. А самый высокий идеал нашего времени — коммунистическое общество. Вот почему в знаменитой статье «О кочке и о точке» Горький с сарказмом говорил о тех литераторах, которые готовы ограничиться взглядом на мир с высоты болотной кочки, и вдохновенно призывал подняться на высочайшее интеллектуальное плоскогорье марксизма-ленинизма и с этой точки зрения анализировать процессы, происходящие в героической и трагической истории человечества.

С трибуны XXIV съезда КПСС было сказано, что в наши дни мировая история уже не может развиваться помимо социализма и коммунизма или вопреки им. В свете этого положения новое значение приобретает широко известный вопрос Горького, поставленный им еще в начале 30-х годов: «С кем вы, мастера культуры?» «Во Имя» какого идеала вы создаете духовные и материальные ценности? Это вопрос о позиции мастеров культуры в современной борьбе, важнейший вопрос, который не может обойти ни писатель, ни критик.

Известно, что критик может успешно работать только в том случае, если он способен решать сложные задачи, опираясь на образцы достижений прошлого, анализируя настоящее и в известной мере прогнозируя будущее, указывать на тенденции развития литературы. Горький, Маяковский, А. Толстой, Шолохов и другие советские писатели создали образцы советской классики, на которые необходимо ориентироваться. Однако при этом не следует забывать и о том, что названные писатели были смелыми и дерзкими новаторами, хотя и опирались на животворные традиции своих великих предшественников. Эти писатели непрерывно искали новые пути, старались в своем собственном творчестве не повторять уже сделанных открытий. Известно, например, что Горький, написав экспериментальный рассказ «О тараканах», упорно добивался от ряда писателей ответа на вопрос, есть ли в этом рассказе что-нибудь «не от Горького». Великий писатель сопоставлял новое произведение не со своими собственными прежними, а смотрел вперед, хотел

знать, сделал ли он новый шаг в творчестве.

При решении всех этих вопросов хочется вспомнить одно важное положение Отчетного доклада ЦК XXIV съезду КПСС. «Повторение старых формул там, где они уже изжили себя,— сказано в Отчете,— неумение или нежелание по-новому подходить к новым проблемам — все это приносит вред делу». Это сказано не о литературе — подлинные произведения искусства никогда не изживают себя. Но эта формула предостерегает наших критиков от неосознанного консерватизма.

Конечно, советская критика не может поощрять эксперименты ради экспериментов, разрушительные фокусы «новых левых» или старых формалистов. Ее задача, как сказано в постановлении, — содействовать «плодотворным творческим поискам».

Нередко ставят вопрос: к кому должна в первую очередь быть обращена критика — к художнику или читателю? Сторонники элитарных концепций полагают, что критика должна быть обращена в адрес самих художников и избранных читателей — художников, с которыми можно говорить о тайнах святого ремесла; серьезные проблемы будто бы недоступны массовому читателю, который в лучшем случае может рассуждать о соотносительности искусства и жизни. (Буржуазная эстетика идет дальше — она склонна пропагандировать обнаженный субъективизм в понимании искусства. Так, например, французский литератор Бернар Пенго говорил: «Читатель «нового романа» может... войти в книгу, интерпретировать ее по-своему и придать ей то содержание, какое ему хочется».)

Советской литературной критике чужды и элитарные и субъективистские теории. Она неизменно обращается в два адреса — к писателю и читателю. Наши писатели неоднократно говорили о том, что без читателя, читателя массового, не существует литературы. Читатель — составная часть искусства, без его участия художественное произведение невозможно. В наших условиях, когда практически встал вопрос о коммунистическом воспитании всесторонне развитой личности, неизбежно возрастает роль литературы и искусства в этом процессе. Возрастает роль интеллектуально выросшего читателя с хорошим эстетическим вкусом. Недавно Пьер Гамарра сказал об этом довольно точно. Он сказал, что жизнь

отдельного человека «хрупка и быстротечна», но «романы и стихи обогащают ее знанием сотен других жизней...». «Мы — это мы, но в каждом из нас вместе с тем живут Анна Каренина и Эмма Бовари, Дон Жуан и Квзимодо, Жан Вальжан и Жавер... Мы — люди всех рас, всех времен...» Произведения искусства расширяют рамки жизни и продлевают ее срок. «Ведь роман может проникнуть туда, — заметила испанская писательница Ана Мария Матуте, — куда не проникает философия, социология, политические доктрины. Роман вмещает — может вместить — все. Он может вместить и то, что я называю «внутренней книгой», то есть книгой, которую каждый читатель создает для себя сам в процессе чтения. Писатель и читатель — это неразлучные соавторы произведения...»

Здесь, в создании, условно говоря, внутренней книги, критик может сыграть важную роль. Он должен научить читателя культуре чтения. Иногда читатель радуется тому, что увидел в произведении знакомую ему мысль, что она подтверждает то, что он уже знает. В другом случае его увлекает необычный сюжет, острые ощущения неведомых событий. Читатель радуется тому, что открыл в книге что-то новое, неизвестное, необыкновенно важное для его жизни. Обязательно важное и значительное, иначе погоня за новым превратится в погоню за всяким словесным трюкачеством, перерастет в бездушный эстетизм. Критик не может не помнить, что создание внутренней книги — это встреча двух неповторимых индивидуальностей: писателя, обладающего талантом и своеобразным видением мира, и читателя, читателя очень разного, с его миром чувств и мыслей. «А каждый читатель как тайна, как в землю закопанный клад», — говорила Анна Ахматова. Чем кончится эта встреча? Закроет ли равнодушно читатель книгу или будет долго раздумывать о том, что в ней сказано, перечитывать отдельные страницы, повторять удачно найденные формулы в спорах? Станет ли прочитанная книга событием в его жизни или средством убить свободное время?

Задача критики, как метко сказал недавно Расул Гамзатов, «отбить читателя у плохого писателя». Точно сказано! Но это только одна сторона задачи критики. Другая, не менее сложная и важная, — приблизить читателя к хорошему писателю, научить его глубже понимать Шекспира и Гёте, До-

стоевского и Томаса Манна, Шолохова и Незвала...

Мы еще плохо изучили жизнь художественного произведения в разные эпохи. Известно, что одна из особенностей искусства состоит в том, что новое произведение, даже написанное на близкую тему, не вытесняет старого, если, конечно, речь идет о подлинных произведениях искусства, а не о ремесленных поделках. Об этом писал еще Маркс, размышляя об изучении генезиса и функций художественного произведения: «...трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны с известными формами общественного развития. Трудность состоит в том, что они еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение...»¹.

Не так уж трудно разъяснить, в каких социальных условиях родилось определенное произведение. Гораздо труднее объяснить, почему и как оно живет в умах и сердцах последующих поколений.

Напомним, что еще Шеллинг в своей книге «Система трансцендентального идеализма» одним из первых в истории европейской эстетической мысли заговорил о многозначности подлинного художественного произведения. Эти произведения допускают бесконечное число толкований. Разные толкования зависят, по Шеллингу, не только от индивидуального восприятия отдельных читателей, но и от эпохи, в которую они создаются. Всякое произведение, отмечает Шеллинг, шире и богаче самознания автора: «Художник вкладывает в свое произведение помимо того, что вошло в его замысел, словно повинувшись инстинкту, некую бесконечность, в полноте своего раскрытия недоступную ни для какого конечного рассудка». Шеллингу казалось, что это происходит потому, что художник, помимо мыслей и чувств своих и своих героев, объективирует еще задание некоего мирового духа. Мы, разумеется, отвергаем эти мистические постулаты, которые с такой благодарностью принимали в свои эстетические системы романтики и принимают некоторые модернисты XX века. Для нас, знающих ленинское учение об абсолютной и относительной истине, художественное произведение потенциально

многозначно, потому что оно неисчерпаемо, как и сама жизнь.

Пример такой многогранной трактовки произведений искусства дал нам Ленин. Вдуваемся в его замечательные статьи о Толстом. В этих работах Толстой освещается Лениным с разных сторон. Как бы перекрещивающимися прожекторами высечена колоссальная фигура. Лев Толстой рассматривается и как зеркало русской революции и как идеолог патриархального крестьянства. Анализируется проблема — Лев Толстой и современное рабочее движение. Лев Толстой и пролетарская борьба. Лев Толстой и его эпоха. Делается гениальное обобщение: эпоха подготовки революции в одной из стран, подавленной крепостниками, выступает благодаря гениальному освещению Толстого как шаг вперед в художественном развитии всего человечества.

Ленинские оценки имеют общеметодологическое значение. Какой жалкой выглядит рядом с ними попытка Мережковского истолковать гений Толстого. В двухтомном исследовании, опубликованном в начале нашего века, он на многих страницах пытается доказать гривильную мысль о том, что будто бы Толстой был ясновидцем плоти, а Достоевский — ясновидцем духа.

На глазах нашего поколения был по-разному прочитан «Тихий Дон». Одни критики увидели в нем лишь интересный этнографический материал. Другие стали говорить, что это выдающееся произведение о войне и революции. Теперь много пишут о гениальном анализе психологической жизни героев. В романе, очевидно, есть и первое, и второе, и третье.

Не будем самоуверенно утверждать, что мы уже всё прочли в каком-нибудь художественном произведении. Будем с благодарностью встречать всякое новое прочтение, если оно помогает людям глубже разобраться в жизни и приносит эстетическое наслаждение. Будем верить, что появятся новые работы о жизни Гамлета и Дон-Кихота в веках, о том, как по-разному воспринимали героев Пушкина и Гоголя, Бальзака и Стендаля, Достоевского и Толстого, Флобера и Золя, Томаса Манна и Горького их современники и потомки, об ошибочных и продуктивных их толкованиях. Мы озабочены их судьбами, ибо герои всякого настоящего художественного произведения бессмертны, они живут рядом с нами и в нас самих. Они помогают формировать наш духовный мир

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Об искусстве. М. «Искусство». 1967, т. 1, стр. 121.

Критик нужен и писателю и читателю. Недавно на пленуме Союза писателей один из наших видных литературоведов напомнил, как этот вопрос решали классики. Более ста лет тому назад Некрасов рассказывал в письме к Тургеневу, какое впечатление произвели на него повести адресата. Некрасов был восхищен ими, называл Тургенева большим поэтом. Письмо заканчивалось такими словами: «Нет, просто мне надо написать статью о твоих повестях, — тогда я буду свободнее — я буду писать не для тебя и для публики, и может быть, скажу что-нибудь, что тебе раскроет са-

мого себя как писателя: это самое важное дело критики...»

Думается, Некрасову удалось выразить очень важную мысль о соотношении критики для автора и для читателя. Критик, по Некрасову, разъясняет произведение читателю, рассуждает о нем вместе с публикой и, значит, судит о нем не только со своей точки зрения. Именно эта позиция критика важна для писателя, ибо она помогает ему раскрыть самого себя, свои сильные и слабые стороны перед лицом читающей публики и перед самим собой. Нельзя не согласиться с этими выводами Некрасова и в наши дни.



ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Виктор Гончаров. Грани алмаза.— Миколас Слущис. Проблемы и автор.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Л. Метелица. Боевое оружие интернационализма.— Л. Леонтьев. Проблемы экономической реформы.

Литература и искусство

ГРАНИ АЛМАЗА

Грани алмаза. Стихи якутских поэтов. М. «Художественная литература». 1972. 367 стр.

Один мой знакомый на чей-то вопрос о Якутии сказал: «Нет, я там не бывал, но много знаю о ней и хорошо себе ее представляю».

Я вынужден был возразить: «Представить Якутию просто так, не увидев ее своими глазами, вещь невозможная... Я несколько раз бывал в этом удивительном крае, и всякий раз он гляделся по-разному».

Во всяком случае, с каждой поездкой в Якутию я убеждался, что очень и очень мало знаю об этой беспредельной, скованной вечной мерзлотой, но такой теплой земле.

Однажды творческий семинар Высших литературных курсов при институте имени Горького приехал полным своим составом в туристском автобусе ко мне в мастерскую. В составе семинара был известный якутский поэт Леонид Попов. Этому двенадцать лет минуло. Дружба же моя с якутской поэзией, с якутскими поэтами, с самой Якутией началась именно с того памятного знакомства в мастерской.

Пытаться рассказать о Якутии на нескольких страницах, которые я собираюсь написать, дело бесполезное, да и цель этих записей совершенно иная. Я только хочу

еще раз повторить, что тот, кто никогда не был в Якутии, не может себе ее вообразить такой как она есть.

Как, например, вы представите себе мороз на Индигирке — 64 градуса? Дышать с непривычки и то невозможно... А зрительно — чуть-чуть розоватый снег, день солнечный, но солнце одето в прозрачный ледяной панцирь — и не греет... Поселок в снежной пустыне. Домики сбежались, прижались друг к другу, и кажется, что они не просто стоят на земле, нет, они повисли на длинных вертикальных дымах, привязанных высоко в небе... Это надо видеть. Ни фотографией, ни живописью, ни словами об этом рассказать невозможно. Край этот необъятен, невероятно богат и поистине сказочен.

Совсем недавно я получил удивительное письмо. Удивительным оно было потому, что я обнаружил в нем локон рыжих волос!

Я подумал, что это очередная шутка моих друзей. А оказалось — не шутка...

«Дорогой Виктор Михайлович!

Знаю Вашу приверженность к седой старине, посылаю подлинные волосы из шкуры древнего мамонта.

Я ездил в Абыйский район на Индигирку

к речке Тирехтях — там нашли части трупа и скелет мамонта. Жил он 120 тысяч лет тому назад, личный возраст — около 100 лет.

Откопал геолог Русанов, скелет будет установлен в Якутске, увезли на вертолете.

Сижу в Зарянке, нет погоды, вернее, горят леса и сплошной дым. 8-й день...

Смотрите на волосы мамонта, думайте о силе жизни, может, выльется в стихи...

Ваш Н. Габышев».

Не правда ли, очень приятное и удивительное послание?.. Якутия — страна белых пятен... это малоизученное чудо. И люди там живут удивительные. И поэзия якутов тоже явление не совсем рядовое.

Вот почему я рад видеть у себя на столе «Грани алмаза», книгу стихов якутских поэтов — малую антологию якутской поэзии. Редактор книги — Михаил Львов. Вступительную статью к ней написали Кюннюк Урастыров — народный поэт Якутии, и Софрон Данилов — лауреат премии П. Ойунского. В статье авторы систематизируют и обобщают то, что можно отнести к знаниям о культуре якутов, начиная со строк об этой стране, принадлежащих Михаилу Ломоносову:

Широкое открыто поле,
Где музам путь свой простираты!

«Русские ученые и исследователи положили начало изучению якутского языка и созданию якутской письменности». Вот как! Значит, это было совсем недавно, а сейчас мы уже имеем целую антологию якутской поэзии! Это ли не чудо?

И чудо и нет...

Народ этот кочевой, и, стало быть, следы изобразительного и архитектурного искусства искать бесполезно, но языковая культура у якутов глубокая, фольклорный материал очень богатый, без длинной, бесконечно красивой песни у костра кочевников не бывает. Следовательно, существовала древнейшая якутская поэтическая культура. Вот только письменности не было. Ее дала якутам Октябрьская революция. Антология вышла к пятидесятилетию юбилею создания автономной республики.

А чудо начинается с того, что за короткий промежуток времени появилось столько поэтических имен, столько песен и стихов, что составить антологию оказалось делом совсем несложным. Я хорошо знаю,

что книга эта не вмещает даже сотой доли того прекрасного, что создано якутскими поэтами за годы становления и коллективизации, Отечественной войны и послевоенного строительства... «Грани алмаза» отражают в себе пятьдесят лет — время, которое потребовалось для создания сборника. И естественно, в стихах якутских поэтов события, происходящие в жизни, отразились широко и полно.

Читая сборник, мы видим, как происходит трансформация сознания, меняется отношение к окружающему, быт и мировоззрение. А за всем этим — большой исторический путь экономического и культурного развития республики.

Антология открывается стихами одного из зачинателей якутской поэзии Алексея Кулаковского. В стихотворении «Большая огнедышащая лодка» (1910) поэт с наивным удивлением пишет о пароходе, который представляется ему громадным чудовищем:

В широких странах судьбу устроить,
В чужих краях увидеть радость,
В далеких землях найти удачу
Решился я,
Себя доверив
Чудовищу-пароходу...

Первые советские поэты во весь голос приветствовали новую жизнь.

В 1925 году Анемподист Софронов пишет:

Навсегда бывшее кончилось!
И сияющие дали
Голосам живым по-новому
Петь сегодня указали...

В «Красном шамане» Платона Ойунского шаман разоблачает себя, отказывается камлать, потому что он поверил в силы нового времени:

Прверется боль, сгорит беда,
Придут счастливые года.
Испепелят жестокий век —
И станет богом человек!

Уверенно и торжествующе звучит голос Серафима Эллы:

Теперь миновали для нашей страны
Века униженья и рабства,
И ленинской партией мы сплочены
В одно нерушимое братство.

Антология познакомит читателей с поэзией гражданской и Великой Отечественной войн, стихами, полными мужества, сдержанной боли и веры в победу...

Перелистывая страницы, мы становимся свидетелями того, как приходит новое время, новые имена, новые песни.

О, сколько каждый день
невидимых побед
Вам нужно одержать, сегодняшние
люди! —

пишет Семен Данилов, один из виднейших современных поэтов Якутии.

Недавно ушел из жизни якутский поэт Баал Хабырыс. Его творчество самобытно и глубоко национально. Прочитайте «Воспоминания из прошлого» или «Родная сторона» — перед вами откроется мир, до этого вам неведомый, и вы почувствуете трепещущую душу самого автора — заступника за все живое, нас окружающее, противника любой несправедливости.

Границы интересов растут, расширяется кругозор народа. В стихах современных поэтов мы находим глубокие раздумья о сегодняшней жизни, интересно увиденные картины действительности, о которых подчас рассказывается с юмором, мягкой, доброй улыбкой.

— Русский! Русский! — кричали болгары.
Обнимали. Цветами осыпали нас.

И улыбки дарили. И вина предлагали.
И стояли мы — ненец, якут и хакас —
на приветливом, людном софийском
вокзале,
вспомнив наши раскосые города.
Но — как дети России —
мы руки встречающим жали,
отвечая:

— Да! Русские! Русские, да!..

Это стихотворение Леонида Попова. Мне оно кажется интересным и значительным.

Якутская поэзия обрела крылья. Она высока, она в стае, равная среди равных. Я уверен, что после знакомства с поэзией этого края вам захочется побывать там, где добывают алмазы, и удивиться славной Советской Якутии. Стране необозримых просторов, вечной мерзлоты, якутского гостеприимства. Стране вдохновения, которого хватит любому сердцу на самую долгую жизнь.

Мне хочется вернуться к письму якутского писателя Николая Габышева и сказать почти его словами: глядячи на эту мужественную землю, вы не сможете не думать о силе жизни!

Виктор ГОНЧАРОВ.



ПРОБЛЕМЫ И АВТОР

Станислав Дыгата. Прощание. Роман. Диснейленд. Роман. Рассказы. М. «Прогресс». 1971. 446 стр.

В последнее время наш читатель все чаще знакомится с польскими литераторами, которых я назвал бы писателями среднего поколения. Унаследовавшее традиции критического реализма, хорошо подготовленное профессионально, это поколение интересно прежде всего разнообразными творческими индивидуальностями, увлеченностью важнейшими проблемами времени. Надо сказать, что зачастую в фокусе одной проблемы оказываются литераторы разных поколений, и это неизбежно. Однако проблема становится живой плотью литературы, лишь побывав в горниле авторской индивидуальности, адаптированная и окрашенная ею.

Искания интеллигенции, стремящейся обрести правильную социальную позицию и осмыслить свое духовное предназначение, — излюбленная область исследования многих польских писателей. Искания эти, даже если они замкнуты в сфере индивида, не могут совершаться независимо от истории,

от ее важнейших этапов и сдвигов. Именно поэтому в «интеллигентской» тематике вполне закономерно отражается судьба страны и народа. Отражается даже в тех случаях, когда писатель выбирает отнюдь не эпические объекты изображения, а действительность видит глазами одного персонажа.

Подобному кругу вопросов посвящено почти все творчество Станислава Дыгата, особенно его романы. Они солидно зарекомендовали себя у польских читателей в ряду многочисленных и талантливых произведений таких дебютантов первых послевоенных лет, как К. Брандыс, Т. Боровский, В. Жукровский, Т. Голуй, Ю. Кавалец и другие. Нетрудно было бы проследить родственность этих прозаиков поколению ветеранов (Я. Ивашкевич), а также группе прогрессивных писателей, выступившей в канун второй мировой войны, — А. Рудницкий, Е. Анджеевский (к слову сказать, талант этих пи-

сателей полностью раскрылся уже в послевоенное время). Можно обнаружить существенные точки соприкосновения между Дыгатом и молодыми литераторами сегоднешнего дня, работающими в традициях психологического искусства, впрочем, довольно-таки модернизированного.

Творчество Дыгата, перекликающееся с исканиями нескольких поколений польских писателей, достаточно самобытно, чтобы не раствориться в потоке родственных литературных явлений. К каким бы важнейшим проблемам эпохи ни обращался Дыгат, всегда в сфере его пристального внимания — нравственность и психология личности, утверждение истинных чувств и убеждений, достойных человека. То, что в произведениях иного писателя гремело бы трубами и литаврами, в его романах льется нежной мелодией флейты. Дыгат — мастер негромкой прозы, лирических мазков, часто окрашенных иронией, но и умеренными средствами он умеет передавать сложнейшие психологические состояния. Тем более интересно отметить, что тончайшие движения души и мысли, своенравно переплетающиеся нити воспоминаний, впечатлений и предчувствий он проверяет на прочность открыто присутствующим социальным детерминизмом. Причем падение или возвышение героев Дыгата обуславливают не какие-то случайные социальные реалии, а самые существенные, которые никто в современном мире уже не может игнорировать. Это политико-исторические сдвиги в Восточной Европе, конкретно — в самой Польше, вызвавшие к жизни новые общественные отношения, реалистический и диалектический взгляд на историю страны, ее сегоднешний день и будущее. Тот, кто не замечает этих изменений, обречен на духовное прозябание или в высшей степени опасный самообман, утверждает писатель.

Критика уже давно обратила внимание на то, что главный персонаж Дыгата — тип почти одной и той же духовной структуры, переходящий из романа в роман, начиная с первого («Боденское озеро», 1946) и кончая «Диснейлендом» (1965). Очевидную ролевую функцию персонажей обуславливает, пожалуй, не столько излюбленный Дыгатом монолог рассказчика или действующего лица, сколько характер самого героя. Обычно это человек несколько инфантильного склада, с иллюзорными представлениями о действительности, погруженный в собственные переживания, но не удовлетворенный собою и

окружающей жизнью. Контуры этой неудовлетворенности явно нечеткие: то это неприятие мещанской атмосферы, под видом светскости царящей в собственной семье, то собственное неумение найти свое призвание в стремительно развивающейся действительности.

Доискивающийся до смысла жизни молодой человек — герой Дыгата — в достаточной мере сбит с толку предрассудками окружающей его среды, поэтому он попадает в драматические, а иногда и в курьезные ситуации. Его нельзя назвать героем в истинном смысле этого слова, он как бы имитирует такового, натянув на себя довольно симпатичный скафандр самоиронии. Его самовыражение всегда начинается с бунта, который, быть может, и не является настоящим бунтом, но это и не «бура в стакане воды», которую можно наблюдать в произведениях некоторых более молодых и более экстравагантных польских писателей. Туман в сознании дыгатовского героя начинает рассеиваться не сам по себе, не вследствие затянувшейся психологической исповеди, а после того, как он переосмысливает собственную эгоцентрическую роль на фоне всеобщей катастрофы (роман «Прощание») или в контексте основных этических качеств человека наших дней (роман «Диснейленд»). Трудный процесс духовного возмужания героя Дыгата идет по пути преодоления им собственных ошибок и заблуждений к осознанию подлинных человеческих ценностей, необходимости активной, действенной позиции в жизни.

Как и многие его собратья по перу, Дыгат является писателем, сформированным эпохой войны. Великие испытания 1939—1945 годов неизменно просматриваются под «стилистической гладью» как легший на дно якорь, хотя непосредственных картин войны, тем более страшных, в его книгах не много. По-разному в романах осмысливаются физические и психологические последствия военных испытаний. Как и автор — бывший военнопленный, так и его центральные персонажи постепенно уточняли и углубляли свои антивоенные и антифашистские взгляды. В «Боденском озере» война — еще фон для флирта молодого военнопленного, надевшего на себя маску гипертрофированного польского патриотизма, с хорошенькой девушкой Сюзан. Мрачный, полный закулисных опасностей, роковой, но все же только фон. Однако именно война с ее трагическими отзвуками заставляет героя опом-

няться. В конце концов он начинает понимать, что благородные чувства и красивые слова (в которые он чуть было не поверил сам!) лились лишь для того, чтобы покорить экзальтированную, увлеченную полонистикой девушку. Исполняя ложную и двусмысленную роль, он попадает в им же самим расставленную ловушку. Да и Сюзан тоже любит не его, а с его помощью созданную иллюзорную фикцию жертвы во имя несчастной родины. Ирония по отношению к себе, к Сюзан, к призрачным идеалам порождает отрицание вчерашнего себя и всяческих отдающих вчерашним днем слащаво-вычурных ролей. Герой находит в себе силы разорвать сеть нарочитой, несостоятельной романтичности, задуматься о смысле своего существования, о том, что никому нельзя уходить от ответственности за слова, чувства и поступки.

Подобная же ситуация, только в условиях уже послевоенной Европы, изображена в написанном значительно позже рассказе «Карнавал». Путешествующий польский писатель встречается в Мюнхене с очаровательной полячкой Данкой. Как спичка вспыхивает теплившаяся в ней романтическая любовь к Польше, и уже не юноша, а пожилой, жалующийся на сердце человек (в действительности не питающий никаких иллюзий, а лишь вжившийся в роль) раздувает этот огонек в пламя и тут же жестоко топчет его. И он и Данка дорогой ценой платят за игру в крапленые историей карты, а о том, что эти карты фальшивые, убедительно свидетельствует снова мелькнувшая «боденская» Сюзан — на этот раз уже не романтическая барышня, а расплывшаяся, довольная жизнью и вполне тривиальная дама.

Лишь после нарочно подстроенной герою, словно в театре, оттапливающей-интимной сцены с этой самой Сюзан, уже не способной на высокий порыв, а лишь на случайную связь, у Данки должны раскрыться глаза. Смущение, стыд и боль ее, отзывающиеся мукой в сердце стареющего писателя, — плата за обреченные, несостоятельные иллюзии.

Нарочитое повторение ситуаций и в романе и в рассказе свидетельствует об одной существенной тенденции автора: некоторые ложные мифы и псевдоромантические иллюзии более живучи, чем опыт и логика, их надо снова и снова развенчивать. Расставание с ними, с собственным эгоцентризмом необходимо, несмотря на боль и

потери, необходимо осознать наконец, кто ты такой, куда идешь и чего хочешь в этом все усложняющемся современном мире.

Тут уже говорилось о том, что война постепенно играла все более важную роль в духовном прозрении дыгатовского героя. В «Прощании» нет уже и тени той игры, на которой построено «Боденское озеро» и которая окончательно развенчивается в «Карнавале». Здесь война уже совершенно иная, ее гнетущим духом пропитано все. Кстати, и «фон» здесь гораздо активнее, тыловой оккупационный быт выписан реалистически и детально. Правда, маску героини носит — сначала «бунтаря», затем «гуляки», еще позже «наблюдателя», но гримаса разочарования уже не доставляет ему ни утешения, ни успокоения. ни, наконец, эстетического наслаждения.

В «Прощании» героя окружает целая галерея жалких и смешных типов, карусель марионеток, да и он сам отброшен на обочину, где можно лишь прозябать. Но в отличие от своего окружения он видит тщетность и даже губительность вчерашних представлений о долге, об абстрактной любви к Польше. Конечно, трезвый взгляд еще не есть преодоление неправоты в сознании и в сердце, в характере и в привычках, и прощание героя с псевдопатриотическими мифами, восходящими, наверное, еще к времени шляхетского средневековья, — мучительный процесс, подобный сложной операции.

В этом смысле особенно интересна вторая часть романа «Прощание». Внезапно обнаруживаемая пустота, утрата привычных социальных точек опоры безжалостно обнажает то, что совсем недавно было прикрыто пышными фасадами зданий, крахмальными манишками, этикетом. Это обнажение тем более страшно, что одряхлевшая элита пытается и в ужасающих условиях оккупации продолжать вести светский, отдающий паразитизмом образ жизни... Чуткого главного героя, оказавшегося в переполненном знатью курортном городке, не может не шокировать политический и духовный маразм некогда близких ему людей. Приближается фронт, несущий освобождение всей нации, а вчерашние привилегированные аристократы и буржуа даже знать не знают, кто с кем воюет...

Одна только маска ироничности и отстраненности, в какой-то мере помогающая герою изолироваться от разлагающего окружения, уже не может спасти. Спасет лишь

сознательный шаг к надежному берегу, пылающему от разрывов бомб и снарядов... Человек не сразу на него решается, но решиться на этот шаг необходимо, тем более что герой «Прощания» в отличие от героя «Боденского озера» был не в имитации концлагеря, а в Освенциме. Решительный шаг герой делает тогда, когда приходит советская и польская армия. Люди из его социального окружения бегут на Запад, чтобы одни рухнувшие иллюзии заменить другими, а он выходит навстречу освободителям вместе с любимой женщиной Лидкой...

Не будем считать изобретением Дыгата то, что автор, внимательный к социально-общественным пластам жизни, строит главный конфликт как любовную историю двух людей. Опять-таки не его одного осенило передавать такого рода истории посредством монолога героя или его воспоминаний. Такие конструктивные и стилистические средства характерны сегодня не только для польского романа, но и вообще для европейской лирико-психологической прозы. Дыгат, однако, своеобразно окрашивает свой лирический психологизм в сатирические и гротескные тона. Даже интимные сцены не свободны от юмористического или саркастического взгляда, особенно в последнем романе «Диснейленд», самом зрелом, на мой взгляд, и интересном из всех трех романов. Вообще, любовь к женщине у героев Дыгата — это магнит, который притягивает мечущегося, не находящего себя человека к реальной земле. Даже просто физическое влечение интерпретируется им как могучая сила человеческой природы, отнюдь не враждебная творческим потенциям личности. Это особенно ярко проступает именно в «Диснейленде», посвященном нашим дням и населенном людьми весьма прозаических профессий.

Трудно поддается пересказу сюжет романа. Он скрыт под густой тканью ничем не примечательной обыденности да наслаивающихся воспоминаний. Притом вспоминаются героям не столько факты, сколько ощущения, течение мысли, смена настроений. Внутренний конфликт тут редко вырывается наружу и не имеет четких очерченных контуров. Преуспевающий спортсмен, кумир тренеров и публики, вдруг ощущает пустоту. Он бежит от нее, окружая себя все новой и новой «пустотой» и в то же время безжалостно соскабливая с себя глянец, то есть чужое представление о себе самом. Ведь всем вокруг он кажется вполне

благополучным и перспективным, лишь он один догадывается о собственном тупике.

Несколько вполне земных женщин (их Дыгат рисует мастерски) встречаются на пути этого странного героя — чемпиона Польши по бегу, обитающего в зорко подмеченном автором «модерновом» окружении, где внешнее, показное часто подменяет суть. Каждая из женщин олицетворяет не столько его обречения, сколько потери. Во многом стереотипный, этот персонаж, однако, не всегда дешевый и банальный. Он видит и свое безволие, и мелочность многих его друзей, умеет подмечать социально-косное в общественных отношениях. Любит он и пофилософствовать. Причем не отказываясь от благ, легко достающихся чемпиону, он посвоему тоскует о чистоте. Где-то в душе его угнетает вина предательства по отношению к своему бывшему тренеру. Он жаждет избавиться от лжи и пустой славы, а на него наваливают их все больше и больше якобы во имя блага его же и общества. Он вглядывается в каждую встречную женщину — в Агнешку, скажем, даже мучительно! — и не довольствуется первым впечатлением, «постельной» любовью, которой, между прочим, тоже не избегает. Только Иовита, загадочная девушка с маскарада, девушка, которой, может, вовсе и не было, так как ее роль постоянно присваивает себе Агнешка, будит в нем тоску и разочарование в хваленых мнимых ценностях.

«Я хочу начать жизнь сначала и хочу, чтобы моя жизнь стала жизнью абсолютно честного человека. Но прежде мне необходимо перечеркнуть все то, что было до этого».

И немного дальше:

«Итак, неужели я проиграл? Нет! Оставалась еще Иовита».

В финале романа герой избирает негодные средства для прощания с пустым и сумбурным прошлым, но он готов ответить за свои поступки и терпеливо лелеять свой идеал. Бледным пунктиром прочерченный образ Иовиты — конечно, слабая альтернатива для прошлой жизни героя, которая увидена в книге безжалостно. Хотя критicism драпируется легкой иронией, а герой почти всюду выглядит искренним, социальное и моральное его развенчание несомненно. Важна здесь, видимо, не альтернатива, а само стремление к идеалу, пусть еще романтическое и туманное, но уже не такое, от которого надо было бы избавляться, как это делали герои других произведений Ды-

гата. Таким образом, на долю Йовиты, образ которой в художественном отношении не совсем убедителен, все же выпадает важная роль в этих насыщенных цинизмом и сомнительными «подвигами» буднях героя произведения.

Само собою разумеется, что «Диснейленд» не является романом лишь о спортсменах: проявления мещанства, аполитичности и аморальности бывают не только в их среде. Люди, отравленные мнимой славой, встречаются и в других слоях общества, где идет сложный процесс становления новых духовных ценностей, новой социальной этики.

Кратко охарактеризовав острую и актуальную полемичность Дыгата, его глубокий психологизм, с помощью которого он стремится проникнуть в действительность, я хотел бы попутно коснуться и особенностей его стиля. Настроение — вот чем дышит и

чем действует на нас стиль Дыгата; настроение — вот благодаря чему проблема и психологические наблюдения западают в сознание читателя; настроение есть тот трепетный нерв, который заменяет горы необязательных описаний, загромаждающих книги иных авторов. Вариации настроений, акценты эмоциональных подъемов и спадов играют даже сюжетно-композиционную роль — на них строится своеобразный внутренний сюжет. Настроение, наконец, и является тем феноменом, который позволяет Дыгату выражать свою бескомпромиссную позицию, не прибегая к откровенному авторскому вмешательству, публицистике или комментированию.

Миклоас СЛУЦКИС.

(Перевела с литовского Б. Залеская)

Вильнюс.



Политика и наука

БОЕВОЕ ОРУЖИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

Ленинизм и национальный вопрос в современных условиях.
 Редакционная коллегия: П. Н. Федосеев, Е. М. Жунов, М. И. Куличенно, В. С. Семенов.
 М. Политиздат. 1972. 567 стр.

Среди больших и сложных вопросов современной общественно-политической жизни все большее место занимает национальная проблема. Рост государственно-монополистического капитализма обострил противоречия между крупными империалистическими государствами и вновь поставил вопрос о сохранении национальной независимости для стран, которые еще недавно являлись колониальными державами. Усилились противоречия внутри буржуазных многонациональных государств. Расовая война реакционных, профашистских организаций против многомиллионного негритянского и цветного населения в США, подавление английской буржуазией национально-освободительной борьбы ирландского народа, национальные распри в Бельгии и Канаде — таков далеко не полный перечень событий, свидетельствующих об обострении национального вопроса в странах развитого капитала.

Крах колониальной системы империализма, возникновение самостоятельных государств, консолидация буржуазных наций в большинстве освободившихся стран, вступление ряда народов на некапиталистический путь развития выдвигают на передний план

вопросы национальных отношений, делают их актуальными для сотен миллионов людей. Последние годы с особой силой подтвердили истину, давно научно обоснованную марксистско-ленинской теорией, о том, что буржуазное общество оказалось банкротом в своих попытках решить национальный вопрос.

Громадное значение в этих условиях приобретает социалистический опыт решения национального вопроса, создания и утверждения нового типа национальных отношений, основанных на полном равенстве, добровольном сотрудничестве и взаимопомощи. «Советский Союз,— говорится в постановлении ЦК КПСС,— олицетворяет собой небывалые ранее в истории отношения единства и дружбы свободных народов. Эта дружба — одно из величайших завоеваний социализма, могучая движущая сила советского общества, неиссякаемый источник творческого созидания трудящихся всех национальностей СССР во имя самой благородной цели — построения коммунизма»¹.

¹ «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик». Постановление ЦК КПСС от 21 февраля 1972 года. М. 1972. стр. 4

Широкий круг актуальных и политически острых проблем, связанных с марксистско-ленинской теорией наций и национальных отношений, излагается в только что вышедшей коллективной монографии «Ленинизм и национальный вопрос в современных условиях». В отличие от многочисленных исследований, опубликованных за последние годы и посвященных различным сторонам и аспектам национальных отношений, рецензируемая книга привлекает к себе внимание стремлением охватить всю проблему в целом, дать систематическое и последовательное изложение марксистско-ленинского учения о нациях, о национальном вопросе в буржуазном обществе, о национальных отношениях в условиях социализма, о месте и роли национально-освободительного движения в мировом революционном процессе.

Давая общую оценку книги, следует сказать, что авторскому коллективу удалось успешно решить поставленную задачу. Научная общественность, широкие кадры пропагандистов получили серьезное научное исследование, обобщающее достижения советской общественной науки по данной проблеме, написанное с классовых, партийных позиций.

Следует признать удачной структуру монографии, состоящей из введения и трех больших разделов, соответственно излагающих основные стороны национальной проблемы в современном мире: при капитализме, в условиях социализма, в мировом революционном процессе.

Несомненное достижение книги — всестороннее освещение ленинского теоретического наследства. Творчески развивая марксизм в условиях эпохи империализма и социалистических революций, В. И. Ленин обобщил опыт развития народов и национальных отношений во всем мире. Он создал стройное учение по национальному вопросу, разработал научные принципы национальной политики коммунистической партии. Особое значение имеет обоснование Лениным путей и форм решения национального вопроса в ходе социалистического строительства, его места и роли в утверждении мирового социализма. Ленинское учение по национальному вопросу — результат глубокого анализа закономерностей общественной жизни, внутренней жизни народов и их взаимоотношений между собой.

В противоположность буржуазным идеологам, пытающимся представить национальные отношения в виде самостоятельной ав-

тономной проблемы, марксизм-ленинизм рассматривает их как неотъемлемую составную часть общественных отношений, вскрывает их социально-политическую основу. Тип национальных отношений определяется характером общественного строя, его социально-классовой структурой.

Национальный гнет, эксплуатация одних народов другими, национальная дискриминация и национальная вражда, характеризующие взаимоотношения между нациями в условиях капитализма, вызваны не «свойствами человеческой природы», а определяются сущностью буржуазного строя, господством капитала, «ибо...— говорил К. Маркс,— отношения собственности обуславливают эксплуатацию одних народов другими»². Пролетариат — единственный из классов буржуазного общества, заинтересованный в уничтожении частной собственности, эксплуатации, всех форм социального и национального гнета. «Старому миру, миру национального угнетения, национальной грызни или национального обособления,— писал Ленин,— рабочие противопоставляют новый мир единства трудящихся всех наций, в котором нет места ни для одной привилегии, ни для малейшего угнетения человека человеком»³.

Долгое время в нашей научной литературе имел хождение тезис о том, что род и племя являются категориями этнографическими, а нация — категория историческая.

В монографии правильно отмечается, что род, племя, народность в такой же мере являются категориями историческими, как и нация. Смена общественно-экономических формаций в ходе исторического развития человеческого общества сопровождается коренным изменением форм общности людей. Род, племя, древняя и средневековая народность, капиталистическая и социалистическая нации — такова последовательная смена форм общности людей.

Нация возникает впервые в эпоху разложения феодального строя и утверждения капитализма. Нация возникла как исторически необходимая форма и результат развития буржуазных общественных связей на определенной территории, с населением, говорящим на одном языке, и закреплении его в литературе. Будучи сама неизбежным продуктом и неизбежной формой бур-

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 371.

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 150

жуазной эпохи, нация активно влияет на созревание и развитие буржуазных общественных отношений.

Раскрывая ведущее значение социально-политических факторов в жизни нации, авторы книги подчеркивают роль ее социально-психологического облика, носителем лучших черт которого являются трудящиеся массы. Большое значение в духовной жизни нации, в системе межнациональных отношений имеют, в частности, национальные чувства. Ленин требовал от партийных работников всестороннего учета различных сфер жизни нации, в том числе и сложной области национальной психологии и национальных чувств, особенно по отношению к тем народам, которые испытывают или испытывали в прошлом национальный гнет. Спекуляция на национальных чувствах, их искусственное разжигание используются реакционными силами для обмана трудящихся, для затушевывания классовых антагонизмов внутри нации, для распространения националистического угара.

Марксистско-ленинская теория нации противопоставлена в монографии идеалистическим концепциям, распространяемым многими современными буржуазными учеными (Г. Кон, В. Коларз, Р. Эмерсон и другие). При этом убедительно показано, что, по существу, эти концепции представляют собой различные модификации «психологической» теории О. Бауэра, рассматривавшего нацию как внеисторическую, вечную категорию. Вскрывая антинаучный, реакционный классово-политический смысл взглядов О. Бауэра, Ленин показал связь его теоретических ошибок с оппортунизмом в политике, с проповедью буржуазного национализма.

Ленинская критика идеалистической теории нации полностью сохранила свое значение и сегодня. Современные антинаучные концепции, в основе которых лежат идеализм, безграничная гипертрофия национально-особенного, способствуют росту националистических настроений, используются для «оправдания» политики шовинизма, противопоставления одних народов другим.

В книге дается подробный и всесторонний анализ ленинского учения о двух тенденциях в национальном вопросе при капитализме, составляющего методологическую основу программы и тактики марксистско-ленинских партий, их практической деятельности по руководству освободительным движением угнетенных народов.

Вскрывая сущность мирового закона капитализма в области национальных отношений, Ленин показал, что первая тенденция, преобладающая в период домонополистического капитализма, состоит в пробуждении национальной жизни и национальных движений, борьбе против всякого национального гнета, создании национальных государств. Вторая, характеризующая зрелый капитализм, империализм, находит свое проявление в развитии и учащении сношений между нациями, в ломке национальных перегородок, в создании интернационального единства капитала, экономической, политической, культурной жизни.

Следует отметить, что в нашей научной литературе имели место попытки упрощенно толковать это важнейшее теоретическое положение, свести все ленинское учение о двух тенденциях в развитии наций при капитализме лишь к взаимодействию национально-специфических черт и национальной самостоятельности, с одной стороны, и интернационализации общественной жизни — с другой. В действительности же, как это справедливо подчеркнуто в рецензируемой работе, ленинское учение неизмеримо богаче. Оно раскрывает все стороны и грани национальных отношений в условиях буржуазного строя, показывает их внутреннюю противоречивость и динамику на всех этапах его развития.

В условиях капитализма вообще, империалистической стадии — в особенности, обе тенденции, выражая исторически прогрессивные процессы, проявляют себя как антагонистические противоречия. Обе тенденции действуют в двух противоположных направлениях. Ни одна из них не может быть свободно реализована в условиях буржуазного общественного строя. На большом фактическом материале из истории буржуазного общества и современного этапа государственно-монополистического капитализма в книге показано, что тенденция к интернационализации всех сторон экономической, политической и культурной жизни в условиях империализма проявляет себя в формах, которые не соответствуют ее внутреннему содержанию. Вместо добровольного сближения народов, уничтожения национальной замкнутости, обусловленных развитием производительных сил, осуществляется насильственное объединение народов, часто не связанных между собой в экономическом и культурном отношениях. На основе «железа и крови» происходит подчи-

нение одних народов другими, их порабощение и эксплуатация.

С одной стороны, империализм пробуждает к жизни и к сознанию многие большие и малые народы Восточной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. С другой — замедляет их развитие, обрекает их на нищету и отсталость, душит малейшее стремление народов к независимости, к созданию национальных государств. Внутренняя противоречивость и напряженность в действии обеих тенденций, обусловленные самой природой буржуазного общественного строя, возрастают в ходе развития капитализма, достигая своего апогея в эпоху империализма. Национальный вопрос сливается с колониальным, из внутригосударственного, каким он был в предшествующий период, превращается в международный, его острота, удельный вес в общественно-политической жизни гигантски возрастают.

Ленин неоднократно подчеркивал, что в условиях буржуазного строя национальный вопрос не может быть решен полностью. Для этого «необходимо уничтожить классы, т. е. ввести социализм»⁴. Вместе с тем он решительно выступал против малейшей недооценки демократических национальных движений. Разрабатывая и отстаивая национальную программу марксистской партии, объединяя вокруг пролетариата трудящихся разных национальностей России, Ленин связывал частичное «решение» национального вопроса с борьбой за последовательную демократизацию общественного строя. «Есть — писал Владимир Ильич, — только одно решение национального вопроса (поскольку вообще возможно его решение в мире капитализма, мире наживы, грызни и эксплуатации) и это решение — последовательный демократизм»⁵.

В противоположность буржуазным идеологам и политикам, рассматривающим национальный вопрос как нечто самодовлеющее и независимое от других проблем общественной жизни, марксизм-ленинизм показал его подчиненность вопросам классовой борьбы. Ленин требовал любую сторону национальной проблемы рассматривать под углом зрения классовых интересов пролетариата, «связать революционную борьбу за социализм с революционной программой в национальном вопросе»⁶.

Авторскому коллективу удалось показать, как в ходе борьбы за победу буржуазно-демократической, а затем социалистической революции большевистская партия под руководством Ленина практически решала задачу использования национально-освободительного движения народов России, объединяя и сплачивая трудящихся разных наций вокруг пролетарского авангарда. В работе последовательно показано развитие Лениным теории национального и колониального вопроса в послеоктябрьский период, когда в результате общего кризиса капитализма и под влиянием победы социалистической революции в России национально-освободительное движение превратилось из резерва мировой пролетарской революции в активную движущую силу мирового революционного процесса.

Анализируя особенности развития наций и национальных отношений в буржуазном мире на современном этапе, авторы книги раскрыли решающее историческое значение и влияние построения социализма в СССР, возникновения и успешного развития мировой социалистической системы на ход освободительной борьбы народов против империализма. «Силы мирового социализма, — подчеркивается в документах международного коммунистического движения, — решающим образом содействовали борьбе народов колоний и зависимых стран за освобождение от гнета империализма. Социалистическая система стала надежным щитом независимого национального развития освободившихся народов»⁷. Ныне, как показано в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии, борьба за национальное освобождение во многих странах стала практически перерасти в борьбу против эксплуататорских отношений, как феодальных, так и капиталистических. В монографии разоблачается научная несостоятельность и политический вред авантюристического, националистического курса маоистского руководства, направленного на отрыв национально-освободительной борьбы от его главной опоры и базы — мировой системы социализма.

Значительная часть монографии (шесть глав из двенадцати) посвящена анализу национальных отношений при социализме. Этот раздел, где обобщается громадный и

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 22.

⁵ Там же, т. 24, стр. 118.

⁶ Там же, т. 27, стр. 62.

⁷ «Программные документы борьбы за мир, демократию и социализм». М, 1961, стр. 64.

уникальный по своему значению опыт КПСС в осуществлении ленинской национальной политики, в разрешении национального вопроса, приобретает особую актуальность, так как выход книги совпал с подготовкой к великому празднику всех советских народов — пятидесятилетию образования СССР.

В ряде глав авторы последовательно обосновывают идею о том, что возникновение, строительство и победа социализма означают утверждение нового типа национальных отношений. «Национальный вопрос,— говорится в постановлении ЦК КПСС,— последовательно может быть решен только на базе социалистического переустройства общества»⁸. В отличие от буржуазной демократии, которая лишь формально провозглашает национальное равенство, но никогда не осуществляет его на практике, социалистическая демократия гарантирует народам равные права и возможности, создает реальные возможности для решения национальных проблем с учетом интересов трудящихся различных национальностей.

В процессе строительства социализма коренным образом преобразуется вся система общественных отношений, в том числе и национальные отношения. В условиях социализма действует новая объективная закономерность — всесторонний расцвет и неуклонное, постепенное сближение наций и народностей.

На протяжении ряда лет в нашей научной литературе идет дискуссия о законе развития национальных отношений при капитализме и социализме. Отдельные авторы утверждают, что якобы действует один общий закон развития наций, по-разному проявляющийся в обеих формациях. Концепция «общего закона» несостоятельна в методологическом отношении и уже была подвергнута критике научной общественностью. В рецензируемой книге совершенно справедливо подчеркивается, что две тенденции в развитии наций нельзя отрывать от того социального организма, где они функционируют. Обе тенденции осуществляются не как автономные процессы, а как неотъемлемая составная часть всей системы общественных отношений капитализма и социализма. Историческая преемственность между национальными отношениями буржуазного и социалистического общества, точно так же как историческая преемст-

венность в области экономических и других компонентов общественных отношений, не означает сохранения тех же законов. При социализме на совершенно иной, качественно новой экономической и социально-политической основе действуют новые закономерности в области национальных отношений. В книге показано, что коренным образом меняется как содержание самих тенденций, так и формы их проявления. «Содержанием первой тенденции является пробуждение к национальной жизни ранее угнетенных народов и образование ими своих национальных государств, а также обновление, даже можно сказать, возрождение всех наций, сложившихся еще при капитализме. Вторая тенденция представляет собою учащение и углубление связей между свободными нациями, неуклонное развитие интернационализации всей хозяйственной, политической и духовной жизни, постепенное стирание национальных различий на пути сближения наций».

Далее показано, что в отличие от капитализма тенденции социализма проявляются в действиях всей массы населения под руководством рабочего класса. Они осуществляются свободно, не испытывая препятствий и потому не претерпевая никаких извращений своего естественного содержания.

В основе сближения наций лежат не интересы интернационально слитого капитала, горстки монополий, а интересы социального прогресса народов, объективные потребности развития единого мирового социалистического хозяйства. Действие тенденций капитализма неизбежно приводит к росту национализма во всех его проявлениях, в то время как осуществление тенденций социализма приносит утверждение идеологии социалистического интернационализма, ведет к укреплению сплоченности и единства свободных равноправных народов. С этими методологически обоснованными выводами, имеющими принципиальное значение, следует полностью согласиться. Всесторонний расцвет и постепенное неуклонное сближение наций действуют в условиях социализма одновременно и неразрывно. Между обеими тенденциями существует глубокая органическая связь и взаимообусловленность. Всесторонний расцвет наций возможен только на основе сближения взаимопомощи, интернационального единства. Сближение наций, в свою очередь, возможно лишь на основе всестороннего и беспре-

⁸ «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик», стр. 18.

пятственного развития каждого народа. В своей практической политике, осуществляя научное руководство социальными процессами, коммунистическая партия опирается на глубокое знание объективных закономерностей социализма. «В истекшие годы под руководством партии,— говорится в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии,— были сделаны новые шаги по пути всестороннего развития каждой из братских советских республик, по пути дальнейшего постепенного сближения наций и народностей нашей страны»⁹.

В монографии последовательно рассматриваются экономические основы развития и сближения социалистических наций и народностей, проблемы национально-государственного строительства, взаимодействия и взаимообогащения социалистических национальных культур. На большом практическом материале из жизни многих наций и народностей страны показаны процессы становления и утверждения новых социалистических национальных отношений во всех сферах общественной жизни. Большой интерес, в частности, представляет анализ деятельности коммунистической партии по осуществлению государственного сотрудничества советских народов.

Авторы показывают, что образование СССР явилось непосредственным продолжением дела великого Октября, революционных преобразований в масштабе всей страны.

Содержательно и остро написаны главы о закономерностях и особенностях развития социалистической культуры. Раскрывая диалектику содержания и формы национальной культуры, авторы показывают, что процесс неуклонного сближения и взаимодействия культур социалистических наций ведет к их взаимному обогащению, «к росту многообразия жанров, стилей, различных выразительных средств. Высшие достижения культуры каждой нации вместе с тем становятся достоянием других наций. А поскольку в их многообразии все большее место занимают интернациональные элементы, то каждая национальная культура становится вместе с тем и интернациональной».

Важнейшим результатом построения социализма, победы новых общественных отношений является возникновение и развитие новой исторической общности людей —

советского народа. Эта общность сформировалась на базе общественной собственности на средства производства, единства экономической и социально-политической структуры и культурной жизни, марксистско-ленинской идеологии, коммунистических идеалов рабочего класса. Сложилась и стала достоянием всех социалистических наций и народностей такие замечательные черты советского человека, как преданность делу коммунизма, социалистический патриотизм и интернационализм, высокая трудовая и общественно-политическая активность, непримиримость к эксплуатации, угнетению, национальным и расовым предрассудкам, классовая солидарность с трудящимися всех стран.

Авторы не ограничивают рассмотрение проблемы национальных отношений периодом строительства социализма. Книга тесно связана с современностью. В ней в соответствии с решениями XXIV съезда КПСС рассматриваются задачи дальнейшего совершенствования национальных отношений в условиях развитого социалистического общества, создающего коммунизм.

«Партия,— говорил Л. И. Брежнев на XXIV съезде КПСС,— и впредь будет укреплять Союз Советских Социалистических Республик, последовательно осуществляя ленинский курс на расцвет социалистических наций и их постепенное сближение. Партия и впредь будет воспитывать всех трудящихся в духе социалистического интернационализма, непримиримости к проявлениям национализма и шовинизма, национальной ограниченности и кичливости в какой бы то ни было форме, в духе глубокого уважения ко всем нациям и народностям».

Достоинством работы является попытка авторов выйти за рамки исторических событий одной страны, проанализировать процессы становления и развития социалистических национальных отношений в масштабе мировой социалистической системы.

Большое место в книге уделено разоблачению и критике буржуазного национализма, его различных форм и проявлений. Буржуазный национализм занимает все большее место в идеологической и политической борьбе, становится одним из ведущих направлений антикоммунизма.

В работе дается обстоятельная, научно аргументированная критика как традиционных направлений буржуазного национализма (расизм, шовинизм, космополитизм), так

⁹ «Материалы XXIV съезда КПСС». М. 1971, стр. 76.

и получившего особое развитие в последние годы стремления представителей буржуазной идеологии всячески разжечь и подогреть национализм в социалистическом мире, разложить и разобщить международное коммунистическое движение. С этой целью буржуазными идеологами используется деятельность ревизионистских, националистических коммунистических и рабочих партиях. Опыт классовой борьбы многократно подтверждает правильность ленинского указания об идейно-политическом родстве, связи, даже тождестве оппортунизма и социал-шовинизма.

В книге показано, что ставка антикоммунистов на «всесильный вирус» национализма, их спекуляции на националистических проявлениях, имеющих место в разных районах мира, опрокидываются неумолимым развитием исторического процесса, неудержимым ростом мирового социализма, революционного и освободительного движения.

Громадные успехи социалистического содружества, где господствуют отношения дружбы и сотрудничества свободных народов, расширение социальной базы мирового революционного процесса, укрепление позиций коммунистического движения, ставшего самой влиятельной политической силой

современности,— все это обеспечивает неодолимое распространение и утверждение идеологии пролетарского интернационализма, его неизбежную полную победу.

Книга уже привлекла внимание широкой научной общественности. Ее с интересом прочтут не только советские читатели. Учитывая, что работа будет переиздаваться, хотелось бы высказать несколько замечаний и пожеланий. Во-первых, необходимо избежать повторений одних и тех же проблем в разных разделах и более строго сосредоточить их в определенных главах. Во-вторых, следует устранить пока еще имеющее место, не полностью совпадающее в разных частях изложение отдельных общих теоретических вопросов. В-третьих, целесообразно в отдельных местах уточнить понятийный аппарат, привести его в строгое соответствие с общими методологическими посылаками, излагаемыми в книге.

Однако сделанные замечания носят частный характер и не могут повлиять на общую высокую оценку рецензируемой работы. Советские и зарубежные читатели с интересом прочтут серьезное и содержательное исследование, посвященное одному из самых сложных и актуальных вопросов современной жизни.

Л. МЕТЕЛИЦА,

кандидат исторических наук.

★

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ

Основы и практика хозяйственной реформы в СССР. Под редакцией Н. Е. Дрогичинского и В. Г. Стародубровского. М. «Экономика». 1971. 520 стр.

Контингент читателей, на которых, согласно издательской аннотации, рассчитана эта книга, не мал: он охватывает работников плановых, финансовых, статистических органов, научных сотрудников, преподавателей и аспирантов, партийный и хозяйственный актив. Однако освещаемые в книге вопросы привлекают живейшее внимание еще более широких кругов: ведь несомненный успех экономической реформы и ее трудности, возможности новой системы хозяйствования и ее нерешенные проблемы — все это интересует всех и каждого.

Работа, написанная коллективом авторов, большинство которых является сотрудниками одного из отделов Госплана СССР, непосредственно ведающего вопросами хозяйственной реформы, отличается от многочисленных предыдущих публикаций на ту же тему своим комплексным характером.

Перед нами, в сущности, первая попытка всесторонне осветить ход реформы и формирование ее хозяйственного механизма.

Читатель находит здесь квалифицированный обзор главных направлений совершенствования системы управления экономикой, насыщенный богатым фактическим материалом, анализ основных мероприятий по введению новых методов хозяйствования.

В рамках рецензии нет возможности разбирать отдельные главы коллективной монографии, которые, естественно, различаются по своему научному уровню, обилию конкретных данных и даже по стилю. Можно, однако, попытаться дать представление об исходных позициях авторского коллектива, определяющих направление всей работы в целом.

В монографии подытожен опыт реформы, накопленный в течение восьмой пятилетки.

И хотя рецензируемая книга была написана еще до XXIV съезда КПСС, ее содержание служит убедительной иллюстрацией к той оценке реформы, ее итогов и перспектив, которая дана съездом.

Основополагающие принципы новой системы хозяйствования можно было бы назвать, используя выражение Маркса, «анатомией» реформы. От понимания этой анатомии, принципиальных основ реформы, зависит в решающей мере правильный подход к рассмотрению ее отдельных проблем, определение перспектив ее развития.

Важно иметь отчетливое представление не только о практическом, но и о теоретическом значении процесса совершенствования планового управления социалистической экономикой, занимающего столь важное место в экономической политике партии на современном этапе. Процесс этот чрезвычайно наглядно показывает, что в развитом социалистическом обществе экономическая практика и теория поднимаются «на порядок выше», как сказали бы математики. Отсюда следует, что жизнь предъявляет новые требования и вместе с тем дает новый импульс как практике хозяйствования, так и экономической теории.

В книге последовательно проводится мысль о том, что экономическая реформа продиктована назревшими потребностями жизни, что ей присущ комплексный, системный характер, что она должна охватить все сферы и все стороны планового управления социалистической экономикой. Вместе с тем в монографии дается высокая оценка большой теоретической работе, предшествовавшей хозяйственной реформе и позволившей сделать научно обоснованные выводы из требований практики. Справедливо напоминание о том, что оживленная дискуссия, которая велась среди экономистов и хозяйственников около десяти лет, помогла разработать программу совершенствования системы управления социалистической экономикой.

Хотя внедрение новых методов хозяйствования направлено главным образом на стимулирование коллективной и личной заинтересованности трудящихся, оно исходит из приоритета общественных нужд. Взаимодействие экономических интересов в социалистическом обществе не означает отсутствия противоречий между общественным, коллективным и личным. «Такие противоречия возникают из-за специфических личных или коллективных интересов, но они не но-

сят антагонистического характера, а являются продуктом сложных процессов, происходящих в развитии социалистического общества».

Гармонизация трех видов экономической заинтересованности достигается на основе ленинского принципа демократического централизма. Этот принцип требует сочетания централизованного планомерного управления экономикой с широкой инициативой коллективов предприятий. Мероприятия по совершенствованию хозяйственного механизма создают предпосылки для всемерного развития демократических основ управления при укреплении и совершенствовании централизованного государственного руководства экономикой. В этих мероприятиях находит свое воплощение «марксистско-ленинское положение о взаимодействии экономики и политики, руководящая роль плана в осуществлении производства и распределения материальных благ при более полном использовании товарно-денежной формы связей между производителями и потребителями».

В монографии читатель найдет интересные соображения о роли товарно-денежных отношений, значении закона стоимости, природе рынка в плановой социалистической экономике. Этот круг вопросов имеет большое практическое значение в процессе совершенствования хозяйственного механизма. Вместе с тем нельзя забывать о том, что эти проблемы занимают немаловажное место в идеологической борьбе нашего времени.

Буржуазные идеологи, антикоммунистическая пропаганда, в особенности в связи с хозяйственными реформами в СССР и других странах социалистического содружества, стремятся внушить легковерным людям, что товарное производство и товарно-денежные отношения составляют монополию капиталистической экономики, ввиду чего их использование при социализме неправомерно, противозаконно. На этом шатком основании экономистам-марксистам ставилось в упрек, что они якобы «приклеивают эпитет «социалистический» к стоимостным категориям, выражающим товарно-денежные отношения,— таким, как цена, прибыль и т. д.

В фарватере буржуазной идеологии плывут и враги марксизма из лагеря ревизионистов как правооппортунистического, так и левацко-авантюристического толка. Считая, что товарно-денежные отношения неот-

делимы от капитализма, правые ревизионисты требуют отказа от плана, ликвидации общественной собственности, возврата к неограниченному господству рыночной стихии, между тем как маоисты отвергают хозрасчет, принцип материальной заинтересованности, проповедают идеал убогого «казарменного коммунизма». И тот и другой курс непримиримо враждебен марксизму-ленинизму.

Рассматривая роль товарно-денежного механизма в осуществлении хозяйственной реформы, авторы монографии подчеркивают, что планомерность и государственное регулирование товарно-денежных отношений составляют главные условия их использования в практике коммунистического строительства. Социалистическое государство, выступая организатором всей экономической жизни и осуществляя контроль над мерой труда и мерой потребления, «планомерно использует товарно-денежную форму связей с их стоимостными категориями в соответствии с новым социальным содержанием и новой ролью в целях создания материально-технической базы коммунизма».

В книге последовательно раскрывается объективно обусловленное единство плана и товарно-денежных отношений в социалистической экономике. «В условиях товарного характера производства при социализме отличительной чертой и принципиальной особенностью народнохозяйственного планирования является наличие условий для обеспечения неразрывного единства натуральных и стоимостных пропорций, их комплексная взаимосвязь и взаимозависимость». Единство натуральных и стоимостных пропорций вытекает из того, что на современном уровне развития производства и характера труда «товарно-денежные отношения имманентны социалистическому способу производства». Противопоставление их может привести к субъективному подходу в выборе форм и методов управления хозяйством.

Как принципиальные основы хозяйственной реформы, так и практика ее осуществления раскрыли полную несостоятельность бытовавших в экономической литературе взглядов на товарное производство и закон стоимости как на рудимент капитализма в социалистической экономике. Отмечая, что в системе экономических законов социализма важное место занимает закон стоимости, авторы обращают внимание на то, что роль этого закона в практике хозяйствования

проявляется лишь в его взаимодействии со всеми другими экономическими законами социализма.

Значение закона стоимости для практики народнохозяйственного планирования определяется тем, что его использование «обеспечивает ориентацию хозяйства через систему экономического стимулирования на рациональное использование затрат живого и овеществленного труда и создает условия для учета стоимостных пропорций плана». Закон стоимости стимулирует сокращение индивидуальных издержек производства и обращения, поскольку за основу формирования цен и взаимоотношений производителя с потребителем принимаются общественно необходимые затраты труда. Учет общественно необходимых затрат труда создает условия для осуществления принципа эквивалентности во взаимоотношениях между предприятиями.

Как практика новой системы планирования и экономического стимулирования производства, так и основополагающие принципы хозяйственной реформы заставляют решительно отвергнуть встречающиеся иногда в экономической литературе попытки заменить количественно определенный принцип эквивалентности расплывчатым принципом возмездности. Не находит подтверждения и другое подчас высказываемое положение: дескать, принцип эквивалентности несовместим с определением цен общественно необходимыми затратами труда. В монографии показано, что определение цен в соответствии не с индивидуальными, а с общественно необходимыми затратами труда не только не означает отказа от принципа эквивалентности, но, наоборот, является существенным условием реализации этого принципа. Вместе с тем разъясняется, что лишь при соблюдении эквивалентности может быть достигнута последовательная реализация личных и коллективных экономических интересов, эффективность материального стимулирования.

Убедительной критике подвергают авторы появившиеся в последнее время «концепции, трактующие постадийное использование товарно-денежных отношений в планомерной деятельности государства, а также концепции, дифференцирующие формы связи в производстве через механизм плана как основные (прямые) связи и через механизм товарно-денежных отношений как дополнительные (косвенные) связи».

Первая из этих концепций утверждает, что на стадии формирования народнохозяйственных пропорций может быть принята любая структура производства и потребления вне какой-либо связи с механизмом товарно-денежных отношений. Значение товарно-денежной формы связей признается лишь для второй стадии — непосредственной реализации установленных пропорций плана.

Что же касается концепции основных и дополнительных связей, то, согласно ей, сам процесс народнохозяйственного планирования (а следовательно, и определения через план взаимоотношений между производителями и потребителями) приводит к формированию основных связей, в то время как отношения, возникающие при купле-продаже рассматриваются в качестве дополнительных связей.

«Нетрудно заметить, — пишут авторы, — что как в первой, так и во второй концепции проявляется недооценка в планировании объективных условий осуществления производства и распределительных отношений». И общий вывод из критического разбора обеих концепций гласит: «Практика народнохозяйственного планирования не дает оснований для искусственного конструирования так называемых основных и дополнительных связей в хозяйстве, толкованию плана как формы основных связей, а рынка как сферы проявления дополнительных связей, к противопоставлению плана рынку, и наоборот».

Анализ опыта хозяйственной реформы раскрывает роль экономического стимулирования как одного из важнейших сторон совершенствования хозяйственного механизма. Исследование конкретных форм экономического стимулирования предполагает выяснение его места в социалистической экономике.

Касаясь конкретных задач экономического стимулирования, авторы разделяют мнение многих хозяйственников и научных работников о необходимости усиления роли прибыли как оценочного показателя деятельности предприятия и как фондообразующего фактора. Они пишут: «Экономические формы управления в условиях реформы призваны обеспечить необходимые предпосылки к тому, чтобы прибыль предприятий объективно отражала результаты

их хозяйственной деятельности». Далее они высказывают мнение о том, что «сложившиеся пропорции распределения прибыли предприятий, переведенных на новую систему хозяйствования, недостаточно отражают рациональные количественные соотношения между отдельными формами распределения прибыли. Велика та часть прибыли, которая направляется в бюджет в виде свободного остатка».

Естественно, большое место в коллективном труде занимают проблемы дальнейшего развития реформы. Можно было бы назвать немало направлений, в которых необходимо развивать принципы реформы. В этой связи справедливо замечание, что причиной, осложняющей развитие реформы, «является отставание главным образом трех ее элементов: совершенствования планирования, материально-технического снабжения и организации крупных хозрасчетных производственных объединений». Действенные пути по устранению отставания этих трех элементов хозяйственной реформы разработаны XXIV съездом КПСС.

Несомненный интерес представляют соображения о той роли, которую в ходе реализации экономической реформы и ее дальнейшего развития играет совершенствование хозяйственных связей. Количество экономических связей быстро увеличивается с ростом объема производства. Считается, что количество экономических связей возрастает как квадрат числа, определяющего, во сколько раз возрос объем производства. Иными словами, если объем производства увеличится в шесть раз, то количество экономических связей при неизменных условиях организации управления возрастет в тридцать шесть раз. Отсюда вытекает чрезвычайная важность рациональных экономических связей.

Коллективный труд об основах и опыте хозяйственной реформы служит наглядным примером плодотворности тесной связи теории с практикой при исследовании экономических проблем социализма. Читатель найдет в нем богатую пищу для размышлений по самым коренным вопросам нашей экономической действительности.

Л. ЛЕОНТЬЕВ,
член-корреспондент АН СССР.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

АЛЕКСАНДР ЧАК. Кленовый лист. Рига. «Лиезма». 1972. 112 стр.

Имя талантливого латышского писателя Александра Чака, пожалуй, мало известно широкому читателю. Только любители поэзии помнят две книги его стихов, вышедшие на русском языке: «На высоком берегу» («Советский писатель», 1949) и «Сердце на тротуаре» («Художественная литература», 1966). Стихи переводили Л. Мартынов, М. Голодный, Вл. Невский и другие.

Александр Чак прожил короткую жизнь (1901—1950). Но эта жизнь была насыщена событиями большого гражданского звучания, активным участием во всем происходящем вокруг, серьезными творческими поисками.

«Кленовый лист» — сборник рассказов о детях. О детях для взрослых, которых автор возвращает в далекие годы детства, напоминая о множестве забытых подробностей, о трепетной радости ежечасных открытий.

Герои А. Чака — городские дети незажиточных слоев буржуазной Латвии. Не очень счастливые, запертые в пределах дворничьей, комнаты или двора. В их жизни обычно не происходит значительных внешне событий, но мир вокруг все-таки полон и напряжен, насыщен теми неистовыми перепадами от счастья к бурному отчаянию и наоборот, которые, наверное, знакомы каждому детству.

А. Чак не позволяет себе нравоучений. В рассказах мы не найдем ни одной назидательной ноты. Но после чтения появляется вдруг настоятельная потребность быть и добрее и внимательнее к людям рядом: не обидеть, не причинить боли, не испортить радости...

Перед нами проходит галерея детских характеров. Сюжет чаще всего строится так, что читатель приобщается к происходящему, начинает разделять все бесхитростные радости и невзгоды маленького героя.

Дети А. Чака живут в реальной, отнюдь не стерильной жизни. Маленький Андрис ждет брата, чтобы идти покупать елку. Ожидание это тревожно и беспокойно. «А вдруг большой Янис не придет домой вовремя. Явится только ночью, пьяный? Тогда что? Или с ним что-нибудь случится?»

От этих мыслей Андрису становится жарко, на лбу у него выступают три капли пота» («Большая елка»). В жестоком, холодном и голодном мире, лишенном самых примитивных радостей, живут дети дворничихи («Кленовый лист»). Умирает друг маленького Алекса господин Кафел («Господин Кафел»). Умирает «за правду», избитый, искалеченный, очевидно, в полиции.

Писатель умеет передать то причудливое переплетение грубой реальности и фантастических мзчтаний, таинственного ожидания чуда, которые бывают у человека только в детстве. Передает это психологически достоверно, с большим художественным тактом. И хотя детские горести обычно недолговечны, как хрупок и сложен мир маленького человека, какого бережного участия и доброты требует он, чтобы ребенок вырос нравственно здоровым, сердечным и справедливым. А. Чак напоминает нам об этом еще раз...

Книга «Кленовый лист» может показаться чуть старомодной. Это понятно. Рассказы были написаны почти сорок лет назад. Впервые они вышли в Латвии в 1938 году. Но А. Чак рассказал нам о детстве так, как может это сделать человек, прошедший большой жизненный путь, повидавший человеческое горе и узнавший истинные радости, человек необычайно отзывчивого и щедрого сердца.

Г. Петрова.

★

ЛЕОНИД ИВАНОВ. Уроки. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1972. 240 стр.

Герои новой книги очерков Л. Иванова «Уроки» — директора совхозов, агрономы, телятницы и пастухи. Л. Иванов знает их близко, наблюдает за их жизнью и трудом много лет, и не только заинтересованно наблюдает, а действительно, активно вмешивается в их дела, обобщает их опыт, внимательно анализирует события, факты, цифры. Автор сам полноправный герой этих очерков, герой пытливого мысли, поисков, творческих решений. Обращается ли Л. Иванов к событиям конца 30-х годов или середины 50-х или к делам сегодняшним, мы чувст-

вuem, что они им пережиты, что черпает он факты не из вторых рук.

Л. Иванов следует лучшим традициям советского очеркизма, он убежденный последователь В. Овечкина, который делом отстаивал право литературы не иллюстрировать готовые решения, а мыслить, активно вмешиваться в жизнь.

В очерке «Мечты Григория Ефремова» автор неторопливо рассказывает о людях знаменитого совхоза Курганской области «Красная звезда» — о директоре Г. Ефремове, агрономе Б. Синеве, зоотехнике Т. Леденевой, о свинарках Т. Гуляевой и С. Сальниковой. Прежде всего писатель обратил внимание на стиль и организацию руководства: никакой заседательской суеты, действенные меры по развитию инициативы каждого работающего, воспитание способности экспериментировать.

Но основную причину успеха Л. Иванов видит в том, что люди в совхозе по-настоящему любят свое дело, любят землю. Это качество отнюдь не беспредметно, оно «подкрепляется» целой системой практических мер, организационных и воспитательных. Именно воспитательных, подчеркивает автор книги. Тут не забывают о моральных поощрениях, «здесь и парторг занимается своим кровным делом» — расстановкой коммунистов, соревнованием, печатью, и рабочком активно действует в тесном контакте с парткомом.

Еще один рассказ — о Северо-Любинском племенном совхозе, которым руководит К. Никифоров (вот уже более тридцати лет). Снова мы восхищаемся: какие замечательные люди работают в этом совхозе, как любят они свое дело, как много сумели и успели сделать! Но очерк назван «Уроки», и следует задуматься над тем, о каких уроках говорит Л. Иванов. В 1966 году писатель приехал в совхоз, чтобы узнать, за что его коллектив получил переходящее знамя. Но, к своему удивлению, обнаружил, что сам директор совхоза Никифоров не испытывает удовлетворения. Верно, совхоз в этом году достиг высоких показателей по сравнению с другими совхозами, но отнюдь не со своими же показателями пятнадцатилетней давности. «Ты вот так и напиши,— потребовал Никифоров от Иванова,— северолюбинцы все еще сами себя догоняют и догнать не могут! Это же беда! Об этом не говорить, а кричать надо во все горло!» Что случилось? «Дело в том,— пишет Л. Иванов,— что сильный ущерб молочному животноводству Сибири нанесли так называемые волевые установки. В широких масштабах проводились эксперименты по беспривязному содержанию коров с доением их на площадках типа «елочка» и «карусель». Но особенно большой ущерб животноводству был нанесен уничтожением многолетних трав...»

Поучительный урок! То, что нарушается в год-два, восстанавливается в десятилетие. И самое примечательное: если вчитаться в неторопливые ■ доказательные выкладки

передовых людей совхозов в изложении Л. Иванова, то они, по сути дела, касаются и других уроков, которые ныне мы не имеем права не учитывать.

Интересно проявляются герои очерков Л. Иванова, когда он касается их планов, претензий, мечты. Получается так, что их личные планы связаны с задачами подъема сельскохозяйственного производства в стране. Люди, как правило, берут обязательства, которые не сулят им личной выгоды, но зато непременно держат в напряжении, требуют новых усилий, беспокойных поисков оптимальных решений. И достигнув весьма ощутимых результатов, они же обнаруживают, что сделано еще далеко не все.

Книга Л. Иванова не только обобщает многолетний опыт передовых хозяйств Сибири, пусть в чем-то и спорный, главное — она будит творческую, ищущую мысль сельского труженика, позволяет осознанно и с пользой учитывать уроки нашей истории.

Н. Яновский.

Новосибирск.

★

ВЛАДИМИР ГУСЕВ. Горизонты свободы. Повесть о Симоне Боливаре. М. Политиздат. 1972. 383 стр.

На обложке этой книги стоит знак серии «Пламенные революционеры», читателю, несомненно, знакомый. В этой серии за последние несколько лет (серия существует с 1968 года) вышло немало книг того рода, что не залеживаются на полках в библиотеках, их с равным интересом читают люди молодые и пожилые. Назовем хотя бы такие книги, как Э. Миндлина «Не дом, но мир» (о Коллонтай), В. Осипова «Река рождается ручьями» (об Александре Ульянове), В. Аксенова «Любовь к электричеству» (о Красине), В. Долгого «Книга о счастливым человеке» (о Баумане).

В. Гусев поставил перед собой нелегкую задачу — создать психологический портрет Симона Боливара, руководителя и героя борьбы народов Латинской Америки за независимость, и в то же время прочертить линию его необычайно динамичной, насыщенной событиями жизни. Повествование ведется частью от лица автора, частью от лица героя, его соратников, родных, друзей и даже недругов.

Читатель знакомится с героем в пору его юности, в пору горячего стремления продолжить начатое французской революцией и преданное Наполеоном дело борьбы за свободу и лучшее устройство общества. Его родина, Венесуэла, готова к борьбе за свободу. Но за какую свободу? За свободу от испанского владычества, колониальной власти. Но готова ли она к борьбе против монархии, за республиканские институты правления? Какую программу переустройства жизни предложить народу, который не имел опыта самоуправления? К чему приведет начатая в этих условиях борьба, не станет

ли страна ареной бессмысленных кровопролитий и преступлений под флагом свободы? Эти вопросы задают себе молодые революционеры, цвет нации, просвещенные юноши — Боливар, его брат Хуан Висенте, Пабло, Алонсо, Франсиско.

Так с самого начала мы входим в сложный мир героя, становимся свидетелями напряженных поисков методов и средств революционной борьбы. Видим, как постепенно нарастает в душе героя «жажда действия, действия, действия» — революционного действия, без которого немислимо завоевание свободы. Видим, как последовательно воплощается в жизнь эта «философия действия». Писатель не обходит стороной и трагические моменты ее воплощения. В этом отношении характерна сцена осуждения патриотами молодой республики Венесуэла генерала Миранды, старого революционера, победоносного полководца французских революционных войн, проявившего непростительную бездеятельность в условиях, когда мятежи против республики угрожали венесуэльской свободе. «Я не мог способствовать усилению кровопролития в этой стране», — говорит Миранда, объясняя, почему он сдавал мятежникам города без боя. Но прояви он большую твердость по отношению к врагу, крови было бы во много раз меньше. Из этой правды исходил Боливар, потребовавший ареста генерала.

В. Гусев стремится показать полководческое искусство Болизара, проявившееся в сражениях, в тяжелых походах, в переходе через неприступные Анды. Вот он в зените славы — провозглашен Освободителем Венесуэлы, диктатором с неограниченными правами, его именем названа новая республика Боливия, национальные конгрессы других латиноамериканских стран призывают его возглавить борьбу с Испанией. Недруги обвиняют Болизара в бонапартизме, монархистских притязаниях; однако после изгнания Испании с континента Боливар посылает конгрессам торжественные отставки со всех своих постов.

Читатель расстается с Боливаром, тяжело больным, умирающим на чужбине. Изгнанный конгрессами из Венесуэлы, Перу, Эквадора и Колумбии, где верх взяли «рыцари эгоизма, корысти, тщеславия», он писал в своем последнем манифесте, посвященном делам своей жизни: «Колумбийцы! В предсмертный час я думаю о благе родины. Если моя смерть будет способствовать прекращению раздоров и укреплению единства, я без ропота сойду в могилу». Другьям, собравшимся у его последнего ложа, он говорит: «Поверьте, исчезнет все обо мне... и останется лишь одно: он шел на борьбу за свободу».

Думается, что книга В. Гусева будет с интересом встречена читателем.

В. Савченко.

★

МАРИУС ПЕТИПА. Материалы. Воспоминания. Статьи. Л. «Искусство». 1971. 447 стр.

«Я всегда был сторонником реформ, я за то, чтобы продвигать достойных молодых артистов, но не тех, кто бездарен!» «Ужасно видеть, как управляется в настоящее время балет».

...Так говорил в начале века Мариус Петипа, великий мастер балета, нашедший в России вторую родину. Его мемуары, дневники, письма впервые опубликованы столь полно и прокомментированы столь тщательно в новой книге материалов, воспоминаний и статей.

Петипа, его личность, его человеческие достоинства и слабости (ибо ничто человеческое не было чуждо этому «магу балетной сцены»), его художественные идеалы резко и характеристично запечатлелись в высказываниях мастера, в автобиографических заметках, подводящих итог семи десятилетиям трудов и творчества, в его кратких деловых или дружеских посланиях современникам и коллегам, в немногочисленных интервью журналистам тех времен. Из подобных документальных свидетельств и складывается достоверный портрет балетмейстера.

Главная и самая значительная черта «портрета» — безмерная, всепроникающая преданность профессии. Но ни в дневниках Петипа, ни в его записках не увидишь громких слов и клятвенных заверений в симпатиях к балету. Это сдержанная, немногословная хроника каждого прошедшего дня, к концу — бесстрастная по внешности фиксация неотступных примет старости. Меркнет зрение, надвигаются недуги, приходит бессонница и, невзирая на многолюдную семью, приходит одиночество и затерянность среди людей. Из строк будничных и скупых возникает трагическая картина старости. Не много остается до девяностолетнего юбилея. И силы не те. Чинovníки из конторы императорских театров — люди бездарные и чуждые творческому началу — чинят мелкие обиды и большие препятствия работе. И все чаще, подобно заклинаниям, перемежаются дневниковые записи обещанием навеки протиститься с балетом, никогда ничего не ставить, не приходиться больше на репетиции. Но все зарок нарушены — Петипа продолжает и ставить и репетировать, творить во славу и во благо русской сцены.

Он не ждет поэтических вдохновений и не изображает себя возвышенным служителем муз. Нет, он «просто работает» — удивительно много и результативно, осуществив за свою долгую и, в общем-то, счастливую профессиональную жизнь семьдесят шесть балетов, не считая танцев в тридцати семи операх. Именно строжайший «рабочий режим» и создавал оптимальные условия для появления шедевров уровня «Баядерки», «Спящей красавицы», двух актов «Лебединого озера», «Дон Кихота», «Корсара» и многих иных вдохновенных созданий мастера.

Помещенные в книге подробные сценические планы балетов Чайковского «Щелкунчик» и «Спящая красавица» позволяют непосредственно соприкоснуться с процессом становления и вызревания замысла, увидеть, каковы взаимоотношения Петипа с музыкой и драматургией. Не меньший интерес представляют рисунки и чертежи проектов ряда утраченных ныне балетов Петипа. Эти эскизы сопровождаются живыми, своеобразными «расшифровками» старейшего советского балетмейстера Федора Лопухова. Читая его заметки, знакомясь со статьями деятелей мирового балетного театра от Леонида Якобсона до Тамары Карсавиной, от Джорджа Баланчина до Константина Сергеева, от Брониславы Нижинской до Фредерика Аштона, в полной мере оцениваешь международное значение наследия Петипа. Книга, увлекательная и многообразная, напоминает о том, что еще не поздно восстановить по свидетельствам очевидцев целый ряд забытых творений Петипа, которые и сегодня могут составить гордость нашей балетной сцены.

Е. Луцкая.

★

П. Н. БЕРКОВ. История советского библиофильства (1917—1967). М. «Книга». 1971. 256 стр.

Не беремся утверждать, что эта книга предназначена для так называемого массового читателя, — она адресована библиофилам, книголюбам, друзьям книги. Их немало в нашей стране, которую по справедливости называют «страной читателей». Книгой П. Н. Беркова, несомненно, заинтересуется историк советской культуры, естественной и законной частью которой является библиофильство, социолог или психолог, занимающийся проблемой книги и чтения.

По верному замечанию А. А. Сидорова, написавшего предисловие к книге П. Н. Беркова, автор ее, известный историк литературы, член-корреспондент АН СССР, университетский профессор, был не только книголюб, но именно философ книголюбия. Его заслугой является подход к библиофильству как к общественному явлению. В этом смысле особый интерес представляет первая глава книги, в которой дается общая характеристика библиофильства советского периода. Уже здесь выявляется в самом общем виде связь библио-

фильства с событиями гражданской истории нашей страны. Стремление проследить эту связь, объяснить развитие библиофильства, опираясь на факты более общего значения, пронизывает всю книгу, определяет и само ее построение.

Книга П. Н. Беркова необычайно «материальна». Собранные по крупницам факты дают в своей совокупности широкую картину истории советского библиофильства, рассказывают о деятельности таких организаций, как Русское общество друзей книги, Ленинградское общество библиофилов, работавшие в 20-е годы, о современных — секции коллекционеров при Ленинградском Доме ученых, Клубе любителей книги при ЦДРИ, о многих других организациях, столичных и периферийных.

Многие из приведенных фактов имеют глубокий моральный смысл. Перед нами описание пяти пригласительных билетов — размеры, сорт бумаги, оформление, текст: «Заседание памяти П. А. Шиллинговского», «Выставка произведений В. М. Конашевича», «Программа заседания памяти М. Н. Нестерова»... Обычные для ученого труда документальные источники? Обычные. Если бы не их датировка — 1942, 1943 годы, если бы они, эти пригласительные билеты, не были напечатаны в блокадном Ленинграде. «Одно описание и указание дат... — пишет П. Н. Берков, — достаточно для того, чтобы судить о бессмертной, неистребимой любви к книге и книжной графике у... истощенных, полуживых людей».

П. Н. Беркову удалось воссоздать не только внешнюю историю библиофильства, но и ту высокоинтеллектуальную и дружескую атмосферу бескорыстного служения просвещению, которая характеризует деятельность советских библиофильских организаций.

Во вступительной заметке к своему труду П. Н. Берков писал, что в центре его внимания были не отдельные библиофилы, а библиофильство в целом. Тем не менее вполне уместными оказались в этой книге краткие, но выразительные характеристики крупнейших библиофилов разных поколений: Э. Ф. Голлербаха, Н. М. Сомова, В. А. Десницкого, В. Г. Лидина, А. К. Тарасенкова, А. Б. Лоева и многих других. К этим именам благодарные читатели книги П. Н. Беркова, несомненно, присоединят имя ее автора.

Р. Помирчий.

Ленинград.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

А. Азаров и В. Кудрявцев. Забудь свое имя. Очерк. 184 стр. Цена 27 к.

М. Белодед. Монополия «Филиппс». («Владыки капиталистического мира») 64 стр. Цена 10 к.

В. Косьяненко. Завоевание экономической независимости СССР (1917—1940 гг.). К 50-летию образования СССР. 336 стр. Цена 1 р. 56 к.

П. Московский и В. Семенов. Ленин в Швеции. 168 стр. Цена 72 к.

Советско-чехословацкие отношения. 1945—1960 гг. Документы и материалы. Министерство иностранных дел СССР — Министерство иностранных дел ЧССР. 556 стр. Цена 96 к.

С. Эпштейн. Индустриальная социология в США. 232 стр. Цена 35 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Б. Галанов. Живопись словом. Человек. Пейзаж. Вещь. 184 стр. Цена 37 к.

А. Граши. Колокол леса. Стихи и поэмы. Перевод с армянского. 183 стр. Цена 45 к.

И. Гринберг. Творчество Николая Тихонова. 480 стр. Цена 1 р. 29 к.

И. Ле. Сокровища земли. Рассказы и воспоминания. Перевод с украинского. 334 стр. Цена 76 к.

Л. Левин. Владимир Луговской. Книга о поэте. 407 стр. Цена 98 к.

Ф. Мехти. Простые строки. Стихи и поэма. Перевод с азербайджанского. 103 стр. Цена 34 к.

Р. Ребан. Шиповник на каменном берегу. Рассказы и повести. 272 стр. Цена 55 к.

В. Реймерис. Полнолуние. Стихи. Перевод с литовского. 110 стр. Цена 32 к.

Ю. Ряшенцев. Часы над переулком. Стихи. 103 стр. Цена 31 к.

В. Соснора. Аист. Стихи. 78 стр. Цена 20 к.

И. Сочивец. Коса на камень. Юмористические рассказы. Перевод с украинского. 271 стр. Цена 28 к.

А. Старцев. От Уитмена до Хемингуэя. Очерки творчества. 407 стр. Цена 83 к.

А. Сурнов. После войны. Стихи 1945—1970 гг. 271 стр. Цена 1 р. 18 к.

Х. Теунов. Род Шегемоковых. Романы и повести. Перевод с кабардинского. 608 стр. Цена 1 р. 5 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Х. М. Аргедас. Глубокие реки. Роман. Перевод с испанского. 256 стр. Цена 72 к.

Э. Верхарн. Стихотворения. Зори. **М. Метерлинк.** Пьесы. Перевод с французского. Вступительная статья Л. Андреева. («Библиотека всемирной литературы») 607 стр. Цена 1 р. 71 к.

Э. и Ж. Гонкур. Жермини Лассерте.— Братья Земчано.— Актриса Фостен. Перевод с французского. («Библиотека всемирной литературы») 494 стр. Цена 1 р. 55 к.

Десять вечеров Японские народные сказки. Перевод и предисловие В. Марковой. 366 стр. Цена 73 к.

Б. Корнилов. Продолжение жизни. Стихотворения и поэмы. Предисловие О. Берггольц. 352 стр. Цена 1 р. 45 к.

А. Крон. Избранное. 686 стр. Цена 1 р. 37 к.

С. Лагерлёф. Перстень Лёвеншёльд.— Шарлотта Лёвеншёльд.— Анна Сверд. Перевод со шведского. 591 стр. Цена 1 р. 45 к.

Д. Мулдагалиев. Стихотворения и поэмы. Перевод с казахского. 223 стр. Цена 69 к.

Р. Тесноглиден. Лиса-плутовка. Повесть. Перевод с чешского. 253 стр. Цена 1 р. 75 к.

И. Эренбург. Стихотворения. Предисловие В. Слуцкого. 215 стр. Цена 52 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

П. Боцу. Избранная лирика. Перевод с молдавского. Предисловие В. Солоухина. 32 стр. Цена 11 к.

К. Ваншенкин. Прикосновение. Стихи о женщине, о любви. 233 стр. Цена 53 к.

С. Дрофенко. Избранная лирика. Предисловие О. Дмитриева и Н. Злотникова. 31 стр. Цена 11 к.

М. Каллаган. Любимая и потерянная. Роман. Перевод с английского. 304 стр. Цена 87 к.

В. Петров. Горечь таежных ягод. Повести. 303 стр. Цена 62 к.

Ю. Пожера. Мой суд. Повесть. Перевод с литовского Ф. Дектора. Послесловие М. Слуцкиса. 176 стр. Цена 22 к.

И. Триус. Жить стоит. Документально-художественная повесть. 158 стр. Цена 20 к.

В. Устьянцев. По ту сторону.— О чем рассказала кинолента. Документальные повести. 176 стр. Цена 22 к.

М. Шагинян. Четыре урока у Ленина. 285 стр. Цена 63 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Э. Выгодская. Опасный беглец. Повесть. 255 стр. Цена 56 к.

В. Гроссман. Жизнь. Рассказы. 62 стр. Цена 13 к.

Е. Ильина. Четвертая высота. Повесть. 271 стр. Цена 71 к.

Г. Кулинов. Повесть о Демидке и медной копейке. Историческая повесть. 111 стр. Цена 29 к.

Ф. Моуэт. Проклятие могилы вининга. Повесть. Перевод с английского 144 стр. Цена 41 к.

А. Насибов. Возмездие.— Тайник на Эльбе. Романы. («Библиотека приключений и научной фантастики») 640 стр. Цена 1 р. 19 к.

В. Огнев. Зеленое, красное, зеленое... Повесть. 160 стр. Цена 41 к.

А. Соболев. Грозовая степь. Повесть. 211 стр. Цена 30 к.

А. Якимович. Первая победа. Повесть. 176 стр. Цена 46 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Н. Еселев. Писатели-землепроходцы. Очерки. 224 стр. Цена 48 к.

А. Куторнин. Бурливая Сура. Роман. Перевод с мордовского. 382 стр. Цена 74 к.

С. Мокшин. Семь шагов по земле. Очерки о становлении и развитии советской науки. 1917—1924. 270 стр. Цена 69 к.

А. Першин. Покой нам только снится. Повесть. 286 стр. Цена 65 к.

Плоты плывут. Рассказы писателей Коми. Переводы. 159 стр. Цена 25 к.

Б. Полевой. В конце концов. Нюрнбергские дневники. 239 стр. Цена 80 к.

М. Прудников. Разведчики «Неуловимых». Документальные повести. 288 стр. Цена 67 к.

В. Чачин. «Король» с Арбата. Трилогия. 479 стр. Цена 1 р. 5 к.

«СОВРЕМЕННОСТИ»

Н. Доможанов. В далеком аале. Роман. Перевод с хакасского. Предисловие С. Сартакова. 207 стр. Цена 36 к.

Л. Мартынов. Гиперболы. Стихи. 206 стр. Цена 61 к.

В. Панова. Кружилиха. Роман.— Спутники. Повесть.— Сережа. Нескольких историй из жизни очень маленького мальчика. 512 стр. Цена 1 р. 20 к.

ВОЕНИЗДАТ

А. Боровых. Новая техника, оружие и человек. 88 стр. Цена 12 к.

М. Коробейников. Современный бой и проблемы психологии. 235 стр. Цена 50 к.

М. Костадинова и Р. Найденова. Грозе навстречу. Очерки. Перевод с болгарского. 196 стр. Цена 71 к.

М. Лейн. Устами американцев. Документальный репортаж. Перевод с английского. 184 стр. Цена 50 к.

Ф. Польшин. Боевые маршруты. Мемуары. 391 стр. Цена 92 к.

«ИСКУССТВО»

А. Гуревич. Категория средневековой культуры. 318 стр. Цена 1 р. 56 к.

П. Ершов. Режиссура как практическая психология. 350 стр. Цена 1 р. 17 к.

В. Косточкин. Старым смоленским трактом. («Дороги к прекрасному») 175 стр. Цена 49 к.

Михаил Васильевич Нестеров. 1862—1942. Альбом. Текст и составление В. Никоновой. 30 стр. Цена 3 р. 54 к.

«ПРОГРЕСС»

Г. Джагаров. Птицы против ветра. Избранная лирика. Перевод с болгарского. 198 стр. Цена 74 к.

И. Сенера. Чешская рапсодия. Роман. Совершенный перевод с чешского. 448 стр. Цена 1 р. 43 к.

«МЫСЛЬ»

Женщины мира в борьбе за социальный прогресс. Сборник статей. 381 стр. Цена 1 р. 72 к.

Научное управление обществом. Сборник статей. Выпуск 6. 408 стр. Цена 1 р. 46 к.

Л. Озеров. Строительство социализма в СССР и международная пролетарская солидарность. 1921—1937 гг. 236 стр. Цена 76 к.

Н. Французова. Исторический метод в научном познании. Вопросы методологии и логики исторического исследования. 303 стр. Цена 99 к.

«ЭКОНОМИКА»

Ю. Архангельский и В. Коноплицкий. Моделирование народного хозяйства. Модели, цены, критерии оптимальности. 134 стр. Цена 42 к.

Г. Гуднов. Социально-экономическое значение научной организации труда. 62 стр. Цена 9 к.

В. Комаров. Экономические проблемы подготовки и использования кадров специалистов. 200 стр. Цена 63 к.

В. Проскуров. Основы обработки планово-экономической информации ЭВМ. 167 стр. Цена 52 к.

Н. Рабин и Н. Римашевская. Основы дифференциации заработной платы и доходов населения. 288 стр. Цена 1 р. 3 к.

«НАУКА»

А. Белых. Управление и самоуправление. Социалистическое управление: сущность и перспективы развития. 209 стр. Цена 73 к.

Е. Блинова. Социально-экономическое положение женщин Италии. 166 стр. Цена 85 к.

Б. Виплер. Искусство древней Греции. 268 стр. Цена 4 р. 9 к.

А. Елистратова. Гоголь и проблемы западноевропейского романа. 304 стр. Цена 1 р. 59 к.

Индийская культура и буддизм. Сборник статей. 279 стр. Цена 1 р. 17 к.

З. Калиничева. Социальная сущность баптизма. 140 стр. Цена 47 к.

Корейское классическое искусство. Сборник статей. 96 стр. Цена 39 к.

Б. Кузнецов. Разум и бытие. Этюды о классическом рационализме и неклассической науке. 288 стр. Цена 1 р. 10 к.

Л. Леонтьев. Роль Ф. Энгельса в формировании и развитии марксистской политической экономики. 527 стр. Цена 2 р. 27 к.

Э. Леонтьева. Искусство и реальность. Критика некоторых буржуазных концепций художественной правды. 238 стр. Цена 82 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам. главного редактора),
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 23/V 1972 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 11/VIII 1972 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,77 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. п. л.)
А 05982. Зак. 1783. Тираж 157.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, пл. Пушкина, 5.

«НОВЫЙ МИР» В 1973 ГОДУ

В 1973 году редакция журнала «НОВЫЙ МИР» предполагает опубликовать следующие произведения:

- Ф. Абрамов** — «Костры осенние», роман;
- Ч. Айтматов** — «Пока вернутся птицы перелетные», повесть;
- В. Аксенов** — «Золотая наша железка», повесть;
- А. Ананьев** — новый роман;
- Г. Бакланов** — «Современная мудрость», роман;
- Г. Березко** — «Дом учителя», роман;
- В. Быков** — новая повесть;
- Г. Владимов** — «А земля пребывает вовеки», роман;
- Н. Воронов** — «Котел», роман;
- Р. Гамзатов** — «Мой Дагестан», книга третья;
- Л. Гинзбург** — «Последнее слово», документальная повесть;
- Ф. Искандер** — «Сандро из Чегема», повесть,
- А. Кудравец** — «Снова в Будневце», повесть;
- В. Попов** — «И это называется будни», роман;
- А. Рекемчук** — «Пророк в своем отечестве», повесть;
- А. Рыбаков** — «Жизнь Веры Ивановой», роман;
- Д. Сергеев** — «Отвлекающий маневр», повесть;
- Ю. Трифонов** — «Дознание о Желябове», роман;

Генрих Бёль — «Групповой портрет с дамой», роман, перевод с немецкого.

Анджей Браун — «Пустота», роман, перевод с польского.

В прозаическом разделе журнала также предполагается опубликовать произведения **А. Азольского**, **В. Амлинского**, **С. Антонова**, **В. Астафьева**, **А. Бека**, **В. Белова**, **Ю. Бондарева**, **А. Борщаговского**, **М. Ганиной**, **О. Гончара**, **Д. Гранина**, **Ю. Домбровского**, **Е. Дороша**, **Е. Драбкиной**, **Н. Дубова**, **Е. Евдокимова**, **С. Залыгина**, **В. Катаева**, **Г. Комракова**, **В. Конецкого**, **Г. Коновалова**, **Ю. Крелина**,

В. Лихоносова, Н. Мельникова, Ю. Нагибина, В. Некрасова, П. Нилина, Е. Носова, Б. Полевого, Г. Радова, Е. Ржевской, В. Рослякова, В. Семина, Л. Славина, И. Соколова-Микитова, В. Тендрякова, К. Федина, В. Фоменко, А. Шарова, В. Шукшина и других.

В журнале будут напечатаны воспоминания **Н. Атарова** «Валентин Овечкин», **И. Головченко** «Прожитое и пережитое», Маршала Советского Союза **Н. Крылова** «Сталинград», **Н. Любимова** «Записки театрала», **А. Маринова** «Государственные дети», **А. И. Микояна** «Из воспоминаний», народного артиста СССР **И. Моисеева** «Противостояние», **Е. Мухиной** «Восемь сантиметров» (записки радистки-разведчицы, часть вторая), **Н. Смелякова** «Что видно из окна Министерства внешней торговли», **М. Шагинян** «Человек и время» (продолжение), **А. Штейна** «Портрет друга» (о Юрии Германе).

В поэтическом разделе редакция намерена напечатать стихи **Г. Абашидзе, И. Абашидзе, М. Алигер, П. Антокольского, Б. Ахмадулиной, М. Бажана, О. Берггольц, П. Бровки, Д. Вааранди, О. Вацетиса, А. Вознесенского, Р. Гамзатова, М. Дудина, Е. Евтушенко, А. Жигулина, Зульфийи, М. Исаковского, Р. Казаковой, С. Капутикян, М. Карима, В. Корнилова, В. Коротича, Д. Кугультинова, А. Кулешова, Ю. Левитанского, М. Луконина, Л. Мартынова, Ю. Марцинквичюса, Н. Матвеевой, Э. Межелайтиса, С. Наровчатова, С. Орлова, П. Панченко, Л. Первомайского, Р. Рзы, Р. Рождественского, Д. Самойлова, Б. Слуцкого, Я. Смелякова, Вл. Соколова, М. Танка, А. Тарковского, Н. Тихонова, В. Цыбина, О. Чиладзе, О. Чухонцева, В. Шефнера, И. Шкляревского** и других.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

12 мес.	6 мес.	3 мес.
8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.

ПОДПИСКА НА «НОВЫЙ МИР» ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ И АГЕНТСТВАХ «СОЮЗПЕЧАТИ», В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ БЕЗ ВСЯКИХ ОГРАНИЧЕНИИ.

О ВСЕХ СЛУЧАЯХ ОТКАЗА В ОФОРМЛЕНИИ ПОДПИСКИ
ПРОСИМ СООБЩАТЬ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА.

Цена 70 коп.

70636